

ДЕНЬ и НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 6 | 2019





Мария Воронова | Шум моря | 2019

ДЕНЬ и НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 6 | 2019

В номере

.....

ДиН ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир Замышляев

- 3 Время Астафьева продолжается

ДиН ДИАЛОГ

Юрий Беликов, Константин Крылов

- 8 Возвращение украденного,
или Неужели власть выше жизни?

ДиН СИММЕТРИЯ

- 13 Замурованные в перламутре

Сергей Городецкий

- 124 Город на заре
132 Крест Николая и второе
пришествие Бенедикта

Сергей Есенин

- 183 Хулиган

МОСТЫ НАД ОБЛАКАМИ

Елена Лындина

- 14 О маяках и людях

Елена Данченко

- 25 Моя французская
земля обетованная

Лео Бутнару

- 35 Необходимое расстояние

ДиН ДЕБЮТ

Виктория Соловьёва

- 24 Пусть говорят!

Юлия Комаровская

- 106 На счастье!

Илья Новиков

- 177 Город сибирской крови

Зарина Бикмуллина

- 188 Арион

ДиН ПРОЗА

Софья Малахова

- 37 Енисейск

Людмила Шарга

- 91 Пять историй, рассказанных
маленькой белой улиткой

ДиН РЕВЮ

Марк Вовченко

- 100 Иное время на дворе...

Алёна Бабанская

- 108 Акустика

Игорь Бойков

- 129 Кумач надорванный

Альбина Мамаева

- 139 Встречи с прошлым

ДиН СТИХИ

Владимир Алейников

- 101 Незабываемо!

Надежда Панфилова

- 104 По сотам памяти

Владимир Пономарёв

- 109 Над горизонтом судьбы

Аркадий Гонтовский

- 110 Ижица

- Александр Габриэль
157 Победа гуманизма
- Александр Руденко
160 Раковина
- Мартин Мелодьев
162 Ночной концерт
- Варвара Юшманова
164 Рим
- Галина Пичура
166 Моя душа отбрасывает тень
- Роман Круглов
107 В словесной ворожке
- БИБЛИОТЕКА
СОВРЕМЕННОГО
РАССКАЗА
- Геннадий Васильев
112 Нехорошо об ушедших
- Марат Валеев
119 Борода
- Виктор Самуйлов
125 Нескладыш
- Наталья Ковалёва
130 «Прости мя, Боже!»
- Михаил Стригин
133 Чужак
- Борис Дрозд
140 Ключи от рока

- Анна Харланова
168 Лоскутки
- Наталья Потапова
171 Феникс
- Виктория Сагдиева
175 «Парень, держи венок!»

ДиН ПРИКЛЮЧЕНИЕ

- Николай Тимченко
149 Колобок

ДиН ПОЛЕМИКА

- Олег Харебин
178 К вопросу
о национальной
идентичности

ДиН ВЗГЛЯД

- Павел Карякин
184 Мы считали,
что счастье
будет вечным

СИНЯЯ ТЕТРАДЬ

- 189 По страницам газеты
«Детский район»

- Иларион Кувшинов
193 Поиски себя

- 194 ДиН АВТОРЫ

Владимир Замышляев

Время Астафьева продолжается

Писатель и время... эти два понятия неразрывны. Писатель, не отражающий проживаемое время, не является Знаком и Образом исторического пространства. Как мы представляем категорию времени? Только через описание насущной реальности, её повседневности и личного участия в ней людей. Обычные люди измеряют время сменами природных сезонов в году и чередованием дня и ночи в течение суток. Но Время ли это? Простые люди (в тривиальном понимании) не ощущают того, что они живут в Историческом Времени. По известной поговорке: день прошёл — и слава Богу. Историческое Время осознают только философы, писатели, художники и учёные.

Философы и учёные используют абстрактные понятия, не волнующие души людей. На память, на воображение, на чувства человека действуют только Слово (литература), зрительный Образ (искусство изображения) и слуховое Волнение (музыка). Благодаря литературе и искусству Время становится светом и тьмой Прошлого и Настоящего, с заглядом в Будущее. Мы помним древние священные тексты («В начале было Слово...»), чтим пророков, Гомера, всех великих творцов, писавших о «героях нашего времени» и ставших тоже историческими героями. Гениальность писателя определяется продолжительностью его бытия и волнениями среди почитателей всех времён и народов. Жизнь и смерть писателя — это Дух и Плоть самого Времени.

Применимо ли наше понимание гениальности во Времени по отношению к Виктору Петровичу Астафьеву и его литературному творчеству? Первого мая 2019 года исполняется девяносто пять лет со дня его рождения. Первый его рассказ «Гражданский человек» опубликован в 1951 году. С той поры его имя вошло в профессиональную литературу и притягивало к себе всё большее и большее внимание. Роман «Прокляты и убиты» — вершина его творчества, апогей общественного внимания к писателю, к его жизни и творчеству — к единому Целому во второй половине двадцатого века и продолженного в двадцать первом столетии. Между первым рассказом начинающего писателя и его романом «Прокляты и убиты» были годы постепенного нарастания литературного художественного мастерства. Формировалась личность писателя

как эпохального явления. Валентин Курбатов в своей первой книге с размышлениями о творчестве В. П. Астафьева «Миг и вечность» (1983) в качестве эпиграфа к изложению привёл высказывание А. Блока: «Писатель — растение многолетнее... душа писателя расширяется и развивается периодами, а творения его — только внешние результаты подземного роста души»¹. Начиная с «роста своей души» с первой книги об Астафьеве «Миг и вечность» известный литературовед В. Курбатов верно уловил «чувство пути» писателя, его восхождение к смыслам мирового бытия. На пути уже были знаменитые «Пастух и пастушка», «Кража», «Царь-рыба», «Последний поклон», «Ода русскому огороду», «Печальный детектив» и другие.

В представлениях о писателе обратим внимание на то, что в его книгах используются эпиграфы-изречения, как бы оправдывающие замысел писателя о содержании и ставящие эти книги в систему мировой культуры. Вот два эпиграфа в книге «Царь-рыба»: «Молчал, задумавшись, и я, привычным взглядом созерцая зловещий праздник бытия, смятенный вид родного края» (Н. Рубцов). И тут же: «Если мы будем вести себя как следует, то мы, растения и животные, будем существовать в течение миллиардов лет, потому что на Солнце есть большие запасы топлива и его расход прекрасно регулируется» (Халдор Шепли). В повествовании «Последний поклон» такой эпиграф: «Пой, скворушка, гори, моя лучина! Свети, звезда, над путником в степи» (Ал. Домнин).

В. П. Астафьев не получил классического высшего образования, но у него был огромный интерес к чтению литературы. Он имел отличную память, часто цитировал многих поэтов, пел народные песни и романсы.

Сохранилась его фронтовая тетрадь с записями любимых поэтических произведений. Их много! Таким образом, душа писателя постоянно росла, вбирала в себя весь мир и ставила перед ним вечные вопросы о жизни и смерти.

1. Курбатов В. Я. Миг и вечность. — Красноярск: Книжное издательство, 1983. — 168 с. (Примечание: эта книга издана в тот год, когда я работал директором Красноярского книжного издательства и подписывал с автором договор на её издание).

При оценке писателя всегда возникает вопрос о главных темах творчества. Оценивая творчество писателя В. П. Астафьева, одни ценители называют тему «сиротство», другие — «война и мир», третьи — «человек и природа». Все эти знаковые темы, конечно, есть в книгах В. Астафьева. Можно сказать, что тема войны сверлила душу писателя на протяжении всей его жизни. И роман «Прокляты и убиты» не исчерпал фронтовой опыт и послевоенные страдания от этого опыта, его влияния и на мирную жизнь.

Л. Н. Толстой в романе «Война и мир» отнюдь не ограничивается описанием военных батальей. Герой произведения Андрей Болконский, смертельно раненный, смотрит в небо и размышляет вообще о смысле бытия и предназначении человека. Писатель-философ Лев Толстой в завершающих главах романа рассуждает об исторических смыслах войны, почему то наступают, то отступают, то Наполеон в Москве, то русские полки в Париже. Мысли о войне выходят за пределы этой повседневности, писатель задаёт вопросы о Времени и Пространстве и о месте людей в них. Потому и гениален Л. Н. Толстой: он мыслит поверх сюжета произведения, выходит на размышления о бытии как таковом, только опорой являются конкретные исторические события — борьба России, Европы с Наполеоном, объявившим себя наместником Бога, отнимая этот «чин» у Папы Римского.

Новаторство В. П. Астафьева проявилось в том, что он не просто описывал военные события, выстраивал сюжет «врагов и победителей», чем характерна основная литература (талантливая по художественному изображению) о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Писатель обозначил более сложную проблему: человек и война, почему погибают люди, убивая друг друга. В конце романа «Прокляты и убиты» появляется молитва: «Боже милостивый! Зачем Ты дал неразумному существу такую страшную силу? Зачем Ты прежде, чем созреет и окрепнет его разум, сунул ему в руки огонь? Зачем Ты наделил его такой волей, что превыше его смирения? Зачем Ты научил его убивать, но не дал возможности воскресать, чтоб он мог дивиться плодам безумия своего? Сюда его, стервеца, в одном лице сюда и царя, и холопа — пусть послушает музыку, достойную его гения. Гони в этот ад впереди тех, кто, злоупотребляя данным ему разумом, придумал всё это, изобрёл, сотворил. Нет, не в одном лице, а стадом, стадом: и царей и королей, и вождей — на десять дней, из дворцов, храмов, вилл, подземелий, партийных кабинетов — на Великокриницкий плацдарм! Чтoб ни соли, ни хлеба, чтоб крысы отъедали им носы

и уши, чтоб приняли они на свою шкуру то, чему название — война. Чтoб и они, выскочив на край обрывистого берега, на слуду эту безжизненную, словно вознесясь над землёй, рвали на себе серую от грязи и вшей рубаху и орали бы, как серый солдат, только что выбежавший из укрытия и воззавший: „Да убивайте же скорее!..“»².

В литературе «социалистического реализма» таких «негероических» восклицаний не встречалось.

«Партийные кабинеты», упомянутые в романе, как и нелюбимые оценки «вождей» разного ранга, особенно вызвали критику романа со стороны официальной идеологии и даже от солдат, Героев Советского Союза, понимавших войну только как победу над врагом. Прямолинейный патриотизм «наши — не наши» не в характере В. П. Астафьева. Убийство в его понимании — великий грех, кем бы оно ни совершалось. Это не пацифизм, это — горе, боль и сострадание. Такие чувства отражают религиозное мирозерцание, и естественно в страдании обращение к Богу: перед Ним все равны.

Геннадий Фаст, настоятель Успенского собора в Енисейске, так откликнулся на смерть В. П. Астафьева: «Ему казалось, что если б Высший разум был, то он должен был себя проявить (речь о войне. — В. З.).

Но рассказывал писатель и другое: как много лет спустя, будучи в храме, вдруг ощутил вечное, и душа стала вдруг отмякать, наполняться благодатью. То был зов вечности, того высшего мира, в который он когда-то не поверил... Он был из народа и писал для народа, не посягая на возвышенное и вечное. Не имея опыта в этой области и будучи честным, писатель, в отличие от других, столь же неопытных в духовной сфере бытия, не позволял себе пускаться в пустословие и многословие. Астафьев писал то, что ведомо его сердцу, то, что сам видел и слышал. И не было лукавства в его пере. Вместе с народом заблуждался, вместе с народом прозревал, ибо был плотью и кровью его»³. Однажды я участвовал вместе с Геннадием Фастом в дискуссии о современной культуре. Он сказал так: «Верующих много, уверовавших мало». Я думаю, что писатель не может быть «уверовавшим», он не богослов и не служитель церкви. Но отказывать ему в наличии «духовного опыта» вряд ли справедливо. Пути Господни неисповедимы. И у писателя свой путь постижения божественного бытия, ведь Бог создал человека по образу и подобию своему! Путь к Богу один, но формы движения разные. Есть служба (церковная), и есть духовно-нравственное служение писателя. В. П. Астафьев был на этом пути. Служение народу разве не является одновременно и служением Богу?! Поэтому споры о том, был ли писатель православным верующим, беспочвенны. Писатель не конфликтовал с Церковью, почитал предков, кланялся могилам, крестился, произносил

2. Астафьев В. П. Собр. соч.: В 15 т. Т. 10. — Красноярск: «Офсет», 1998. — С. 719.

3. Прощание. — Красноярск, 2002.

молитвы. Такой религиозной нравственностью он и выделился в рядах советских писателей и стал формировать образы в романах, повестях и рассказах в духе христианской морали, в отличие от «ускомчела» — усовершенствованного коммунистического человека. Писатели-коммунисты пытались отождествить Кодекс строителя коммунизма с евангельскими заповедями, с Нагорной проповедью Христа, но это политическая подмена сущности человека, подмена вечного сиюминутными «стройками коммунизма». Что из этого получилось, мы видим сегодня: вчерашние коммунисты и комсомольцы стали миллиардерами и миллионерами, предпочтя личное богатство социальной справедливости.

В. П. Астафьев был морально отягощён поиском человеческого совершенства в человеке, особенно в человеке обыкновенном, в его повседневности. Его литературные герои и сам он — натуры мятущиеся, истовые в добре и зле. Он ставит их и самого себя часто один на один с миром, со Вселенной. Повесть «Пастух и пастушка» заканчивается строчкой: «Остался один — посреди России». Повесть «Звездопад» имеет такое завершение: «В яркие ночи, когда по небу хлещет сплошной звездопад, я люблю бывать один в лесу, смотрю, как звёзды вспыхивают, кроют, высвечивают небо и улетают куда-то. Говорят, что многие из них давно погасли, погасли ещё задолго до того, как мы родились, но свет их всё ещё идёт к нам, всё ещё сияет нам».

Волей-неволей вспоминается стихотворение Михаила Лермонтова: «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит». На последней странице «Звездопада», рассуждая о счастье и несчастье, писатель вспоминает строчку А. С. Пушкина: «Печаль моя светла». Не является ли такая печаль лейтмотивом всего творчества В. П. Астафьева, даже в «Печальном детективе»?

Литературные критики как-то не заметили, что в произведениях писателя много глубокомысленных суждений и вопросов. Вот повествование в рассказах «Царь-рыба». Удивительное вопрошающее завершение, почти как у философов:

«Всё течёт, всё изменяется — свидетельствует седая мудрость. Так было. Так есть. Так будет.

Всему свой час и время всякому делу под небесами;

Время родиться и время умирать;
Время насаждать и время вырывать насаженное;
Время убивать и время исцелять;
Время разрушать и время строить;
Время плакать и время смеяться;
Время стенать и время плясать;
Время разбрасывать камни и время собирать камни;

Время обнимать и время избегать объятий;

Время искать и время терять;
Время хранить и время тратить;
Время рвать и время сшивать;
Время молчать и время говорить;
Время любить и время ненавидеть;
Время войне и время миру.

Так что же я ищущу? Отчего мучаюсь? Почему? Зачем?

Нет мне ответа».

Читается и воспринимается как стихотворение в прозе. Такие «почему» постоянно присутствуют в «Затесах», в других произведениях писателя. Его влекло к бессюжетной прозе, поэтому он рассказывает, рассказывает о жите-бытие простом, будничном, а выстраивается система бытия в суете сует, в поступках людей, хорошо знакомых В. П. Астафьеву, близких и родных людей. «Я люблю родную страну свою, хоть и не умею сказать об этом, как не умел когда-то и девушке своей сказать о любви. Но очень уж большая земля-то наша — российская. Утеряешь человека и не вдруг найдёшь». Античный философ Диоген ходил по улицам города днём с фонарём, чтобы «найти человека». Именно Человека ищет писатель Астафьев среди далёких и близких людей. И гениален он тем, что их видит и представляет, как в «Последнем поклоне». Бабушка Катерина Петровна — такой Человек! И Аким в «Царь-рыбе» — Человек, и дети в «Ухе на Боганиде» — ещё не испорченные миром Люди. И сам В. П. Астафьев, сирота-подросток, в тяжёлых условиях становился Человеком, стал им в годы Великой Отечественной войны и после — уже в роли писателя, Героя Социалистического Труда.

Некоторые литературные критики считают, что проза В. П. Астафьева публицистична, а что уж говорить о статьях и интервью с ним: он всегда был задиристым — это от сиротства в детстве. Можно бы согласиться с таким суждением, но с одной оговоркой. Всякий большой писатель во все времена, в сущности, является публицистичным, потому что мыслит масштабно и задаёт вопросы всему человечеству. По словам Владимира Маяковского, «поэт — должник Вселенной». Разве не публицистичен Л. Н. Толстой, ставший «вторым царём» в России и поссорившийся с православной церковью? Публицистика в творчестве писателя усиливается во второй половине их жизни, когда они приобретают огромный опыт страдальческой жизни, когда задумываются о вечном. А сюжетное повествование становится узким, не вмещающим самого автора и его литературных персонажей. Все пророческие духовные тексты публицистичны. Именно они и цитируются сменяющимися поколениями. Сказать так, чтобы помнили поколения людей, — это Дар! И В. П. Астафьев в своих произведениях часто вопрошает: «Почему так?» Проза его ни в коем случае не напоминает тихое течение или застоявшееся болото,

которое можно тихо созерцать и спокойно о нём рассказывать. Почему книги Астафьева всегда вызывали в обществе напряжённую дискуссию, воспринимались как «взрыв на передовой», чего не скажешь о многих других рассказах и повестях о войне, даже литературно даровитых? Александр Солженицын в отклике на смерть В. П. Астафьева написал: «Умер самобытный русский писатель, настойчивый правдолюбец. Из первых, кто чутко отозвался на нравственную порчу нашей жизни. Как никто, испытал солдатскую тяжесть войны и поднял её со дна». Тяжело было на войне всем, более всего рядовым, окопным солдатам. Правдолюбец В. П. Астафьев сострадал именно им, себе подобным. Окопная правда и есть трагический реализм войны, «полную правду о которой знает только сам народ» (К. Симонов). Поэт-танкист, обожжённый в танке, Сергей Орлов писал о солдате: «Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат. Всего, друзья, солдат простой, без званий и наград. Ему как мавзолей земля...» Могилы Неизвестного Солдата — обобщённый образ миллионов погибших солдат. Впервые, наверное, так горестно пожалел и представил их в своих книгах В. П. Астафьев. В течение пяти лет после войны он, по его словам, совершенно равнодушно относился к покойникам, привыкший видеть их на фронте десятками и сотнями, как показано им при форсировании Днепра. Публицистичность его в прозе — это от горя и страдания за людей, живущих неразумно, вопреки евангельским заповедям: не убий, не укради, не пожелай зла ближнему своему, не судите, да не судимы будете и др.

Писатель, становящийся известным, потом знаменитым, не может не вмешиваться в государственную политику. Публицистичность чаще всего обусловлена как раз политическими страстями, власть предержащими. «Поэт и власть! — проблема эта всегда в истории была» (цитирую своё стихотворение). История мировой литературы полна примеров того, как поэты, писатели «спорили с властью», порой находились на службе в ней или искали дружбы и покровительства. Все властители мира суетного пытались возвеличивать свою властную силу формами искусства и литературы. Какая власть — такая и архитектура и пр. Соблазн «быть во власти» смущал многих художественных творцов, подвигал их на оды и гимны во имя владык мира сего. Но эта «непорочная связь» всегда заканчивалась драматически для тех, у кого Дар Божий «глаголом жець сердца людей».

Известное выражение «революция пожирает своих детей» относится в первую очередь к творцам пера и кисти. «Пролетарский писатель» Горький говорил о себе: «Я знаю, что я плохой марксист. И потом, все мы, художники, немного невменяемые люди». В. И. Ленин упрекал Горького за «предрассудки мелкой буржуазии». Но писатель

мыслил более глубоко, чем «вождь мирового пролетариата». Александр Блок, Владимир Маяковский, Сергей Есенин (никто не сомневается в их таланте) слушали «всем сердцем музыку революции» и стали её жертвами. Но они любили Россию и не предали её!

У В. П. Астафьева отношения с государственной властью и даже с народом были более противоречивы, чем у его предшественников в русской литературе. Что касается власти, то он никогда её не хвалил, хотя немножко заигрывал с М. Горбачёвым и Б. Ельциным, извлекая из этих отношений некую «прибыль»: звание Героя Социалистического Труда и пятнадцать томов собрания сочинений, изданных за счёт государства. Звание «Герой Труда» и сейчас присуждается, хотя звучит уже не так значимо и торжественно, как при советской власти. Возмездием за «связь с властью» стало то, что половина тиража пятнадцатитомного собрания сочинений была отправлена «в макулатуру», так как никто не хотел выкупать эти книги из издательства «Офсет», а бесплатных экземпляров для библиотек понадобилось значительно меньше. При «демократической» власти Россия из самой читающей страны в мире резко пошла вниз в этом рейтинге. Очарование «демократией» стало исчезать из воображения В. П. Астафьева в конце его жизни. Известное пушкинское высказывание: «Я сам обманываться рад», — коснулось и В. П. Астафьева. На литературных чтениях, проводившихся в Овсянке, на родине писателя, он вдруг заговорил о «нравственной порче» в «глянцевых журналах», что все «наелись» этим в новоявленной литературе, что надо возвращаться к изображению «цельного человека» во всей его сложности, противоречивости. Писательская честная интеллигенция вновь оказалась у разбитого корыта государственности и вместе с ней понесла и материальные потери, и нравственные увечья.

Перед писателем всегда возникает исторический выбор: с кем вы, мастера культуры? Николай Добронравов, широко известный песнями вместе с Александрой Пахмутовой, на своём юбилейном вечере прочитал стихотворение, в котором есть такая строчка: «Остаюсь с обманутым народом». Писатель без народа — в полном смысле сирота и «среди детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Остался ли с народом В. П. Астафьев? Есть мнение, что он не любил не только власть советскую, но критически относился и к народу, будучи порождённым в нём. Высокие государственные награды за литературные заслуги свидетельствовали о том, что он — народный писатель, общероссийский и даже мировой! Сам же он нередко говорил, что «народ испортился», особенное после Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, на фронтах которой погибла нация — русский народ. Остались те, кто попал под

«нравственную порчу». В книгах писателя нет ни «тургеневских барышень», ни тех, кто «закалял сталь» или собирал «рекордные урожаи» и получал «высокие надои». Женщина, прозванная Урной, — персонаж в «Печальном детективе» — есть отрицательный пример женщины. Подобных отрицаний немало в разных книгах писателя. Но ведь он любил бабушку Катерину Петровну и представил её замечательный во всех смыслах образ как образец человека в народе. Новизна прозы В. П. Астафьева, да и всего им написанного, в том, что он сознательно не создавал «героев нашего времени», не изображал идеальных личностей, с которых надо брать пример тем, кто читает его книги.

Идеальное существо по форме складывается на основе всего прочитанного не только у В. П. Астафьева. Такова жизнь! Фёдор Михайлович Достоевский восклицал: «Не знаю ничего совершеннее Христа!» А коли так, что нам, грешным, делать? Жить по образу и подобию! И писатель В. П. Астафьев своим творчеством пытался выйти на такие измерения души человеческой, хотя Геннадий Фаст посчитал его как не имеющего «духовного опыта» в размышлениях о вечном в религиозном смысле. Мы на стороне В. П. Астафьева. Вечное по заповедям, божественное он искал в обыденной жизни и находил, потому как вечное без человека — пантеизм или пустая абстракция. Да, не хлебом единым жив человек, но Христос накормил хлебами всех, кто в него поверил. И люди трудятся в поте лица своего. Единство веры и труда как человеческого предназначения безусловно. У В. П. Астафьева все люди — в труде, но труд разный, и люди разные. Война — грязная, тяжёлая работа. Она — самое страшное, мучительное испытание для человека. Вечная память павшим на фронтах войны. Те, кого представил в книгах писатель, остаются с поколениями в смене веков и эпох.

В отношении к Отечеству, к России В. П. Астафьев продолжает традицию русских писателей. Вспомним хотя бы «Путешествие...» Александра Радищева и самоубийство его после всех разочарований. А Н. В. Гоголь и сожжение им самим второго тома «Мёртвых душ» (В. П. Астафьев высоко чтит творчество Гоголя)? А почему писал Михаил Лермонтов: «Люблю отчизну я, но странною любовью...»? А строчки «народного» Некрасова: «Кто

не знает тоски и печали, тот не любит отчизны своей»? Александр Блок: «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, — как слёзы первые любви!» Много чего можно вспомнить в истории русской литературы о «печали» и «странностях» русского человека, о загадках его души, не понятной заморским мудрецам, да и нам самим.

Достоинство творчества В. П. Астафьева — в многообразии переживаний реальности в её повседневности, в невыдуманных обстоятельствах, в бесстрашии «быта». Писатель поставил себя в отношения как с «чистыми», так и с «нечистыми» в числе людей, в их надеждах и обманах.

В завершение данной статьи я хочу немножко вспомнить о личных отношениях с ним при встречах и на каких-то мероприятиях. Мне кажется, что он всю жизнь был «весёлым солдатом», искренне смеялся, шутил, балагурил, матерился. И высмеивал тех, кто, сочинив стихи к Восьмому марта, считал себя писателем. Писательский труд он считал именно Трудом, а не увлечением по случаю — к празднику или к юбилею. Иногда он бывал очень жёстким, даже грубым по отношению к тому, с кем он не соглашался. Его сермяжная, «окопная» правда как-то по-особому всегда была ему дорога. И он, невзирая на лица, утверждал, укреплял её в себе и вокруг. Но он не держал зла за пазухой, был отходчив после запальчивости, после круто сказанного слова. Это в характере русского человека! Как русский человек, он любил природу. Без неё литература ущербна. Русская душа сформировалась на широких природных просторах, в географических пространствах, открытых во все части мира земного.

Я написал несколько стихотворений, посвящённых В. П. Астафьеву и М. С. Астафьевой-Корякиной. Одно из них заканчивается строчками: «Писатели не умирают. Они уходят в дальний путь». Виктор Петрович искупил всё пережитое горестными строчками завещания: «Я пришёл в мир добрый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощанье». Нет, не так: писатель оставил нам свои великие произведения, без которых уже трудно представить нашу собственную жизнь и судьбу русских людей вообще.

Юрий Беликов, Константин Крылов

Возвращение украденного, или Неужели власть выше жизни?

Если не знать, что Крылов — сиречь Харитонов, а Харитонов — сиречь Крылов, можно подумать, что это два никакими сиаемскими сращениями не связанных человека. И, вступая в диалог с Крыловым, ты не сразу выявишь в нём Харитонova, точно так же как, общаясь с Харитоновым, не разглядишь в нём с налёту Крылова. Но Крылов — он подлинный, как наш основоположник-баснописец, а вот Михаил Харитонов — литературный псевдоним. Творения обладателя оногo и были однажды извлечены из водоёмов Сети главным рыболовом российской фантастики Сергеем Лукьяненко. Нeисповедимо, кто намечен в ваши крёстные отцы...

Итак, Крылов — это Крылов, если хотите — баснописец отечественных национал-демократов, с какого-то времени — главный редактор журнала «Вопросы национализма», а Харитонов — это Харитонов, писатель-фантаст со своей «нечеловеческой комедией» «Золотой ключ, или Похождения Буратины», автор которой, судя по всему, явно меряется всяческими объёмами сразу с двумя толстяками — Алексеем Толстым и Оноре де Бальзаком.

Хотя во время нашего разговора Крылов, как Штирлиц, почти ничем не выдал в себе Харитонova. Ну разве что некоторой пластикой и образными параллелями устной речи, предполагающей тренировки в своём письменном воплощении. Однако на это обращаешь внимание уже потом, когда, завершая диалог, мой собеседник как бы между прочим припомнит... «энгельгардтовские экзерсисы». И ещё, не шифруясь, объяснит причину, подтолкнувшую его к писательству: оказывается, ему «очень не нравилось практически всё, что попадалось на книжном рынке».

Впрочем, один из вопросов, который он задал как Михаил Харитонов, звучал так, как если бы его сформулировал Константин Крылов: «Возможно ли, что земляне — единственная разумная раса Галактики, которая ценит власть выше жизни?»

— Константин, я слушал вашу лекцию, где вы обронили фразу о том, что в современном мире «русские люди доросли до своего национального самосознания довольно поздно». Действительно, если взять вчерашние братские республики

(определение «братские» я произношу с известной долей осторожности), приходишь к выводу: они давно пребывают в национальном поле — украинцы, грузины, эстонцы... Что же мы-то так припозднились? Не пахнет ли это национальным инфантилизмом?

— Ещё со школы очень хорошо помню пропагандистский плакат. Назывался он «Дружба народов». Изображалась компания детишек, в центре которой стоял русский, рядом — украинец, а вокруг — остальные. Но вот какая интересная деталь: абсолютно все, включая украинца, были в национальных костюмах. Украинец, разумеется, в вышиванке, узбек — в тубетейке и так далее. А вот русский мальчик был изображён в школьной форме с пионерским галстучком...

— И этот мальчик отбрасывал невинную тень интернационализма?

— И это очень точно отображало суть того, о чём я сейчас хочу сказать. То есть русским говорили, что да, они — русские, и тут же объясняли: самый лучший русский — это советский, по аналогии с тем, что самая лучшая рыба — колбаса. В итоге получилось: русский — это прежде всего человек денационализированный. Всем остальным всё было можно. У них признавались вот эти милые, вроде бы ни к чему не обязывающие тубетеечки и вышиваночки, которые, как известно, в дальнейшем так заиграли! А ежели русского изобразить, допустим, в косоворотке — это ни-ни. Только пионерский галстучек и пиджачок!

Иными словами, русские официально считались наиболее советскими из всех советских народов. Более того, на эту тему ещё над русскими и работали! Конкретно. Напильником. К примеру, среди всех народов существовали диссиденты-националисты... Скажем, литовские или украинские. Их существование признавали. Они отбывали срока в местах не столь отдалённых. Спрашивается: а где русские диссиденты-националисты?

— Леонид Бородин, впоследствии известный прозаик и главный редактор журнала «Москва», по его собственному признанию, был единственным русским, оказавшимся в бараке особого режима

политзоны «Пермь-36». В соседнем бараке строгого режима тянул срок другой талантливый русский прозаик — Борис Черных...

— Совершенно верно. Буквально несколько человек. Происходила затейливая рокировка: роль русских диссидентов играли диссиденты-либералы. Причём, как правило, не русские. И на том месте, где должно было существовать русское национальное антисоветское движение, гуляли исключительно Сахаров с Боннэр. А старик Солженицын отдувался за всех русских. Что любопытно: когда на Западе симпатии Александра Исаевича выяснили окончательно, ему очень сильно отключили кислород именно по диссидентским линиям. Он стал предметом насмешек и издевательств. Войнович по этому поводу даже сочинил специальную книжку.

К чему я всё это говорю? Советская власть отработала по русским фундаментальнее всего. Русское национальное самосознание давили по всем фронтам, начиная от абсолютно официального и кончая абсолютно неофициальным — диссидентским. То есть, как только кто-то на русском поле появлялся, всё срезалось очень аккуратно ножницами — на уровне сантиметра от почвы. И «национальный инфантилизм», о котором вы сказали, — результат постоянной селекционной работы.

Представьте себе несколько грядок: на одной растёт клубника, на другой — земляника. На третьей грядке выпалывают всё. Любой росток, который на ней проклёвывается. В результате на одной грядке пышным цветом цветёт клубника, на другой тянет свои усики земляника, а на третьей... пусто! При этом другие грядки тоже полны. Но не выпалывали всё. Что-то да оставляли. А здесь — с корнем!..

И всё-таки, несмотря на выпалывание русской мысли и насаждение, кроме неё, чего угодно, есть, согласно русской пословице, сто путей и сто дорог. Можно сходить с ума ста возможными способами. Вот вам, пожалуйста, Дугин, затем — Кургинян, Евразийский союз молодёжи или что-нибудь ещё. Отплясывайте, как мартышки, но только не ходите ногами, как люди! Тем не менее, в силу того, что русский народ довольно упорный, его национальное самосознание не могло находиться в состоянии кромешной спячки. Просто потому, что невозможно выпалывать всё и всегда.

По большому счёту мы — проскочившие сквозь зубцы этой системы. И наше возникновение отмотать назад практически невозможно. Хотя на самом-то деле все эти разговоры, которые мы затевали на рубеже двухтысячных, их по идее уместно было бы провести ещё до девяностых, потому что те же украинцы или грузины осуществили аналогичный мозговой штурм очень давно. Они всё прекрасно понимали ещё в советский период. Но,

думаю, хоть и поздно, однако мы до собственного самосознания всё-таки доросли.

— На лекции вы сказали, что «СССР если и был империей, то это не была империя русская». А по-сему сегодня мы «должны стать своего рода национально-освободительным движением, чтобы избавиться от колониального прошлого». Здесь важно договориться о терминах. Что понимать под «колониальным прошлым» (некоторые считают, что как раз Советский Союз был колонизирующей структурой)? И что понимать под «национально-освободительным движением»?

— Вы совершенно верно заметили, что, по сути дела, СССР, конечно же, выполнял роль колонизирующей структуры. Только самой главной его колонией была Россия и русские. При этом уровень, скажем так, угнетения России и русских был предельно высоким. Какую интересную особенность предполагала сама советская система? Она, сейчас воспроизведённая в РФ, выглядела следующим образом. Есть Советский Союз. Существуют советские республики. Из них самая большая — РСФСР. (Кстати, само название — ЭРЭСФЭСЭР — нормально выговорить невозможно.)

Так вот, РСФСР, что любопытно, была лишена тех признаков субъектности, которые имелись у других республик. Сейчас я буду говорить почти как Ельцин, но он-то как раз был прав, когда вопрошал: извините, почему в России нет своей компартии, даже — Академии наук, когда в республиках всё это налицо?

Далее: внутри РСФСР была выделена особенно гнобимая область с очень интересным и практическим официальным названием — Нечерноземье. Сколько ненависти надо вложить, чтобы так обозвать исконно русские земли! Вот это самое «не» — отрицание — оно ведь открытым текстом подчёркивает: плохая земля. Меня это дёргало с детства. И было непонятно: откуда такой дискриминационный подход? Дескать, есть жирное, тучное Черноземье, а есть...

Хотя опять возникает вопрос: почему это самое Черноземье называется по имени земли, как будто там ничего более ценного нет? А у Нечерноземья буквальное название — тощая земля. Вообще-то говоря, хоть термин и взят из сельского хозяйства, но ему придали практически политический статус. Я даже помню эпохально-торжественные дикторские голоса: «Прибытие Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева на воронежскую землю». Это — Черноземье. А потом, когда Брежнев прибывал в одну из областей Нечерноземья, тогда так и писали: мол, Леонид Ильич уже даже не прибыл, а посетил. И вот Нечерноземье радостно приветствовало этот визит...

Советский Союз был, конечно же, империей, но повторюсь: самой главной его колонией, а отнюдь

не метрополией, являлась именно Россия. При этом уровень колониального давления повышался с градиентом, и наибольшую тяжесть приняли на себя исконно русские земли — пресловутое Нечерноземье, которое было загажено и изуродовано советской властью в полном смысле этого слова. И, честно признаться, к Нечерноземью относились как к бросовой помойке.

По большому счёту, если проводить сравнение с колониальными державами, то получалось примерно следующее: Россия — это нечто вроде Великобритании, только — с невидимой метрополией. Метрополия вроде как находилась в Москве. А вокруг простирались колонии. Причём наиболее угнетаемая из них — Россия. И, хотя нам намекали, что на самом-то деле вы тут главные, это означало ровным счётом одно: да, мы тут главные, но сначала, русский, ты должен больше работать...

Оруэлла, который, собственно, весьма толково описывал СССР, есть такой герой — Конь, которому всё время говорится, что он должен работать ещё больше. Собственно, Оруэлл так символизировал Россию времён Советского Союза. В конечном итоге, напомним, Конь выработался, и его просто сдали на мясо. В этом отношении, конечно, внутри русских зреет национально-освободительное движение. Примерно такое же, как, допустим, было в Индии против британского владычества.

— Но если мы под стать индусам, то против кого мы, стало быть, выступаем?

— Я ждал этого вопроса. Особенность нашего положения заключается в том, что индусы чётко знали, что за морями есть остров, откуда ими управляют, и говорили: «Сбросим сагибов в море, из которого они пришли!» А нам сложнее, потому что враг не столь виден...

— Мировое правительство?

— Это не мировое правительство. На самом деле он известен, как, впрочем, и имя его. Достаточно вспомнить официальную историю Советского Союза. Как она выглядела? Власть в России захватило отделение интернациональной организации, именуемой, простите за тавтологию, «Интернационал». По нынешним временам он воспринимается как что-то вроде «Алькаиды». Напоминаю, что «Интернационал» — всемирная преступная организация с глобальными планами. Типичная «Алькайда». Представьте, что сейчас власть в стране захватила бы упомянутая «Алькайда». Причём в стране — немусульманской. Примерно получился бы тот самый Советский Союз. С очень похожими отношениями. При этом где находится сейчас эта самая «Алькайда» — вопрос праздный, да и трудно решаемый. Во всяком случае, в первые годы советской власти абсолютно все, включая тех, кто здесь сидел за тюремными стенами, понимали,

что мы не русские, мы тогда даже — не советские (такого слова ещё не было!), но мы — члены «Интернационала».

В этом отношении мы до сих пор находимся под властью прямых, в смысле генетической линии, и идейных потомков международной преступной организации, которая когда-то сумела захватить власть в России. Это невидимый враг, к тому же постоянно мимикрирующий и представляющийся своим.

— Вы называете себя и своих сподвижников национальными демократами. То есть тем самым пытаетесь вернуть к жизни потускневшие от употребления слова — «демократ» и, кстати, «правозащита». Иначе сказать, берёте на вооружение то, чего другие — по крайней мере, в риторике своей, — стараются избегать. Получается, вы играете на обоих полях? Рассчитываете на здравомыслие возможных политических союзников?

— Как вы сказали? «Потускневшие слова»? Да нет, не потускневшие. Эти слова были откровенно украдены. Напомню — как. Одним из очень успешных способов манипуляции является именно манипуляция словами. Например: у нас почему-то так называемыми правозащитниками именовались люди, которые занимались отнюдь не защитой и отнюдь не прав, а лоббизмом наиболее отвратительных национальных группировок.

Зачем нужна была игра подобными словосочетаниями? Чтобы сами слова ассоциировались с какой-то запредельной гадостью. Людей как будто бы специально выпустили на арену. Вот они и кривлялись. Для чего? Цель была единственная — чтобы русские даже не задумывались, что, вообще-то говоря, у них есть права и эти права надо защищать. А в образе правозащитника — хоп! — высказывает Сергей Адамович Ковалёв. У подавляющего большинства — приступ отторжения...

Точно так же — со словами «правозащита» и «демократия». Ими в своё время прикрылась группировка людей, которая, извините меня, этот демос, то есть народ, ненавидела люто. Группировка, которая не то что не хотела демократии, но жаждала установить собственную диктатуру. В чём и преуспела. Какими, к чёрту, демократами могут именоваться люди, приветствовавшие в тысяча девятьсот девяносто третьем году расстрел Верховного Совета, то есть парламента — наиболее демократического органа в стране?! Можно было уже тогда сообразить, что слова «демократия» и «демократ» использовались намеренно.

Вывод: у нас украли наиболее интересные и важные слова и понятия для того, чтобы мы не могли ими воспользоваться. Типа: в этот суп я плюнула! Так вот, суп нужно вылить вместе с плевром. Тарелку помыть. И налить нашего супа.

Мы этим и занялись. Что характерно: как только пришли настоящие хозяева этих слов, господа, в своё время плевавшие в эти тарелки, несколько отступились.

Вот вам один хороший образ. Помню, как в начале двухтысячных в Москве прошёл съезд Гражданского общества России. Я туда приглашён не был, но мне рассказывали, как сие действо выглядело. На втором этаже, если я не ошибаюсь, Александр-хауса стоял огромный белый диван. И на этом огромном белом диване сидели...

— *Царь, царевич, король, королевич?*

— Если бы! На белом диване сидели Альбац, Венедиктов и ещё какие-то бесконечно прекрасные люди. И вся эта славная череда завершалась неким чиновником средней руки. Мой знакомый посмотрел на тот диван и озарился мыслью, что на нём-то, страшно признаться, по сути, всё наше гражданское общество и сидит! Этот термин считался сугубо принадлежащим господам либералам-демократам. И под гражданским обществом они понимали собственную узкую тусовку.

А мы сейчас используем слова «русское гражданское общество» в его прямом смысле. То есть — как совокупность русских более или менее организованных сил, которые чего-то добиваются. И что характерно: противоположная сторона перестала говорить о гражданском обществе. Её адепты отползли на заранее заготовленные позиции.

— В одном из интервью вы заметили, что национальные демократы считают, что Россия — это государство, в котором есть национальное большинство — русские. И далее: «Русский народ возьмёт своё за счёт того, что он — большинство». Но согласитесь: как ни странно, формально являясь большинством, русские сегодня реально большинством не являются. Вы же сами сказали: «Когда что-то случается с мигрантами, власть разговаривает с лидерами их диаспор. С русскими не разговаривают». Тогда как же мы «возьмём своё»?

— Взять своё можно только в условиях установившейся политической демократии. Демократия, по очень хорошему определению Честертона, — это система, которая поощряет робкого и осаживает притякого. В частности, демократия — система, позволяющая слабому и не очень организованному большинству отстаивать свои права перед притякими меньшинствами.

Я сейчас скажу странную вещь. Быть большинством — далеко не гарантия силы. Гарантией силы являются совсем другие вещи. Прежде всего — внутренняя организованность и наличие ресурсов. То есть, условно говоря, группа из нескольких человек может всё, что угодно, делать со сколь угодно многоликим большинством, если это большинство полностью атомизировано. При этом

атомизированность большинства — естественное явление. Большое — оно разваливается, правильно? Да, бывает такое явление, как сплочённое большинство, но бывает оно только искусственно организованным и лишь в момент, что называется, смертельной опасности типа войны. Да, тогда это очень страшный зверь. Но остальное время люди просто живут своей жизнью, и в этом отношении они довольно беззащитны перед интригами сильного, пусть даже и маленького, но обладающего большими ресурсами меньшинства.

Меньшинство — что-то вроде пули, которая входит в мягкое тело. Пуля маленькая — тело большое. Тем не менее, результат известен. Так вот, демократия как раз тем и хороша, что она позволяет большинству отстаивать свои права. Причём — законным способом.

— *Есть стойкое ощущение: те, кто осуществляет нынешнюю обвальную миграционную политику (в этом смысле происходящее в Европе — как кривое зеркало), жаждают побыстрее растворить русских в пришлых. Закономерен вопрос: разве во власти — не русские? Ведь конкретно о них не скажешь, что они рубят сук, на котором сидят. Но как только мы посмотрим со стороны, складывается впечатление, что её представители как раз тот самый сук и рубят! А как же элементарный инстинкт самосохранения — если не за себя, то хотя бы за детей и внуков?*

— Напоминаю, что все их дети и внуки пребывают в Западной Европе и США. О чём это говорит? О том, что и они, и их родители никак не связывают себя с нашей страной. При этом родители считают, что они ещё в этой мёрзлой клетке, может, и досидят, а детишки уже будут нежиться под солнышком. Они заботливые отцы и матери, бабушки и дедушки. Более того, у кого детишки живут здесь, в России, они получили хорошее западное образование, деньги их хранятся в западных банках, и их обладатели, в случае чего, туда все и свалят...

— *И такие понятия, как «Родина», «Отечество», для них лишь фигура речи?*

— Даже хуже. Если бы они относились к нашей стране равнодушно, это было бы ещё ничего. Но они её активно ненавидят.

— *Будучи русскими?..*

— Легко! Среди любого народа имеется некоторое количество предателей. Были же евреи, которые достаточно искренне работали на тех же самых нацистов! Да ничего сложного! Народ наш большой, среди него всегда можно найти персонажей, которые его ненавидят. Англичане прекраснейшим образом находили людей в туземных элитах, которые соглашались работать на них. И не просто

соглашались, а работали истово, с верой в то, что делают господа, бесконечно высшие, чем мы. Знаете, достаточно взять человечка, в особенности если он чем-то обижен, повозить его по прекрасному миру, показать ему «истинную» жизнь, и он искренне начнёт презирать своё гнилое болото и желать служить белым и пушистым господам.

Что касается нынешней России и её пушистых господ, не стоит забывать, что все они так или иначе являются советскими людьми, марксистами, воспитанными на ленинском подходе к русскому народу. Этот подход олицетворяется в том, что мы, русские, омерзительные твари, держиморды, шовинисты, которых надо давить, давить и давить. А все права предоставлять инородцам. Все эти высказывания Ленина известны. Они действительно на них воспитаны. Так считают и некоторые из тех, кто этнически является русским. И, как ни парадоксально, эти люди особенно стараются. Я наблюдал это неоднократно.

— Тогда, по этой логике, получается, что нынешние сильные мира сего—это собрание самоубийц?

— Почему—самоубийц? Себя они любят. Своих детей—тоже. С ними ничего не случится. Они, извиняюсь, обложились гигантским количеством подушек безопасности. И уверены, что при любом развитии ситуации с ними ничего не случится. Кстати говоря, они правы. А что мы с ними делаем? Представим самый невероятный сценарий. Завтра происходит национальная революция. Все эти персонажи успеют спрятаться, а то и убежать. Более того, они убегут к тёплым морям, к миллионным состояниям, которые их там ждут, скрытые и закопанные по разным банкам и оффшорам. Их детишки уже там. Чего им бояться-то? Разумеется, они не хотят такого развития событий, потому что намерены нашу страну уничтожить полностью вместе с народом, чтобы править здесь вечно.

— Неужели этот среднестатистический российский короед жаждет раствориться в мигрантах?

— Простите, мигранты представляют для этих короедов гораздо меньшую угрозу, чем русские. Смотрите, как наши короеды рассуждают: «Эта страна развиваться не будет. Никакого научно-технического прогресса». Поэтому Россия, по их логике и хотению, останется навеки сырьевым придатком. Ничего, кроме добычи нефти и других полезных ископаемых. Кто для этой цели им нужен? Неквалифицированные, глупые, запуганные люди.

Так вот, русские, несмотря на всю их раздробленность и неспособность к активным действиям, всё-таки обладают «странным» ощущением, что «эта страна» — «ихняя». Посему желательно иметь население, которое точно знает, что это—не их страна, что их здесь, условно говоря, пустили

пожить только потому, что так захотело начальство. Население, которое в этом отношении будет послушно. Им нужен народ, который...

Я сейчас приведу весьма эксклюзивную формулировку, услышанную мной от одного из деятелей «Единой России», высказавшегося однажды при мне вполне откровенно. Фразу его, родившуюся во время разговора о присутствии в России среднеазиатов, нужно увековечить в граните: «А чего? Они молчат, платят и голосуют как надо!» По-моему, конгениально!

Это те три вещи, которые власти нужно от народа. Русские, они, во-первых, что-то там бурчат, во-вторых, платят плохо и, в-третьих, всё время пытаются проголосовать неправильно. Поэтому не надо нас—надо их. Причём им не нужны даже мигрантские элиты—просто сброд. Но за нами остаётся ответное «не надо!».

— Раскройте секрет: как из людей, положивших свою жизнь служению русской идее, получают писатели-фантасты? В частности, из Константина Крылова—Михаил Харитонов? Да и не только—из Крылова... А Елена Чудинова? Наталия Холмогорова? С одной стороны, они сражаются за права русских, а с другой... пишут антиутопии и фэнтези или занимаются их переводами. Согласитесь, тут уже проглядывается некая типология. Впору полюбопытствовать: где же подлинное?

— Во-первых (да не прозвучит это слишком самонадеянно), мы все—очень талантливые люди. Это как раз неудивительно. Если на Западе политик национального толка может быть человеком достаточно простым, потому что там все эти идеи лежат на поверхности, то у нас в России для того, чтобы прорваться сквозь определённый слой искусственно создаваемого внешнего шума, нужно, как правило, всё-таки обладать повышенным уровнем интеллекта.

Теперь—почему литература? Я полагаю, что для более или менее умного русского человека писательство—практически естественное занятие. Россия—литературоцентричная страна.

— Ну да, из самой читающей мы превратились в самую пишущую...

— Понимаете, в чём дело: образованный человек—он в основе своей литератор. Даже если он пишет просто письма. Скажем, читать переписку или мемуары русских политических деятелей старого времени—одно удовольствие.

— Например, переписку царя Иоанна Грозного и князя Андрея Курбского?

— Да, Господи! Допустим, даже если мы возьмём энгельгардтовские экзерсисы из деревни. Кроме того, что они интересны сами по себе, но они же ещё и хорошо написаны! Да, я рассматриваю

свою политическую деятельность как главную и основную, а что касается моего писательства... так получилось. Мне очень не нравилось практически всё, что попадалось на книжном рынке. Не было книжки, которую бы я мог взять с полки с удовольствием и почитать. Кроме всего прочего,

литература — хороший способ выразить ту часть своих мыслей, которая другим способом выражается более сложно и коряво. Можно написать трактат на эту тему, а можно — рассказ. Рассказ будет и короче, и убедительнее. Я, например, хотя и пишу фантастику, но считаю себя реалистом.

ДиН СИММЕТРИЯ

Замурованные в перламутре

Меня увлёл новый вид экстрима — нырять на глубину столетия за жемчугом симметрии Времени. На дно 1919-го. Можно, конечно, повторить подвиг Давида Тухманова, однако прогулка «По волнам моей памяти» всё равно обернётся погружением во внутреннее море.

Крест кладу: есть стихи, порождающие симметрию Времени. Но не всякие. И не у каждого автора. Ваш покорный слуга опускался, например, до Демьяна Бедного — результат предсказать трудно. Исследовал героические фьорды Гумилёва и стерегущие Китеж-град затоны Клюева, но симметрии, бегущей к 2019-му, там не находил. Я предположил, что её порождают только «посторонние» стихи, которые, западая в раковины Времени, вызывают у него болевой синдром. Время пробует их исторгнуть из своей опрометчиво разинутой полости и обволакивает перламутром. Белым, розовым, золотистым, голубым, зелёным, даже чёрным...

Я часто возвращался на поверхность ни с чем. Досадовал. Может, фокус в том, что, погружаясь в океанические гроты отечественной поэзии, мы невольно соотносим их с ларцами собственной памяти? А это, как правило, — несоразмерные объёмы. Но совпадения случаются — любимый с юности Бунин (что в памяти) и почерпнутая при очередном погружении в бунинские глубины его почерневшая «Иконка», которая, будучи поднятой на свет 2019-го, таила симметрию Времени. Автор допытывается: кто сохранил этот «убогий символ божьих сил»? Сегодня ответ очевиден: Иван Алексеевич.

А вот ещё один артефакт — «свинцовый, с выемчатым краем» тазик цирульника (так — через «у»), что по-донкихотски пожелал было примерить чудный, но заилленный Временем Георгий Шенгели. Добытая жемчужина не только отливает симметрией, но ещё и оную предполагает: «...Ужели / В своём движении повторном время / Всё теми же путями пробегает?»

Юрий Беликов

Георгий Шенгели



Сижу, окутан влажной простынёю.
Лицо покрыто пеной снеговою.
И тоненьким стальным сверчком стрекочет
Вдоль щёк моих источенная бритва.
А за дверьми шумит базар старинный,
Неспешный ветер шевелит солому,
Алеют фески, точно перец красный,
И ослик с коробами спелой сливы
Поник, и тут же старичок-торговец
Ленивое веретено вращает.
Какая глушь! Какая старь! Который
Над нами век проносится? Ужели
В своём движении повторном время
Всё теми же путями пробегает?
И вдруг цирульник подаёт мне тазик,
Свинцовый тазик с выемчатым краем,
Точь-в-точь такой, как Дон-Кихот когда-то
Взял вместо шлема в площадной цирульне.
О нет! Себя не повторяет время.
Пусть всё как встарь, но сердце вновь немо:
Носильщиком влачит сухое бремя,
Не обрета мечтательного шлема.

1919

Иван Бунин

Иконка

Иконку, чёрную дощечку,
Нашли в земле — пахали новь...
Кто перед нею ставил свечку?
В чьём сердце теплилась любовь?

Кто осветил её своею
Молитвой нищего раба,
И посох взял и вышел с нею
На степь, в шумящие хлеба,
И, поклоняясь ветрам знойным,
Стрибожьем внукам, водрузил
Над полем пыльным, беспокойным
Убогий символ божьих сил?

1919

Елена Лындина

О маяках и людях

Этюды

Остров щедрости и тепла

На Сахалин мы прилетели с Марией Тепляковой, суздальским поэтом и звонарём. Нас пригласила Сахалинская областная универсальная научная библиотека для участия в III Межрегиональном фестивале патриотической книги. Уже шесть дней на острове. До сих пор не могу поверить, осознать, что я — на Сахалине. Край земли. Это невероятно! Разве можно было мечтать об этом? Бог! Спасибо!

Поселили нас в епархии. Встретила матушка Илариона. Она оказалась совсем молодой — тридцать шесть лет. Приняли по-царски: дали две отдельные комнаты. Трудно приходили в себя после перелёта и из-за разницы во времени. В какой-то момент заснули и не вышли на обед, а разбудил нас телефонный звонок: такси ждёт. Мы — кубарем со второго этажа вниз. Внизу стоит матушка Илариона. Лицо непроницаемое. Руки скорбно сложены на белом переднике... Сколько она так простояла, прежде чем мы спустились?

— Пройдите в столовую и посмотрите, что для вас было приготовлено...

Ошеломлённые и подавленные, мы прошли в столовую. На столе был накрыт обед — море всяких вкусовостей... Давно я себя так не чувствовала. Виноватой. Как будто Родину предала. Первая мысль — съесть всё немедленно. Но нас ждала машина. Переглянулись: что делать? Маша как-то повинулась перед матушкой, загладила. Потом мы с нею подружились.

Матушка Илариона — живая, деятельная. Что её заставило постричься в монахини? Бывший учитель, бывший следователь. Носит валенки на босу ногу, живые глаза, обрамлённые апостольником. Мне показалось, что она скучает. Без общения, без тепла. Без жизни. Не знаю ещё без чего. Мне это пока не понять.

Я спросила её о школе звонарей. Она сухо вато послала к архиерею.

— Мы и сами думали об этом, но возможности...

Видно было, что ей это не очень интересно. Из отговорок — деньги, никто не пойдёт... Хотя деньги — вряд ли причина. И в то, что не пойдут, не верю. Пойдут, и ещё как. Колокола позовут. Я знаю, как это, когда стоишь на колокольне, как на вершине: под тобой — дали, над тобой — небо,

и ты — между. Звонишь. Умело ли, неумело... Ощущение перспективы и силы, и ты как будто движим этой силой, или она движется тобой... Основная задача звона — позвать людей на службу, в храм. Колокольный звон завораживает, очищает. Я беру шире: позвать к Богу, в Храм... На Сахалине везде электронные звонари. Честно говоря, возникает неприятное ощущение, когда колокола сами по себе начинают движение. Даже страшно. В храме в Александровске-Сахалинском электронный звонарь сделан так, что живой человек уже не позвонит. Обычно всё-таки делают так, что может и человек позвонить. Сейчас по всей стране активно восстанавливают церкви, возрождают колокольный звон. Всё больше храмов обзаводятся колоколами. И во многих местах к живым колоколам ставят электронного звонаря. Зачем это делают? Наверное, это удобно. Не надо искать, учить, воспитывать звонаря. Понятно, что человеческий фактор — это часто проблема. Наверное... Но ведь, с другой стороны, человек — ключ ко всему... А электронный звонарь, по моему мнению, — какая-то подмена, имитация чего-то настоящего, живого. Теряется сама идея! Я общалась со звонарями, это люди увлечённые, на своей волне, почти как поэты. И в любом селе найдётся такой человек. Только позови. И уж если звать молодёжь в храм, то школа звонарей — идеальное место для этого...

Обедали вместе в трапезной. Матушка Илариона ушла, потом вдруг вернулась:

— А я тоже попою чаю...

Проговорили почти два часа. Рассказала о своих сомнениях, когда увидела нас впервые. В джинсах, стрижённых, без платков. Хиппи какие-то. Рассказала о себе. Родилась на Сахалине. Родители из Иваново (чужды дела Твои, Господи!), уехали на родину. Она — вместе с ними, но в 2011 году вернулась.

— Я так люблю Сахалин!

Глаза озорные. При этом видно: властная, строгая. Спросила, чем я занимаюсь. Я, как обычно, замялась. Старая привычка — стесняться своей работы. А она говорит:

— Надо же... водитель такси... в Москве... да вы — подвижница! Надо вас к нам. Постричь в монахини.

Нам такие кадры нужны. Дети есть? Сын? Сколько лет? Двадцать два! О, вырос, пострижём! Чего так болтаться?

Ну, не знаю. Да я и не болтаюсь. Держу ось, как могу. Мне это совсем не близко. И знаю точно, что много раз была стрижена. Была и монахом, и монахиней. И православным, и буддийским. Достаточно. Для меня это сродни страху пройти свою дорогу, уходу от ответственности. Могу и ошибаться... Но о том молчу.

Я так люблю жизнь. Столько жизни вокруг...

Мы опять в самолёте. Теперь обратно, домой. Сахалин стал таким родным и тёплым. Таким же невероятным. Как из сказки. Всё-таки как Жизнь, как Бог нас любят! Как берегут! Какие невероятные подарки делают! Десять дней встреч, выступлений, работы. Десять дней теплоты, радости, удивления, впечатлений. Столько прекрасных людей. Наша милая сопровождающая Маша Тепкина. Доброжелательная, чуткая, корректная, всегда готовая помочь. Поэт Владимир Семенчик, который на правах местного рассказывал много и постоянно, но при этом совсем не грузил. Очень лёгкий и приятный человек, мужчина и кавалер. Хмурый, серьёзный Павел Басинский. Трогательно было наблюдать, как он оттаял, когда в очередной школе обступили его дети гурьбой и брали автограф. Как потеплело его лицо и залучились глаза. Он снял очки и смущённо улыбался...

Матушка Илариона. Готова засмеяться, но сдерживает себя во всём. Строгая и одновременно заботливая. Я, наверное,—может, и не впервые, а может, и впервые,—почувствовала себя ребёнком, о котором заботятся, которому дают всё самое лучшее, всё самое вкусненькое. Матушка Илариона на своей волне. В любой момент готова начать рассказывать о вере, о храме. Опять звала меня постричься в монахини:

— Нам такие кадры нужны. Ответственные, надёжные и преданные.

Говорю:

— Вот бы к вам приехать ещё...

— Приезжай! Не обязательно сразу стричься. Можно трудником. Сайт тебе сразу отдам вести. Я не успеваю. Дел много. Жить есть где. Кормить — прокормим.

Горячие её проповеди где-то близки мне, где-то категорически нет. Но меня это даже вдохновило. Что можно когда-нибудь взять билет и поехать к ним. Оставить всё. Может, на три месяца, может, на год. Как Бог даст. Это почти как я хотела — завербоваться на судно и уйти в море. На край земли. А вот тут он и есть...

Пятнадцатого октября — триумфальный концерт Маши на колокольне кафедрального собора Южно-Сахалинска. Я много слышала звонов, но тут было что-то симфонически-эпохальное. Ритм

овладел всем, и, как Маша говорит, «колокола на мне играли». Это был какой-то Шостакович. Конечно же, в самый интересный момент кончилось место на телефоне, и снять всё не удалось. Я так огорчилась, что не сразу справилась. Ни камеры у нас нет. Ни даже карты памяти объёмной нет. Ну да ладно...

После колоколов помчались в воскресную школу. Матушка Илариона вывела нас служебным ходом. Быстрее, быстрее... Потом на архиерейском джипе с нею и Василием — молодым парнем, видимо, водителем архиерея, — поехали в Долинск. Там подхватили отца Вячеслава (Каличаву). Батя, батюничок, батюнечка — так нежно звала его матушка Илариона. Бывший шахтёр, настоящий мужчина. Сейчас отец. Настоятель восьми (!) приходов. Настоящий подвижник. По очереди служит во всех восьми. У него с шахтёрских времён травма шеи. От этого дефект речи. Сначала вообще было непонятно, что он говорит. Но потом удивительным образом — то ли настраиваешься, то ли ещё как, — но всё вдруг становится понятным. Светлейший человек, ставший к концу поездки совсем не чужим. В вязаной шапочке с вызванным крестом. Очень скромно одетый. Да и сам очень скромный человек.

Он сел в джип, и мы поехали в Быков. Бывший город, теперь село, где жила Машина прабабушка Мария. Приехали на кладбище, там разделились, стали искать могилу. Да где там... Разве найдёшь? Кладбище запущено, неровные участки и могилы прямо на дорожках. Много, очень много брошенных могил. Скромные пирамидки из арматуры... Повалившиеся, покосившиеся. Такие пирамидки рассматривали особо. Бабушка Маша умерла в 1983 году. Сын Эдуард, видимо, ненадолго её пережил. И вряд ли стоило искать могилку с памятником...

Несколькими днями ранее мы уже приезжали в Быков и нашли квартиру, где она жила. Номер четыре. На первом этаже. Окна заколочены. Дверь толкнули — открылась. Зашли. Внутри — беспорядок и разруха. Грязь. Мусор. Ушедшая жизнь. Бледные обои. Попыталась представить, как она тут жила. Задёргивала занавески, подметала, пила чай и вязала. В доме напротив нашли бабульку. — Фурмановы? Помню. В четвёртой квартире жили, в доме напротив...

Маша просит:

— Расскажите, какая она была?

— Деточка, разве я помню? Полненькая такая. Вязала. Хорошая такая бабушка...

Идём по кладбищу и разглядываем надписи. Тщетно. От многих могил остались только пирамидки. Надписи с них исчезли. Солнце. Небо синее. Вороны кричат. Маша поднимает глаза к небу. Где ты? Хорошая такая бабушка...

Отец Вячеслав перед кладбищенским крестом отслужил литию, панихиду. В листок попросила

Машу вписать своего папу, Иоанна. А также деда моего Пантелеймона и бабушку Александру. Делал ли кто это для них когда? Они родились до революции. Тогда всех крестили. Думаю, и они крещёные. И папа.

...Смотрю на себя в зеркало. У меня появились седые волосы. Мне сорок семь лет. В это трудно поверить. Пора надежд прошла. Пора ожиданий тоже. А я всё ещё надеюсь на что-то. Надеюсь на любовь, надеюсь на то, что есть впереди будущее, свершения... Что я за человек? К сорока семи годам я этого так и не узнала. Какая я? Что я могу? Чего достойна? Можно ли меня любить? Мой старший друг Н говорит: «Увидьте, наконец! Всё, что вы задумывали, всё у вас получилось. Увидьте, наконец! Бог любит вас». А я всё никак не могу поверить. А я всё сомневаюсь. Все говорят о какой-то моей силе. О духовном стержне. Боже! Открой мне это!

В разговоре Н сделала мне неожиданный подарок — озвучила мою основную задачу: служить Высшему. Не человеку — Высшему. Видимо, это же прочитала матушка Илариона. Но служить Богу можно не только в монашестве. Но и в миру. Это даже труднее делать. Только меня всегда сносит на человека. И я начинаю служить человеку. Делу. Ерунде всякой...

После Быкова мы поехали в сторону Загорска¹. Там сначала жила Машина прабабушка. Работала в ламповой на шахте. Об этом Загорске никто ничего не мог сказать — нет такого на Сахалине. И только приехав в Быков, мы узнали: да, Загорск есть. Вернее, был. Через гору от Быкова. Три тысячи жителей было. Школа. Клуб. Поликлиника. Сейчас полностью вымер. В этом году шахте семьдесят лет. Шахтёров было немного, и все знали друг друга. В шахте страшно. Везде капает. Брёвна, стойки. Тусклый свет. Шахтёр выходил из забоя весь чёрный, хотя внизу уже мылся. Выходил и радовался солнцу. Обычно мы не понимаем, что такое солнце, небо. Шахтёр понимает... На машине от Быкова до Загорска километров двадцать пять — тридцать. Люди добирались через шахту: семьсот сорок ступеней вниз, далее — по рельсам, в вагонетках. Минут пятнадцать всего.

Поехали к порогам, что в пяти-шести километрах от Быкова. Дорога — как в кино: то ли грунтовка, то ли что. Где асфальт с разметкой? Где большие дома и огромные торговые центры с кинотеатрами, в которых толпы людей, живущих только дорогой, работой, домом, хлопотами, а из «духовной» и «культурной» жизни — посещение с детьми гигантского торгового центра и нескончаемый шопинг?..

Дорога петляла между сопок, поросших деревьями. Где-то сопки жёлтые, где-то зелёные. Внизу

1. Исчезнувший посёлок Загорский в городском округе «Долинский».

бурлит река Красноярка. То покажется, то пропадёт. Из людей — только мы на архиерейском джипе. К порогам с дороги надо свернуть. Там вообще одни ухабы и горки. Между деревьями машина еле помещается. Василий сомневается: проедем ли? Может, лучше пешком? Я его понимаю... Отец Вячеслав благословляет ехать. Матушка Илариона смеётся и подшучивает над Василием:

— Едь! Батюнечка благословил!

...Эту поездку благословили архиерей. Владыка Тихон. Здоровый такой. С гривой седых волос. Бороду направляет под ряссу. Борода большая, пышная, окладистая. Подошли на благословение. Я оробела. Неуютно. Не знаю всех этих правил. Но он довольно прост в общении, приветлив, с юмором.

Четырнадцатое октября. Большой праздник — Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Стол ломится: и рыба ста сорока сортов, и мясо, и крабы, и салаты... Кто-то ему звонит, он отвечает, шутит:

— А мы, как всегда, голодаем, есть нечего!

Предложил выпить. Отказываемся. Маша пьёт антибиотики, и ей прощается. Мне пришлось отдуваться за обеих. Водка! Я её не пила, наверное, лет десять. Отказы не принимаются. Говорю: сейчас напьюсь и буду танцевать на столе. Владыка благословил! Пей, ничего не будет!..

О! Эта извечная тоска по простому и понятно-му! Благословил — делай, не сомневайся! Как часто не хватает этой ясности в жизни. С одной стороны. С другой стороны — перестаёшь принимать решения и нести ответственность. Хорошо ли это?..

...Мы наверху. Вниз — отвесно. Внизу горная река скатывается по каскаду порогов. Душа сжимается от страха и от восторга. Скала выдаётся над речкой. На самом краю — старая берёза. В чём укореняется? Страшно. Но тянет к краю. Отец Каличава — первый. Я за ним. И боязно, и пьянит. Когда подошла Маша, всё внутри обвалилось — даже просто смотреть страшно. Всё! Хорошо! Осторожнее...

Отец Вячеслав рассказывает: однажды тут упал парень. Вернулся из зоны. Пока летел, взмолился: Господи, спаси! Остался жив. Даже не сломал ничего. И это невероятно, настоящее чудо. Только Господь мог так сберечь. Парень пришёл к отцу Вячеславу, рассказал всё и говорит: отче, я уверовал...

Определённо, это место силы. И красоты. Состояние полётное. Спасибо Тебе, Господи, за такой подарок. Спасибо тебе, матушка Илариона, за эту поездку. Спасибо тебе, батюнечка Вячеслав. За твоё внимание, за то, что смог найти время, возможность провести нас сюда, спасибо за твою прекрасную душу и щедрое сердце.

Маша мечтала попасть в Загорск. Но матушка Илариона сетовала: нет времени, нет возможности. А тут, у порогов, вдруг сама говорит:

— Батюнечка, может, уже доедем до Загорска?

Поехали! Отец Каличава раньше сам работал на этой шахте, там и получил травму. Знает здесь всё и вся. Подъезжаем к Загорску. К бывшему Загорску. Несколько разрушенных домов справа по борту, настоящие руины. Выехали на пятак и остановились. Отец Вячеслав указывает вверх на гору, поросшую деревьями: здесь был клуб. Какой клуб? Какой? Никаких следов.

Прошло всего лет сорок, а от человека не осталось никаких следов. Никаких. Отец Вячеслав машет рукой вправо: там, за мостом, была школа. Мост через реку Красноярку. Маша рассказывала про свою бабушку Лиду, которая на спор прыгнула с этого моста в реку, прямо в пальто и ботинках, а потом заболела и не пошла на первомайскую демонстрацию, — горячая какая! Истории оживают.

За мостом чернеет шахта. Почти разрушенная. Остов здания. Несколько этажей.

— Там была ламповая, — говорит отец Вячеслав.

Под ногами — уголь. На небе облако с двумя глазами — кто-то смотрит за нами. И кто-то сел с нами в машину проводить. Это стало понятно у источника, который мы сначала чуть не проехали, а потом вернулись задним ходом. У источника, на дереве — икона. На ветке — чашка. Пей! Набрали воды с собой. Напротив источника небольшой домик. Похоже, он один здесь жив. Удома — будка и пёс. Отец Вячеслав говорит: чья-то дача. Почему-то очень радуешься этому живому посреди всего бывшего. Когда сели в машину и поехали, было ощущение, что кто-то остался. Кто-то от бывшего центра Загорска, от моста, от шахты проводил нас до источника. И там остался...

Все притихли. Как будто стали свидетелями и соучастниками чего-то. А у меня было чёткое ощущение, что я попала в какой-то фильм. Сколько раз я смотрела кино и удивлялась: ну вот напридумывают — такого не бывает и быть не может. И вот я попала прямоком вот в это — «такого не бывает и быть не может»...

До Быкова доехали очень быстро. Дальше — Долинск. Удома Каличавы нас встретила его матушка. Есть люди, которых видно сразу: хороший человек. Как это ни банально звучит. Нас усадили за стол. Пили чай с чем Бог послал: с вареньем и булочками. Простой дом, простой быт. За короткое время отец Вячеслав стал близким и родным. Куда-то пошёл и вынес всем по банке замороженной икры. Василий и матушка Илариона отдали нам свои. Дары духовные. Дары материальные...

Снижаемся. Одиннадцать сорок четыре. Заложил уши. Плачет ребёнок. Скорость — восемьсот шестьдесят три километра в час. Высота уже семь тысяч шестьсот пятнадцать метров, до пункта назначения — двадцать одна минута. Температура в Москве — плюс пять. Спасибо, Сахалин. Посадка.

Дыщ-тыдыщ

Дорога выбегает из Суздаля. Налево — поворот на Кибол. Мы едем дальше, в село Менчаково. Сворачиваем направо, асфальт становится всё хуже, трещины паутиной разбегаются в разные стороны. Доезжаем до леса, снова направо, и вот мы осторожно крадёмся по грунтовке, переправляясь через ямы и бережно объезжая кучугуры. Ещё один едва приметный поворот направо. Прямо в сосны и высокие травы. Дороги нет вообще. Здесь просто несколько раз проезжала машина. По примятой траве находим путь к дому. Да это и не дом даже. Две бытовки, стоящие друг напротив друга, под общей крышей. Между ними строганный стол, простые скамейки, диван, раковина. С обеих сторон раздвижные двери из прозрачного плексигласа. Если их закрыть, получается летняя веранда. Хозяева — Ипполита и Костя. Костя — архитектор, сам придумал такую остроумную конструкцию из бытовок.

Мы приехали большой компанией: я, Маша, её муж Родион, их дети София и Василиса. Там уже были Митя и Маша — детки Ипполиты и Кости, несколько соседских девочек, Таня, мама Ипполиты, и Лена Буданова, гостя из Мстёры. Дети радовались встрече — давно не виделись — и тут же убежали гурьбой на батут. Таня жарила шашлыки. Мангал стоял перед домиком, и многообещающие запахи кружили голову. Накрыли длинный простой стол. Хлеб, помидоры, огурцы. Соседка принесла салат к шашлыкам. Таня на остатках угля поджарила чёрный хлеб. Как же это вкусно!

Родион зашёл в одну из бытовок и обнаружил там... барабаны! Ударную установку. Дети мигом собрались возле него. А он начал играть. И так. И сак. На барабаны и тарелки накинул по полотенцу, но звук всё равно был слишком громким для тишины вокруг. Родион увлёкся. Становилось всё громче, ритм страстно нарастал. И вдруг — смолк... Из комнатки вышла понуро Таня. В руках она держала огромный топор. Как ни в чём не бывало она прошла на улицу, к костру. А мы затихли, гадая о судьбе Родиона...

Дыщ-тыдыщ! — раздались удары по тарелкам. Все выдохнули и рассмеялись.

Ключи

Едем в Санино. Люблю туда ездить. Примерно двадцать километров от Суздаля в сторону Кидекши. Узкая дорога почти всегда пустынна. По бокам лес. Кидекша, Песочное. Ещё немного проехать — и поворот направо. Маленькая деревенька Пруды. Дома почти все ухоженные и аккуратные. Опять лес. Слева чьи-то уголья, и вот уже видна колокольня и белый храм. Санино. Небольшая площадка для машин. С одной стороны — храм, с другой уходит тропинка к источнику. Источник — небольшая избушка на речушке с нежным именем

Учка. Рядом — брёвнышки вместо лавок. Правее — пятиугольная железная беседка со скамейками. Сегодня мало людей. От источника возвращались несколько человек — значит, очереди нет...

Мне нравится, когда здесь никого нет. На двери иконка и молитва, простая щеколда. Внутри, прямо в полу, — колодец и ведро на цепи. Ещё штук семь вёдер для обливания, ковшики. Полочка, и на ней иконы. Ящик для пожертвований. Два чистых холщовых полотенца. Несколько простых гвоздей вбиты в брёвна. Для одежды. Целлофановая занавеска, лавка и душевой поддон, вделанный в пол.

Быстро раздеваюсь. Ведро ледяной воды — прямо на голову. Вода обжигает, и к этому не подготовишься. Во имя Отца... и Сына... и Святого Духа... аминь. И так — три ведра. Много где обливалась, но такого эффекта больше нигде не встречала. Такая внутренняя тишина и умиротворение, покой. В голове всё становится на место, проясняется...

Вода обжигает, зубы стучат, тело дрожит — так выходит печаль и тревога. Внутри молитва: «Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою...»

Я вытираюсь, одеваюсь и выхожу на солнце. Сажусь в беседку. Солнце обогревает и отогревает, сидишь и ни о чём не тревожишься. Всё у тебя хорошо, и всё тебе хорошо. Целый день бы так просидела...

Тихо иду по тропинке в сторону храма. Тут их два. Так раньше строили. Летний — большой. И зимний — маленький, чтобы можно было зимой протопить. Летний — Никольская церковь. Зимний — Покровская. Всё это — Свято-Никольский женский монастырь. До революции он был приписан к подворью Спасо-Евфимиева монастыря.

Прежде я заходила только в летний храм, зимний был закрыт. Сегодня Покровская церковь открыта, и мы сразу пошли туда. Церковь старая, не реставрированная, без золота и роскоши. Правда, говорят, что старинные иконы тут самообновляются, и объяснений этому нет...

Внутри никого. Или почти никого. Икона Серафима Саровского, заступника женщин. Серафим внимательно и строго смотрит на меня. Он всегда так смотрит... Прошу помощи и наставления...

Подхожу к другой иконе — «Утоли моя печали». Она вся увешана цепочками, крестиками и колбасками. Так обычно люди благодарят за чудотворную помощь...

Неожиданно из-за колонны появилась женщина с мальчиком лет шести. У мальчика дцп, и он едва ковыляет. Женщина достаточно молодая, похожа на блаженненькую. Прямой наводкой — ко мне. — Елена, что вам рассказать об обителе? Или вы, наверное, всё знаете? Рассказать вам?

От неожиданности я опешила. Ну не Алла же я Пугачёва, в конце концов, чтоб все знали, как меня зовут... Мои спутники растворились, и мы

остались с женщиной и мальчиком одни. Только икона «Утоли моя печали» была с нами.

— Что-то слышала, что-то знаю. Но не уверена, что знаю всё.

Знаю, что обитель достаточно древняя, построенная силами и на средства сельчан. После революции храмы не были разорены и разграблены благодаря изобретательности тайной монахини и старосты сестры Ангелины (Семёновой). Когда приезжали всевозможные комиссии, она закрывала храм и пряталась в лесу. Потом и вовсе закопала там ключи. Власти потребовали отдать их — отказалась, за что и попала в лагерь на пятнадцать лет. Спустя годы вернулась и ключи из тайного места достала... — Ну хорошо, — заикаясь, сказала женщина. — А вы знаете, что у нас тут свод мироточил? Печку топили прямо в храме, потолок был закопчён, прямо по этой черноте и замироточил... — она показала на потрескавшийся свод над входом. — Потом у нас ещё несколько икон мироточило... Это чудо! Ну, вы тут побудьте сами, помолитесь.

Смутившись, она исчезла так же внезапно, как и появилась.

Сами сёстры говорят, что ключи теперь чудотворные. И если постучать ими по спине — все хвори пройдут.

В 2001 году обитель приписали к подворью Богородице-Рождественского мужского монастыря города Владимира, и здесь образовалась Свято-Никольская женская община. Сейчас здесь живут семь сестёр. В основном преклонных лет, и им очень трудно приходится. Работать они уже не могут, а дел полно.

Мы выходим из Покровской церкви и идём в Никольскую. Красивый белый храм с колокольней. В храме никого нет. Только солнце в высокие окна. А, нет — за ящиком сидит монахиня. Свечи, иконы, чётки. Вот и те самые ключи. Старинные. Их два — в пол-локтя величиной. Просим позволения, и моя спутница начинает «простукивать» меня по позвоночнику. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа... Потом от плеча к плечу: Святый Боже, Святый Крепкий, помилуй нас. Получился крест. Потом так же спереди: Богородице Дево, радуйся, — вдоль тела. И поперёк: слава Тебе, Боже наш, слава Тебе... Затем — голова, начиная с макушки и по бокам. Голова будто открывалась и соединялась с небом. Что стало происходить внутри, не расскажешь. Да, наверное, и не надо — пусть это останется в тайне.

Я взяла ключи в руки. Теперь, похоже, соглашусь, что они необычные. И не только по форме. Тяжёлые, на огромном кольце. С молитвой «простучала» сына подруги. Неуёмный мальчишка сразу успокоился, зажмурился и стал сам подставлять кудрявую голову под ключи...

Пятнадцать лет они пролежали в земле, но ими до сих открывают и закрывают храм.

Вышла на улицу. Присела на поддоны... И во мне сегодня что-то закрылось, а что-то открылось.

Солнце просеивало небо...

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе...

О маяках и людях

1.

Встречались с Борисом Кипнисом. Удивительное сочетание жизни и ухода, который уже машет ему рукой, маячит впереди. Восемьдесят четыре года, блокадник, кинооператор. Красавец даже сейчас. Жизнелюб. Богатая на события жизнь. Рассказывал, что в молодости у него был пышный чуб, золотая фикса и брюки клёш. Флотский ремень с пряжкой. Пряжку утяжеляли свинцом, чтобы в драке отбиваться. Был такой район в Ленинграде, куда человек в шляпе и очках даже зайти не мог. Бандитский район, где блатные назначали всякие разборки. Даже менты туда по одному не ходили. Только втроем-вчетвером. Иначе разденут до трусов. Борис хитро улыбается и добавляет:

— А то и трусы снимут...

Борис—еврей. Говорит, что в армии прыгал с парашютом и ввязывался во все драки, только чтоб не сказали: а, он еврей, трус! Смеётся: был бы русским—никогда б не прыгнул!

Сейчас Борис почти лысый. У него трясутся руки—старческий тремор. Старается шутить, но очень стесняется, что не может размешать сахар в чашке и откусить пирог. Сделать вид, что ничего не происходит, не получается. Размешиваем сахар и кормим его пирогом. Утешаем, а он отшучивается. Он всё понимает. Мы всё понимаем.

— Борис Михалыч! А какие самые лучшие годы?

— Средние. Когда ты уже что-то понимаешь и ещё можешь. В молодости ты всё «хаваешь» задаром. Всё подряд, не различая вкуса. В пятьдесят уже различаешь...

Рассказывает про свою жену. Как с ней познакомился, как поженились. Какая она хорошая.

— Борис Михалыч, не жалеешь?

— Конечно, жалею. Надо было оставаться холостяком.

— Почему?

— Творческий путь сложился бы интереснее. Семья отвлекает—её нужно обеспечивать... Жену, к сожалению, мало что интересует, кроме простых материальных вещей. Хоть она и вращалась в молодости в культурных кругах, но чувствовала постоянное напряжение, которое просило от неё какой-то работы, но ей не хотелось, неинтересно. А у меня богатый внутренний мир, внутренняя жизнь. Жаль, что не могу уже ничего...— с горечью говорит он.

Мы идём в кафе «Север», и Борис традиционно «гуляет» нас. Берём пирожные, пироги и капучино—всё, что душа пожелает. Борис платит

и счастлив своим гусарством. Чувствует жизнь и не хочет расставаться. Мечтает...

— А поехали вместе за бугор на машине?

У него маленький красный «Гранд Витара», который он до сих пор водит. И достаточно энергично. Подносит ключ к зажиганию. Рука трясётся, и он не сразу попадает в замок.

— Поехали? В Германию или ещё куда...

— Когда, Борис Михалыч?

— А когда скажете...

— Борис Михалыч, давайте,—соглашаемся.

И я отчётливо понимаю, что этого не будет никогда. И это впервые. Потому что всё возможно, всё реально. А этому не бывать...

— Борис Михалыч, а что вы думаете о любви?

— Любовь—это всё, любовь—это движитель всего...

Он ведёт достаточно активную жизнь: посещает выставки и театры. Снова шутит над своей немощью. Внезапно серьёзнее.

— Проблема в общении,—называет имя.—Один он остался. Ему восемьдесят два года. Все остальные друзья умерли...

Борис Михалыч ведёт свой джипик даже слишком аккуратно—видимо, учитывает своё состояние. Незло поругивается на соседей по дороге, которые нарушают правила, комментирует их манёвры. В манере езды чувствуется, что раньше ездил лихо. Странное сочетание—жизни и прощания с нею...

Напоследок дарит по маленькой китайской чашечке. Провожает нас до метро. Глаза слезятся от холодного и пронизывающего ветра. Или плачет?... Целует нас и обнимает, не хочет прощаться...

Я целую его в небритую щёку.

Увидимся ли ещё?

2.

После дедушки Кипниса мы поехали в гости к Диме Токмакову—калининградскому Машиному другу. Съёмная двухкомнатная квартира на Лиговском. Минимум мебели. Нас угощают. Приходит Янит—подруга Димы. Маленькая женщина, чёрненькая, с аппетитными формами. Янит с еврейского—голубь. Она психолог, работает в школе. Ей двадцать восемь лет. Приятный и чистый человек. Немного идеализированные представления о жизни, несмотря на профессию.

Дима—тоже психолог. Когда-то давно, триста лет тому назад, он открыл в Калининграде клуб авторской песни «Подорожник». Принцип: все, кому есть что сказать,—добро пожаловать. В «Подорожнике» было принято обниматься при встрече. Новенькие часто были не готовы к подобной душевности, но быстро привыкали и уже без усилий обнимались.

Диме пятьдесят один или пятьдесят два года. У него взрослые сын и дочь, которых он по

каким-то причинам растил сам. Ему никогда и ни за что не дашь его возраста. Красавец-мужчина: крепкая фигура, лысая голова и борода лопатой. Если сбрить бороду, больше тридцати—тридцати пяти лет не дашь. Спортивен и подвижен—внутри и снаружи. Увлекается цигун и изучает массаж по точкам. Умён, образован, полон. От него идёт такая волна спокойствия, как будто он что-то разглаживает в пространстве. Благоразумен, но не скучен. Разговаривать с ним приятно и интересно. Полное ощущение, что мы с ним одни книги читали. После множества православных людей и их разглагольствований о грехе ощущение, что чистого воздуха глотнул и идёшь не по минному полю, а смело шагаешь вперёд. Всегда приятно встретить нормального мужика. Дима недавно переехал из Калининграда в Питер—сделал себе подарок на пятидесятилетие—и сейчас обустраивается.

Просидели у них довольно долго, потом поехали на Васильевский остров—место нашей дислокации. От метро пешком по «Яндекс.Картам», послушно поворачивая за линией маршрута. Зашли домой, бросили вещи и решили погулять. В полночь-то чего не прогуляться?..

Пошли наугад до реки, потом налево и дальше, дальше. По дороге встретилось несколько кладбищ. Армянское, декабристское, ещё какие-то. Видимо, это комплекс Смоленского кладбища. Мороз. Снег скрипит под ногами. Спустились с обрыва, перешли реку по льду, перелезли через забор. Маша периодически приглашала прогуляться по очередному кладбищу.

— Нет, спасибо.

— Боишься?

— Нет, мне туда не надо.

Шли кучугурами и тропинками

— Страшно тебе?—несколько раз спросила Маша.

— Нет. Не страшно. Спокойно. Хорошо.

Я вспомнила Освенцим. Приехали туда в час или два ночи. Поселились в гостинице. Поставили машину. Я устала: длинный перегон, незнакомые дороги, по которым мы каким-то чудесным образом попали туда, куда надо. Завтра сам Освенцим и опять километров четыреста до Кракова... Но Маша настаивает: «Пойдём, прямо сейчас. Я не могу спать». — «Ладно, пойдём». Освенцим—маленький аккуратный городок, несколько улиц. Ночь. Волшебно пахнет выпечкой из пекарен. Ни души. Мы топаем по улицам и слышим свои шаги. Где-то далеко поезд—раздаются гудки. Я всегда очень любила звук идущего поезда—уютно. Но здесь меня охватывает ужас. Животный страх. Мы идём. Ужас нарастает. Звуки поезда становятся зловещими. Улицы пусты и чисты—нечего бояться. Но я с трудом иду. Никогда в жизни мне не было так страшно. Деревья, фонари, тени, поезд... Мы идём по «Гугл.Картам» к лагерю. Как на следующий день оказалось, подошли к нему с другой стороны,

с задков. Какой-то звук заставляет сжаться меня ещё сильнее. Это храпит бомж. Спит на остановке, и в зловещей тишине—его могучий храп. Август. Тени от деревьев. Подходим к воротам. Вышки и колючая проволока. Надпись на воротах—на немецком и польском. От ворот внутрь уходит дорога. От страха я уже не понимаю, что происходит. Мне кажется, сейчас с вышки по нам начнут стрелять. Я никогда особо не интересовалась этой темой, ничего не читала и не смотрела. Знала лишь то, что знает любой советский школьник. Откуда этот леденящий ужас? Господи, неужели я была здесь? Видимо, да...

— Страшно тебе?—спрашивает моя спутница.

— Нет. Не страшно. Спокойно.

Я сама с собой. Приятно идти так и скрипеть снегом. Сапоги дорогу знают, только ноги поднимай...

Мы выбрались из кушаров опять к дорогам, машинам и домам. Обошли весь комплекс Смоленского кладбища.

— Крестный ход у нас тобой получился,—замечает Маша.

Время от времени на ограде появляются таблички: «Смоленское кладбище. Часы работы: с 10:00 до 19:00». Так буднично, как офис или магазин...

Вернулись в начале третьего ночи. Ни усталости, ни тревог, ни желаний.

Утром встали и поехали к Иоанну Кронштадтскому. Основной храм на втором этаже был закрыт. Открыт маленький—усыпальница Иоанна. Я ничего о нём не знаю, но было утешительно. Православные тётенки истово читают молитвы перед ракой с мощами. У Маши были записки из Суздаля к Иоанну. У женщины «на ящике» мы спросили, что с ними делать. Оказывается, надо затолкать под раку.

Храм стоит на реке Карповке. Подошла к ограде. По перилам пешком ходят голуби. Некоторые—с оранжевыми глазами. Смелые. Не улетают. Почти как в Венеции, только на руку всё-таки не садятся. Солнце. Так хорошо, ничего не надо...

А, нет. Всё-таки надо. Захотелось есть, и мы зашли в небольшую столовую, которая оказалась по дороге. Удивительно, но в Питере на каждом шагу столовые, где можно поесть и вполне себе недорого. Не то что в Москве, где одни рестораны, кафе, дорожные «Шоколадницы» и прочие «Кофе-Хаузы», где чашка кофе стоит как самолёт, а по вкусу—как «три в одном». На худой конец—«Макдональдсы», они бездушны и мало отстают по ценам.

В столовой к нам присоединился вчерашний Дима, гулявший неподалёку. Мы уже поели и берём на всех чай. Неспешно сидим. Разговариваем, хохочем. Делаем потешные селфи. Дима рассказывает про реперные точки и маяки. Оказывается, при любых войнах маяки никогда не бомбили,

не обстреливали, не вводили войска. Это такая неприкосновенная территория, нерушимый тотальный ориентир, который всегда есть. Интересно. Я не знала. Меня столько раз называли маяком...

Сегодня у нас ещё посещение Максима. Максим Якубсон. Режиссёр. Человек с глазами и бородой. Субтильного телосложения. Живёт на Большой Подъяческой. Из всех я больше привыкла ориентироваться на местности и периодически подправляла маршрут. Идём по улицам, где я никогда не бывала, но совсем нет ощущения незнакомого места. Заходим в магазин с камнями. Не удержалась и купила шампунь с шунгитом. Дима вышел чуть позже. Разжимает кулак: на ладони два розовых камешка — сердолики.

— Выбирайте! Говорят, этот камень защищает от зависти.

— Годится!

Никогда не могла понять, чему, но мне часто завидуют. Пусть теперь защищает... Приятно.

Неву решаем переходить не по мосту, а по льду. Она полностью встала, как тогда, в блокаду. Я никогда не ходила по Неве. На середине реки широкая борозда — взломанный лёд. Солнце играет на кристаллах. Попробовали — замёрзло накрепко. Красота завораживает. Даже в Русском музее не забарикадироваться от той красоты... Хочется сфотографировать всё. С Димой легко, нет напряжения, не надо вымучивать разговор. Успеваешь уделить внимание всем. Звонит невозмутимый Максим. — Аллё, вы где? — характерно спрашивает он. — А, ну это ещё полчаса. Жду.

От мороза у всех наконец-то разряжаются телефоны, и можно идти спокойно, не фотографировать. Впереди Исаакиевский собор. В небе чертит белым самолёт.

Нас встречает Максим. Усаживаемся на кухне, и сам собой готовится ужин из топора. Максим с виду мягкий, но такой в нём чувствуется стержень. Приходит его жена Наташа, художница. Инопланетная и на своей волне: что ей не надо — проплывает мимо, не касаясь, как будто и не слышит вовсе. Но всё слышит. И что ей интересно — внезапно вскидывается и просыпается. Приходит дочка Сима. Красивая, живая и тёплая девушка лет двадцати. Следом — Артём, подросток с трудным характером. Все как-то помещаются на маленькой кухне, всем хватает еды. Такое ощущение, что тремя хлебами наелись.

Нам пора. Нас провожают до маршрутки. Маршрутка, как по заказу, идёт на Васильевский остров. Поезд в ноль сорок.

Москва встретила, как всегда, напряжением и ощущением, что всё очень трудно. Метро лишило последних сил.

Хорошо, что есть дом. Пристань. Хоть и нет порядка, какого б хотелось. Ну, значит, и есть к чему стремиться...

Праздников праздник

Христос воскрес! — и ты воскресни!

Л. Губанов

Весна в этом году не спешит. Ночью ещё мороз, а днём — понемногу отогревается. Хмурое тихое утро. Суббота. Машин ещё мало, и пробок нет. Сегодня вечером Пасха. Впервые за несколько лет я не в Суздале. Не в храме на праздничной службе.

Дали заказ: из Домодедово — в гостиницу неподалёку. Пассажир — щуплый мужчина невысокого роста. Спрашивает: что, и завтра будете работать? Праздник же...

Праздник... Да, буду работать. Я не олигарх. И в праздник надо кому-то лечить и возить. Господь простит.

В прошлом году на Пасху я была в Суздале. Началась праздничная служба в Успенском храме. Под звон Валеры Гаранина прошли крестным ходом в кремль. На пороге остановились. Батюшки окружили отца Арсения, а он, окропляя всех водой, кричал: «Христос воскрес! Христос воскрес!» Народ дружно в ответ: «Воистину воскрес! Воистину воскрес!»

Отвечаю вместе со всеми, в душе — ликование, и мурашки по коже. Отец Арсений и священники зашли в храм. Мы за ними. Суздальский кремль очень древний. Пол из железных плит. Холодно, как зимой. Потом выяснилось, что кремль отапливается круглогодично. Но холодно там даже летом. На Пасху всегда долгая служба. Постепенно все замёрзли. Был уже третий час ночи. Дети измаялись — кто стоя, кто сидя начали пристраиваться спать. Соня с Василисой тоже устали и замёрзли. К тому же им понадобилось в туалет. Деваться некуда. Посадила в машину и отвезла домой. Они ждали, когда можно будет поесть куличей, бодрелись, свет не выключали, да так и уснули.

Вернулась в храм. Проповедь архиерея. Я снова вся промёрзла. Ноги ооченели — не чувствую. Наконец служба завершилась. Еле живые, мы тронулись в сторону Успенского храма...

И тут со мной что-то случилось... Внутри поднялось такое возмущение: «Да что же это такое?! Да кому такой праздник нужен, если и взрослые, и дети едва живые?..» Шла, выступала и дивилась: откуда это? И где смирение? И где же Пасха во мне, если я такое несу?..

...Вот и Успенский храм. Колокольня ждёт нас. Праздничный пасхальный звон. На Светлой седмице можно звонить всем. Во славу Господа! Радость какая!

Бегом по лестнице — наверх. Люк открыт, и Маша уже на помосте. Бом, бом, бом! Христос воскрес! Христос воскрес! Снимаю всё телефоном. В какой-то момент изменила ракурс съёмки, и... Я не сразу поняла, что произошло. Боль обожгла, искры из глаз! Лопнул трос для растяжки одного

из колоколов и отскочил по губам, по носу... Зажала рот рукой. Под пальцами всё горело и пульсировало. От боли выступили слёзы.

Праздничный звон завершился. Еле нашла люк, деревянные ступени. Внизу—маленькая площадка с припасами свечей, лампадного масла, ладана. Стопки ладанок. Зелёные брикеты пасты ГОИ. Вешалки с облачением. Дальше уже железные ступени. Выход. На пороге привычно обернулась и перекрестилась. Склонила голову: как же больно и... стыдно. Христос на кресте претерпевал. А я нескольких часов в холодном храме не выдержала...

Улица.

Ещё темно.

Вот и праздник. Вот и... Пасха!

Крымский парус

Коктебель. Гора Клементьева. Ждём, когда утихнет ветер и можно будет полетать на парашуте. Ветер сильный, и я боюсь. Инструкторы напряжённо смотрят на колдун, ждут, когда ветер стихнет. Колдун—на самой верхней точке горы. Колдун похож на колпак или сачок, только с отрезанным концом. Развевается на ветру—так можно увидеть направление ветра и силу. Внизу под тобой—море. И Кара-Даг—как на ладони. Все полёты сертифицированы, проводятся с инструктором. Никто не будет рисковать. Но я сижу и про себя читаю: «Богородице Дево, радуйся». Конечно, я хочу полететь. Конечно же...

Сидим в кафе, которое примостилось на самой горе. Панорамные окна, через которые видны море и горы. Кроме нас, ещё одна компания, которая ждёт милости ветра. С ними маленький мальчик, который время от времени канючит:

— Я полететь хочу, я полететь хочу.

Присмотрелась: это же Юджин. Я с ним познакомилась (вернее—он со мной) внизу, на берегу моря,—сидела на камнях, а он подошёл.

— Привет!—смело сказал он.

— Привет! Тебя как звать?

— Юджин.

— Тебе сколько лет?

— Четыре!

Он начал карабкаться ко мне, и я подала ему руку.

— А сесть где?

— Садись,—я убрала рюкзак.

В одной руке у него был «Киндер-сюрприз», в другой—пакетик с конфетками.

— Как думаешь, с чего начать?—спросил он меня и, не дожидаясь ответа, начал с шоколадного яйца.

Внутри оказалась синяя пластмасса.

— О! А вчера была жёлтенькая...

— Ты откуда, Юджин?

— Из Москвы.

— Ты не поверишь, но я тоже оттуда. А где ты в Москве живёшь?

— Далеко отсюда.

— Понятно. Ладно, Юджин, мне пора. Пока.

— Пока.

Я встала и пошла по причалу в сторону яхты «Фаворит». Мы отправлялись. Небольшая яхта. Две мачты. Стилизована под старину. Парусов я не увидела. Мы пошли в сторону Кара-Дага и Золотых Ворот. Капитан рассказывал о прибрежных скалах, какая как называется и на что похожа. Перемежал это всё не всегда удачными шуточками. За скалами открывались бухточки с небольшими пляжами. Попасть к ним можно только с воды. Гроты и нависающие скалы. От величия гор замолкаешь. Знаменитые сердоликовые бухты. Катер возит желающих. Оставляют там, договариваются, когда обратно. И—ищи. Если повезёт...

Ветер немного стихает. Колдун уже не так яростно наполнен ветром. Кто-то уже пробует летать. Но наши инструктора говорят, что ещё очень сильный ветер. Смотрю в окно. Ветер гнёт деревья. Компания взрослых, что с Юджином, накерогазилась коньяком с шампанским и уезжает. Мы ждём. Я немного успокоилась, и вот уже фантазия разгулялась. Представляю себя героем Экзюпери. Суровым и строгим лётчиком. Лицо выдублено ветром. Ждём. Я вспоминаю своего двоюродного брата Диму из Черкасс. В какой-то момент Дима увлёкся малой авиацией. Спрашиваю: «Дима, неужели тебе не страшно?» Он смеётся и рассказывает про своего инструктора, что учил его летать: «Те, которым не страшно,—все там,—и машет рукой в сторону кладбища.—А все остальные чувствуют естественный страх. Потом, Алёнка, у самолёта есть такое свойство—планирование. Даже если что-то с двигателем случится, всегда можно спланировать вниз и приземлиться». Это, конечно, о малой авиации...

Мы сидим в кафе и ждём, когда ослабеет ветер. В огромных окнах несколько дельтапланов и планеров. В кафе всё на лётную тему. Под потолком прячут модельки самолётов всех мастей. Стены увешаны вымпелами и дипломами. В углу—неожиданно—пианино. На нём—игрушки и опять самолётики. За спиной стучат кубики. Кто-то играет в нарды. Несколько простых столов. Деревянные стулья. На одном притаилась чёрная кошечка. Только лапы видать. Похоже, она ждёт котят. Ожидание как будто замедлило время. Всё происходит лениво, не торопясь, как в рапиде. Смотрю в окно. Несколько дельтапланов. В небе они как птицы. А ведь когда-то давно, в юности, я мечтала об этом. Нет. Не мечтала. Даже боялась помечтать. Полететь... И вот моя детская мечта так рядом, готова сбыться. А сердце сжимается от страха. Почему так? На, бери! Почему же так страшно...

Богородице Дево, радуйся... Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя... Всё в руках Твоих, Господи! Спаси и сохрани...

Ждём. Ждём погоды. Ждём милости ветра. Ждать! Не бояться!

Приходит наш инструктор Андрей.

— Ветер не утихает. Сегодня ничего не получится...

Как же так? Ведь завтра нам уже уезжать. Переправа—и впереди долгий путь до Москвы. Страх сменился азартом: как же так? Я уже и бояться перестала, уже и приготовилась, а теперь препятствия... На наших лицах разочарование... Андрей предлагает съездить на гору у берега, полетать над морем. Мы быстро садимся в машину и едем в сторону знаменитой горы Волошина, где он проводил много времени в раздумьях. Остановились. Андрей пошел проверить ветер. Вернулся.

— Нет. Сильный ветер. Сегодня ничего не будет. Какие у вас планы на завтра? Уезжаете?

— Уезжаем. Но мы очень хотим полетать. Мы задержимся...

Договорились, что он утром приедет на гору, если летать можно—звонит нам.

Уставшие, мы вернулись в Судак. Даже и думать боимся: получится ли? Быстро собрали все вещи и завалились спать.

В восемь утра звонок. На экране: «Андрей. Летать. Параплан»,—так я сохранила номер телефона. — А мы уже летаем! Приезжайте!

Мы, как солдаты, загрузили машину, сдали номер и выехали в сторону Коктебеля. Горная извилистая дорога. Серпантин. Справа горы. Слева море... море... солнце... небо... горы... море...

Проезжаем Коктебель. Вот и гора Клементьева. Говорят, однажды Максимилиан Волошин с Константином Арцеуловым—пилот, внук Ивана Айвазовского—возвращались пешком из Феодосии. Пилот увлечённо объяснял поэту принцип действия восходящих потоков. Они поднялись на Узун-Сырт (так раньше называли гору), Волошин бросил вниз свою шляпу, но она не упала, а стала парить. А потом поднялась и вернулась прямо в руки. В мире всего две горы, где есть такие восходящие потоки. Одна—в Крыму, другая—в Америке. Узун-Сырт переводится как «длинная спина». Эта гора стала колыбелью российской авиации. Здесь начинали знаменитые авиаконструкторы Ильюшин, Антонов, Яковлев. И даже сам Королёв. Потом её переименовали в гору Клементьева. По имени лётчика, который здесь разбился. Правда, все лётчики и планеристы между собой называют её просто—Гора. И наш Андрей тоже.

Почти полностью огибаем Гору. И вот—поворот налево. Мы на месте. Андрей в сером комбинезоне встречает нас. Он очень похож на поляка, так и хочется назвать его Анджеем. Серый комбинезон придаёт ему ещё большее сходство с героями Экзюпери. Мы подходим к краю Горы. Ветер треплет нас. Внизу—почти пересохшее озеро. Андрей поторапливает. Ещё минут сорок, и опять поднимется ветер, летать будет нельзя.

— Леночка, мы начнём с вашей подруги. Она, прошу прощения, полетит...

Каждый инструктор мгновенно прикидывает вес потенциального воздушного путешественника. Чем тяжелее, тем труднее «пробить» ветер. Маша надевает шлем. Помощник Андрея Дима застёгивает множество замков на снаряжении. Параплан—как огромный парашют, только купол не круглый, а продолговатый. От купола к планеристу идут тонкие, но очень крепкие стропы. Он берёт их в руки, как звонарь на колокольне или как возница на колеснице. Купол безвольно лежит на земле. Неуловимое движение, и купол оживает, наполняется воздухом и вот уже трепещет на ветру. Трепещет и бьётся, как птица. Инструктор тоже надевает снаряжение. Пристёгивает подобие сиденья. Запасной парашют—на всякий случай.

— Руки во время взлёта держать на груди,—говорит Дима и, показывая, как именно, скрещивает их точь-в-точь как на причастии.

Всё готово к полёту. Андрей начинает перебирать ногами, два помощника подхватывают их с Машей по бокам и придают ускорение. Летят! Я прикладываю руку козырьком ко лбу и провожаю их, инстинктивно читая про себя молитву. Летят то выше, то ниже, то в сторону. Заворожённо стою на краю. Вижу орла, который парит рядом с ними. У него на горе гнездо с орлятами, рассказал потом Андрей.

Ко мне подходит Дима. Приехал ещё один инструктор—Сергей. И надо лететь с ним. Мне бы хотелось с Андреем, но Андрей ещё в воздухе. А ветер опять крепчает, и полёты в любой момент могут отменить. Мне выдают каску и надевают снаряжение. Сергей придирчиво проверяет всё. Бурчит:

— Кто так складывает?

И распутывает стропы. Меня пристёгивают к Сергею.

— Твоя задача—на взлёте поднять ноги,—напутствует Дима.

Я скрещиваю руки на груди, и становится спокойно. Сергей взлетает не так чисто, как Андрей,—один раз мы завалились. Ветер довольно мощно терзает купол параплана. Дима с помощником поймали нас и, придерживая, повели к краю. Шаг, другой, третий—летим! Страх и беспокойство отходят. Остаётся восторг от полёта. Сергей не очень-то разговорчив, но дело своё знает. Напевая себе что-то под нос, то поднимет, то опустит. Купол у нас красно-бело-синий, как российский флаг. Вдруг Сергей кладёт нас почти горизонтально и кружит очень быстро, как на карусели. Восторг и страх одновременно. Внизу—пересохшее озеро, село Наниково, море и Кара-Даг. Иногда Сергей подходит близко к Горе. Настолько близко, что можно

рассмотреть травинки и жёлтые цветы. Иногда взмывает вверх. Управляет ловко парашютом. Восходящие потоки послушно служат нам. Тут он взлетает очень высоко и заходит над Горой. Непередаваемо... Я понимаю, что мы заходим на посадку. Вижу, как по Горе к нам бежит Дима. Помочь при посадке. Сергей спрашивает:

— Ну как, удалось себя птицей почувствовать?

О да! Удалось. Невыразимо...

Приземляемся. Сергей безупречен. Дима отстёгивает меня. Маша встречает. Лица у нас ошалелые от счастья. От полёта. От исполнения мечты...

Поднимается ветер—ловко мы успели. Летать больше нельзя. Нас немного подташнивает.

— Это пройдёт,—говорит Андрей.

Захотелось ещё раз подойти к краю Горы. Ветер разошёлся не на шутку. Куртки парусят на нас. Нет сил уехать прямо сейчас. И мы снова идём в кафе. Сидим там какое-то время. Мне стало жаль сил и энергии, что я потратила на страх перед полётом... Но ведь это было впервые... Потом мне будет сниться, как я подхожу к краю Горы: шаг, ещё, ещё—лечу...

Я обязательно полечу ещё...

Литературное Красноярье · ДиН ДЕБЮТ

Виктория Соловьёва

Пусть говорят!



Пусть говорят: какая глухомань!

А я туда, как на источник, еду,

Там дед меня с прутом искал к обеду,

А в банный день меня хоть вновь аркань.

К тебе теперь я еду на денёк,

Где пряталась в таких огромных травах,

Чтобы узнать знакомый вкус и запах

И надкусить осоки стебелёк.

Уйти за ароматом трав в закат,

Дойти до места, где дорога в гору,

И не найти, как прежде, мандрагору,

В беспамятстве бродить, бродить, искать.

За что люблю я эту глухомань—

За тишину и память, где всё свято.

И только речка стала мелковата—

Лишь голову макнуть, как в иордань.



Не зови, любимый, в день рождения,

Я приду негаданно-нежданная.

В феврале я чувствую сомнения,

И по небу тучи ходят рваные,

Но когда проснутся можжевельники,

Загляну—засеребрятся ландыши,

Ты исполнишь мне сонату времени,

Я смахну слезу от счастья: надо же!

А уйду—останется волнение,

И на пианино пыль исчерчена.

Я приду к тебе, как вдохновение,

И, наверно, это будет вечером...

Кудеса на Святки

В этот тихий синий вечер

Расцветают тихо свечи,

Пышут звёзды января,

Всё и всех животворя,—

Ночь-колдунья для Параски

Колдовские шепчет сказки...

«Свет мой зеркальце, скажи,

Милый облик покажи!

Не шумите, шторы, тише!

Распугали местных, пришлых—

Коридор зеркальный пуст!»

Тень, прозрачная, как грусть,

То темнее, то светлее.

Словно с морока пьянея:

«Объявись и назовись:

Где ты, сокол, моя жизнь?!»

У Параски от досады

Губы пухнут. Рафинады

Целовать бы! Только грех!

Солнце встало раньше всех...

Заглянуло в дом Параски,

По косицам—лёгкой лаской...

Только ей не до гульбы—

Сердце бьётся от любви

Часто-часто. Звёзды знают:

Тают свечи, люди тают...

Елена Данченко

Моя французская земля обетованная

Франция—это результат столкновения противоположных сил, вековой борьбы, великих бедствий и великих мечтаний. В ней на ограниченной территории можно увидеть больше разнообразия и контрастов, чем в любой другой стране... И как Париж—это целых двадцать городов, так и Франция объединяет целую сотню, если не больше, стран.

Луи Арагон

Деревня Сен-Жени

Дорога давно стала частью жизни. И снова мы поехали во Францию—через Утрехт с его плотной пятничной пробкой, которую удалось объехать, но вряд ли объезд стоил того, потому что время мы не выиграли. Через тесный Маастрихт с вечно ремонтируемой дорогой, на насыпях которой давно и уверенно растут сорняки. Через валлонский Льеж с его миргородской лужей в центре города, по которой мы не столько проехали, сколько проплыли, вздымая колёсами волны мутной дождевой воды. Через город Мартеланж, где неширокая улица одной стороной находится в Бельгии, а другой—в Люксембурге. Мы всегда останавливаемся для заправки на люксембургской стороне, потому что там бензин дешевле. И катим дальше, дальше, по благословенной Франции, через её широкие майские бледно-зелёные поля в маковых и ромашковых опушках, с удовольствием глотая сухой, настоящий на травах воздух, нюхая белые, нежно-розовые и бордовые цветы шиповника на клумбах при стоянках кафе, где пьём обжигающий «кафэ ле»—кофе с молоком. Единственная на нашем пути ночёвка происходит в Макси-сюр-Вэз, деревне, по центру которой протекает канал с огромными сонными карпами. Рядом с каналом стоит один из домов нашей хозяйки—Даниэлле Нуазетт, у которой мы всегда заказываем шамбр-дот—гостевую комнату с завтраком. И всё это кажется сказкой, декорациями к волшебному, знакомому наизусть фильму, а фильм—наградой за восемь месяцев холодного, выхолаживающего тело и душу серого голландского дождя, льющегося из серого неба, под которым могут себя приемлемо чувствовать только герои Стругацких из «Диких лебедей»—мокрецы. И, видимо, сами голландцы. Во всяком случае, мне, русской жене голландского

учёного-геолога, под вечным дождём неуютно. А вот во Франции... Во Францию муж, преподаватель Утрехтского университета, ежегодно ездит на полевые работы—университет вывозит студентов-первокурсников. И я с удовольствием еду туда же.

На второй день нашего путешествия мы весело мчались из Северной Франции к югу, в департамент Верхние Альпы, мимо Дижона, потом Лиона, мимо Гренобля, мимо полей и пашен под ярко-синим небом, сказочных лесов и рек, пока на горизонте не показались горные хребты в снегу. В конце второго дня нашим взорам предстают облитые белоснежным сахаром вершины. Здравствуй, Альпы, целый год не виделись! Целый год не виделась с Ирой Сисалли, русской французенкой Ириной Сисалли, и даже не перзванивалась, и она, верно, обижена на меня, не зная всех обстоятельств. И с другими нашими знакомцами и друзьями год не виделись.

В Верхних Альпах мы останавливаемся в деревне Сен-Жени, находящейся в восьми километрах от городка Серра. Хозяева большого имения Даниэль и Полетт Ньюсса сдают нам маленький домик на своей территории. Надо сказать, что находится имение не совсем в деревне, дорога к которой извилисто ведёт от имения в гору, и идти довольно долго. Владение Даниэля и Полетт, наряду с другим большим домом и относящимся к нему земельным наделом, оказалось у озера Lac de Riou, искусственно созданного из воды горной речушки Рью, питаемой альпийскими ледниками. Озеро закрыто очень высокой дамбой, чётко видимой при въезде в деревню со стороны Серра. В её мутной, но чистой воде водятся рыбы, лягушки, безобидные водяные змеи, растут камыш и много всяких других растений. По озеру плавают лысухи. Они часто выходят из воды и бродят на своих огромных лапах-ластах по берегу, выискивая корм. А вода в Лак-де-Рью мутная из-за мелких водорослей: в сельскохозяйственном районе в воду попадают фосфор, нитрат, калий—всё то, что крестьяне используют для удобрений. Всё это добро перемешивается и становится обильным питанием для водорослей.

Имение Даниэля и Полетт Ньюсса существует с эпохи Ренессанса, с семнадцатого века, и владеет

им одна семья — Нюсса. Приезжая, мы обитаем в маленьком домике при, можно было бы написать, господском, если бы Даниэль и Полетт были господами. Но они обычные французские интеллигенты-работяги. Полетт ездит на малолитражке за продуктами в супермаркет и на рынок, готовит, убирает в доме и работает на участке, а бывший инженер-энергетик Даниэль — мэр деревни Сен-Жени и ряда деревень в округе. В свободное от работы время ходит с газонокосилкой, стрижёт траву, собирает черешню и липовый цвет в июне, а в последующие месяцы, наверное, что-то другое — этого мы не знаем. Мы живём здесь ровно месяц в году, и славный нежно-зелёный, полыхающий маками, пахнувший разнотравьем и обжигающий нестерпимо-холодной горной водой альпийский июнь — наш. Имение занимает несколько террас — здесь это не редкость. Наш съёмный домик находится на верхней, выше только обширная клумба с розами, а ещё выше начинается дикий альпийский лес, откуда по ночам доносятся рёв вепрей и трубные раскаты лосей. Перед домом в изобилии растут ирисы — фиолетовые, бордовые, жёлтые, белые, розоватые, почти чёрные. Ирисы — гордость хозяйки, её визитная карточка. Терраса увита виноградом, вплотную к ней растёт инжирное дерево. Каменная тропинка раздваивается от нашего крыльца, одна дорожка ведёт по ступенькам вниз в хозяйский дом, а другая — от домика к каменной ванне, в которой некогда стирали бельё, набирая талую и дождевую воду. В скале над ванной вырублена ниша для небольшой статуи Богородицы — таковы были обычаи этих мест. Статуи давно нет, а ниша осталась, и сейчас в ней стоит горшок с кактусом. Мы иногда усаживаемся на край ванны, ловя зыбкий Интернет — в горах он ненадёжный, хотя в доме мэра и в нашем домике он, вероятно, лучший во всей округе. Когда нам хочется погулять в деревне, мы проходим широкой грушевой аллеей, выходим за невысокую деревянную ограду и сворачиваем направо. Переходим мостик, под которым весело кипит речушка Де-Рью, и отправляемся в гору по маршруту школьного автобуса (не знаю, курсирует ли он сейчас, — деревня насчитывает всего пятьдесят жителей). При входе в деревню справа видим крутой спуск с горы, над которым растут черешневые деревья с наливными спелыми ягодами — рви не хочу. Дальше — здание мэрии слева, а справа — старинная церковь Сен-Луи. По французским понятиям, не старинная и даже не очень старая постройка — она датируется 1874 годом. Но по внешним стенам пошли трещины. И тут пригодились знания моего мужа. По просьбе Даниэля Нюсса Янрик обследовал церковь и выяснил, что трещины появились от подвижек породы, скорей всего — глиняной матрицы, на которой построена церковь. Другими словами, церковь

стоит на камнях, пространство между которыми заполнено глиной, а от обильных дождей такие породы двигаются. Янрик предложил выкопать две ямы возле церкви, чтобы убедиться, так ли это (позже оказалось — именно так). Церковь спасёт хорошая система слива дождевой воды с крыши, чтобы она не текла на фундамент и стены, и мы надеемся, что Даниэль построит её и спасёт церковь.

Если пройти дальше по узкой улочке, можно быстро выйти к окраине деревни. Справа — разрушенный крестьянский дом, таких руин здесь много. За руинами тропинка упирается в обрыв. У обрыва стоит изящная скамья, растёт роскошный жасминовый куст. Здесь открывается вид на низко лежащую долину. В долине пасутся овцы, бродит пастух, лают собаки, не позволяя овцам разбредаться. За долиной вздымаются высокие горы.

Город Серр и его обитатели

Маленький средневековый город Серр, расположенный на реке Буеш, стремительно несущейся по скальному разлому, необычен. Он похож на браслет, надетый на почти отвесную скалу, а сама скала Ла Пиньоlett — на закрученный язык пламени. Город, как альпинист, карабкается вверх, и если взобраться повыше, то его дома и церкви видны послойно. Узкие трёх-, четырёх-, а то и пятиэтажные дома прилеплены один к другому, как ласточкины гнёзда, — такие цепи строений часто можно увидеть в старинных горных городах Европы. Чтобы осмотреть Серр, приходится взбираться и спускаться по узким улицам, по крутым каменным ступеням, и на каждом шагу вас ожидает сюрприз. Возле центральной площади стоят старые-старые дома, с одним крохотным окошечком-бойницей за толстой решёткой, смотрящим на улицу, ведущую вверх (остальные выходы в невидимый двор), — похожи на людей, повернувшихся к вам спиной. В первом «корже» — базовом слое домов — имеется городская ванна для стирки белья, нетронутая со средних веков. Она крупнее, чем в Сен-Жени, рассчитана на несколько прачек. Ванна встроена в фундамент дома, над ней нависает арка — в летний зной в Серре нестерпимо жарко, а под аркой можно постирать в тени. Из стены слева выходит кран — позднее нововведение. Двухуровневая ванна разделена на две части: одна — для стирки, другая — повыше — для полоскания белья, всё продумано. Чуть повыше в городе можно увидеть фонтанчики с питьевой водой. Улочки узки, то там, то сям вас царапает по плечу жасминовый или розовый куст, ниспадающий из-за ограды и усыпанный цветами... или нежно поглаживает олеандровое деревце, растущее в горшке у порога. Маленькие окна с прихотливыми белоснежными кружевными занавесками... Двери, каждая из которых — произведение искусства, на дверях молоточки, чтобы оповестить хозяев о приходе

гостей. Молоточки-стукалки часто сделаны в виде женских ручек, с перстнями и кружевами на запястьях,—каждая ручка отличается от другой. Двери давно оснащены электрическими звонками, но хозяева свято хранят молоточки—теперь это украшения. На ступеньках перед дверями и на порогах—горшки с кактусами или геранью, иногда с фиалками. У некоторых дверей в стены вмонтированы крупные кольца—привязывать лошадь. Кольца такие же старинные, как и город. Улочки часто предлагают вам нырнуть под арку, часто—пригнувшись. На улицах повсюду выдолблены дождевые стоки. Фактурная каменная кладка нештукатуренных стен: овальные камни, выброшенные горами, переложенные раствором. Вот церковь Сан-Аре двенадцатого века. Она тесно зажата домами, сразу и не разберёшь, что перед тобой дом Бога. Вот ратуша, стеснённая другими домами,—это уже постройка эпохи Ренессанса. В здание ратуши ведёт резная деревянная дверь, представляющая собой произведение искусства: изображения домов и полуоткрытых ворот под углом мастерски вырезаны рукой художника в 1610 году. Сидел когда-то человек, никуда не топорился, вырезал по дереву...

Недавно в Серре появились чёрно-белые фотографии прошлых десятилетий, вмонтированные прямо в стены, а по соседству с ними—портреты известных уроженцев Серра. Среди них: известный географ Александр Корреар, выживший—одним из девяти—в кораблекрушении корабля «Медуза» у берегов Африки; астроном Жан-Луи Понс (родился в деревне Ла Пьярре под Серром), чьим именем названы лунный кратер и парочка открытых им комет; девушка-матрос Адель Альер—местный вариант кавалерист-девицы Дуровой; известный дагерротипист Жюль Итьер, одним из первых в мире начавший фотографировать экзотические страны.

Альпийцы—люди неторопливые. По характеру молчуны, о себе рассказывать не любят. Но и чужака расспрашивать не будут, захочет—сам расскажет. К незнакомцу присматриваются долго, с прищуром. При этом удивительно гостеприимны и любопытны, что, вероятно, характерно для жителей маленьких провинциальных городков всех стран. Статус нашей ежегодной экспедиции—изучение особенностей Альпийского горного хребта студентами Утрехтского университета под руководством голландских *les professeurs*—открывает перед преподавательским составом многие двери (я попадала во французские компании в качестве жены одного из преподавателей). Самые яркие мои воспоминания относятся к обедам в доме месье и мадам Парра—Армана и Анны. Чета живёт в деревне Ла Пьярре (той самой, в которой родился астроном). Арман—альпийский крепкий крестьянин, невысокий, коренастый. Кожа его

обожжённого солнцем и продублённого ветрами лица цветом и консистенцией напоминает коричневый пергамент. Его лысину украшает клоч посевших волос, зачёсанных сбоку, а лицо—коротко подстриженные чёрные усы. Раньше Арман держал большое стадо баранов, на которых нажил неплохое состояние, купив несколько домов в деревне (их он сдаёт нашим студентам) и дав детям хорошее образование (выросшие отпрыски давно живут в больших городах). Дом его отлично отремонтирован и меблирован дорогой мебелью. За садом и огородом ухаживает жена. В огороде растут невиданной величины салат, срезаемый с грядки перед нашим приходом и в наисвежайшем виде съедаемый за обедом, крупные помидоры разных сортов, морковь, свёкла, кабачки, баклажаны, редиска и другие южные красавцы. Огромные кусты малины, садовая земляника, клубника. Растут черешневые деревья—гордость этих мест, их ягоды подаются на десерт.

Вот говорят, что гостеприимнее русских нет, а альпийцы жадноваты. Но нигде нас не кормили так, как в доме месье Парра! Сначала на стол подаю закуски и аперитивы. Здесь меня научили пить мутный пастис, употребляемый французами перед едой для аппетита. Этот напиток изобрели из-за запрета на абсент, но скажите: какой француз без абсента? Фирма «Перно» в 1915 году изменила рецепт, начав добавлять в напиток анис вместо полыни. Пастис пьют маленькими стаканчиками, добавляя воду и лёд.

Дальше начинается пир. На русский стол все блюда ставятся сразу. На французский—постепенно: первая перемена, вторая, третья и так далее—до десерта.

После первого круга две хозяйки (Anne помогает её подруга Женестьева) убирают закуски и водружают на стол огромные миски свеженарезанного салата и киш—открытые круглые пироги из сыра, яиц и ветчины, необыкновенно нежные на вкус. Тут же ставятся тарелки с баклажанным суфле.

Дальше на сцену выхожу я со своим коронным и, надо сказать, беспроигрышным номером—русским борщом или солянкой, сваренными в огромной кастрюле: едоков за столом от двенадцати до двадцати человек.

Затем на стол подают основные блюда—запечённую баранину или курятину (всё своё, фермерское) и блюда с гратеном—тонко порезанным картофелем, запечённым с сыром в духовке. Потом подаётся вышеупомянутая черешня. Затем—доски с разноразными твёрдыми и мягкими сырами—традиционным французским десертом. Нет, так много есть нельзя (как бы не лопнуть), но мы едим и едим, нахваливая щедрые дары альпийской земли и кулинарный талант хозяйки. Затем подают кофе с ликёрами и о-де-ви—«водой

жизни» — собственного изготовления. Эта крепкая водка, настоящая на каком-нибудь фрукте, часто на груше, — особая гордость хозяина. Из ликёров самый альпийский — это женепи. Дальний родственник абсента делается на основе местного горного варианта полыни. Травка, которую так и называют — женепи, растёт только здесь, на высоте 2400–3500 метров, и бывает белой и чёрной. Рецепт, кстати, не держится в секрете, высокогорную сухую полынь можно купить в супермаркете в пакетиках-саше, можно самому приготовить ликёр — самый простой, в виде настойки (травка — водка — сахар), а если хочется изыска, то надо перегонять ликёр как абсент. Местные употребляют женепи не только как дижестив после сытного обеда, но и как жаропонижающее при простудах, антисептик и даже как средство от горной болезни. Много пить не советую: в ликёре содержится небезобидный туйон — галлюциноген. Мы много и не пьём.

Наш гостеприимный хозяин разговорчив, любимые темы — политика и экономика. Почему-то больше всего мы говорим о Наполеоне.

Наполеона наш хозяин уважает и рад слышать, что в далёкой России находились и до сих пор находятся его фанаты — например, поэтесса Марина Цветаева увлекалась им. Арман удивляется: ведь для русских он был врагом.

— Ну да, — говорю. — Но победить искусного и сильного врага — большая честь.

Надо сказать, что по этим местам проходил маршрут Наполеона, и он отмечен стрелками и памятниками его эпохи (о крепости Систерон расскажу чуть позже).

Разговоры заканчиваются где-то около полуночи, и мы выходим в темень. Крупные, как яблоки, наливные альпийские звёзды низко свисают с ночного неба: кажется, протяни руку — они треснут, и польётся на наши головы белый небесный сок.

Мы прощаемся с Арманом до следующего года.

Одна из самых ярких фигур в Серре — Ирина Сисалли, русская француженка. Она живёт в этом городке более сорока лет и знает всех, включая детей, младенцев, собак, кошек, а также жителей окрестных деревень и городков (крупных городов здесь нет). Маленькая блондинка с роскошными пепельными волосами и огромными голубыми глазами, в которых светится мудрость основательно пожившего на чужбине человека, на русскую не похожа. Я познакомилась с ней, кстати, только в третий заезд в Альпы, по наводке голландцев — коллег мужа (но знакомство произошло не через них): это они первые узнали, что Ира — русская, и, помню, меня это удивило. У Иры французское удлинённое лицо, крупный подбородок, характерный нос с горбинкой, тонкие губы. Её национальную принадлежность выдаёт только синий двойной нейлоновый фартук с оборочками — такой был у моей мамы, и его можно купить на рынке

любого нашего провинциального городка, но тот фартук я не сразу разглядела. Когда-то, в конце семидесятых годов прошлого века, Ирина вышла замуж в Москве за повара. Её Жан-Мари работал шеф-поваром в одном из московских ресторанов и предлагал ей жить в Москве. Но Ире хотелось во Францию, и они уехали на родину мужа, в Альпы. Здесь Жан-Мари купил караван, и они начали вдвоём выпекать пиццу. Жана-Мари давно нет на этом свете (сгорел от рака), но Ирина, как и её муж, держит рецепт в секрете — пицца славится в округе, и за ней приезжают даже из Гренобля (а ехать более ста километров по извилистым горным дорогам). Приезжают за знаменитой пиццей даже... повара пиццерий — никто не делает вкуснее. По-моему, Иринына тающая во рту пицца с хрустящей корочкой — самая вкусная не только в департаментах Прованс — Альпы — Лазурный Берег, но и в мире. Я ни разу не была в Италии, но не верю, что пицца там лучше. Потому что лучше быть не может. Выпекается знаменитая пицца в римской печке, прямо на огне (да-да, огонь не внизу разводится, а прямо в полукруглом жерле печи на поду — так пекли древние римляне), и у неё всегда чуть подгоревшая корочка. Дрова берутся только дубовые, у Иры есть свой поставщик — рубщик древесины фермер Жано. А разжигают дрова сосновыми ветками — они загораются быстрее. Сначала поленья должны прогореть. Пока они горят, отдавая печке жар, Ирина делает пиццу (тесто готовится заранее, в большом эмалированном ведре). Ингредиенты выбирает заказчик, а у Иры в холодильнике в караване есть любые: анчоусы, тунец, ветчина, чоризо, сосиски-меркезы, сало, оливки-маслины, сыр самый разный, мёд, яблоки, изюм, томаты, лук, грибы и я не знаю что ещё — список пицц, прикреплённый к внешней стороне вагончика, бескраен. Готовая к отправке в печь лепёшка поливается настоящим томатным соусом — не кетчупом, а собственного приготовления хозяйки, а по желанию заказчика — жгучим оливковым маслом, настоящим на чесноке, красном перце и альпийских травах, ведомых только хозяйке. Некоторые едоки просят сдобрить божественным соусом уже готовую пиццу.

Дрова прогорают, на поду перекачиваются сияющие красные угольки, пляшут огненные языки на остатках дров. Ирина берёт в руки кочергу и — раз! — сметает остатки топлива к краям печурки, потом хватает деревянную лопату на длинной ручке и — два! — сажает пиццу на железный лист.

Вот такое стихотворение написалось однажды:

Пиццерия в Серре

К Альпам, маленький, неважный,
прилепился с давних лет
городок разноэтажный,
как серебряный бризлет.

Там избушка-пиццерия —
что за запах! Вот пицкус!
Дровяная печь внутри, я
к ней притронуться боюсь.

А Ирина не боится:
на берёзовых дровах
выпекается не пицца —
пицца свежая богам!

Вот она стоит с лопатой,
фартук старенький в муке.
Накаились под щербатый
на горячем уголке.

Пиццы в мире нет душистей —
хоть с чоризо, хоть с тунцом,
нет хрустящей, распушистей
и румянее лицом!

Ира-пицца, Ира-пицца,
напеки удачи нам,
чтоб альпийская страница
развернулась к небесам!

Если счастье за горами —
чтоб до них рукой подать!
Чтоб цвела в оконной раме
маковая благодать!

...Блеском молнии-зарницы
подрумянился простор.
Солнце вкусной спелой пиццей
соскользнуло к нам на стол.

А настоящее имя русской альпийки Ирины — Лирина, так записано в паспорте. Мать её была учителем русского языка и литературы, а отец — инженером, страстно влюблённым в отечественную литературу. Они придумали назвать дочку Лириной — в честь лирики. После смерти мужа Ира-Лирина живёт одна, в маленьком домике напротив своего древнего каравана, который она называет своим антиквариатом. В домике всего две комнаты — спальня и столовая, зато есть немалая кухня, где хозяйка священнодействует с тестом и добавками, и большой погреб для хранения продуктов и напитков. При домике — садик с большим деревом, растущим посередине, цветы. В доме звучат русские песни. Ира скучает по своей семье — по сестре, живущей в Белгороде, и по брату, закрепившемуся на Сахалине. Раз в году Ира ездит в Россию.

— Как бы тяжело в России ни жилось, а там — родина. Там мы свои, — как-то она обмолвилась.

Не могу не согласиться.

Ресторан при гостинице, в котором собираются голландцы и где мы ежегодно отмечаем завершение экскурсии в горное ущелье Девалуи, называется «Du Nord» — «Север». Ресторан и гостиница принадлежат албанской семье: мужа зовут Ифи,

жену — Раба. Раба готовит гостям обеды, стоит на кухне до глубокой ночи, Ифи — за барной стойкой. Официантами работают дети, когда они не в школе (их трое), и помощница Нуазетт. Нас любят, мы не только хорошие клиенты, приносящие неплохой доход ресторану, но и весёлые ребята. Приходим с гитарами, один из наших преподавателей играет на гармонии и поёт песни квебекцев — канадских французов. Обычно после обильного застолья студентов развозят по домам, а преподавательский состав возвращается и сидит до полуночи. Нас балуют: угощают ликёрами, кофе, сигаретами за счёт заведения. Однажды Ифи показал нам фотографию шестидесятих годов: Чарли Чаплин на фоне их ресторана. Смеющийся седой Чарли Чаплин, снятый с молодой и симпатичной жительницей Серра.

— Он проезжал Серр, когда ездил из Швейцарии на Лазурный Берег, и всегда останавливался в нашей гостинице и у нас же обедал. Самый знаменитый постоялец «Du Nord». Только тогда гостиница принадлежала другим людям.

Непонятно только, почему реликвия не висит на стене в рамке...

Голландцев восхитили моя прыть и скорое (на второй год) знакомство со всеми русскими и русскоязычными Серра. А всё произошло само собой. Зашли с мужем на почту отправить друзьям открытки с видами. На мне были русские эмалевые серёжки с красными цветочками. Их-то и опознала одна из Маш, живших в Серре, — Маша-украинка. Она отправляла в то время посылку на родину. Маша потащила меня к Ире-Лирине. А потом мы пошли в дом напротив, на второй этаж, знакомиться с Машей питерской. С тех пор в Буеше утекло много воды. Маша-украинка умерла от рака. С Машей питерской случилась невесёлая личная история, она вернулась в Санкт-Петербург, а её детей, Артура и Дину, отдали сначала в приёмные семьи, потом — отцам. Маша дважды попыталась вывезти несовершеннолетнюю Дину в Петербург без согласия отца. На первый раз её простили, а второй случай считается рецидивом. Машу посадили сначала на какое-то время в тюрьму, потом выпустили, но лишили материнских прав. Таково французское законодательство, и оно, увы, неумолимо. Дина снова очутилась в приёмной семье, девочка возненавидела новую партнёршу отца. Когда начались скандалы, опека посчитала нужным отделить ребёнка. Лишившись прав на детей, Маша сначала уехала в Санкт-Петербург, потом вернулась, потом и вовсе исчезла. Эта история в диссонансе с остальным текстом, но жизнь, увы, не туристическая поездка.

Раньше в Серре, а теперь в другом городке неподалёку, Розанне, живёт ещё один интересный человек — Паскаль, вполне русскоязычный. Он наполовину француз, по отцу, между прочим,

маркиз (титул во Франции давно ничего не значит), на четверть испанец, на четверть— русский. Этот вальяжный, длинноволосый и кудрявый парижанин, сбежавший из Парижа на природу, прекрасно и без акцента говорит на языках своих предков, на английском и ещё на каких-то, я не вдавалась. Паскаль— музыкант и руководит русско-цыганским ансамблем. Танцовщицы и певицы остались в Париже. Руководитель общается с ними по телефону, называет их нежно по-русски «малочками», концерты устраивает тоже по телефону. И по Интернету. У нас в гостях он был только раз, его привели Ира и Маша питерская. Мы тогда сидели на нашей террасе всей голландской компанией — праздновали день рождения одного из сотрудников. В компании была гитара, на которой руководитель экспедиции Мартин очень любит исполнять что-нибудь классическое, из «Битлз», «Роллингов», Джонни Кэша, Джима Моррисона.

Каково же было наше удивление, когда Паскаль, попросив гитару, запел на чистом русском «Эх, ребята, всё не так!» Высоцкого. Русская часть застолья начала подпевать. Голландцы были в восторге. Тогда же Маша привела к нам свою французскую подругу Эли, ещё одну гитаристку. Эли пела на французском «Дорогой длинною», а мы подпевали на русском.

Помнится, я спросила Паскаля, не скучает ли он по Парижу.

— Нет, не скучаю. Звоню, к примеру, дочери и спрашиваю, где она. А она сообщает, что разговаривает с дерева, на котором ест черешню. В Париже это невозможно,— улыбается он.

Рояль в кустах

Однажды я вышла прогуляться к озеру Лак-де-Рью и увидела... рояль в кустах. Честное слово! Просто пошла на озеро, к которому хожу загорать уже много июней подряд, и вижу под ивой, рядом с кустами... рояль. Небольшой такой, кабинетный.

К роялю подошёл молодой человек, назвался Серети́ном (ударение на «и»), сыграл Рахманинова, узнав, что я русская, и пригласил вечером на концерт. Оправившись от шока, спросила, кто он. Оказалось, он и другие— музыканты из Лиона, сейчас на гастролях по югу Франции. Проект называется «Вольер пианино» («La Volière aux Pianos»). Они действительно играют в кустах и даже на деревьях (да-да, поднимают рояль на прочные ветки дерева, там же устанавливают стул для исполнителя), у озёра и у моря, а также на воде, на плоту). Играют в горах на снегу. В пустынях. В общем, где они только не играют... В космосе пока не играли. В Москве тоже пока не играли.

Мы с мужем так спешили домой— поесть и переодеться, что забыли фотоаппарат. Пришли на концерт, а там... сцена из Кустурицы! Стоят люди с духовыми музыкальными инструментами—

по колено в воде, причём в холодной,— и играют сербскую и македонскую музыку. Рояль стоит на плоту, плот— на воде. Серетин за инструментом. У берега танцуют двое— скрипачка и руководитель группы Филипп. Даже я исполнила несколько па. Кустурицу люблю и так растрогалась, что подарила букет, нарванный у нашего дома и предназначенный Серетину, девушке-скрипачке. После концерта разговорилась с Филиппом, который к тому же сносно изъясняется по-русски (учил язык в школе). Рассказал удивительные вещи, как-то: у них есть номер, воспроизводящий выдумку Бориса Виана (французского писателя русского происхождения середины двадцатого века),— рояль-бар. Каждая клавиша пианино соединена тоненькой трубкой с бутылками, стоящими наверху (а вся конструкция напоминает высокий бар, в который встроено пианино). Прямо на пианино стоят в ряд высокие стаканы для коктейля. Из каждой бутылки, понятное дело, свисает вторая трубочка— в стаканы. Каждый удар по клавише выдавливает немного напитка. Музыкант играет— стаканы наполняются музыкальным напитком. И, соответственно, бо-рис-виановским литературным замыслом.

Озеро Эспаррон

Постепенно, год за годом, мы начали осваивать ареал— ездить на расстояния восемьдесят-сто и более километров от нашей деревушки. Однажды нам посоветовали съездить на Эспаррон. Это большое искусственное озеро устроено в горном ущелье неподалёку от курортного городка Эспаррон-де-Вердон. В семидесятые реку Вердон запрудили плотиной, чтобы построить электростанцию. В результате выиграли все— и близлежащие города, получившие электроснабжение, и провинция, на балансе которой появилась одна из самых посещаемых природных достопримечательностей Франции.

Подъезжая к озеру, видишь величественную картину, от которой реально захватывает дух: низко внизу, между невероятно высокими, заросшими лесом утёсами, простирается бесконечное озеро яркой незабудковой голубизны. Трудно поверить, что оно— плод человеческих разума и рук, настолько естественно оно выглядит. У озера— курортный посёлок, много ресторанов и кафе. Нигде не задерживаясь, идём к берегу— окунуться.

Вода прозрачная и тёплая— ныряешь и видишь дно, а террасы, ведущие прямо в воду, набиты древними аммонитами. Они белые и чистые, и всё это похоже на Эгейское море. К нам подплыл селезень и начал кружить. Мы ели чипсы и поняли, что селезень приплыл за угощением. Поделились с ним. Непуганый, он подходил совсем близко, и я могла фотографировать его. Он благодарно ел, а потом пил воду из озера— чипсы всё-таки солёные. Выходя из озера после купания, увидела два

деревца в симбиозе, склонившиеся над террасами,— мушмулу и сливу— и подумала, что вот так, наверное, в раю: выходишь из тёплой чистой воды, а деревья сами тебе протягивают плоды— бери и ешь. Только эти плоды пока незрелые, а в раю спелые, там, наверное, вечный август.

Монтбрюн-ле-Бэн

Съездили мы и в Montbrun-les-Bains. Эта деревня разрекламирована как одна из красивейших деревень Франции из-за термальных источников, которые, если разобраться, совсем не термальные: минеральная водичка, вытекающая из-под гор,— всего-то двенадцать градусов. Вода, естественно, подогревается, но это не афишируется. Мы были первыми, кто задал вопрос о температуре и составе воды секретарю, продающей билеты на вход. Ей пришлось заглянуть в Интернет. А ещё говорят, мы, русские, ленивы и нелюбопытны... французы точно такие же, если не хуже. Здание с небольшим бассейном, саунами двух видов и двумя миниатюрными джакузи на крыше— красивое, спору нет. В подвальном помещении восточная баня— хамам, лечебные ванны, массажные кабинеты. Всё очень дорогое. В помещении фотографировать запрещено, фотоаппарат попросили оставить на входе. Мы взяли билеты на посещение бассейна и джакузи. В бассейне можно плавать, но люди там просто сидят, как лягушки. Плавали только мы. Потом по лесенке поднялись на крышу здания, на которой установлены две ванны-джакузи. На рекламной табличке написано, что каждое вмещает шесть человек. Неправда: там и четверо умещаются с трудом. Но, возможно, шестеро миниатюрных французов уместились бы— потомки галлов, в общем, небольшого роста и узкой комплекции, а французские двуспальные кровати, к примеру, сильно отличаются по размеру от голландских и русских.

Что сказать про саму деревню? Мы спешили, Янрику нужно было попасть вовремя к студентам, и поэтому деревню толком не посмотрели. Да, красиво и средневеково, но мы видели не менее красивые деревни. Там ещё есть шато— замок пятнадцатого века, в него не пошли по той же причине— отсутствия времени.

Умилила реклама «литературного обеда» в одном из кафе, куда мы заглянули выпить чего-нибудь,— его нужно было назвать «детективное меню». Впрочем, детектив и женский роман— лицо современной литературы, ничего не поделаешь. А меню предлагало блюда, описанные Жоржем Сименоном, Агатой Кристи и другими мастерами жанра.

Гап

Гап (Gap) по-французски значит «зазор», «трещина». Город лежит в горах, в низине, в департаменте

Прованс, но он больше относится к области Дофине, как и Гренобль. Хотя Гап—это что-то вроде местной столицы (целых тридцать восемь тысяч жителей) и в нём есть крупный медицинский центр, но город скучноват. Очень провинциален—вдоль проезжей дороги стоят скамеечки с сидящими бабками. Французские бабки платочки не носят, но судачат так же, как наши русские бабушки. Интересно, о чём или о ком—о проезжающих? Им не хватает только семечек. Семечки подсолнуха в местных супермаркетах есть, но они на любителя: кожа толстая, покрыта коркой соли, зерно мелкое. Может быть, кто-то и ест такие с пивом. Без пива невозможно—слишком солоно.

Немного истории: возник Гап в четырнадцатом году до нашей эры в качестве римского военного лагеря. А вот городские стены были построены только в пятом веке. До шестнадцатого века управлялся католической епархией, был аннексирован Францией в 1519 году. В 1790-м стал префектурой Верхних Альп.

Известен как самая высокая префектура Франции и как город сильной хоккейной команды. Местные хоккеисты дважды становились чемпионами Франции.

Центр города покорила нас скульптурой чистающей девушки. Она сидит на краю фонтана и смотрит в раскрытую книгу.

В Гапе очень яркий и высокий католический собор, в котором с английскими субтитрами крутят фильм об Иисусе Христе. Прямо в церкви оборудован небольшой кинозал с фонтаном—необычайно красиво. Людей в соборе не было, только мы...

Цитадель Систерона

Конечно, мы побывали и в Систероне, и не один раз—не так уж он далеко от Серра и Сен-Жени, примерно в тридцати километрах. Этот небольшой городок уютно устроился среди скал на берегу реки Дюранс. Количество местных жителей едва достигает семи тысяч человек, но их всё-таки раз в пять больше, чем в Серре. В западной части города, в окружении жилых домов, возвышаются скалы причудливых форм. Их вертикальные страты геологи всего мира считают чудом. Они похожи на распахнутые страницы пухлой книги. Но под странным ракурсом, потому что скалы сгруппированы в форме высокой остроконечной пирамиды. Через реку Дюранс к восточной его части ведёт старинный римский мост. Несмотря на то, что Систерон находится в необычном месте, он как бы оторван от остального мира, как Серр и Гап,— во всех трёх городах практически нет туристов. Городские узкие улочки и расположенные вдоль них старинные дома Систерона, его бесконечные лестницы и арки напоминают Серр, только здесь больше пространства и домов больше. И река полноводнее.

Первые поселения на этом месте существовали ещё четыре тысячи лет назад. А первое упоминание названия этого места относится к двадцать седьмому году до нашей эры. Тогда город назывался Оппидум—это кельтское название города-укрепления периода Римской империи. Затем город назывался по-римски Каструмом. От Оппидума и Каструма не осталось никаких следов.

Главная достопримечательность Систерона—его старинная крепость, или, как гордо величают её местные жители, цитадель, возведённая на скалистых склонах восточной части города. О, это дама почтенная, с богатой событиями жизнью! Она довольно обширна, окружена двойными стенами, на её территории много построек, башен, в том числе музеев и часовня Божьей Матери. Местная Нотр-Дам построена в пятнадцатом веке из золотистого песчаника и серого ракушечника. Её много раз перестраивали и украшали, а в 1935 году поставили уникальные витражи, увы, разрушенные бомбардировкой пятнадцатого августа 1944 года. Их восстановили только в 1970 году. Ежегодно четырнадцатого августа в церкви проводится месса в честь погибших пятнадцатого августа под бомбами.

История цитадели весьма интересна. Возведение крепости относят к одиннадцатому столетию, временам правления Генриха IV, который назвал её «самой мощной крепостью королевства». В тринадцатом веке крепость была защитным сооружением—пограничным постом Прованса. В конце семнадцатого века маршалом Вобаном было произведено дополнительное укрепление цитадели, позволявшее выдерживать атаки огнестрельного оружия. В 1562 году в Провансе разразилась религиозная война. Католики и гугеноты без конца сражались за крепость, чем основательно её разрушили.

В 1639 году в каземат главной башни был заключён польский принц Ян Казимир Ваза, ставший через девять лет королём Польши. Попал будущий король в тюрьму по-глупому. В 1638 году Ришелье затеял беспощадную войну с Испанией. Польша всегда дружила с Францией, но после начала войны отвернулась от неё. Польский принц должен был отправиться в Испанию и принять там командование. Это держалось в секрете, но всё-таки достигло парижских ушей. Через Австрию Ян Казимир поехал в Геную, откуда должен был отплыть в Неаполь, пересечь на испанский галеон и отправиться в Испанию. На его беду, генуэзцы устроили карнавал, молодой принц поволокся за хорошенькой итальянкой и... упустил испанские корабли. В конце концов он сел в какую-то лодку и отплыл из Генуи. Море было беспокойным, а принц—подвержен морской болезни. Не выдержав качки, вопреки всем советам, он вышел в Сен-Тропе, решив поехать далее по суше. В Марселе принца опознали и арестовали.

Отвезли в Салон-де-Прованс, оттуда—в каземат цитадели. Случилось это тринадцатого февраля 1639 года. Над будущим королём Польши издевались солдаты, сделав его мишенью для скабрёзных шуток, раздевали его догола при февральском холоде и июньской жаре. Принц писал письма родному брату Ладиславу—в то время королю Польши, французскому королю Людовику XIII, Папе Римскому, Ришелье и патеру Йозефу. Никто не протянул ему руки, но когда принц был готов свести счёты с жизнью, из страшного каземата его вдруг вызволил... Ришелье. Принц отсидел ещё полгода в тюрьме в городе Винсене, а потом был отпущен на свободу с разрешением выехать в свою страну. Он прожил ещё бурных тридцать три года, в течение которых стал королём Польши, дважды женился и дважды овдовел, принял духовный сан, отрёкся от польского престола, и закончил свои дни во Франции, в городе Невере, сделавшись аббатом Сен-Жерменского монастыря.

Помнит цитадель и ещё одного знаменитого постояльца. Пятого марта 1815 года в ней останавливался Наполеон. Сбежав с Эльбы, он высадился первого марта в заливе Жуан недалеко от Канн, с одной тысячей солдат направившись в Париж по дороге через Систерон и Гренобль, в обход пророялистски настроенного Прованса. Но мэр Систерона оказался также роялистом и принял решение задержать узурпатора (так роялисты называли Наполеона). Узнав о незваном госте четвёртого марта, он собрался поднять город и обстрелять войско Наполеона из пушек, когда солдаты будут переходить мост. Судьба всей Европы зависела тогда от цитадели! Если бы мэру Жозе-Лауренту де Гомберту удался его план, то не было бы и речи о «Ста днях» и Ватерлоо. Поднявшись в цитадель с утра пораньше, мэр столкнулся там с губернатором Машемином. Этим же утром губернатор получил приказ убрать из крепости весь порох и боеприпасы. Непонятный приказ был отдан Ловердо—представителем Людовика XIII в департаменте. Но... возможно, Ловердо был тайным приверженцем Наполеона, и Машемин не должен ему подчиняться? Станный приказ короля покрыт тайной... Поединок между мэром и губернатором закончился тем, что роялист де Гомберт разрешил всё-таки вынести порох из цитадели, повинувшись приказу. Но он не терял надежды и без пушек задержать Наполеона. Спустившись вниз, в город, мэр призывал добровольцев побороться за город и за короля. Но город словно вымер, почти никто не откликнулся на призыв. В ночь с четвёртого на пятое марта мост при входе в город охраняли всего несколько безоружных людей... Пятого Бонапарт со своим войском въехал в Систерон и встретился с мэром. Мэр честно сообщил, что пытался его задержать, но ничего не получилось. Наполеон проявил понимание и не тронул мэра.

Сохранилась одна история о встрече Наполеона систеронцами. Перед въездом императора в город толпа высыпала на улицы—скорее, чтобы увидеть легендарную личность, нежели возликовать при её появлении. Около двух часов пополудни Наполеон появился на пороге башни «Золотая рука». Юная работница из толпы поднялась к нему, чтобы подарить вышитый ею флаг. Наполеон поблагодарил и обнял её. Тут-то толпа и возликовала. Потом император сел на лошадь и поехал. Работница положила руку на колено Бонапарта и так шла, провожая его, до конца города. Последняя преграда на пути императора—цитадель—была преодолена: дофины, в чьём владении был департамент, были на его стороне. История сохранила его слова, обращённые к маршалу Бертрону при выезде из Систерона: «Теперь я достиг Парижа».

Экс-ан-Прованс

Запасаясь впечатлениями на зиму, как витаминами, съездили в город Экс-ан-Прованс. Доехали до города гораздо быстрее, чем до Гренобля. В Гренобль нет скоростной дороги от Серра, а в Экс есть. Ну, это ещё с римлян повелось. В четвёртом веке до нашей эры земли, на которых находится Экс-ан-Прованс, были заселены кельтско-лигурийскими племенами. Их столица находилась к северу от современного Экса. Греки из колонии Массалия (современный Марсель) жаловались римлянам на кельтов, и в 123 году до нашей эры римский консул Секстий наголову разбил лигурийцев и разрушил их столицу. На её месте он разбил военный лагерь Аква Секстия для защиты торгового пути между Римом и Массалией.

В четвёртом веке Аква Секстия становится столицей римской провинции Нарбон. Потом началось перекидывание города из рук в руки: кем он только не был захвачен! В пятом веке нашей эры город был захвачен визиготами. Потом—франками и ломбардами. В восьмом веке город заняли сарацины. Расцвета Экс-ан-Прованс достигает только в двенадцатом веке, во времена правления графов Прованса, а в пятнадцатом веке герцог Анжуйский, номинальный король Сицилии Рене, превратил Экс-ан-Прованс в крупный университетский и культурный центр. С тех пор Экс-ан-Прованс таким и остаётся—городом учёных, художников и поэтов.

В этом городе родился и провёл большую часть жизни художник Поль Сезанн. В этом городе завязалась его дружба с Эмилем Золя. Золя родился в Париже, но в три года был привезён в Экс-ан-Прованс, где отец будущего писателя получил контракт на строительство канала. Увы, до дома Сезанна мы так и не дошли, запутались в улочках, а когда распутались, на часах было около девятнадцати ноль-ноль—время закрытия музеев.

В Эксе есть чудесный музей Гране, в котором мы побывали. Франсуа Мариус Гране был художником, большую часть своих денег тратившим на полотна современников—художников-импрессионистов. Он передал коллекцию в дар родному городу в 1838 году. А после Второй мировой войны музей получил его имя.

В музее Гране хранится коллекция старых полотен и скульптур, а также картины художников-импрессионистов конца девятнадцатого—начала двадцатого века. Тогда в музее Гране проходила выставка работ Шарля Камоана, замечательного художника-фовиста, которого, я к стыду своему, совсем не знала. Он умел волшебным образом передавать свет. Свет его такой же, как в природе, но не фотографический, а свой, камоановский, жизнелюбивый. А ещё он чудесно рисовал женские портреты. Перед его полотнами можно стоять бесконечно, они заряжают, как солнечные батарейки.

Гренобль

Посетили мы и Гренобль. Из нашей глухомани сложно добираться до всего: серпантины, горы, мало скоростных дорог, и сто километров часто преодолеваешь за два—два с половиной часа пути. Но мы поехали. И не пожалели!

Гренобль начался в третьем веке с укрепленного поселения Куларо, построенного аллоброгами (аллоброги—кельтский народ, живший между реками Изерой и Роной). Потом, понятное дело, пришли римляне и переименовали город в Грацианополь—по имени правящего в 380 году императора Грациана. Много позже название города потеряло несколько букв и, приобретя галльский акцент, стало звучать как Гренобль. После распада Римской империи город относился к бургундским королевствам, вплоть до 1032 года. В том году город отошёл к Священной Римской империи, в которой и состоял до средних веков, а именно до 1349 года, когда был продан Франции. Он стал центром провинции Дофине и остался им до сих пор.

Из-за своего географического положения—город раскинулся в долине, чаще между тремя альпийскими массивами: Шартрёз (кстати, именно, отсюда произошёл знаменитый травяной ликёр «Шартрёз»), Бельдон и Велькор,—стал крепостью, плацдармом для войн французов с савойскими герцогами. Во время Итальянских войн здесь стояла французская армия, в которой блистал местный дворянин Баярд.

Хотя население Гренобля невелико (сто пятьдесят пять тысяч человек), но значение города для Франции весьма серьёзно: альпийский город славится университетами (их целых три!) и наукой. Это центр нанотехнологий и ядерной промышленности. Здесь есть свой большой драмтеатр и целых двенадцать музеев! Гренобль, как оказалось,

связан с двумя из моих трёх родных городов: Кишинёвом и Оршей. Кишинёв — город-побратим Гренобля. А в Орше побывал самый знаменитый греноблец — Анри Стендаль. С армией Наполеона, в которой служил драгуном. В общем, мир тесен.

В гостях у Стендаля

Побывали в гостях у Стендаля, вернее, у его дедушки — Анри Ганьона, в квартире на втором этаже, где прошло детство маленького Анри Бейля (настоящее имя Стендаля), полусироты. Мальчик лишился матери в семилетнем возрасте, и дед, отец его матери, пригласил осиротевшую семью — отца Стендаля, его самого и его сестёр — жить в его большой квартире на улице Гектора Берлиоза. Квартира, а также большая галерея с видом на город не изменились, находятся в хорошем состоянии, но ни одной вещи из их быта не сохранилось.

Хорошие отношения у малыша Анри были только с дедом, а вот отец его не понимал. Дед, врач по профессии, был увлечён просветителями, был лично знаком с Вольтером и привил внуку любовь к своему знакомцу, а также к Дидро и Гельвецию.

Из этой квартиры Анри Бейль поехал в Париж поступать в Политехническую школу (с математикой у него было всё в порядке), но вместо этого, воодушевлённый переворотом Наполеона, записался в его армию. Влиятельные родственники выхлопотали для него направление в Северную Италию, и Стендаль навсегда влюбился в эту страну.

Стендаль был, похоже, человеком страстей. В 1802 году, разочаровавшись в Наполеоне, подал в отставку, жил в Париже, где упорно занимался самообразованием.

Потом влюбился в актрису Мелани Луазон и последовал за ней в Марсель. В 1805 году вернулся на службу в армию, с которой побывал в Италии, Германии, Австрии. В походах писал заметки о живописи и музыке. Вообще, Стендаль в своё время был известен не как писатель-беллетрист, а как автор путевых очерков и биографий великих.

С наполеоновской же армией прошёлся он и по России. Он был в одном из моих родных городов (на родине моей матери) — Орше. При переправе через Березину Стендаль потерял многие из своих записных книжек, одну из них я видела в доме-музее Гренобля: пухлая, небольшого формата, удобная для ношения в кармане. Обложка бархатная, лиловая. А в Орше, в музее коллегиума иезуитов, есть стенд, посвящённый Стендалю. Кстати, город Верьер, в котором происходит действие романа «Красное и чёрное», — это на самом деле Гренобль, а сюжет романа взят из местной газетной хроники. Современник великого француза Пушкин высоко ценил его романы, а ещё Стендаль считается одним из предшественников Льва Толстого — своими доскональными анализами психологии героев.

Подвижная, динамичная проза Стендаля опередила своё время. Он не лил воду в тексты, писал коротко и конкретно и сам предсказывал, что его прозу оценят по достоинству не раньше 1880 года. Так и случилось.

Подойдя к дому деда писателя, мы увидели ряд табличек жильцов. На одной из табличек значится имя: Анри Стендаль. В старом Гренобле всё дышит историей. Неудивительно, что жильцы дома, в котором когда-то жил врач Анри Ганьон с маленьким внуком — старательным учеником центральной гренобльской гимназии, могут с гордостью сказать, что они — соседи Стендаля.

Лео Бутнару

Необходимое расстояние

Иногда

Иногда
вдохновение сродни абсурду:
например,
когда ты изобличаешь себя, декламируя
стихотворения,
которых никто никогда не сочинял
и никто никогда не сочинит... это глобальное
доказательство «от противного»
касается всего на свете,
на небе
и в поэзии,
откуда и вывод обо всём этом:
ничего доказать нельзя.
Что и требовалось доказать...

Может быть, если бы...

Не для того я родился,
чтобы всю жизнь бояться смерти.
Может быть, только недолгое время —
в годы наивного детства,
хоть и не исключено,
что мне придётся впасть в детство ещё раз
(если это будет мне дано), —
потому что я рождён не для того,
чтобы всю жизнь бояться смерти.

...Другое дело (а может быть,
это одно и то же),
что иногда
я боюсь жизни.

Вместе

Смерть — великан?
Тебе известно лишь,
что с нею вместе
ты довольно свободно помещался
в материнском чреве...

Можно сказать,
что так же происходит и с вами
в мировой бесконечности, где
люди убивают время.

Мёртвое время убивает живых людей...

Вспоминая Монголию

1.
Кочевник неистово скачет по степи. Но
времени от времени он останавливает коня,
разворачивает его
и заставляет сделать несколько шагов назад — чтобы
сполна вдохнуть расширенными ноздрями
запах истоптанной копытами полыни.

2.
Степь... Необъятная степь...

Дорога сужается,
всё сужается,
она всё тоньше, как нить пряжи...
Там,
далеко,
её конец может поместиться
в кармане у случайного шамана.

3.
Кромешная тьма.
Первый раз в жизни чиркаю спичкой
в такой беспредельной
всемирной ночи.

Дискурс

1.
Я сказал: — Смерть.

...Я сказал себе
и остановился,
чтобы этот дискурс —
почти как минус —
не показался бы слишком
пессимистичным...

2.
Ради любви к жизни,
а больше всего — ради ненависти к смерти
стоит жить!

Необходимое расстояние

*Quel fut ton plus beau jour?*¹

Paul Verlaine

1.

В условиях телепатии
и симпатии

мы можем читать мысли друг друга на расстоянии.

Будь добр, сделай шаг-другой назад,
чтобы можно было отрегулировать ясность
проявления
и передачи.

2.

Я почтительно прошу
желающих мне добра,
чтобы смотрели на меня с некоторого расстояния.

Так

я мог бы показаться им
в какой-то степени счастливым,
а если вдруг кто-то из них
спросил бы меня:

— Когда ты был счастлив? —

вероятно, я бы ответил (и, признаюсь,
ошибся бы):

— Наверное, завтра...

3.

...И ещё о необходимом расстоянии:

Теснота не для тех, кто распространяет свет
разума:
слишком большая близость опасна
для зажжённых свечей —
они нагреваются друг от друга,
изгибаются,
обмякают,
тают быстро, гаснут
прежде времени.

Головой на гриве

Что значит любовь на земле!

Ах!

Смотрю изумлённо на двух усталых
работяг-лошадок, которые
кладут головы
на гриву друг другу...

.....

1. Панта рей (всё течёт; *греч.*) — основополагающее положение диалектики, приписываемое Гераклиту, согласно которому ничто не остаётся в покое, но всё, подобно реке, находится в постоянном движении.
2. Какой был твой самый лучший день? (*фр.*)

Срочность

1.

Панта рей² как пантеон движения.

И в поэзии всё течёт,
всё меняется;

и это стихотворение мне кажется зеркальцем у рта
другого стихотворения,
которое выпускает последний вздох...

2.

Могло бы стать законом,
или исконным инстинктом;
могло бы стать обязательным, как конституция
или вера, — но это так:

поэзия воскрешает как неотложная помощь
в спасении поэзии
от принижения.

Между сотнями мачт

1.

Если

среди сотен мачт, что покидают берега,
вы увидите человека без сил от странствий,
на хребте,
на костях которого кожа тела его
колышется, как парус на мачте, —
знайте: это непременно
Одиссей;
он —
человек-мачта,
человек-мечта...

2.

Между сотнями мачт — раздвинутые
в воздухе руки
в бесконечном космосе —
обрубки мачт...

Куда плаваешь ты,
человек?..

Начало и конец философского трактата

Предположим, что жизнь
и бессмертие...

...Да нет: предположим, что Бог...

...Извините,
но что мы делали до сих пор?

*Перевод с румынского
Игоря Лоцилова*

Софья Малахова

Енисейск

Часть первая

1.

В автобусе трясло, и я считала секунды до остановки. Ужасно тошнило, и голову разрывала боль. Я была с отцом, а он совершенно не знает, как что лечить. Да ещё и пугается. А его лучше не пугать.

Был ясный день, а я пыталась провалиться в дрему. Иногда это получалось. Но боль в голове вторила пульсирующими ударами в такт тряске автобуса.

— Сонечка, просыпайся, остановка.

Уже одно это слово словно оживило меня. Лето тут казалось гораздо более тёплым и радостным, чем в городе. Хотелось прыгать и петь, а рядом выходили угрюмые люди. Они мне все казались серыми и ненастоящими. Зато вот листва — она словно здоровалась, кланяясь мне под порывами ветра. Я поздоровалась в ответ, чуть склонив голову, словно сделала тайный реверанс, как в старых фильмах. Ветер — он хороший, он всем рассказывает обо мне и от всех приносит мне вечером сказки.

Отец купил пирожки с капустой. А запах-то от них какой! Сладкий и немного пряный. Видимо, добавили немного чёрного перца. Всё тело сжалось в судороге, отказываясь есть. Ну и ладно, снова забрались в автобус.

Мимо проносились цветущие поля... ну как проносились — скорее, медленно проползали. Через какое-то время я всё-таки смогла себя уговорить на один пирожок. Всё-таки отец всегда такой: покупает то, что мать бы не купила. Так что эти пирожки будут секретом. Не буду ей рассказывать.

Сладость теста словно наполнила всю меня. Печёное тесто никак нельзя сравнить с фруктами, но этот вкус мне показался концентратом этого солнечного дня. Он был весь ярко-жёлтый, плотный, словно ты в воде, и немного липкий. Почему липкий? Не знаю, наверное, потому, что к нёбу прилипло немного теста.

Голова заболела сильнее, да и запахи старого автобуса начали давить на нос. Ничего, надо потерпеть, уже скоро.

2.

Первое, что меня поразило, — это отсутствие цвета. Всё стало серым. Глаза отказывались полноценно открываться, отец вёл меня за руку, а в другой руке нёс сумку. Серая остановка, серый асфальт, серый вечер, зелёные ворота. О, цвета начали проявляться! Зелёная трава, коричневая тропинка. Крыльцо — оно не коричневое, оно деревянное, это другое.

Я вяло плетусь. После такого тёплого дня стало непривычно холодно, даже болезненно холодно.

Стою рядом с сумкой в коридоре, сразу после тамбура. Я в первый раз в этом доме. Вокруг много тёмных дверей. Коридор большой, расходится в две стороны. Везде — бордовые двери. Отец идёт в дальний конец и пытается открыть дверь. Как с таким коридором в доме ещё и комнаты помещаются?

Справа висит перевернутое ведро — кажется, видела такие в какой-то книге. Рукомойник? А как им пользоваться? Потом разберусь.

Подхожу к отцу. Напротив двери, которую он пытается открыть, стоит комод. Открыв его, я вижу книги. Я таких ещё не читала: большие — значит, детские, значит, тут хорошо. Как может быть не хорошо там, где есть такие книги? Внутри меня кто-то улыбается, даже не внутри — где-то снаружи, за спиной и под потолком. Дом? Мир этому дому! Так мама учила, так домовая не придушит. Но тут домового нет. Тут только дом. Хороший.

Отец поднимает меня с пола и говорит, что мы будем ночевать у бабы Нади. Сумку он уже занёс в комнату и запер дверь на ключ.

Мы выходим в ночь. Тишина звенит, и кажется, что тьма, объявляющая нас в эту летнюю ночь, может тоже с нами говорить; по крайней мере, молчит она очень выразительно.

Мы идём вдоль старых домов, переходим неправильно дорогу, наискосок по перекрёстку. А где вообще разметка дорожная? Как тут ездят?

3.

Баба Надя о чём-то говорит с отцом. Я совсем не помню, как она нас пустила; точнее, это случилось слишком быстро. Раз — и мы уже у неё дома. Обычно всё не так. Нужно долго здороваться, а потом долго говорить. Я не успела и глазом моргнуть, как уже за столом суп ем.

А ещё тут странно пахнет теплом. Не так, как от печки, а живым теплом. То есть печка тут тоже есть. Так что тут сразу несколько тёпл. Не так — теплоты. Баба Надя очень худая и маленькая. Моя бабушка тоже маленького роста, но она кажется больше бабы Нади. А ещё у бабы Нади кудри, и платё «в цветочку», и шарф вокруг головы. Зачем он ей ночью? Кажется, у неё всё «в цветочку». Она кладёт у печки на сундук оранжевый матрас «в белую цветочку», а сверху — простыню с сиренью и подушку с голубенькими цветочками. Когда меня укладывают, бельё ещё прохладное. Я слышу, как они с папой перешёптываются. Баба Надя рассказывает, что больницу, где она работала с бабушкой папы, закрывают на ремонт. А потом меня укутывает тепло.

4.

Мне снился старый английский парк, я прекрасно знала, что мне это снится. Но я подыгрывала моим сёстрам и гувернантке. Мы были тремя сёстрами в белых платьях, белых кружевных чепчиках с нежно-розовыми лентами. Мы бегали друг за другом и всё старались отбежать дальше от места, где сидела наша гувернантка. Это было непросто, мисс Гембрид была очень строга и в случае чего могла доложить родителям, как скверно мы себя ведём. А потом, при всех, наказать нас десятью ударами линейки по ладоням. Но отбежать от мисс Гембрид было делом чести.

Все эти знания приходили ко мне по мере игры с Сюзанной и Анабель. Мне уже порядочно накутила беготня, и я предложила сыграть в прятки. Я подошла к дереву и приготовилась считать. В коре дерева был разрез, который разошёлся и оголил само нутро дерева. Как только я прикоснулась к нему, я оказалась в другой части парка. Дыхание перехватило. Я прикоснулась к дереву, рядом с которым стояла, и снова оказалась у первого дерева, с разрезом в коре. Надо запомнить: вдруг за мной будет погоня?

Перед глазами возник образ, как я, уже взрослая, бегу через парк от солдата. Он скачет за мной на чёрном коне. И вот-вот нагонит. Я вспоминаю детские игры. Только это меня и спасает, я вовремя успеваю сбежать из Англии, до того, как её захватили «вóроны».

5.

Солнечный луч освещает мои сны, пронизывает веки и врывается в сновидения. Улыбаюсь и открываю глаза. Баба Надя уже хлопочет на кухне. А потом уходит из дома. Я сажусь и осматриваю всё вокруг. Белые шторы обрамляют старую раму, стекло чуть мутное и немного с полосами. Раму красили очень давно, белая краска облупилась, и осколки её висят на раме, словно белые цветы. Всё-таки я в доме какой-то цветочной бабушки.

Баба Надя заходит с ведром молока, от него идёт пар. Она ставит ведро на печь и начинает натягивать на него марлю. Передвигает другое, пустое, ведро ближе к печи и выливает из первого всё содержимое. После чего осторожно снимает марлю и кладёт в большую железную тарелку. — Ну что, уже проснулась? Отец твой ушёл, ему много дел сегодня сделать надо. А ты не стесняйся. Хочешь, я тебе своих коровок покажу? У меня одна корова недавно телёночка родила.

Она вопросительно на меня смотрит. Что же ей сказать? Слова застряли в горле. Я киваю и улыбаюсь.

— Ладно, чего это я, правда? Ребёнок ещё не кормленный. А я уже с вопросами нападаю. Яйца варёные будешь? Ты их вообще пробовала?

— Да, буду. Спасибо.

— Ну и молочко, конечно, будешь?

— Не знаю, я не пробовала.

— Как так-то? Хотя городское молоко и правда лучше не пить. Но у нас-то настоящее. Деревенское, только из-под коровы.

— Полкружки можно?

— А чего так мало?

— Яйцо и полкружки молока. Это же много.

— Разберёмся.

Передо мной были поставлены яйцо, разрезанное пополам, чёрный хлеб, белый хлеб, зелёный лук, несколько ранеток и кружка молока.

6.

Когда пришёл отец, он смог честно выполнить свой отцовский долг и доест за мной полкружки молока, белый хлеб с луком, и ещё я поделилась половинкой яйца. Баба Надя застала его только на яйце и налетела на него:

— Ты чего ребёнка объедаешь?

— Так она сказала, что неголодная.

— А сам что? Подумать не мог, что она маленькая, ещё не знает, сколько ей нужно есть?

— Я ей булочку куплю.

— Булочку, тьфу! Нет чтоб ребёнка нормальной едой кормить.

— Ну а что я-то?

— Действительно, Сашка. Вот каким ты был в десять лет, таким и остался. Ладно, пойдём кровать доставать. Сам справишься? И помыть её надо будет, всё же в коровнике стояла.

— Конечно, всё сделаю. Только покажи, где вода для шланга открывается.

— Покажу. А малая у тебя, Сашка, красавица всё-таки. На тебя похожа.

В окно я их не увидела. Наверное, они пошли в другую сторону.

7.

Посуда была тоже расписная, вся в цветах, иногда с птичками. И как же странно раньше дома

строили... Стены тёмные, лампочки не горят, а кажется, что предметы изнутри светятся. От скуки я положила голову на скатерть. Ниточки приятно вдавились в кожу, они шли крест-накрест друг к другу, огибая соседа. Всё-таки ткань—это так сложно... А если присмотреться—очень просто. Особенно с вышивкой так. Горящие цветы почти мерцают на фоне серого дома, а если приблизить край скатерти, на которой они вышиты, то всё оказывается простым: ниточка к ниточке...

За окном играло и манило лето. Я сползла со стула и пошла к выходу. Дверь поддалась со второго раза, она плотно примыкала к порогу. За ней оказалась маленькая каморка, абсолютно тёмная и прохладная. По щеке скользнула травинка. Я присмотрелась. На полках наверху стояли букеты, обёрнутые тканью. Они были уже коричневые, но не такие коричневые, как тропинка, а как старая трава. Я перешагнула порог, он был многоступенчатый. Сначала была одна широкая доска, а на ней другая—выше, но уже. Ноги встали на гладкий ковёр, плетёный. Сделала пару шагов и наткнулась на ещё одну дверь. Она поддалась с четвёртого раза.

В глаза ударил яркий свет, ветерок скользнул по щеке и улетел. Поздоровался. Справа отец что-то делал со шлангом, рядом с ним стояла сетчатая железная конструкция. Отличное слово для объяснения всего. Мама его часто повторяла на что-то сложное. Но и на такое простое оно подойдёт. Слева стоял чёрный дом, в нём не было окон, зато были большие двери. Из них вышла баба Надя. Она несла ещё одну конструкцию, без сетки. Я побежала ей помогать.

— А ты куда, маленькая, идёшь? Помогать мне? Ну, спасибо, только для тебя это пока тяжело.

Я отошла и серьёзно огорчилась. Я не маленькая и не слабая. Я два стула могу нести вместе, и не табуретки, а со спинками стулья.

Вокруг росли цветочки с очень крупными бутонами. Кажется, такие нравились матери, только я не знаю, как они называются.

Я подошла к отцу, он синей лентой обматывал шланг, бинтовал. Ну, хоть перевязки он умеет делать.

— Смотри, какая у нас кровать будет—синяя.

Я пригляделась. Кое-где действительно видно, что кровать была когда-то синей. На углах сохранилось немного краски, но в основном кровать была ржавой, а ещё она была покрыта старой листвой и травой. Я подошла ближе, и тут из шланга потекла вода. Пяточкам стало мокро и холодно, а вот мне стало радостно. Для усиления радости я ещё и прыгнула. Зря. Отец увидел, что я босая, и стал гнать меня в дом. Но в основном он поливал кровать, так что я продолжала стоять рядом и наблюдать.

От брызг образовалась радуга. Подкроватная радуга. Жаль, тут Дениса нет, я бы ему показала.

Хотя ему было бы скучно тут без машинок. Надо что-то с этим будет делать. Баба Надя принесла ещё одну конструкцию, точно такую же, как прошлую, без сетки. И пошла на огород, уточнив, что за капустой.

Я присела и стала рассматривать цветы. Они были большие, больше ладони. А ещё они были странные. У края лепестка—совсем белые, а ближе к центру—сначала становились фиолетовыми, а потом красными. И лепестков было не пять, а много, очень много.

— Соня, я что сказал? А ну марш обуваться!

Ну вот, уже злится. Не люблю, когда люди злятся. Я пошла в дом. Открывать дверь снаружи было ещё сложнее. Я уцепилась за ручку всем телом и почти повисла. Но тут подошла баба Надя и открыла мне дверь. А потом ещё одну, положила кочан на стол и пошла в другую комнату, а я стала искать босоножки.

— Сейчас ещё супчик приготовим. Всё свежее, только с огорода.

Я попыталась представить, как это будет на вкус. Не вышло. Значит, не попробую. Странно это. Вот если нельзя представить, значит, не случится. А то, что вдруг само начинает фантазироваться,—точно сбудется.

Как же ловко она всё чистит и режет. Словно она танцует. Хотя нет, танцует—это когда всем телом, а она только руками. А может, она ведьма? Да нет... А как я это определила—не знаю. Но вот своими умениями она лечить не сможет, так что не ведьма.

В комнату заходит отец.

— Нашла босоножки? Молодец. Скажи спасибо бабе Наде, и пойдём.

— Спасибо,—я почти проглатываю это слово, я благодарна бабе Наде за то, что она покормила, за то, что собирала мне кровать, но почему-то мне стыдно перед ней, что я не помогла ей в ответ. — Саш, вы куда? Я вон супчик собралась готовить. У вас там хоть есть что есть? Там же печь не топили вона сколько лет.

— Да разберёмся, спасибо, баб Надь. Мы пойдём.

— Ну, если что—малую свою приводи.

— Хорошо.

Я опять решила представить, как меня ещё раз приведут,—не представилось; значит, соврал.

8.

Мы вышли за калитку и опять начали переходить дорогу неправильно, только ещё более неправильно, чем вчера: прямо от дома бабы Нади начали переходить.

Машин не было. И тут я увидела у самого перекрёстка, как плетётся корова. Медленно и вальяжно. Рыжая с белыми пятнами или, наоборот, белая с рыжими пятнами. Равномерно пятнобелая и пятнорыжая.

— Смотри, это тёлочка молодая, — начал мне рассказывать отец.

— А где машины?

— Их тут почти нет.

— А коровы не боятся ходить по дороге?

— Им всё равно.

— А машины их не собьют?

— Обьедут.

Мы прошли уже мимо вчерашней остановки. И при дневном свете она была серой, и асфальт был серым, а вот ворота — светло-зелёными. А за ними очень кучерявая трава.

Мы снова зашли в дом, отец открыл дверь уже гораздо быстрее. Комната была огромной, потолки были где-то очень высоко. Справа стоял огромный шкаф, к нам бы в квартиру он точно не поместился. Слева — печка. Серая, пыльная и неживая. У печки стояла наша дорожная сумка. Мама говорила, что она волшебная, она её сама из ковра сшила. Это звучало так же, как сказка, загадочно и немного правдиво.

— Посиди пока на сумке. Я скоро приду.

С этими словами отец ушёл и закрыл за собой дверь на ключ.

В комнате было две кровати. Одна стояла слева от окна, вдоль длинной стены, а вторая — у противоположной стены, она начиналась от шкафа и упиралась в стол. Не так, как в городе. Тут столы были круглые и узорчатые. Похоже, тут когда-то жили мастера. Сразу представился старик с серой бородой и серыми волосами, седыми. Он осторожно вёл по дереву ножом, только закруглённым, и создавал узоры.

Я встала и подошла к столу. Пальцами начала вести так же по вмятинам в дереве, как если бы я срезала лишнее. Дерево не злилось. Оно, как кошка, словно выгибалось под пальцами. Жалко, что со столом нельзя поиграть так же, как с кошкой. Стол двигаться не будет. Только немного вторить мыслям.

Я повернулась к окну. Сразу под окном была маленькая крыша, и она спускалась вниз вдоль дома. А ещё за окном был другой дом, без окон, зато с дверями. Не такими большими, как у бабы Нади. И он был весь в шрамах. Разрушенный старый дед — он стоял только от собственной старости. Он стоял крепко. Я туда не буду заходить.

Дверь открылась, и зашёл отец с конструкциями, теми, что без сетки. Поставил их к шкафу и ушёл. Они после чистки и правда стали синими, кое-где каски не было, но в основном они были синими. Я погладила их, металл был ещё мокрый и немного прохладный. А ещё мне понравились швы, где одна трубка с другой соединялась. Почему-то теперь, когда двери шкафа были закрыты ещё и конструкциями, захотелось посмотреть, что там в шкафу.

Снова зашёл отец. С сетчатой конструкцией.

— Так, Соня, а ну не путайся под ногами. Села — и сиди на сумке, сейчас я всё сделаю, и сможешь гулять.

Он поставил сетчатую конструкцию и пошёл к кровати, что стояла у окна, снял с неё все покрывала и матрас. Оказалось, что под ним была собранная конструкция, и тоже с сеткой, только в середине была ржавая дыра, в самой сетке. Папа начал разбирать кровать, а потом вынес её.

Я всё ещё сидела на сумке и осматривалась. Стены были сероватые. А ещё вверх, под потолком, были паутины. Пауки очень больно кусаются. Сразу всё опухает. Но мама говорит, что это я виновата, потому что у меня аллергия на их укусы.

Снова вернулся отец и начал собирать кровать, а когда собрал, начал застилать. На простынях были бордовые пятна. Сначала он положил простыню, а потом тут же снял с кровати, скрутил и бросил на пол. И пошёл к шкафу. В шкафу на дне лежало много простыней, стопочкой. Осмотрев их все, отец выбрал четыре. Совсем почти без пятен.

— А что это за пятна?

— Так, Сонечка, не мешай. Сейчас я соберу твою кровать, и ты сядешь на неё.

Когда он полностью застелил мою кровать, он пересадил меня на неё. Забираться на неё было сложно, так что он меня поднял и посадил.

Люблю быть на руках. Это как полёт. Но отец чаще поднимает Дениса. А ещё возит его на плечах. А меня почти никогда. Один раз, увидев мою обиду, поднял. А я с непривычки испугалась. И только начала привыкать, как меня уже сняли. И зачем я расту так быстро? Лучше б была маленькой, как всё вокруг.

Кровать подо мной пружинила, и создавалось впечатление, что я плыву или еду в поезде. Мне это нравилось, я немного пошаталась на ней специально, и кровать ещё какое-то время пружинила по инерции.

— Так, дочь, что тебе дать?

— Книгу.

— Какую книгу? Разве мы что-то взяли?

— Там, в комод, в коридоре.

— Какую?

— Большую и серую.

Отец вышел и вернулся с книгой. Кинул её на кровать и ушёл.

9.

На обложке был когда-то рисунок. Но от него остались только вмятины. И ещё немного позолоты. Это были какие-то узоры, плетённые крутом. Я открыла книгу. Шрифт был крупный, что подтвердило мои догадки: книга была детской. В ней были красивые иллюстрации, с животными, с охотниками, с духами. Пролистав первую сказку, я загрустила. Её нельзя будет прочесть. Просто потому, что кто-то много-много раз обвёл кита

синей ручкой, и кита не стало. Это как вырезать ножиком. Мы так делали с братом, когда мама не видит. Правда, не мы, а я вырезала дырочки в бумаге там, где должны быть стёкла у машины.

Таких сказок набралось шесть, отчего мне стало совсем грустно. Нельзя так портить книги. А вдруг это мой отец? А вдруг он помнит, куда дел изображения? Тогда можно будет вылечить книгу. Я открыла в середине и стала читать сказку. Она рассказывала о девочке, отец которой был охотником. А ещё у неё была очень глупая мачеха, которая сначала извела отца, а потом пыталась извести девочку. Только так не выйдет, каждое последующее поколение сильнее, мне мама рассказывала. Она говорила, что они с отцом живут в краевом центре, а мы, дети, будем жить в столице, и только наши дети добьются чего-то нормального. Мы все—просто звенья.

Ну вот и девочку мачеха не извела. Та даже тигра сумела победить. А ещё у неё было очень хорошее правило. Она трижды предупреждала и только потом приступала к действиям. Так и тигра она трижды предупредила и только потом убила. Моя мама тоже считает до трёх, только по-своему. Она говорит, что досчитает до десяти, и начинает: один, два, восемь... Мы все понимаем, что она делает неправильно, но также все понимаем, что не выполнить то, что она сказала,—это равносильно самоубийству. Если не она нас убьёт за наши действия, то обстоятельства сложатся так, что мы обязательно умрём. Так вот и живём, строим слушаемся маму и тайком нарушаем все её правила. Прямо как настоящие шпионы.

А девочка из сказки стала духом. Она бродит и дарит обиженным детям хорошие сны. А ещё с ней ходит собака, ожившая статуэтка, из тех, что сделал ей отец из дерева. Жалко, что мой отец только блины жарить умеет, и то—хорошо, если раз в год, ну, максимум два.

В комнату вошёл отец. Принёс огурцов и помидоров, а ещё хлеб и пучок зелёного лука, ну и бутылку подсолнечного масла. Поставил всё на стол и ушёл. Через пару минут он вернулся с дровами. И начал растапливать печь.

Сначала он достал из шкафа газеты и порвал их, а потом свернул. Жаль, их тоже можно было бы почитать. Потом он отрезал ножом несколько щепок и зачихнул их в кокон из бумаги. Потом всё это положил в печь и попытался поджечь. Горело плохо. Так что все свои действия ему пришлось повторить ещё раз, а потом ещё. Но потом всё стало гореть сильно, и он даже зачихнул несколько полешек в печку и закрыл. Я придвинулась к краю кровати, который был максимально близко к печи, и ждала, когда он ещё раз откроет железную дверцу и покажет огонь. Но отец начал делать салат. А потом опять вышел и вернулся с подушкой и просто потрясающим столом. Стол был высокий

и маленький, на одного человека. У стола была узорчатая ножка, и он был белый.

—Смотри, это твой личный стол,—сказал папа и поставил стол у кровати.—Вот тебе подушка, чтобы удобнее было сидеть. Сейчас разложу салат, поедим, и я продолжу разбираться с комнатой.

Он поставил на стол белую тарелку с голубыми бабочками по краям и положил вилку, на которой были ветки сосны с орешками. Я погладила вилку, она была гладкая, а ещё очень старая и тяжёлая. Тяжелее городских. Я села на подушку; мама бы этого не разрешила, но так и правда было удобнее сидеть за таким высоким столом. Пальчиками ног я гладила ножку. Так есть было интереснее.

После еды папа всё убрал, и я опять села за чтение.

Через восемь сказок отец опять пришёл. На этот раз с ведром, тряпками, порошком и ещё белым ведром с крышкой.

—Ну что, пойдём в кино?

—А на что?

—На «Такси».

—Мы же видели.

—Так на большом экране.

—А мама разрешит?

—Мы потом с ней сходим.

Мы собрались и вышли в вечер.

10.

Небо было розово-жёлтое. Мне всегда говорили, что это к ветру. Причём к плохому ветру. Но мне показалось, что такое сказочное небо не может принести в будущий день ничего плохого.

Мы проходили деревянные домики, с разными узорчатыми окнами, с разными калитками.казалось, что это город домиков и только домики да коровы—единственные живые существа на много километров вокруг.

Мы дошли до моста. Он был такой тоненький, что я испугалась немного, что мы упадём. Но перила у моста были просто удивительные. Это были толстые железные ветки с шишками. Я шла и гладила их. Внизу, очень далеко под нами, текла речушка, почти ручей. А вокруг неё всё цвело и росло. Там даже малина была.

Когда мы дошли до конца моста, мы встретили человека.

—Ух ты. Саш, да ты совсем не изменился!—женщина была в платке, а я думала, платки для бабушек.

—Здравствуй, Марин. Как поживаете?

—Да как поживаем? Всё хорошо. Младший вон в школу в этом году пойдёт. А у тебя как? Твоя?

—Да, это Соня.

—А сколько Соне лет?—она наклонилась ко мне и начала смотреть.

Лицо её было очень простым, как блин. Таких людей к папе на кафедру точно бы не пустили, даже у студентов лица умнее.

— Пять... — говоря это, я ещё и пальчиками показала, чтобы ей было понятнее.

— Ой, какая взрослая, невеста растёт. А мама где? — она снова переключила своё внимание на отца.

— Мама у нас в Красноярске осталась вместе с сыном. Скоро приедут.

— А я думала, вы на вокзал идёте. А куда вы шли?

— На «Такси».

— А вы что, не видели?

— Видели, конечно, но на большом экране-то интереснее.

— А-а-а-а...

— Ну ладно, может, как-нибудь заскочу ещё.

— А можешь столб передвинуть? Старый прогнил, а мой на вахте, сам понимаешь...

— Конечно, помогу.

— Ну ладно, тогда завтра загляни, я как раз и зелень подготавливаю, и варенье.

— Ой, спасибо.

— Ну ладно, пока. До завтра.

— До завтра.

Мы пошли дальше, и вновь нас окружали лишь дома да изредка проходившие коровы.

— Пап, а кто это?

— Одноклассница моя. Давно не виделись.

— А ты завтра к ней пойдёшь?

— Вместе пойдём.

Город был на самом деле удивительным. Постепенно становилось всё меньше очень старых деревянных домов. Стали попадаться кирпичные дома, но не выше четырёх этажей. А ворота и заборы почти везде были сделаны из плетёных железных веток. Иногда в них даже были такие же железные животные. А вверху было очень много разных пик. Потом были аллеи и памятник Ленину. А потом опять стали появляться жилые домики. Мы повернули и шли ещё немного, пока не вышли к огромной белой стене.

— Это монастырь, там живёт белочка, мы как-нибудь сходим к ней в гости.

— А когда?

— Когда мама с Денисом приедут.

Кинотеатр находился буквально в десяти шагах от входа в монастырь. Когда мы проходили мимо открытых ворот, я увидела сам храм и ещё сосну и домик у сосны. Наверное, там белочка. А ещё ворота были очень далеко от храма — очень много земли было у монастыря.

Билеты в кино стоили десять рублей, это как дважды проехать на автобусе одному. Но на автобусе ехать неинтересно, да ещё и пахнет не вкусно, и сидеть не всегда есть где. А тут в нашем распоряжении был весь зал. Мы вдвоём с папой, одни в зале, смотрели кино. Папа громко смеялся над шутками, словно слышал их в первый раз. Так

что я всегда знала, когда закрывать ушки от его громкого смеха.

Вернулись мы уже в потёмках, легли и сразу уснули.

11.

На следующий день, утром, отец помыл полы везде и перестелил свою кровать. Собрав лишний мусор, мы вышли из дома и пошли в гости.

Тётя Наташа радостно нас встретила. Меня оставили в доме, а отец с тётей Наташей пошли ремонтировать крыльцо. Я смотрела за ними в окно. Угол зрения был неудобный, и мне было мало что видно. Иногда приходила тётя Наташа и брала инструменты.

— Ты чего просто так сидишь? У нас вон кошка котят родила. Иди поиграй.

Котят были в основном чёрненькие. Но двое были с белыми большими пятнами. Я протянула к котяткам руку, чтобы они её понюхали и решили, стоит ли со мной играть. Один из котят осторожно, шатаясь, подошёл к моей ладони и обнюхал её. Потом пошёл обратно к маме и к своим братьям и сёстрам. Забрался по котяткам к маме на спину и соскользнул куда-то за неё.

Сразу после этого другие котятка втроём подбегали ко мне и тоже обнюхали мою руку. Один из котят, чёрный, попробовал прыгнуть и вцепился мне зубками в палец, а потом начал царапаться лапами. У Ланса, кота, что у нас жил, когти были мягче, наверное потому, что толще. Нападение на мою руку длилось недолго, котёнок отцепился и поплёлся к маме. Другие котятка затеяли возню друг с другом.

Кошка, которая всё это время неотрывно наблюдала за моими действиями, напоминала какую-то царевну. Причём она была такого же окраса, что и Борис из рекламы «Китикэта». То есть не чёрная. Видимо, котятка в отца.

Когда тётя Наташа снова зашла в дом, уже с отцом, моя рука была совсем в царапинах, и даже капала кровь. Спрятав руку от взрослых, я быстро встала и села рядом с отцом за стол.

— Вы яичницу из трёх или четырёх яиц будете? — тётя Наташа уже доставала из корзины яйца, предварительно поставив огромную сковороду на печь.

— Давай-ка из двух, — ответил отец.

— Тю-ю, а чего ж так мало-то?

— Да нам хватит.

— А глазунью или омлет?

— Омлет.

Я шёпотом спросила у отца:

— А что такое глазунья?

— Это когда желтки не разбиты.

— Понятно.

Про себя я подумала, что хотела бы попробовать глазунью, но отец уже сделал выбор, и тётя Наташа что-то взбывала в тарелке. Я обтёрла капельки

крови о юбку. Когда всё было готово, перед нами поставили по огромной тарелке с омлетом. Жарили его на сале, это было сразу понятно по запаху. Так что к отцу переключалось много кусочков жареного сала, а потом и половина моей порции. — Ну как, поиграла с котятками? — спросила тётя Наташа.

— Да. У вас же три мальчика и две девочки?

— Откуда узнала?

— По глазам. Девочка одна с пятнами, а вторая чёрная. А остальные мальчики.

— Что, прямо по глазам?

— Ну да. А как же ещё?

Видимо, определять, кто перед тобой — мальчик или девочка, тётя Наташа умела как-то по-другому, по-особенному.

Вернулись домой мы уже под вечер. Зато с кучей еды и старыми игрушками. В основном это были деревянные кубики. Это был маленький праздник, Денису будет чем играть.

12.

На следующий день отец взял огромный вязаный ковёр и постелил его на крыльце. День был очень солнечный, и чёрный ковёр быстро стал горячим. А ещё отец поставил передо мной коробку с игрушками, что мы принесли вчера. Я сидела на крыльце и смотрела, сколько каких кубиков у нас есть, что из них можно собрать и от каких можно получить занозы. Изучив всё досконально, я пошла к отцу в комнату.

В комнате всё переменялось. На кроватях вместо белья были газеты, а отец, стоя на краю кровати, держал деревянный лист и прибивал его к стене. Папа сказал, не оборачиваясь:

— Вот теперь у нас станет тепло, и бабу Агнию слышать не будем.

Я решила, что лучше его пока не трогать, и пошла посмотреть, что ещё было в комод. В выдвижных отделах были железные зажимы от папок, они для файлов. У отца таких папок очень много, в них студенты приносят свои рефераты. Я часто вытаскивала их из папок, они были жёлтые, из легко гнущегося металла, и из них можно было делать фигурки. А ещё там были две деревянные катушки от ниток, россыпь гвоздей и шариковых ручек. Внизу, вместе с книгами, лежали открытки, картины в рамках и старая мыльница из алюминия. Перебрав всё это, я решила, что можно сделать машинку. Потому что Денису без машинки будет очень сложно.

Я продела в катушки железные зажимы и начала гвоздём делать в мыльнице дырки. Работа шла тяжело, но вмятины уже были серьёзные. Наконец, проделав три дырки, я решила передохнуть и просто посидеть.

Я оперлась на деревянные перила крыльца и рассматривала железные бочки, что стояли во

дворе. Все они были ржавые на тех местах, где чуть изгибались. У каждой бочки было по два изгиба, которые делили бочку на три равные части. Бочек было четыре: светло-зелёная, оранжевая, коричневая и — самая маленькая — чёрная, она раза в два была меньше других, и у неё был только один изгиб. Я погладила ковёр, это было чёрное полотно с фиолетовыми и оранжевыми цветами. Из-за того, что ковёр был очень чёрный, всё казалось ярким, даже тёмно-зелёные лепестки. А надо мной была отдельная крыша для крыльца, по её краям были узоры, как вязание, только из дерева. Интересно, в этом доме есть клад?

Мою голову что-то повернуло, и я посмотрела на тропинку. Почему-то в голове начало звенеть, да и повернуться никуда я не могла. Про себя я подумала: «Хорошо. Значит, клад под тропинкой, но я пока маленькая и ничего раскопать не смогу. Спасибо, что показал». Видимо, это было верным решением, потому что меня отпустило. А ещё появилось ощущение, что моё тело — это не только я, но и дом. И в районе чердака, у трубы, которая ведёт от печи в маленькой комнате, есть ноющее пустое чувство. А потом и это прошло. Я продолжила делать последнюю дырку в мыльнице. А потом продела железные крепежи в дыры и загнула. Вышло неплохо. Немного походило на машину, хотя на тележку было больше похоже. Я побежала показать свои труды папе. Он не глядя сказал, что красиво, и продолжил свою работу. А когда закончил, мы сели обедать.

После обеда мы вместе пошли мыть посуду к бочкам. Отец ведром зачерпнул из одной воды и поставил на маленький стул, который стоял поодаль и с крыльца его было не видно. Отец мыл тарелки, а я вытирала.

Сразу за бочками до самого забора росла крапива; она была выше меня и очень жглась. На руке сразу начали опухать те места, к которым прикоснулась крапива. Стало больно. Мы оставили посуду в комнате, и отец постучался в дверь, она была самой ближайшей к маленькой комнате. — Здравствуй, баба Агния, вот, привёл тебе свою. — Ой, какая красавица. А чего ж ты её всё не приводил-то?

— Да как-то всё заняты были.

Баба Агния была очень высокой и сухой, не худой, а именно сухой. Наверное, потому, что у неё была коричневая кожа. Она была с папу ростом, и вся одежда на ней не могла скрыть того, что она была сильно тоньше моего отца. В комнату к себе она нас не пустила. Зато дала немного пряников. Мы узнали, когда будут привозить воду и когда открывается Дом юннатов. Мы попрощались.

Я собрала игрушки, а отец унёс ковёр. Весь вечер я читала уже другую книгу. Волшебные сказки я решила оставить на потом. А ещё нужно было придумать, чем и на чём можно будет рисовать.

Размышляя, я смотрела на розово-фиолетовое небо. Как же тут много неба! В городе его гораздо меньше. На амбар села птица, она сидела и почти не шевелилась, только хвост немного ходил туда-сюда, как у часов. Я таких птиц не видела. Она была большая, как голубь, но не такая жирная. А ещё она была коричневая и с полосками на хвосте. А может, она волшебная? А может, она прилетела ко мне? Только я решила выйти и посмотреть птицу поближе, она улетела. Ну, если она ко мне прилетала, то ещё прилетит. Или нужно срочно уснуть, чтобы поймать послание от неё.

Немного подумав, я легла и уснула.

13.

На следующий день было пасмурно, и постоянно грозился начаться дождик. Побродив по коридору, я выяснила, что, несмотря на то, что было всего пять дверей, самая большая, тоже наша, комната была с номером девять. Восьмой была маленькая комната, в которой папа приступил к покраске стен белой краской. В седьмой заперлась баба Агния. В шестой не было никого. А в пятую как раз кто-то заехал. И не просто кто-то — это была семья из трёх человек. Родители и мальчик.

Он был высокий, с тёмными волосами и очень тихий. Я сидела на столе в коридоре и смотрела, как они заносили вещи, а потом мать мальчика ушла. Потом к отцу пришли гости, от них очень плохо пахло, и лица были словно из пластилина, из которого их слепили, а потом оставили на солнце. А некоторые даже неудачно пытались править. Через время мальчик вышел в коридор. Он постоял у своей двери, а потом ушёл.

Я взяла книгу со сказками и листала картинки. Когда находила интересные, начинала читать сказку. Потом мне стало скучно, и я решила проверить, что творится с небом. Я вышла из коридора и оказалась между дверями. Такое было во всех домах. Пространство между первыми дверями и дверями, ведущими в дом. Но только в нашем доме по бокам находилось ещё две двери. Получался квадрат из дверей. Когда выходишь из дома, левая дверь ведёт на чердак, а правая — в какую-то комнату, кладовку. Вот из неё-то и вышел мальчик. Я испугалась.

— Привет. Тебя как зовут?

— Соня. А тебя?

— Дима. Давай играть?

— Давай. А во что?

Отвечала я по инерции, я совершенно не представляла, во что можно играть со взрослым мальчиком.

— У меня в комнате есть игрушки. Пойдём?

— Пойдём.

Меня всю трясло от страха, я никогда не ходила в гости одна. Да ещё и к почти незнакомым людям. А ещё мне показалось, что мальчику было

самому страшно заходить к ним в комнату, что он боится отца. Почему-то это знание придало мне уверенности, и я казалась себе самой защитницей этого мальчика.

Мы зашли в их комнату. Прошли мимо людей, которые пили алкоголь, пахло от них жутко и болезненно, словно в них что-то умирало, словно их тело умирало.

Мы прошли к кровати Димы, и он мне показал коллекцию игрушек из «Киндер-сюрприза». Я была очень рада этим фигуркам и о каждой начала рассказывать историю: кто она, кем работает, какая у неё семья. Дима начал мне помогать всех расставлять. А когда его отец зачем-то начал кричать на него, он встал и тоже накричал на отца. Очень плохими словами. Вернулся он с сияющими глазами. Словно он был рыцарем, который только что сразил дракона.

Потом мы начали делиться, кто сколько прочитал книг. И о чём они были. А потом Дима узнал, что мне пять, и немного сник — он думал, что мне семь; ему самому было десять лет, и ему было стыдно, что он прочёл так мало. Я рассказала, где можно брать книги в этом доме. Мы договорились ещё как-нибудь поиграть, и я ушла.

Отец уже ждал меня у двери маленькой комнаты. Вот странно: комната-то огромная, а я её называю, как и отец, маленькой. Мы пошли гулять, и отец отвёл меня к набережной, опять через этот тонкий мост с железными ветками. Только в этот раз мы повернули перед памятником Ленину направо, и отец показал мне гостиницу и рынок перед ней. А от рынка вниз шла широкая дорога, почти площадь, которая утыкалась в каменистую набережную.

Енисей был огромен, тут он казался больше, чем в Красноярске. А ещё он был гораздо чище. Я бродила по берегу и собирала красивые камешки, тщательно отбирая каждый, чтобы все были интересные. А потом мы пошли в булочную и взяли по ромовой бабе. Мы шли и весело болтали о сказках. О том, когда приедут мама с братом, о том, что я была в гостях...

Когда мы вернулись, я увидела, какая же комната стала белая. Точнее, не так: комната была на самом деле жёлто-розовая. Вся в бликах уходящего солнца, которые входили в окно и отражались от стёкол окна. Но комната стала ровно настолько белой, чтобы всему этому не мешать и не затемнять.

Хорошо, что пока мамы нет тут, она бы не позволила таких приключений. Но скорей бы они с братом приехали, надо бы показать им все эти чудеса.

14.

На следующее утро отец быстро докрасил печь, и мы пошли по магазинам. Сначала отец купил чёрный зонтик, что повергло меня в ужас. Мама

не любит лишних расходов. Потом мы взяли торт и поехали на автобусе. Сначала я тоже беспокоилась о лишних расходах, но ехали мы долго, и я поняла, что без автобуса мы бы просто не добрались.

Мы приехали к папиному директору музыкальной школы. Он был очень музыкальный, во всех книгах, что я видела, именно такими изображали дирижёров. Только у него были огромные очки с толстыми линзами. А ещё он почти не мог говорить. Он словно скрипел. Слушать его поначалу было очень сложно, а потом я научилась разбирать слова. У него была очень добрая жена с невероятно белыми волосами. Они были не седые, а белые, словно шёлк.

Сначала меня погнали в ванную мыться. Отец показал, как настраивать воду, и ушёл пить чай. Я помылась и переоделась. А когда вышла, увидела детей. Это были внуки папиного директора музыкальной школы. Я никак не могла запомнить, как его зовут, и обращалась на «вы».

Внуки у него были злые. Они сразу мне сказали, что я маленькая для их игр и я им не нужна. Я немного расстроилась и пошла на кухню.

Папы там не было. Зато там была жена папиного директора музыкальной школы. Она накормила меня супом, пришлось съесть всё, и напоила чаем. Потому она сказала, что мой папа в кабинете с её мужем. Я пошла туда. В квартире было три комнаты. Вот в самой дальней, у самой ванной, был кабинет. Все стены были в книгах, буквально. Полки доходили до самого потолка.

Я сразу обрадовалась и забыла, что тут есть ещё и внуки, которым я не нужна. А внукам, похоже, не нужны были книги, совсем. Они играли где-то ещё. Папа пошёл мыться, а я осталась смотреть с папиным директором музыкальной школы старый улей. Он был серый и словно из очень-очень тонкой бумаги.

Пчёлы, оказывается, очень полезны, даже их яд полезен. И хотя улей мёртвый и никаких пчёл уже там нет, всё равно приятно его хранить и знать, что когда-то в нём была жизнь. А ещё в кабинете был одноколёсный велосипед. Как у клоунов. Только это был не велосипед, а колесо с педалями и без сидухи. Я долго пыталась на нём хотя бы встать. Колесо было жёлтое, с каплей оранжевого — ну, если смешивать цвета, с чёрной резиной на педалях и шине. Я очень серьёзно подошла к вопросу и представляла, что я на арене цирка и что мне очень нужно сделать круг по арене. Я чувствовала запах лошадей и гул зрителей. И в этот момент я проехала, прямо до конца комнаты. А потом повторила. И так — пока не пришёл отец.

Я показала отцу, что могу так ездить. Он просто согласился, что я молодец, и продолжил общаться со своим директором музыкальной школы. Они говорили о домрах и о концертах. О том, как сложно сейчас в оркестрах. Как мало платят.

О том, что отец хочет вернуться преподавать домру, но в институте за ведение культурологии платят больше.

Меня позвали ужинать. И снова пришлось съесть всё. Обратном мы ехали молча. Вышли у гостиницы и опять зашли в булочную и взяли по ромовой бабе. Шли мы молча; кажется, отец грустил. А потом он сказал:

— А давай это будет нашей традицией: мы будем возвращаться вечером домой, брать в булочной ромовую бабу и вприкуску с ней идти по финишной прямой до дома.

— Давай. А так будет каждый вечер?

— Ну, как получится.

— А сказку ты мне прочитаешь?

— Какую?

— Ну, какая есть, выберем.

— Хорошо.

Но когда мы вернулись, сказка показалась мне лишней. Папа быстро уснул, а я забралась на окно и смотрела на звёзды. Каждый вечер — это очень серьёзно, это целая традиция, как Новый год. Надо будет рассказать об этом завтра Диме. Может, его тоже с нами позвать, раз у него отец пьёт и ругает сына? Мы бы могли гулять с моим папой. Дима не глупый, просто у него мало книжек в жизни было. А может, он даже согласится дружить со мной. Несмотря на то, что я маленькая.

Я уснула, и во сне почувствовала, как кто-то держит меня за руку. Я чуть надавила пальцами, и рука надавила своими пальцами мне в ответ. Чья-то рука держала меня за ладонь, чередуя свои пальцы с моими. Мне стало страшно. Но рука ничего не делала. Наверно, это был какой-то мой друг, которого я не знала. И я уснула.

Наутро я выяснила, что Дима теперь с нами не живёт. Его мать увезла его к своей матери, и больше они не появятся. Его отец постоянно пил и не выходил из своей комнаты. Вот так и закончилась дружба, которая не успела начаться.

15.

Сначала мы пошли к автовокзалу. Там находилась почта, и отец отправил маме телеграмму, что можно приезжать. А потом мы пошли в другую сторону от центра города и памятника Ленину. Мы шли к окраине и остановились у покосившихся серых ворот. За ним был ещё более покосившийся дом. К нам вышла старая-старая бабушка, она словно была Временем. Вот смотришь на неё, и перед глазами — старинные дубовые часы. Они столько лет считали время, что стали древними, как само Время. Вот и она была древней.

В доме было очень темно и тепло. Бабушка поставила передо мной огромный брикет масла и сказала кушать. Кубики были большими, но я ела их и ела и не могла остановиться. А потом мне стало стыдно, что я так много съела. Но мне

сказали есть ещё. А потом они ушли в другую комнату. Стены надвигались на меня, нестрашно. Они словно обнимались. И я уснула у печки. Точнее, я долго боролась со сном, потому что спать в гостях вообще-то не принято. Но как-то незаметно оказалось, что меня будят.

Возвращались мы со свёклой, яйцами и деревянной водовозкой. Это была машина из кубиков. Точнее, деталей, которые были как кубики, но складывались в водовозку с помощью больших железных гвоздей. Я была довольна. Теперь брату точно можно приезжать.

По дороге мы зашли ещё к одному папиному знакомому. Это был дядя Андрей. У него были чёрные волосы, светлая кожа и карие глаза. Он очень походил на пирата. Хотя у пиратов должна быть загорелая кожа. Но это было не важно, он точно был пиратом. Просто сейчас осел в этом городе. А ещё у него была собака. И мне с ней дали поиграть.

Я долго гладила собаку, потом мы вместе ходили по дому. Дом был новый, стены не были серыми. А ещё на стенах висели целыми гроздьями чеснок и лук. Это было очень красиво, прямо как на картинах. А у собаки были твёрдые, но мягкие зубы. Они не царапали, они мягко давили, и всегда можно было выскользнуть.

А потом мы пошли домой.

— А мы с Андреем вырастили вместе собаку.

— Правда? А когда? У него та же собака?

— Нет, конечно, у него другая теперь собака. У нас был чёрный пёс, мы звали его Пират.

— А где теперь Пират?

— Не знаю, давно это было. Мы кормили его гречкой и научили подавать лапы, чтобы мы их мыли после прогулки. Очень умный был пёс.

— А у нас будет собака?

— Возможно.

Я очень хотела собаку и решила обязательно запомнить, что собак можно кормить гречкой, это же такая экономия. Мама тогда, может, разрешит собаку.

Вечером я читала про охотников и их собак и как они всегда приходят на помощь. И как всегда выручают хозяина. И главное—какие они верные друзья.

16.

Весь следующий день отец мыл дом. Даже прихожую. А потом он забрался на чердак и принёс много разных книг и какие-то вещи. Вещи он начал стирать в маленькой железной ванне. А потом мы вместе их развешивали. В обед приехала водовозка. Она была с жёлтым баком. Она разлила воду по бочкам. И баба Агния тоже вышла из своей комнаты. Она говорила долго с водителем, потом дала ему денег, и он натаскал ей в комнату воды. После этого она опять заперлась.

Так, в суете и уборке, прошёл весь день, а вечером приехали мать и брат. Ночью у Дениса был приступ, и пришлось вызвать скорую.

Ему поставили укол и уехали. А потом мама рассказала, что в поезд, в котором они ехали, кинули камень. Всё обошлось, их только осколками засыпало. Но Дениса это напугало. И теперь в нём сидит страх, и иногда, когда Денис спит, страх будет выходить наружу.

Проснулась я под шум в соседней комнате. Денис спал, а родители начали делать ремонт в большой комнате.

Я тихо села и перебралась к краю кровати, где была печка. Там стоял завтрак. Две тарелки салата. Вот теперь уже точно надо будет съесть всё. Приехала мама, при ней точно не удастся отдать отцу или брату еду.

Мама привезла несколько наших книг, и я читала их. Когда в комнату зашли родители, Денис всё ещё спал.

— Мы сегодня пойдём на речку плавать, а папа покрасит большую комнату. Заодно ты мне расскажешь, как тут всё было.

— А когда мы пойдём?

— Ну, как Динька проснётся. Он всю ночь почти не спал.

Захотелось напомнить, что он спал больше нашего, но я промолчала. Мало ли, вдруг были ещё приступы, а я не проснулась. Пообедав, родители опять ушли. И тут проснулся Денис.

— А у нас тут есть игрушки,— сразу сообщила радостную весть я.

— Какие?

— Деревянные.

— Как кубики?

— Как кубики, и сами кубики. И ещё целая машина.

— Где?

У Дениса горели глаза: больше всего в жизни он любил машины. Любые—и живые, и игрушечные. Я слезла со своей кровати и достала из-под его кровати коробку. В ней хранились все деревянные сокровища. Я с трудом достала машину, катить её было гораздо легче, чем поднимать. Когда к нам зашла мать, мы уже строили замок со специальным проёмом для водовозки.

— А брату ты поесть дала?

— Он не хотел.

— Он просто не знал, что еда есть.

Она посадила его на мою кровать, за мой стол. Похоже, не быть мне больше принцессой.

Потом мы собрались и пошли на речку. После дома дяди Андрея мы повернули влево и пошли вниз по широкой дороге. Домов вдоль дороги было немного. Сразу за домами были поля, где стрекотали кузнечики. Я попыталась их ловить, но ничего не выходило. Тогда я просто продолжила идти рядом с мамой и братом и смотреть, чтобы мы не раздавили кузнечиков, которые выпрыгивали на дорогу.

Дорога была очень светлая, словно асфальт выбелился на солнце, а по краям дороги был песок. Потому всех кузнечиков сразу было видно. Они были маленькие и большие, светло-зелёные, и тёмно-зелёные, и даже коричневые. За одним коричневым я следила особенно долго.

17.

И вот мы вышли к реке. Сначала был пляж, потом вода, потом опять пляж. Всё потому, что у пляжа, через небольшое расстояние, был остров. Мать положила сумку на песок и принялась надувать круг, он был жёлтый с синими рыбками. А нам сказала раздеться до купальников—под обычной одеждой у нас были купальники. Потом, когда всё было сделано, она велела нам с братом держаться за круг крепко, а сама несла в одной руке сумку, а в другой держала нас с кругом.

Она хотела перейти с нами вместе реку вброд. Ей река была по пояс, а вот нам уже глубоко. Потому мы держались за круг. Мать решила держать за руку брата, и это было правильно, я сама боялась, что Денис отпустит круг. Вода была сначала страшная, а потом я привыкла. А когда расслабилась, поняла, что вода меня держит. Несмотря на то, что остров был прямо рядом, всё равно что дорогу перейти, через воду к нему было очень трудно идти. Когда мы прошли половину пути, я увидела, что на берегу, чуть левее от нас, столпились люди.

С каждым маминым шагом мы приближались к берегу, и я видела всё больше. Первым делом я увидела мужчину с красным лицом, у которого были стеклянные пустые глаза, как у куклы, и слёзы текли без остановки. Он стоял, а вокруг него бегали люди, некоторые даже его дёргали, но он был как кукла, стоял и плакал. Его слёзы текли по подбородку, стекали на его большой живот. Но его это не волновало, его вообще ничего не волновало.

В паре шагов от него, где столпились люди, лежала девочка. Она была какая-то пустая, а ещё—чересчур синяя. И эта девочка явно всех тревожила, хотя она просто лежала. А может, их тревожило, что она пустая?

— Так, а ну смотрим на меня и никуда не смотрим больше!—громко сказала мама.

Я послушалась: она не любила, когда её не слушались. Как-то у нас во дворе была драка. Двое чужих мужчин пришли в наш двор и стали драться; я успела увидеть, как один ударил второго кирпичом по голове. Мама тогда тоже нам сказала отвернуться. И мы с братом отвернулись, а наш знакомый со двора, Рома, на всё это смотрел. И потом всем хвастался, что они друг друга чуть не убили и было море крови. Я это и без него знала, но ни за что на свете не хотела бы смотреть на это. Во-первых, мама запретила смотреть; во-вторых, какой смысл видеть то, что ты и так знаешь?

Вот и сейчас последние шаги в воде и путь до того места, где мать поставила сумку, мы прошли, никуда, кроме как на неё, не глядя.

Появились спасатели. Увезли папу и девочку, многие стали говорить про бедного ребёнка, который утонул. Ну вот, и так всё ясно, можно просто услышать и никуда не смотреть.

Я надула нарукавники. Нельзя, чтобы брат утонул. Мать учила брата плавать, а я следила, чтобы она ни на секунду не отпускала его. Денис много боится, а если ещё и воды испугается—так и жить совсем сложно будет.

Потом поплавала и я, тоже под надзором матери, а Денис сидел на пляже на покрывале и кушал.

Вода была живая, не то что в ванне. И она была многоцветная. В ней был зелёный, он прятался глубоко на дне; в ней был синий, он был вокруг тебя, но становился прозрачным, если ты приближался. В ней даже коричневый был, там, где росли водоросли.

И песок был разный: мокрый, сухой, горячий и холодный. И не важно, сколько солнца он впитал, солнце было везде. Просто иногда песок решал, что сейчас ему хочется быть холодным.

Я тоже перекусила на покрывале. Мама оставила нас есть и греться, а сама решила поплавать. Мама у нас плавает очень быстро и очень далеко, и не важно, куда направлено течение.

Мы ещё раз поплавали и пошли домой. Ноги еле плелись по выбеленному асфальту. А кузнечиков было очень много. И я опять боялась их раздавить.

— Мам, а мы купим ромовую бабу?

— Какую ромовую бабу?

— Ну, булочка такая, с изюмом.

— А зачем нам её покупать?

— А мы с папой каждый вечер, когда возвращались домой, ели ромовую бабу.

— Ну, Малахов у меня получит, ребёнка спаивает.

— Почему спаивает?

— Потому что там по рецепту ложка рома.

— А было вкусно.

— Ну ещё бы...

Оставшуюся часть пути мама была злая. Зря я рассказала. Надо было так же не рассказывать, как про пирожки с капустой. Теперь отцу попадёт из-за меня.

Вечер прошёл тихо. Мать высказала отцу всё, что думает по поводу методов его воспитания. Ужинали мы в тишине. Перед тем как я совсем заснула, я вновь ощутила, что меня кто-то держит за руку, стало спокойно. Чудеса всегда рядом с нами.

18.

Утром мы стали собираться в лес. Прямо с утра. Мама сказала, что слишком сильно пахнет краской, так что мы пойдём по грибы. Это была потрясающая новость. Мама много рассказывала, как она со своей бабушкой ходила в лес. Как её

учили различать грибы и ягоды, как рассказывали о лекарственных растениях. Я тайком тоже смотрела книги про лесные дары, но вот в лесу была мало и мельком. Проходя мимо леса, когда шли к бабушке на дачу.

Каждый взял по рюкзаку, у каждого была с собой вода, но вот нож и спички мне с собой взять не разрешили. Мы поехали на автобусе за город, а потом шли в лес. Поначалу росли только берёзы и клёны, эти деревья я знала и в городе. Под деревьями ничего примечательного не было. Только папоротники да цветы.

Потом мы вышли к большим деревьям, они были как сосны, но темнее; папа пояснил, что это кедр. Мы собирали шишки в сумки. В таком лесу воздух был сырой и прохладный. Словно нет никакого летнего солнца. Деревья мне все казались старыми богатырями, которые со снисхождением за нами наблюдали. А потом мы опять вышли в тепло, на поляну.

Денис устал, и мы устроили привал. Прямо в середине поляны, у куста. Отец разжёл костер, а мы с братом собирали ветки. Мама пошла в противоположную сторону от кедров, там росли просто деревья, и начала собирать грибы. А потом я под кустом нашла синего ослика.

— Мама, мам, смотри. Я игрушку нашла.

— Где?

— Да тут, под кустом.

— Ты уверена? Откуда ей тут взяться?

— Может, фея оставила? Чтобы Денис обрадовался и больше не боялся. Может, это волшебный ослик?

— А может, просто какой-то ребёнок?

— Нет, фея. Видишь, я умею искать. Можно я с тобой грибы пособираю?

— Только будь в пределах видимости. Далеко заходить нельзя.

Я ходила рядом с матерью. И видела я только её, чем занимаются мой брат и отец, мне уже было не разглядеть.

Грибов было немного. Все они были спрятаны, и оттого было ещё интереснее их искать. Ножик мне не дали, так что приходилось каждый раз звать маму. Но мои грибы складывались ко мне в сумку. Так я точно знала: я что-то могу. Потом мы пришли к костру.

Отец уже обжарил на костре хлеб, овощи и куски мяса.

Мы все сидели на траве и весело общались. Мама рассказывала про лесных фей и их друзей — лесных животных. Про то, что всё в лесу правильно. Даже когда волк ест мышек или зайцев. Про то, что деревья и все растения, даже самые маленькие, — живые.

Я смотрела на траву, она была светло-зелёная и отливала жёлтым на солнце. Я всё думала, о чём мне может рассказать росток, который только пробился из-под земли.

Потом я взяла у брата синего ослика и начала его гладить. Игрушка была из пластмассы. Но складывалось ощущение, что все вмятины не выплавили, а вырезали, словно игрушка была из дерева. А ещё на игрушке не было швов, в отличие от других игрушек из пластмассы. Он был гладкий, с очень печальным взглядом.

Вернулись мы уже поздним вечером. Папа с мамой стали перебирать грибы и мыть их, а мы с братом играли в кубики. Ещё до того, как родители помыли все грибы, мы с Денисом уснули.

19.

Я зашла с семьёй в дом. Мой старший брат был немного болен, и мне постоянно приходилось следить, чтобы он вёл себя прилично. Жаль, что всю его красоту скрывало глупое выражение лица с открытым ртом, из которого вытекала слюна. Девушки и не видели, какой он добрый, честный и милый.

На этот раз наш батюшка отправил нас с братом свататься к одной зажиточной барыне. Она была нам не чета. У нас был титул. Но она была богата. Хотя её дом был из дерева, а наш из кирпича, её дом превосходил и количеством комнат, и убранством.

Я зашла с братом в комнату. Барыня почти лежала на диванчике с шёлковой обивкой. Всё её лицо уже давно утонуло в бесконечных складках жира. От неё пахло прогорклым маслом и стухшим сладким кремом.

«Анастасья, подожди нас в другой комнате, мне нужно решить с твоим братом одну дилемму».

Я поклонилась и вышла из комнаты. Нищета — это то, что заставило нас кланяться перед богатой, но необразованной чернью.

В соседней комнате был сын барыни.

«Анастасья, я так ждал этого момента».

Он слишком приблизился ко мне. В нос мне ударил смердящий запах из его рта. Как и его маменька, он не отказывал себе в сладком. Его замыленные глаза выцвели, возможно, от его бесхарактерности. Он придвинулся ближе.

«Я узнавал у матушки, дозволит ли она мне жениться на вас».

«Зачем же? Разве я чем-то вас обнадёжила?»

Я рассматривала его сальное лицо, всё оно было в воспалениях. Нельзя так долго жить ради своего желудка и не отплатить за это своим здоровьем.

Тут произошло нечто странное. Сначала перед моими глазами возник голубой свет. Он откинул Валентина на пол. Потом свет стал похож на змея, только с рогами, и я вспомнила, что это всего лишь мой сон.

В моих руках был сверкающий меч; возможно, он был серебряный. Китайский синий дракон извивался предо мной, словно он был в воде.

«Убей этого слизняка и его мать. В них сидит зараза. Скоро она созреет и всех убьёт».

«Но как можно вот так просто убивать?»

«С этим мечом просто, он режет абсолютно всё».

Я подняла меч правой рукой и провела по лезвию пальцами левой руки. И тут они отпали. Сначала я увидела, как от моей ладони отваливаются пальцы, а потом почувствовала резкую боль. На ковёр полилась кровь. Боль была сравнима с болью при обморожении. Когда пальцы рук настолько замерзают, что ты их не чувствуешь, но где-то в глубине болят кости, так, словно их что-то ломает.

Я наблюдала это одновременно с ужасом и спокойствием—всё-таки это сон. Я посмотрела на Валентина, он действительно очень напоминал близника. Он не виноват в том, что болен. А это мой сон, и всё будет по-моему.

Я подошла и присела рядом с ним, отложила меч на ковёр и погладила его правой рукой по лбу. А потом закрыла глаза и ощутила его тело. Зараза разрослась в нём, как плесень. Я просто скомкала её и вытащила из его тела. Комок я мысленно сожгла. Валентин отключился и покрылся испариной, у него начался жар.

Потом я представила, как прохожу сквозь стену к его матери и повторяю процедуру.

Не всякое оружие мне подвластно, в первую очередь я рано себя. Хороший урок. Я встала и поблагодарила дракона. Мне было пора просыпаться.

20.

Утром, прямо как проснулись и позавтракали, мы пошли в гости. Дорога была, как и на пляж, через выцветшую дорогу с кузнечиками, только, не доходя до пляжа, мы повернули.

Дом был просто огромный. Он был самый крайний в ряду домов и самый большой. В нём были два этажа и огромный чердак. А ещё дом был тёмно-зелёный и от этого казался более величественным среди выцветших на солнце светло-голубых и белых домов, среди яркого неба и травы. Его словно забрали с другой картины и поместили в яркий мир.

На первом этаже люди даже не разувались, на полу была земля, хотя и стояла мебель. Правда, когда мы поднялись на второй этаж, мы поняли, что мебель, стоящая внизу, была просто не нужна хозяевам дома. Разница была огромная. На втором этаже всё было так, словно это кукольный домик. И всё было белым. Белые шкафчики, белые табуретки, белая скатерть. Диваны были бежевыми, а деревянный пол—побелен.

Внизу же всё было очень старым, в трещинах, и древесным. Ни на шкафах, ни на полках, ни на столах не было никакого покрытия, кроме многолетней пыли, которая впилась в структуру дерева. Но там, внизу, всё казалось живым и правильным, а на втором этаже был кукольный мир.

Хозяйка дома была матерью одноклассника отца. Это была крупная низкая женщина с короткими чёрными волосами. Она тоже казалась чужой в этом

мире кукол. Даже её пирожки здесь были чужими, и мы спустились на первый этаж и сели во дворе.

Взрослые разговаривали о своих изменениях в жизни, Денис уплетал пирожки, а мне было очень скучно. Вокруг дома и стола, за которым мы сидели, росли лилии. За ними была железная сетка, которая что-то ограждала. Поймав мой взгляд, хозяйка дома предложила показать мне курятник. Родители были не против. Отец пошёл со мной.

За железной решёткой был целый зверинец. Сначала ко мне подскочила собака. Пока папа и хозяйка дома отгоняли её, ко мне подошёл телёнок. Он был просто огромный, но в то же время маленький. Он был ростом со взрослого, но таким наивным и ждущим тепла от всего, что, пожалуй, был младше моего брата. Я погладила его по голове и нащупала только появляющиеся рожки. К нам подошли мама с братом.

— Мама, смотри, у него только рожки появляются, они совсем малюсенькие.

— А ты знаешь, как отгонять коров?

— Нет.

— Скажи: «Цыля».

— Цыля.

— Нет. Надо громко и чётко, с нажимом.

— Цыля!

Телёнок медленно попятился назад, и я наконец увидела курятник. Хозяйка дома открыла мне дверцу, и я вошла вовнутрь. Здесь было темно, и везде сидели куры. А ещё здесь везде был страх. Страх многих существ. Мне это не понравилось, и я вернулась к телёнку. Но мне уже не дали его гладить. Родители сказали, что нам пора, и мы ушли.

21.

Через пару домов отец отошёл к одному дому и постучался. К нему вышел мужчина в куртке и с очень добрым лицом. С такими лицами вырастают настоящие хулиганы, которых ругает весь двор. Но у которых самая добрая душа.

— Так, дети, познакомьтесь: это дядя Володя. Сейчас он покажет нам голубей.

Мы поздоровались и пошли все вместе к голубятне. Всё-таки взрослые странные: в городе же полно голубей, чего мне их показывать?

Голубятня стояла посреди поля, поодаль от всех домов. Она была зелёной, но тоже выделена солнцем. Воздух и кузнечики звенели пустотой неба.

Дядя Володя пошёл в голубятню, а мы остались в нескольких шагах от неё. Из голубятни в разные стороны двумя стаями вылетели голуби, а дядя Володя вышел с большой птицей на руке.

— Ну вот, дети, это ястреб.

Он снял с ястреба шлем и чуть дёрнул рукой. Огромная птица взлетела вверх, к голубям. Несмотря на то, что ястреба я видела в первый раз, я сразу поняла, что это хищная птица. Ну не может быть у поедателя крошек и червей такой осанки

и грации. Он весь был словно хороший стальной нож: твёрдый, гладкий и опасный. Я как-то уже гладила хороший стальной нож. Он был прохладный, рука шла по нему легко, но чуть зазеваешься — и можно порезаться. Лезвие — это очень опасно.

Так вот и ястреб — он тоже птица, но он охотился на голубей. Те разлетались от него, словно они и вовсе были не птицы, а ленточки. Они кружили и кружили. Будь они самолётами, о них бы говорили, что они делают мёртвые петли. Я с ужасом наблюдала за участью бедных голубей.

А потом я посмотрела, как летает ястреб. При всей его силе и мощи, он совсем не напрягался, он всегда затормаживал чуть поодаль от голубя, он просто с ними играл. Возможно, он просто был сыт или не хотел есть сородичей по небу. В любом случае для него это была лишь игра. Это меня успокоило. Хищники умнее своей добычи, и людей в том числе.

Дядя Володя свистнул в специальный свисток, и ястреб к нему вернулся. Он надел на ястреба шлем и вернул его в голубятню. А потом и голуби вернулись к себе домой как по команде. Вернулся дядя Володя с голубем.

— Ну что, хотите поглядеть?

Я подошла посмотреть на голубя. Он был белый, с нежно-коричневыми пёрышками. У него было гораздо больше перьев, чем у городских.

— А он не такой, как городские, — сказала я.

— У него и штанишки есть, — с этими словами дядя Володя чуть повернул ладонь, чтобы можно было увидеть, что на лапах у голубя тоже есть перья.

— Они что, снимаются?! — воскликнула я и, уже договаривая вопрос, поняла, что это просто название. Перьев голубь не снимает.

Взрослые посмеялись. Дядя Володя попрощался и понёс голубя обратно, а мы пошли домой.

Ночью мне снилось, как у меня есть свой ястреб и я скачу в доспехах на коне. Мы не охотимся, мы ищем старого короля, что ушёл в горы. Я ехала на коне по весеннему лесу. Дорога была лёгкая. Нам не нужно было скакать среди деревьев, по лесу пролегала каменная дорога. И так мы скакали до самых гор, где мне пришлось оставить лошадь и продолжить свой путь вдвоём с ястребом.

Почти на каждом камне росла весенняя трава. Земля под травой была тёплой, а вот камни были холодны. Я поднималась всё выше и выше. Чем выше я поднималась, тем холоднее и острее были камни. Трава уже не росла на них. Болели мышцы, и пальцы начали саднить. Наконец я добралась до пологой площадки. Рядом с ней был вход в пещеру. Ястреб спикировал мне на плечо. Это хороший знак: значит, король рядом. Мы вошли в пещеру...

22.

Я проснулась и стала разглядывать свои ладони. Они не были сбиты в кровь о камни и были гораздо

меньше. Мне нравятся такие сны, в них мне гораздо больше лет, чем в жизни. А ещё мне очень жалко брата, он никогда не помнит своих снов и не верит, что я не придумала свои путешествия по дальним землям.

Мы позавтракали и пошли гулять по городу. В центре города были магазины. Когда мы проходили мимо них с отцом, мне показалось, что они ненастоящие. Запутаться было легко, они очень уж походили на иллюстрации из советских книг о школьных буднях. Вывески, витрины, даже двери — и те были копиями иллюстраций. Но теперь мы шли всей семьёй, и мама, словно генерал, руководила нашими действиями.

К неописуемому восторгу, первым делом мы зашли в двери, над которыми была вывеска, гласящая, что это «Детский мир». Двери были двойные и очень высокие. Когда они захлопнулись за нашими спинами, мы оказались перед широкой деревянной лестницей. Пахло деревом и мокрой пылью. Окна были на уровне второго этажа, так что мы оказались в полумраке. Для меня это было как открытие новой книги. Ты открыл обложку, а там ещё белые листы или бессмысленное повторение названия, и надо пролистнуть пару страниц, пока не начнётся повествование. Так и мы — открыли двери, но до самого детского мира нужно было подняться через тьму на второй этаж.

А на втором этаже были точно такие же двери. А за ними — комната. Огромная комната. Вдоль каждой стены стояли стеклянные прилавки, под которыми были книги, игрушки, канцелярия. Я задержалась у мебели для кукол. Осмотрела всё, вздохнула, поняла, что у меня такого не будет, и пошла дальше смотреть ассортимент.

Мама что-то разглядывала и обсуждала с продавцом у соседнего прилавка с книгами. Брат с отцом рассматривали машинки.

Я прошла вдоль всех прилавков и остановилась у канцелярии. Карандаши и альбомы были нужны, но мама уже смотрит книги и если что и выберет, то это будет единственная покупка на день.

Потом я увидела, что продавались наборы ниток и бисера и иголки. Всё, что нужно для шитья. Я ещё не умею шить, но очень хочу научиться. Возможно, удастся уговорить маму купить набор ниток и иголок.

Я сделала ещё несколько кругов. В магазине было прохладно, несмотря на жаркий день. Продавщицы были в серых вязаных шалях на плечах и с горечью и завистью смотрели на нас, почти раздетых по сравнению с ними.

Я часто говорила с бабушками у папы на работе. Они рассказывали мне, что их тревожило. Я уже привыкла, что мне достаточно посмотреть в глаза человеку, и он захочет со мной говорить, и главное — рассказывать о себе. Сначала меня это пугало, а потом я поняла, что я — просто свободные уши.

Так и эти продавщицы — долго наблюдали за нашей семьёй отстранённо, пока я не подошла и не посмотрела одной из них в глаза.

Она начала склоняться ко мне почти с обречённым взглядом:

— Милая, а ты отдыхать к нам приехала?

— Да, мы живём там, где было детство папы.

— А мои вот дети перестали привозить ко мне внуков, а я как раз кур купила, чтобы малышей баловать их безешечками. Они очень любят безе. А коровы в этом году очень плохо дают молоко. И мой старик всё нервничает и плохо спит по ночам...

Сзади подошла мама, я сначала поняла это по округлившимся глазам продавщицы, которая тут же поспешила ретироваться, а потом почувствовала тепло матери за спиной.

Мама ощущалась так, словно она была медведицей, большой и бурой. Брат был медвежонком, а отец — старым усталым львом. У нас была очень нескладная семья. Мы с отцом были чужие в этой семье и чужие друг другу. Но как-то вот мы жили вместе — наверное, от очень большой любви друг к другу.

Мама купила книгу Киплинга. Там были странные рассказы о животных, с иллюстрациями, которые рисовались только четырьмя цветами, даже тремя: чёрный, красный, жёлтый, — белый можно не считать. Зато там было два текста на одну сказку, один текст был на русском, а другой на английском, и так все сказки в этой книге. А ещё она купила карандаши.

Мы вышли из «Детского мира» на залитую солнцем улицу и продолжили свою прогулку по магазинам, сошедшим с иллюстраций детских книг.

23.

Следующий магазин был продуктовый. Там толпились люди. На прилавках было много овощей, которые все игнорировали. Мама взяла две буханки хлеба, и мы пошли дальше по городу.

Солнце было везде. Казалось, мы дышали солнечными лучами, и нам всем требовался отдых, но тенька рядом не было.

Мы спустились к пляжу. Нам с братом разрешили разуться и пойти вдоль берега по воде. Идти было легко и приятно, но требовалась осторожность. Если идти чересчур быстро, то волны от ног начинали мочить шорты. Я осторожно делала шаг, и волны гладили меня по коленкам. Брат отставал, и я иногда возвращалась к нему.

Весь пляж был пустой, очень редко встречались люди, которые без интереса гуляли по пляжу. Будут тут песок, людей, наверное, было бы больше. Но пляж был каменистый. Чуть вдалеке виднелся большой белый корабль. На полуденном солнце он светился.

Когда мы дошли до корабля, у входа выстроились художники. Они продавали свои картины,

написанные маслом. Мама всего один раз рисовала при нас маслом. Она рисовала бабушке на день рождения рябину. Это было очень красиво, но больше мама ничего при нас маслом не рисовала. Картины на пляже были хуже тех картин, что висели у нас по всему дому в городе.

Папа встретил ещё одну свою знакомую, и нас пустили на корабль. Он был большой, в несколько палуб, и на нём организовали выставку картин. В этих картинах была жизнь. Казалось, что листва шелестит на ветру, а волны вот-вот выльются с картины. Каждая картина была отдельным миром. Даже простой натюрморт был настолько объёмным, что каждый предмет хотелось потрогать.

Я долго рассматривала каждую картину, затаив дыхание. Я неслышно переходила от картины к картине. Смотрела, как художник вёл мазок, какие цвета смешивал. Я как-то сидела за спиной художника, пока он писал картину, и сейчас мне живо представилось, что я наблюдаю, как писались эти картины. Когда-нибудь я смогу так же просто нарисовать что-то, и в рисунке будет жизнь.

Мы ушли с корабля, по-моему, слишком быстро. Я бы хотела побыть там до самого вечера, но мы куда-то торопились. А потом я поняла куда. Мы шли к кинотеатру. В зале опять никого не было, и мы смотрели фильм одни, всей семьёй. В кинотеатре всегда холодно, как-то по-серому холодно, не болезненно.

Фильм был про мальчика-сироту, которого все дразнили. А он спал в автобусе и был всегда в чёрном. Меня поразил этот фильм, и я всё жалела, что не запомнила его название. Я шла и думала, как же трудно жить одному. Никто не верит, что ты что-то делаешь честно, все ждуют, что ты вор и разбойник. Почему же люди такие злые и глупые?

Дома я читала Киплинга. Сказки были с очень странной логикой. Я понимала, что нос у слона длинный не из-за крокодила, а кошки не так получили право гулять сами по себе. Зачем же врать и объяснять всё по-своему? Хотя было смешно. Я прочла Денису сказку вслух, и он смеялся.

Родители делали в большой комнате уборку и перестановку. Потом они пришли к нам в комнату, и мама сказала отцу повесить мой чёрный ковёр в угол на стену. Потому что так теплее будет. Я готова была разрыдаться: это был мой ковёр специально для моего сидения на крыльце. Почему она не хочет оставить мне ничего моего?

Я прижала к себе книгу и забилась в угол кровати, с головой уйдя в эти сказки до самого вечера, пока меня не заставили ужинать.

Засыпая, я снова ощутила, что мою ладонь сжимают. Ну, хоть это у меня забрать нельзя.

24.

Утро началось со ссоры родителей. Похоже, всё входит в мирное русло. Мама полезла на чердак

смотреть, что там есть, а отец заперся в большой комнате. Нас же вывели с игрушками на крыльцо.

Погода была солнечная. Всё же Енисейск — удивительный город солнца. В Красноярске погода изменчивая и своенравная. Бывают такие ветра, которые вырывают с корнями деревья, а у самых крепких деревьев ломают ветки. Выходишь после такой бури на улицу, а по дороге ветки разбросаны, и самые большие уже пилят рабочие.

Тут же было тепло и спокойно, а главное — солнечно. Солнце было везде, даже в самые тёмные тени оно приходило бликами через пыльные стёкла. Интересно, а какое солнце на вкус?

Вот ветер — он как холодная вода из-под крана, почти безвкусный, но оставляющий сладость на языке. Очень странную сладость. Вот после сладкого чая во рту кисло, а после такой сладости ничего подобного нет. Солнечный зайчик — он как зрелая ранетка. Ранетка ведь кислая, так что глазки сжимаются, а потом оказывается сладкой. А когда первый укус делаешь, сок же брызжет прямо, так что нужно быть осторожным. Так же с солнечным зайчиком. Только прикоснёшься, как он отразится или зальёт тебя светом.

Очень странно, как свет, и вкус, и звук могут переплетаться и сравниваться. Словно одно может стать другим. Хотя, может, это действительно так? Растения же как-то это делают.

Играть с братом мне надоело, да и называть это совместной игрой было трудно. Либо он смотрит, что делаю я, либо я смотрю, что делает он. Либо мы просто существуем рядом, но каждый в своей игре. Диалог у нас выходил редко. В основном мы делились тем, что узнали отдельно друг от друга. В других случаях мы не видели смысла общаться. Мы и с людьми-то не видели смысла общаться, но они требовали от нас слов.

Я решила попробовать перелезть через перила и спуститься с другой стороны крыльца. Я пролезла между перилами и оказалась снаружи крыльца. Оно обрывалось резко, но стена была не гладкой, доски были прибиты неровно, с выступами, первый выступ был самой большой, деревянный брусок толщиной с мою ладошку. Я переместила на него ногу и спустилась руками вниз по перилам. Они были гладкие, словно отполированные солнцем. Потом подходящей опоры не было, и я повисла, руки мои крепко держались за перила, но быстро уставали. Прыгать было высоко, да и внизу была крапива. Маленькая, но жгучая.

Когда мама с братом только приехали, мама сказала, что в этот двор нужно нагнать индюков. Они любят есть крапиву. Крапива росла вдоль всего забора, и ещё она была высокой, некоторые кусты были выше папиного плеча.

Я подумала и влезла обратно на крыльцо. Всё же я ещё мала для такого.

Очень странно понимать, что ты ещё к чему-то не готов, чего-то не можешь. Ведь если подумать, то можешь-то ты всё, ну, как это делается, ты в основном знаешь. А если не знаешь, то можно посмотреть.

Мама спустилась с чердака и вышла с тазом на крыльцо. В тазу были сокровища. Там были какие-то ткани, и какое-то стекло, и фигурки, и книги. Она разложила всё у бочек и устроила стирку. Пока она была занята, я подошла сзади и начала изучать, что же было на чердаке.

Там был бюст Гагарина, у него было такое радостное лицо, что я решила, что он будет очень хорошим другом. Я стояла и осторожно счищала пальцем пыль, ведя по его шлему. Как же всё-таки интересно устроен скафандр... Жаль, что это лишь копия и без стекла. Я провела по носу Гагарина, счищая пыль. Надеюсь, никто не обижается, когда ему чистят лицо от пыли.

Ещё там были ключи, они были разной ржавости, и они были не городскими. Эти ключи были как из сказок, с большими узорными петлями, тёмные и тяжёлые. Я забрала два в карман. А ещё было несколько свечей. Некоторые из них уже жгли. Я забрала те, что оплавившись. Только так можно спасти ключики от ржавчины.

Из стеклянных предметов там была чернильница. Но мама уже успела запретить её трогать. Она была из зелёно-голубого стекла. И на дне у неё высохли чернила. Всё дно было чёрным, а вот ближе к стенкам чёрное пятно светлело и оказывалось фиолетовым. Я и не знала, что чернила фиолетовые, они же чёрными должны быть.

Было несколько маленьких вазочек, разных, очень маленьких. В Красноярске у нас были большие вазы под букеты. И даже одна огромная, в которую мы ставили еловые ветки.

Вазочки были очень расписные. Даже маленькая вазочка из коричневого стекла была сделана так, словно она бутон. У неё была подставка из жёлтого металла. Он легко гнулся и был вырезан из одного круга. Тоже в виде лепестков. Через один они были загнуты то вверх, то вниз, нижние были своеобразными ножками. А у верхних была ещё одна отдельная кайма. Так что был основной лепесток и ещё отдельный контур. Я раздвинула контур и листок у каждого лепестка и поставила вазу в подставку. Получилась очень странная водяная лилия. С золотисто-розовыми лепестками и с тёмным бутоном, который на солнце был тёмно-медовым. И зачем с такой вазой нужны какие-то цветы?

Была ещё фарфоровая вазочка, белая, но не как лист. На белом фарфоре была плёночка, как будто крылья стрекозы. Если просто смотреть, то прозрачная, может, чуть мутная. А чуть повернёшь — и видны голубые и синие блики. Как в ракушках перламутр. Вазочка была высокая,

в две мои ладошки, она походила на женское платье. А ещё—немного на фонтан. Сначала была длинная юбка, от основания и почти до самого верха. Потом горлышко резко сужалось, образывая бортик. С двух сторон шли тоненькие ручки, круглые и приплюснутые. Как если бы на полу трубочку нажать, и она сохранит углы. А вот после резкого сужения горлышко расширялось таким образом, словно это не фарфор, а вода, не ваза, а фонтан.

Сначала я всю её погладила, она была гладкая и такая старая, что от неё чувствовалась усталость. А ещё—недовольство темнотой. Только потом я стала рассматривать мелкие цветочки на каждой стороне перед сужением. Это были синие васильки. По пять с каждой стороны, но не одинаковые. С тёмно-зелёными листьями.

25.

Вечером мы просто сидели и радовались новым милым вещам в комнате. Она словно совсем ожила. Словно все эти вазочки и фигурки были её сокровищами, кольцами и серёжками для девушки. От такого большого количества свалившегося и на нас, и на комнату счастья уснуть было просто невозможно.

— Мама, расскажи, пожалуйста, сказку,— попросила я.

— Какую?

— Какую-нибудь.

— Какую-нибудь не пойдёт. Я вам расскажу, какие феи над вами летают. Только, чтобы феи себя показали, надо закрыть глаза и совсем их не открывать. Если открыть, они снова будут невидимыми.

Я закрыла глаза. Хорошо быть мамой, все существа тебе доверяют и не боятся. Мама—она как волшебница. Я, когда вырасту, должна стать такой же сильной, чтобы феи и мне показывались. — Над Денисом летает синяя фея. Она молодая и очень красивая. У неё с крыльев сыплются голубые искры, они сыплются на веки и приносят спокойствие и хорошие сны. У неё тёмно-коричневые волосы, как кора сосны, и голубые глаза. А волшебная палочка тоненькая и прозрачная, как из стекла. Только это льдинка, с помощью неё она охлаждает любую боль, и всё проходит быстрее.

Я лежала с закрытыми глазами, но при этом мне виделось, как я стою между шкафом и печкой у изголовья кровати и наблюдаю, как над кроватью Дениса летает голубой огонёк. Когда я захотела разглядеть фею, я словно приблизилась к кровати и увидела синее платье феи и конусную шляпу, и я видела, что фея улыбается.

— А над Соней летает старая фея. Потому что Соне нужно поумнеть, а эта фея приносит мудрость. У неё жёлтое платье и золотые крылья. Волосы её убраны в причёску, и на голове корона. У неё очки в золотой оправе и золотая палочка.

Стало почему-то обидно. Я ведь и так не глупая. Фею, конечно, спасибо—может, с помощью неё я и стану самой умной. Мама ведь её специально позвала. Я ведь, по её мнению, глупая совсем.

Ну ничего, я вырасту, и пока буду расти, буду изучать совсем всё. И тогда мне уже не будет нужна мама, и я уйду. Я словно и лежала на своей кровати, и сидела. Та часть из меня, что сидела, могла смотреть. И она смотрела прямо в лицо старой феи. Я поклонилась. И правда, зачем мне спокойные сны, если я сама могу выбирать, куда мне путешествовать?

Кровать подо мной начала качаться, словно я плыла в лодке. В какой-то момент я поняла, как надо дышать, чтобы лодка качалась сильнее.

26.

Я была в парке. Это парк по дороге из дома к телевизорному парку, у самого книжного. Только сейчас в нём было больше деревьев и гораздо темнее. Я подошла к дереву, в нём была дверца, как на фонарях. Открыв её, я увидела внутри что-то наподобие кукольного домика, только он был в дереве. Когда я потянула к кровати на втором этаже руку, я оказалась на этой самой кровати. Внутри всё было так, словно не для кукол. Детскую мебель делают очень неправильно, в ней не могли бы жить уменьшенные люди. А эту мебель делали маленькие люди. Или её уменьшили так же, как и меня.

Я была в ловушке, дверца закрылась. Я находилась в доме, где свет был только от электричества...

А потом я начала звать. Как будто весь окружающий мир вокруг меня был океаном, и я могла посылать мысли волнами. Как на рисунках про радио.

Дверь открыл парень, он достал меня, словно я была Дюймовочкой. Только за границами дерева я стала нормальной и упала на траву.

27.

В веки бил летний солнечный свет... Родители что-то делали в комнате, тихо, чтобы нас не вспугнуть. Я открыла глаза и увидела, что они собирают сумки. Я сразу поняла, что мы уезжаем.

Это было ужасное утро. Мама увидела, что я проснулась и что я расстроена.

— Отца срочно вызывают на работу, какие-то проверки до начала учебного года, он же председатель профсоюза.

— А мы не можем остаться?

— Нет. Но мы зато к бабушке на дачу сможем этим летом ещё съездить, там хорошо же.

— Там пауки. Это больно.

— Ну, значит, мы не останемся на ночь. Собирай пока игрушки.

Собирать было нечего. Я собрала книги и села рисовать, пока не проснулся брат.

Мама готовила завтрак, а папа побежал за билетами, автобус отходил в два часа дня.

Я просто сидела и рисовала лица на маленьких листочках. Вот бы было просто: нарисовал лицо — и у тебя есть друг. Жалко, я не могу, как в фильмах, представить, что они действительно живы, что могут шевелиться и говорить. Всё, что они могли бы сказать, — только мои выдумки.

Проснулся Денис. Мы позавтракали. Пришёл отец, весь растерянный. Искал долго городские брюки; собрав весь городской костюм вместе, он пошёл в другую комнату и переоделся. Разница была не большой, но в городском костюме он не сутулился.

А потом мы собрали вещи и пошли на автовокзал. Там толпились люди с разноцветными тряпками на продажу. Была ли это одежда, или шарфы, или скатерти, они накидывали это на левую руку кучей-малой и расхаживали среди ожидающих автобус и покупающих билеты. Всё было на улице, прилавков не было. Продавщицы были чумазыми и серыми, отчего ткани у них в руках казались ярче. Изнурённые отъезжающие смотрели на них с раздражением и всеми силами старались их избежать. Иногда какой-нибудь из мужиков начинал на них орать, и продавщицы ненадолго отходили от людей.

Приехал автобус, и мы в него погрузились. Прощай, Енисейск.

Часть вторая

28.

Весна. В Красноярске уже начали распускаться первые почки.

Мы ехали в Енисейск. В автобусе было холодно. Телу ещё нормально, а вот ноги промёрзли до костей; я пыталась сжимать пальцы в ботинках, но это не очень помогало. Папа спал. Хорошо ему, он может спокойно отрубиться, и ему ни холод, ни запах не мешают. Мне же было очень плохо, и уснуть не получалось. Всю дорогу я пыталась не обращать внимания на тряску и холод и постоянно заставляла себя уснуть. Лишь под конец пути мне удалось отключиться.

Когда мы вышли, была ночь, тёмная и холодная. До дома мы дошли быстро. Отец открыл дверь, и мы зашли в абсолютно промёрзшую комнату. Дом был живой, но очень сонный. Папа разжёт в печке огонь. Но это почти никак не повлияло на ситуацию. Он оставил огонь гореть, и мы пошли к бабе Наде.

Она была нам рада. Даже странно, учитывая ночь и холод. По всему городу лежал снег. Есть я оказалась и просто легла спать.

Наутро я поняла, что я снова дома. В веки бил свет, яркий солнечный свет. Снова пахло старой

древесиной и травой. И молоком. Когда я открыла глаза, я поняла, что я самый счастливый человек.

Папы в доме не было, а баба Надя хлопотала на кухне. Всё это очень напоминало прошлую поездку. Только за окном не было зелени, белые кружевные занавески обрамляли белый свет из окна. Контуров невозможно было различить. Баба Надя уже заметила, что я проснулась, и поставила на стол оладушки.

— Садись пока завтракать. Саша ушёл комнату вашу прогревать, скоро вернётся. Только ты всё съедай, а то помню я твои проделки.

Я улыбнулась и села за стол. Несмотря на то, что я была значительно ближе к окну, нас разделял только стол, картинка за окном чётче не стала. Всё было белым-бело и светилось. Похоже, снег быстро таял только в городе, тут ещё царила зима. Я ела оладушки с чаем, от сметаны я отказалась, мне мама рассказывала, что от неё мне будет плохо. В городе мне было плохо от любого молочного продукта, кроме сыра.

Пришёл папа, и мы пошли к нашему дому. На всех крышах были огромные сугробы, чуть ли не в метр. На некоторых домах стояли мужики и лопатами спихивали сугробы вниз. Сначала всё было нормально: коричневые дома и белый снег. Потом всё стало чёрно-белым, только чёрные дома и очень белый снег, а люди были как тени. А потом всё стало белым. За те пять минут, которые мы потратили на путь до дома, я видела лишь белый свет с редкими розовыми и жёлтыми искрами. А потом всё стало изумрудным. Мне стало страшно.

Когда мы зашли в дом, всё пропало, и вокруг стало просто очень темно, а потом перед глазами стали расплываться изумрудные пятна.

— Пап, а я в изумрудном городе, — сказала это спокойно, а то папа мог перепугаться.

— В каком смысле?

— У меня в глазах опять всё изумрудное, как после капель для глаз.

— А голова как?

— Кружится. Но не сильно. Да это ничего, всё пройдёт.

— Ну смотри.

Мы зашли в комнату, стало гораздо теплее. Слышно было, как потрескивал огонь. Стали снова возвращаться краски. Свет в комнате был только от окна. В комнате ничего не переменилось. Только пол был весь в пыли, и наши мокрые следы сразу становились чёрными пятнами на почти оранжевом полу. Цвет был не чистый, как смесь оранжевого и капли коричневого или как старая ржавчина.

Я села на кровать. Покрывало было всё ещё холодным.

— К вечеру я всё протоплю, и мы сможем спать уже здесь, — сказал отец и начал перестилать большую кровать.

— А мама с Денисом когда придут?

— Завтра вечером. Мы ещё должны им отправить телеграмму, что можно приезжать.

Я помогла папе перестелить обе кровати. Тахту мы решили не трогать пока, всё равно спать по одному будет холодно.

А потом мы пошли на почту. Снег был очень красивый. От тёмно-синих теней там, где он почти сползал с крыши, до золотистых пиков — отражений полуденного солнца. Наверное, так и появилась идея с куполами. На каждом доме был свой золотой купол. Только очень большой, не такой, как на церквях. Снег хрустел под ногами и совсем не скользил, он был совсем не как городской. Он был настоящий.

Но когда мы уже дошли до почты, я снова перестала видеть. Весь мир вокруг стал изумрудным. Может, Енисейск — это тоже сказочная страна? На почту я заходить не стала. Осталась на крыльце дышать воздухом. Голова кружилась, и я держалась за деревянные перила. Варежки я сняла. Холод бодрил, и я перестала бояться. Просто стояла с закрытыми глазами, слушала и дышала медленно. Чтобы услышать всё.

Мужики на крышах переругивались, в какую сторону лучше сгребать снег. Иногда можно было услышать мычание коров. Казалось, что им страшно. Мне представилось, как они стоят в своих домах и по их крыше кто-то ходит. Это и правда страшно, если не знать всего. Значит, бояться только люди, которые не знают чего-то. Как коровы в тёмном амбаре.

Вышел папа.

— Так, ну я всё отправил, пойдём теперь за хлебом.

Я взяла папу за руку и прижалась к нему.

— Ты что, опять не видишь?

— Просто изумрудный город.

— Так. Значит, домой.

Папа взял меня на руки и понёс домой. Хорошо, что это не город и нет гололёда. Это нельзя было сравнить с лодкой, папа торопился, и я словно летела по кочкам. А изумрудные и белые пятна проносились мимо.

Дома он начал собирать вещи.

29.

Он взял меня за руку, мы пошли к автовокзалу. Глаза слезились от холода и боли. Свет давил на глаза так, словно он был живым. Было обидно, словно Енисейск выгонял меня. Я старалась держать глаза закрытыми. В автобусе я сразу уснула.

Часть третья

30.

Мы снова ехали в Енисейск. За окном мелькали цветы и зелень. Всё было освещено солнцем.

В прошлый раз я уезжала в слезах, город словно выгонял меня. Зато потом он извинился.

Когда мы вернулись в Красноярск, оказалось, что у нас не было ключей от дома, и мамы с братом тоже не было. Они поехали, даже не получив телеграмму. Мы были посреди города, в котором я родилась и выросла и который так и не перестал мне быть чужим. Но тут случилось сразу много чудес подряд, которые привели нас к двоюродной тёте, которая была лишь номинальным родственником, по документам. Несмотря на это, она пустила нас переночевать. А их кот вылизывал мне волосы, пока я не уснула.

Ездить в автобусах мне было всё так же тяжело, но я была очень рада, что лето будет радостным. Ведь это был самый прекрасный город — Енисейск. А после этого лета я пойду в школу.

Приехали мы вечером и, оставив вещи в комнате, пошли к бабе Наде. Она была очень рада, что мы приехали, даже странно. Мы каждый раз будим её почти ночью, и она всегда нам рада. Она была всё такой же сказочной, хоть и стала медленнее двигаться. В её доме стало сильнее пахнуть травой и цветами. А ещё везде был запах мёда.

— Мне тут сестра привезла банки мёда. Будете? Очень полезно.

— Конечно, будем, с чаем, — ответил папа.

— А может, лучше с молочком? У меня недавно моя Мара родила телёночка и уж очень много молока даёт. Уже и творог делаю, а всё равно много. Так хоть молочка попейте. Не парное, но тоже полезное.

— У Сони с молоком совсем беда.

— Так то ж с городским. Хотя, может, и не надо. А то к Витальевне внука привезли, а он совсем ничего есть не может, городской совсем, от нормальной еды совсем плохо.

Папа пил молоко с мёдом, а я ела хлеб с мёдом и запивала чаем, в котором плавали цветы. Даже без сахара он был сладкий. Правильно сладкий, как холодная вода, без кислого осадка на языке.

31.

Я гуляла по старому городу, совсем незнакомому. То, что он старый, показывали только редкие деревянные дома с очень красивыми узорами. Но в основном все дома были современные. Я шла по длинной улице, где дома разделялись дорогой не для машин, а для людей. А под ногами были плитки мелкие. Справа и слева были магазинчики. Я зашла в один из них и увидела огромное количество масок. Они были разные, в венецианском стиле. А когда я подошла к одной из масок, висевшей на стене, из стены вышел человек, на лице которого висела эта маска.

«А эта маска — ваше лицо?»

«Конечно, нет», — ответил человек в маске спокойным мужским голосом.

«Вы играете в театре?»

«Нет, я просто гуляю».

«А вы не знаете, куда мне идти?»

«Ты тут пока ненадолго. Можешь прогуляться со мной, если хочешь».

«А куда вы идёте?»

«А я и сам ещё не решил, в этом и есть прелесть прогулки».

На нём был чёрный балахон в маленьких ма-
сках, чёрные бархатные ботинки и золотые туфли
с длинными носами. Наверное, в таком не очень
удобно гулять. Человек в маске посмотрел на меня
и вышел на улицу.

Люди никак не реагировали на его вид. Нет, это
уже слишком. Я пошла в глубь магазина и нашла
выход с другой стороны. Вышла я уже в зимний
город. Было холодно и снежно. Мимо пробегали
люди с покупками, всё мигало и искрилось.

«А ты умеешь гулять лучше меня...» — сказал
за моей спиной голос.

Я повернулась и увидела человека в маске.

И тут я проснулась.

32.

Папа сидел и рассказывал, что мама думает по-
лучать образование, ещё одно. А Денис оказался
очень талантливым в музыке.

— Ты только представь. Он сначала сидел и просто
повторял все упражнения, которые ему показы-
вали. И когда все тесты прекратились, профессор
подшёл и сказал, что задатки у мальчика есть.
А в это время Динька подошёл к роялю и сыграл
свою любимую песню, которую два раза по радио
слышал. Да, одним пальцем и только основной
мотив, но абсолютно ровно и не ошибаясь в нотах.
Конечно, его надо в музыку отдавать.

— Ну а Сонечку куда?

— Галя говорит, тоже в музыку. Она ударницей
будет, мы уже учителя нашли.

— Так она же рисовала.

— Галя говорит, ей для здоровья будет полезно

— И вы девочку в барабаны запихнёте?

— У неё учительница тоже женщина. В театре
оперы и балета работает.

— А, ну если так.

Я села и потянулась. Есть не хотелось совсем.
Солнечные лучи грели, и мне казалось, что я могу,
как растение, питаться солнечным светом. Но есть
меня всё-таки заставили.

А потом мы пошли домой. Солнце было везде,
и теперь оно не било мне по глазам, а грело и под-
бадривало. Наши весенние следы так и застыли
на полу, да ещё и собрали несколько слоёв пыли.

Мы убирались и радовались, протирая каждую
фигурку от пыли. Я словно здоровалась: «Здрав-
ствуй, Гагарин, здравствуй, вазочка с цветочками,
здравствуй, чернильница, здравствуй, вазочка-
цветочек».

Я протирала их, и они по-новому блестели на
солнце.

Отец расчистил ещё и большую комнату и по-
весил белые занавески, в ней было два окна и одна
кровать. А ещё в ней был огромный стол. Он был
с резной ножкой, прямо как мой столик принцес-
сы. Только ножка была толще, стол ниже и очень
широкий. Я поставила на подоконник Гагарина
и выглянула в окно. Из этого окна были видны
двор и бочки. А второе окно выходило на амбар.
Комната была светлее и больше.

33.

Когда мы всё убрали, мы пошли в гости к тётке
Ане. Папа по дороге рассказывал, что всю жизнь
дружил с её сыном дядей Валерой. Тот просил пе-
редать своей матери, что они приедут этим летом.

Двор был очень странным, справа был дом,
в нём — три крыльца, и он был очень длинный
и одноэтажный. А ещё он был из кирпича, что
ещё больше его выделяло на фоне других домов.
Крыша у него была красно-кирпичной, а стены —
жёлтыми. И казалось, что домик кукольный. Но
стоило посмотреть влево, и ощущение менялось.

Слева стояли покосившиеся деревянные доми-
ки. Они тоже стояли ровным рядком, изображая
общую конструкцию, но у них это не выходило
совсем. Деревянные стены соседствовали с же-
лезными решётками и сетками. В одних клетках
был курятник, а в других сидели гуси. Где-то были
замки навесные, а где-то врезанные. И всё это
абсолютно точно делалось жильцами этого дома.

Тётя Аня жила в первой квартире. Мы под-
нялись по красному крыльцу, краска местами
облупилась, но крыльцо было чистым. Дверь нам
открыла очень крепкая женщина, она была чуть
пониже папы. А ещё у неё были красивые чёрные
кудри.

— Ой, Сашенька, заходите. А я тут супчик толь-
ко начала готовить. Что ж ты не предупредил,
что с Сонечкой придёшь? Я бы чего сладенького
приготовила.

— Да мы вот сегодня первый день, вчера поздно
приехали. Как поживаете-то, тётя Аня?

— А чего мне делается? Куры вон так зиму пе-
резимовали, что теперь из подвала несколько
несушек и вовсе уходить не хотят, всю ботву мне
там пощипали. А так ничего, живу потихоньку.

— А здоровье как?

— Да тьфу-тьфу-тьфу, — она постучала по столу
кулаком. — Не жалуясь. Ты Валерку моего давно
видел?

— Да пару дней назад.

— И как он поживает? Как девчонки?

— Да они на неделе приедут погостить.

— Вот радость-то. Спасибо, хоть предупредил,
я хоть всё приготовить успею. А то любите вы,
шалопай, как снег на голову свалиться.

Она отодвинула ковер на полу и открыла дверь подвала. Послышалось кудахтанье. Тётя Аня ползла вниз и включила лампочку.

С двух сторон от лестницы стояли стеллажи, на которых стояли банки и лежали овощи, на полу лежала картошка. На правом стеллаже целую полку занимали две курицы. Тётя Аня ругала их за то, что они поклевали листья свёклы.

После того, как мы съели суп, меня повели к курятнику на улице. Это был деревянный домик ровно напротив её крыльца. Основную часть стены занимала железная решётка, через которую можно было различить кур.

— Это сейчас непонятно, что там, зато первые солнечные лучи они ловят,— пояснила тётя Аня.

Внутри было темно и пахло сеном. Курицы не боялись свою хозяйку и даже любили её.

— А после курятника у меня огород.

Она открыла вторую дверь, за которой я увидела грядки с рассадой. Несмотря на неряшливость курятника, всё мне казалось каким-то кукольным. Словно для неё взращивать огород и ухаживать за курами не было тяжёлым трудом. Всё было сказкой или развлечением, и всё для неё было легко и просто.

— А петух старый, да молодого нельзя покупать ещё, подерутся. А убивать жалко. Я могу и мужиков попросить, чтоб они ему голову отрубили, да только мне его и правда жалко, хороший он. Да и курам крик петуха важнее всего, они и так несутся, так что пусть пока живёт.

Петух был чёрный и щуплый. Передвигался по курятнику медленно и немного шатаясь. Он был похож на отставного военного, у которого есть и медали, и ордена, да только он уже так стар, что передвигается с трудом. Так что о былых подвигах напоминают лишь его выправка да усы. А усы, точнее, гребешок и борода, были у петуха знатные. Алые, и гребешок чуть набок был повернут, как фуражка.

Когда мы вышли обратно во двор, мы начали прощаться. А потом пошли к булочной и купили ромовую бабу. Возвращение традиции мне понравилось. Казалось, что время в Енисейске остановлено, и пока мы тут находимся, всё, что за границами города,— не важно. Как будто граница города—большая прозрачно-голубая стена, за которой остальной мир.

Дома я нашла стопку религиозных журналов и, от отсутствия другого чтения, решила их почитать. Кроме огромного количества притч и рассуждений, как всем надо жить, не очень умных, на мой взгляд, там были интересные статьи. Всегда в середине журнала и с другим оформлением. Были статьи о банковских картах и о зависимости от телефонов. Мне казалось, что это статьи о том, как люди живут в Америке, только написаны за чем-то русским языком. Когда я всё это пыталась

понять, граница между Енисейском и общим миром утолщалась. Словно, кроме пространства, в эту границу каким-то образом замешивалось ещё и время.

— Завтра мы поедem на речку,— сказал папа, укладывая в рюкзак купальники и полотенца.

— Енисей?

— Нет, на Кемь.

— А это где?

— Это за городом. Там, где новые дома.

34.

Я была охотником в фабричной части города. Я лазала, как ящерица, между трубами, объединяющими все здания этого района. На этот раз у меня было два заказа. Найти юного подмастерья, он был с Диких Болот, и ему требовались инъекции раз в пять дней, чтобы выжить. А ещё—убить одного шулера, который посадил на долги большую часть инженеров.

Я лезла по трубам, осторожно рассчитывая каждый шаг, крепления труб местами проржавели и могли не выдержать дополнительной нагрузки. Убить проще, чем найти, хотя до инъекции оставалось меньше суток.

Выбрав удобный ракурс, я села ждать в засаде. Скоро в пабе должен был появиться мой клиент. Тут всё просто: он садится на своё любимое место, и стрела из арбалета приходится аккурат между его бровей.

«А вы не могли бы привести меня к мастеру по драгоценным камням?»—голос был прямо за спиной.

Неужели меня раскрыли?

Я обернулась и увидела нечто странное. Глаза были зелёные и таких размеров, что всё лицо больше напоминало змеиное. Ушей почти не было, зато на скулах были непонятные зелёные болячки.

«Ты тот ученик с Болот, что должен получить новую инъекцию?»—спросила я скорее для очистки совести.

Все данные по его внешности были мне переданы вместе с предоплатой на заказ.

«Мастер меня уже ищет?»

«Да, сегодня он нанял меня; видимо, совсем отчаялся—таких, как я, вызывают в последнюю очередь».

Под нами прошла моя первая цель, я сняла с пояса наручники и приковала парня к креплению трубы. Как только моя цель села, я увидела, что трактирщик любезно открыл перед ним окно. Вот прохвост, неужели он ему тоже должен?

Точный выстрел, и по всему бару раздались радостные крики и овации.

Я повернулась. Глаза парня стали красными и смотрели на меня с ужасом.

«Не волнуйся, он очень плохой человек. А теперь мы отведём тебя домой».

35.

Я лежала и наслаждалась солнцем. Оно было на всех стенах и мебели. Отражаясь, оно словно лоскутками висело на каждой поверхности. В комнате было тихо—значит, папа ушёл. Надо бы поздороваться с Гагариным. Я встала, надела уличные вещи, а потом пошла в соседнюю комнату.

Папа уже был там и готовил на маленькой плитке рис.

— Проходи пока, скоро будет готово.

Большой стол стоял у окна, которое выходило в сторону бочек и теперь было открыто. Я подошла к окну. Несмотря на то, что стол стоял плотно к стене, он был круглый, и с двух сторон можно было свободно пробраться к окну.

Под окном были видны ступеньки от крыльца и зелёный почтовый ящик. Я могла бы до них дотянуться, если бы высунулась чуть больше. Но это уже было не так удобно.

Мы позавтракали.

На обед папа пожарил картошку и положил её в стеклянные банки. Ещё папа взял огурцы и помидоры, а в последний момент папа положил в рюкзак ножик.

36.

Нашу остановку мы спокойно прошли, потому что нам ещё нужен был хлеб. Магазин находился напротив дома бабы Нади, только чуть дальше по улице. Купив хлеб, мы пошли к другой остановке.

Ехали мы спокойно, людей было мало, и они жались по углам, словно боялись автобуса.

Сначала мы проехали центр города, потом была его окраина, везде были деревянные дома. Только на окраине краска облупилась. А потом дорогу стали окружать только деревья. Папа решил выйти на одной из остановок. Как он их различал и знал, где мы находимся, я совсем не понимала.

— Ну как, ты хочешь на дикий пляж или на общественный?—спросил папа.

— Да мне всё равно...

— Тогда давай пока на дикий. На общественном людей много.

Мы спустились по левой тропинке и вышли к каменистому берегу. Рядом был остров. Да и противоположный берег был не таким далёким. Мы разложили плед и переоделись. А потом я пошла в воду. Это был совсем не Енисей, это была девочка. Вода была мелкая и очень быстрая, а ещё она искрилась, как огранённые камешки, если их вертеть. Я так иногда с подвеской делаю, закручу, а потом она сама вертится, и блики во все стороны.

Лечь на воду не было никакой возможности, сносило сразу и очень быстро, плыть против течения не выходило. Вот и оставалось просто стоять и играть с этим непокорным ребёнком.

Несколько раз мимо нас проплывали лодки. А потом мы решили пообедать.

— Ну вот я дурак: ножик взял, а ложки забыл.

— А можно есть палочками. Я в журнале прочитала, как есть палочками, там даже показано было, как их держать.

— Как интересно. Ну хорошо. Я сейчас тебе палочки от коры почищу, и ты мне покажешь.

Папа взял на берегу похожие палки и счистил с них кору; это было не то же, что на картинке, но я смогла их правильно взять и даже приноровилась брать ими картошку из банки. Папа серьёзно за всем наблюдал.

— Ты, конечно, молодец, но мы люди простые.

К тому времени он и себе пару почистил, но взял лишь одну и начал протыкать картошку и вытаскивать из банки так.

Сидеть просто так и дурачиться было весело. Не нужно было быть взрослыми и серьёзными. Просто сидеть на пледе, и смотреть вокруг, и есть палочками, кто как может. На другом берегу был лес, и очень хотелось, чтобы в лесу были животные, можно даже простые. С простыми, обыкновенными животными тоже ведь можно общаться. Они же всё понимают, а если присмотреться и прислушаться и совершенно не думать рядом с ними, то легко понять, что они говорят тебе.

— А хочешь теперь на обычный пляж сходить?— прервал мои размышления папа.

— А давай,—согласилась я.

В такой день нужно было на всё соглашаться, настроение было таким хорошим, что ничего плохого просто не могло случиться.

Мы собрали пустые банки в рюкзак, полотенца и скрученный плед папа кинул себе на плечи, и мы пошли вверх по тропинке к дороге.

Наверху мы пошли вниз уже по правой тропинке. Внизу доносились голоса, да и тропинка казалась светлее, чем левая. Словно выбирая направление, мы меняли ещё и реальности или дни. Два разных пляжа—два разных дня.

На пляже было полно народу и много солнца. Противоположный берег был тоже с деревьями. Но они перестали быть такими таинственными. А ещё по всему пляжу лежали коровьи лепёшки разной сухости. Потому нам долго пришлось искать место, где мы могли бы положить плед.

Когда мы, наконец, разложились и решили полежать под солнцем, оказалось, что это невозможно. На пляже было полно слепней. Они словно специально загоняли всех отдыхающих в воду. Тех же, кто решал погреться, ждало множество болезненных укусов, которые напоминали удары кончиком хлыста. Иногда от укуса на коже проступала кровь.

Папа накинул рубашку и, казалось, совсем не боялся их. А вот я боялась: укусы насекомых сразу опухали и очень долго не проходили.

Я зашла в воду, вода тут была просто ледяной. Вот уж действительно два абсолютно разных места.

А ведь солнце обычно прогревает воду. Течение было быстрым, но река была совсем не глубокой. Чтобы оставаться в воде, приходилось сначала доверять течению, а потом пешком возвращаться обратно на согнутых ногах, чтобы почти не вылезать из воды.

Рядом играли дети, им было весело. Я впервые за долгое время загрустила, что мне совсем не с кем играть. Лучше бы мы остались на тихом пляже. Где был целый мир.

Я вышла на берег хоть немного согреться. Рядом лежали, сидели и стояли разные отдыхающие. Мужчины читали газеты, а женщины пытались загорать, втирая себе в кожу крем не для загара, а для отпугивания насекомых.

И тут я увидела странную картину. Дети на берегу у воды сделали маленькую заводь, лужицу с тонким каналом, соединяющим её с рекой, и ловили мальков. Ладонками. Просто подходили к воде, а потом зачерпывали воду вместе с мальком и, держа ладонки лодочкой, переносили его в лужицу. Мальков там уже было штук пять или шесть, их спины серебрились на солнце.

Сначала я захотела сделать то же самое. Потом я это себе представила. Вот я беру живое создание, и оно плавает у меня в заводь. А если оно проголодается, чем ему питаться? Да и разве хорошо плавать в луже, если ты плавал в целой реке? Мне не будет приятно смотреть, как малёк ищет выход, мне будет стыдно за то, что я создала клетку.

К папе обратился мужик, который сидел рядом с нами, на нём были синие шорты и белая рубашка в синюю клетку, а ещё соломенная шляпа, она была очень старой и потрёпанной.

— А вы видите вон тот берег? — он указал на огромный обрыв слева по течению.

Это был резкий подъём почти сразу после пляжа. Обрыв по полосе реки был высотой с пятиэтажный дом. На самом краю обрыва стоял домик. — Видим, конечно, — сказал папа. — Как же не видеть, такой обрыв огромный.

— А в прошлом году там было два дома. Весной река поднимается на уровень этого домика. И этой весной снесла один, словно он был картонный.

— Да что вы говорите?.. Вешние воды?

— А то ж, я давно говорил, что дома нужно переносить. Правда, даже то, что соседей снесло водой, никак не повлияло. Стоит дом, и всё тут.

— Ну, может, денег нет.

— Да вряд ли. Просто река эта такая. Её боишься, не понимаешь, и неудобная она, но никак от неё уходить не хочется.

Я долго смотрела на этот одинокий домик на обрыве. Он был голубой и почти сливался с небом. А рядом был огромный обрыв, словно бумагу оторвали. Но, наверное, это и значит — жить рядом с чудесами. Даже если опасно — уходить совсем не хочется.

На обратном пути в автобусе я уснула. И проснулась только, чтобы зайти в дом. Укусы болили, как синяки. Да ещё и чесались. Но на коже было ещё одно странное ощущение — словно меня гладит быстрый прохладный поток воды.

37.

Мы прятались в кинотеатре, у нас не было денег, чтобы сидеть в кинозале, и мы просто бродили по зданию. Пришлось делиться. Я была в левом крыле, а мои друзья в правом и в центре. Я иногда их видела, а заодно и следила за входом. Центральная часть второго этажа была пустой. Выходило, что это даже не второй этаж, а внутренний балкон.

И тут я увидела, как наши преследователи зашли в зал. Я начала дёргать соседние двери, чтобы найти более надёжное убежище. Туалет не поддавался, зато соседняя с ним дверь открылась. Похоже, там был сломан замок. Я зашла в комнату с мыслями о том, что нужно будет её всеми силами держать изнутри.

Комната оказалась огромным балконом, даже верандой. Пол был в мраморных плитах, в середине стояли мраморные столбы, упирающиеся в крышу. После колонн веранда продолжалась и заканчивалась мраморными перилами. И если вид комнаты можно было списать на то, что кинотеатр находился в бывшей усадьбе, то вид с балкона никак нельзя было объяснить.

На многие километры впереди была равнина, на которой умирал город. Его раздирала война: взрывы, звуки выстрелов и крики. И всё это — на фоне абсолютно чёрной горы, размеры которой трудно было себе вообразить, она была на самом горизонте, но всё равно закрывала собой половину неба.

Я опешила и сделала шаг назад, снова оказавшись в кинотеатре. Может, это просто ещё одно кино? Тогда почему только для одного зрителя? Машинально я закрыла дверь. Оглянулась и увидела, что наши преследователи идут к кассам. Всё-таки лучшего убежища, чем эта странная комната, мне не найти. Я снова зашла в неё.

Чёрная гора полыхала, извергая на уже мёртвый город лаву. На балконе сидело белое существо — то ли собака, то ли медвежонок. Когда я подошла к нему, я поняла, что воздух на балконе, сразу после колонн, огненный.

Я взяла существо в охапку и утащила к двери. Мир за границей этого здания умирал. Всё полыхало, а я просто прижимала к себе это странное существо. Казалось, в моих руках детёныш, хотя по размерам это была крупная собака.

Мир вокруг менялся очень быстро, как на перемотке. Вот уже всё потухло и черно, вот пошли дожди. Меняются сезоны, появляется зелень. Я вышла на балкон, и всё замедлилось. Лесов ещё не было, только редкие кусты и молодые деревья.

Я перелезла через перила и попробовала спуститься вниз. Пришлось прыгать.

Вокруг была девственная природа, которая только начала восстанавливаться.

Дом. Даже особняк, с мраморными колоннами, лепниной и статуями. Я обошла его со всех сторон и попробовала войти в двери, они были закрыты. Чтобы вернуться обратно, пришлось залезать по стене, лепнина пришлась очень кстати.

Когда я перелезла через перила обратно, ко мне вышел медвежонок. На медведя это существо всё-таки походило больше, чем на собаку. Пока он ковылял до меня, он немного поскуливал, а потом прижался ко мне и перестал скулить. Я села на пол, чтобы осмотреть его. Носик немного кровоточил — видимо, он надышался горячим воздухом. И наверняка он был голоден.

Я отвела его за колонны и стала наблюдать, как мир меняется дальше. Выросли леса, стали летать птицы. Похоже, динозавров не будет. Я снова выбралась в мир, на этот раз пытаюсь найти реку. Реки не оказалось, зато за домом появились пруды, прямоугольные. Выглядело всё так, словно это сделал человек, но никаких следов я не видела. А в прудах плавали карпы. Всего было шесть прудов. Два больших, метров двадцать длиной и десять шириной, и четыре прудика между ними, идущие полосой. В мелких прудах плавали цветные карпы, а в больших — обычные.

Сняв рубашку, я наловила в неё несколько обычных карпов. Надеюсь, медведь их ест. Майка и джинсы были мокрые, а рубашка наверняка пропахнет рыбой. Как я смогу объяснить товарищам, где я была?

Забираться наверх было сложнее, чем в первый раз. Мало того, что пришлось тащить узелок с рыбой, так ещё и рыба трепыхалась в нём. Не вышел из меня убийца.

Зато из медвежонка он вышел. Три рыбины были съедены сразу, ещё две просто оглушены ударом лапы.

Поев, медвежонок лёг головой мне на ноги, и мы уснули, опираясь на внешнюю сторону колонны.

38.

Я повернулась на другой бок, кровать запружинила под весом моего тела.

— Сонь, ты чего проснулась? — спросил папа. — Рано ещё, спи.

Я забралась с головой под одеяло и продолжила спать.

39.

Когда я проснулась, медвежонок рядом не было. Пока я спала, вышло так, что голова оказалась на полу, и отчасти я спала за колонной. Садясь, я наблюдала, как время из ускоренного стало

нормальным. Моя рубашка выцвела и была совсем ветхой. А вот остальная одежда на мне не изменилась.

В этот раз сразу под моим балконом был город, в котором никто не удивлялся тому, как я выгляжу, хотя все вокруг ходили в средневековой одежде.

Вокруг особняка была площадь, от которой во все стороны расходились улочки.

Я пошла по улице, где был рынок. На прилавках висели яркие ткани, украшения, оружие и даже еда. Было солнечно, люди были веселы, мне даже надели какой-то платок на шею. Он был рыжий, с вышивкой. А когда я остановилась у прилавка с едой, продавщица с улыбкой отдала мне пирог с грибами. Пробегаящие мимо дети остановились, окружив меня, и один из них вручил мне белую маску с золотыми узорами.

40.

Я потянулась в кровати. Папа был в большой комнате.

— Сегодня у нас опять поход, — сказал папа, когда я зашла в комнату.

— А куда?

— К прабабушке. Мы на кладбище поедem.

— А это далеко?

— Ближе, чем Кемь.

Мы опять поехали на автобусе.

Вышли мы на остановке у храма. Он был очень высокий и светлый, прямо празднично светлый, люди толпились перед ним. Но мы пошли дальше и зашли на кладбище.

Было очень тихо, прямо резко тихо, и казалось, что мы тут совсем одни. А ещё вокруг была осень, деревья были в листьях, но она была тёмной и казалась совсем не живой. Почва была влажной, но грязи не было. А ещё было прохладно.

Папа вёл меня вперёд, иногда петляя между оградок. Я почти не различала надгробий, хоть они и были разные; мне казалось, что они просто тени на нашем пути, что их на самом деле нет. А потом мы подошли к заброшенной ограде. Когда-то она была голубой и плетёной, но теперь она была смята и местами вдавлена в землю. В некоторых местах ржавчина совсем развела металл до дыр.

Папа расчистил старую листву с могилы. Потом почистил скамейку, которая пряталась под грудой листьев. Почти всё он делал молча, да и мне говорить не хотелось.

Я разглядывала фото на надгробии, на нём была прабабушка, я видела её только на фото. Она была медсестрой и ещё помогала моей бабушке воспитывать папу. А ещё дом, где мы жили, был когда-то только её. А вот как и откуда она попала в Енисейск, никто не говорил, лишь иногда шептались, что она откуда-то бежала. И что всю жизнь медсестрой отработала, хотя могла быть доктором.

Папа молча сидел и смотрел на её надгробие. Чем больше он смотрел, тем больше он переставал походить на себя. Сначала он начал сереть, словно ему было тяжело даже дышать. А потом его лицо начало проясняться, и глаза заблестели. И он стал очень молодым, как его студенты. Потом он достал блины—видимо, он их утром пожарил,—и мы поели.

—Моя бабушка, твоя прабабушка, пекла особенные блины. Я таких нигде не пробовал,—начал свой рассказ папа.—Когда я уже в Красноярске учился, я пробовал сам жарить блины, но было не то. В Барнауле начал собирать разные рецепты, но они тоже не подходили. Потом уже твоя мама начала мне помогать, и мы нашли нужные пропорции. Они совсем не сладкие, даже с кислинкой. И всегда мягкие, но при этом не рвутся. Она их на сыворотке делала, а не на молоке. Уж не знаю почему, но вкус другой.

Он замолчал, а я рассматривала берёзу у скамейки. Интересно, знает ли берёза мою прабабушку? Должна знать; наверное, они даже общаются. Берёза ей рассказывает, какая сегодня погода, а прабабушка ей рассказывает свою жизнь. И берёза думает, что это всё сказки, особенно когда рассказы про путешествия.

Обратно мы шли молча, и в храм зашли тоже молча, папа только на меня косынку повязал, которую взял дома.

Потолок был очень далеко, и дело не в том, что до него было не добраться, я видела лестницы, ведущие до самого потолка. Просто казалось, что за рисунками тоже есть мир, и ещё неясно, где небо ближе—в храме или на улице. Храм был живой, как наш дом, только старше и светлее. Как старый дед с белой бородой и волосами. Такими белыми, что они светятся на солнце. Может, если наш дом простоит столько же, он так же поседет?

Было очень много воздуха, люди стояли плотно друг к другу, но места всё равно было много. Я всё боялась потерять папу. В таком большом месте мы бы уже никогда не нашли друг друга.

Папа говорил с монахом. Тот был в чёрной рясе. У него светились глаза. Видимо, он носил чёрное, чтобы скрывать, что он весь светится. А ходить в чёрных очках на глазах в помещении неудобно, вот мы и видели, что глаза у него светятся.

Потом мы вышли из храма, подошли к деревянной лавке, купили свечи и вернулись обратно в храм. Папа дал мне свечи и взял на руки, чтобы я смогла их зажечь. Он сказал, что когда их зажигаешь, надо просить у Бога, чтобы Денис и мама были здоровы.

Я осторожно наклонила свечу к горящей свече и, пока она загоралась, стала просить, чтобы у Дениса не болела голова, а у мамы зубки. Я смотрела на огонь и представляла, как я в темноте прошу у далёкого света, чтобы он помог нам. Он ведь

добрый и тёплый и всё может. Просто не всегда нужно всё прекращать или получать сразу, всё должно быть в своё время. И всё будет в нужное время, он обещает.

Обратно мы ехали по освещённому городу. Мне казалось, что город и сам как большой храм, в нём было много церквей и храмов, многие из которых были разрушены. Но это ничего не меняло, они словно были стенами или столбами, а небо—потолком. Наверное, поэтому в городе было много солнца. В храме ведь всегда светло.

41.

Мы вышли у памятника Ленину и пошли к булочной. Когдаходишь к Енисею, всегда заранее пахнет рекой, водорослями и ещё немного жареной рыбой, которую продают на берегу. Но у булочной всегда пахло сладким тестом и карамелью, да так, что даже у самой воды этот запах перебивал все другие запахи. Белый маленький одноэтажный кирпичный домик находился метрах в двадцати от воды. Сразу за ним к самой воде спускалась очень крутая тропка. Так что, подходя со стороны площади Ленина, ты видел яркий белый домик и синюю гладь реки за ним, почти как море.

Внутри булочной было почти темно, пол и прилавки были деревянными, стены были оклеены тусклыми обоями. Они были так стары, что из жёлтых давно стали бежевыми, а цветы на них—коричневыми. Интересно, а эта бумага была сладкой?

Папа купил ромовые бабы, и мы пошли домой. По дороге мы проходили мимо школы, и папа увидел там свет.

—Может, там кто-то из преподавателей, которые меня учили? Давай зайдём?—сказал папа, заходя на территорию школы.

Я осталась у клумбы рассматривать цветы, а папа пошёл проверять: вдруг это был кто-то ему знакомый? Я рассматривала анютины глазки. Почему же их так называют? На глаза они совсем не похожи. Скорее, на бабочек или огоньки в темноте. Каждый из цветков—это целая история, как у Шахерезады. Или, может, это её наряд, каждым вечером разный. Но яркий, чтобы ночью была видна только она. Она бы танцевала с платками и рассказывала истории, это был бы целый театр.

Меня позвал папа, и я побежала к крыльцу школы. Только вот, огибая клумбу, я зацепилась ногой о бордюр и упала. Боль прошла по всему телу, горели руки и колени. Я поднялась и опять побежала, чтобы папа не заметил, что мне больно. Только вот когда я подбежала, его лицо было бледным.

Я была в синих колготках, на одной коленке темнело пятно, а вот на второй была дырка большая и много крови. Мы пошли в туалет, папа сказал,

чтобы я сняла колготки. А я всё думала, что мама будет ругаться за дыру; наверное, её можно зашить, но будет очень заметно.

Сидя в кабинке, я осторожно снимала их; обе колени были разбиты в кровь. Только правая коленка была разбита сильнее, и крови текло много. Я сняла колготки и вышла из кабинки.

Папа выбросил колготки, что было странно и очень меня напугало. Теперь мама точно разозлится.

Медицинский кабинет был закрыт. Папа взял меня на руки, и мы пошли в соседнее здание. Это был маленький женский монастырь. Мне было стыдно, что я упала, что кровь не останавливалась, что ещё всё щипало и болело. Я расплакалась, и за это тоже было стыдно.

Увидев меня, женщины только покачали головой и повели нас с папой в их медицинский кабинет.

— Ну чего ты плачешь? — сказала одна из женщин. — Ты же почти женщина, должна терпеть. Это мальчики терпеть не умеют, а девочки должны терпеть.

Она прижгла мне рану, и я сжала зубы, чтобы не закричать. Папа сидел всё ещё бледный.

— Ну вот и всё, кровь остановлена. Купите то, что написано на листке, инструкции будут на упаковке. Главное сейчас — рану не тревожить, — сказала эта же женщина, протягивая папе листок.

Другие женщины смотрели на меня с испугом и сочувствием.

Домой меня донёс на руках папа, я надела на ночь другие колготки, чтобы рана была закрыта, и быстро уснула.

42.

Проснулась я от шума. Папа готовил на нашей печке. Я повернулась на бок и поняла, что колготки прилипли к ране.

— Пап, а из раны сукровица ночью потекла, — сообщила я.

— И как теперь колготки отлепить? — спросил испуганно папа.

Я испугалась: он не знал, что делать. Мама бы что-нибудь обязательно придумала. А папа сейчас может что-то не то сделать, и опять будет больно. Значит, решение придётся найти самой. Я осмотрела комнату.

— Пап, а сделай воды тёплой, мы намочим и снимем колготки.

— А ты себе рану не обожжёшь?

— Там же сейчас короста, нам только верхний слой размочить.

Папа принёс железную ванну и ещё жёлтый таз. В таз он налил кипятка, а потом холодной воды из ведра. Я поставила ногу в ванну, и папа налил воды на рану. Колготки снялись легко и почти безболезненно.

— Ну всё, теперь ложись. Я тут тебе щавеля с сахаром сделал, витамины, чтобы ты скорее выздоравливала. Я пока в аптеку схожу.

Я забралась на кровать, положила тарелку на живот и начала рассматривать, что такое щавель. Папа давно ушёл, а я всё ещё смотрела на эти листья. Пахло в основном сахаром и ещё чем-то кисленьким. Чуть щекотало язык. Я подцепила вилкой один лист, положила в рот и прожевала. Вот странно, эти листья были похожи на черемшу, но по вкусу совершенно другие. Правда, в черемше ещё и фиолетовый цвет есть, может, это он такой вкус давал. Тут же листочки были светло-зелёные, а на вкус как ягодки. Я доела всё и оставила тарелку на пол. Во всём теле была слабость, и колени ныли.

Папа осторожно тряс меня за плечо. Я и не заметила, как уснула.

— Смотри, я тебе сейчас рану обработаю, будет щипать.

Он потряс белым бумажным пакетиком, оторвал у него верхушку и насыпал белый порошок на рану. Он зашипел и стал пениться, а потом потемнел. Сверху папа положил вату, а потом заклеил всё пластырем.

Я лежала и ждала, когда перестанет щипать. Папа ушёл в другую комнату.

Впервые солнце меня не радовало. Оно ярко светило, но было каким-то спокойным, а не игриво-радостным. Оно, как старший товарищ, подбадривало меня, освещая яркой полосой мою левую руку. Надо будет найти где-нибудь зеркальце и играть с солнцем в солнечные зайчики.

Я стала опять засыпать.

Почти всё время до ужина я спала, лишь изредка просыпаясь, когда папа заходил в комнату. Снов не было, просто казалось, что меня несёт по реке.

Вечером папа меня разбудил, чтобы я покушала, и я опять уснула. Ему было страшно, это было очень заметно.

А наутро я проснулась, не помня, что у меня была какая-то рана. Я села, свесив ноги с кровати, и папа мне улыбнулся.

— Не болит уже коленка? — спросил папа.

— Нет, совсем нет.

— Но нам всё равно нужно заменить повязку.

Я вновь легла, папа принёс лекарства. Мы начали сдирать пластырь. И вот тут я вспомнила, почему лучше не просыпаться, совсем никогда. У папы начали трястись руки, он видел, что я сжалась от боли.

— Пап, давай я сама, — не выдержала я.

Пластырь был очень уж липучим, совсем не отходил от кожи. Так ещё местами он прилип к ране, и когда я его смещала, болела рана, как будто её резали заново. Я просто старалась всеми способами прекратить это. И правда, чего это я себе позволяю? Я уже взрослая, должна терпеть всё. А если война, я же должна и не такое терпеть.

Там же выстрелы и бомбы. А мне ещё семью защищать. А тут какая-то мелкая рана. Я сорвала окончательно пластырь и сняла вату. Рана мокла. — Надо снова засыпать порошком, — сказал папа и высыпал мне порошок из пакетика.

Снова всё шипело, и пена стала жёлто-бежевой. Боль прострелила по кости вниз. Я сжала рукой одеяло и просто ждала, пока папа положит новую вату и наклеит новый пластырь. Ваты теперь было больше.

— Смотри, я тут тебе малины принёс, — он поставил мне на живот огромную железную глубокую тарелку с малиной.

— А сколько тебе оставить?

— Ничего не надо, ты кушай и выздоравливай.

Папа лёг на другую кровать и начал читать «Руслана и Людмилу». А я ела и пыталась уловить сюжет.

Иногда читала я, чтобы папа отдохнул. К вечеру я уже не очень понимала, что происходило после полёта на бороте Черномора. Зато мы целый день были вместе, и папа делал это всё для меня. Нам было хорошо вместе, и ничего нам не мешало. Жалко, что так бывает только летом. Весь учебный год папы нет целый день.

Однажды он пообещал привести меня в музыкальную школу, в которой подрабатывал. Он обещал приехать в двенадцать, и я ровно в одиннадцать начала собираться. Даже платье надела. С полдвенадцатого я сидела на балконе, чтобы сразу увидеть, как он придёт. Чтобы видеть, как проходит первый подъезд, потом второй, а потом заходит в наш. Папа пришел в девять вечера. Мама загнала меня с балкона только в шесть, я всё ждала. Я не хотела учиться в музыкальной школе, но папа был очень рад, когда увидел, что я сразу правильно взяла барабанные палочки. Просто так я никому неинтересна. Нужно знать и уметь совсем всё. А иначе обо мне забудут, даже если обещали.

Перед сном я сжимала одеяло в ладони, и когда я уже совсем почти уснула, мою руку сжала чья-то ладонь. И я вспомнила, что так уже было. Ну, здравствуй, друг.

43.

Утром я встала с тяжёлой головой. Я долго просто лежала и не хотела открывать глаза. Я не хотела снова менять повязку.

— Сонечка, просыпайся, мы сегодня поедem к Вадиму Андреевичу.

— А кто это? — сразу открыла глаза я.

— Ну как же? Мой директор школы. Помнишь, мы у него были? Он ещё улей старый показывал.

— Опять на автобусе поедem?

— Ты с ним отдельно поедешь.

— Почему?

— Мне нужно будет ещё кое-куда зайти, я позже приеду.

Мы пошли к детской музыкальной школе.

Это было одноэтажное здание, всё новое, но деревянное. Даже деревянные кружева на крыше были новыми. Окна были пустыми и совсем не живыми — наверное, из-за чистых стёкол. Везде были мытые стёкла с неровностями и трещинками. А эти стёкла были надменно ровными. А поленья были словно покрыты карамелью. Весь дом был надменный, совсем не из этого города, как обычный домик. Новый, но деревянный.

Папа долго разговаривал с Вадимом Андреевичем. Тот отвечал ему сдавленным шёпотом, и я всё пыталась научиться различать его слова. А потом папа ушёл, а Вадим Андреевич засобиравшись домой.

Он взял меня за руку левой рукой, и мы пошли к остановке. Ладонь была шершавой и мозолистой. У него были мозоли и на ладонях, и на подушечках пальцев, как у папы.

Ехали мы молча, а потом Вадим Андреевич спросил:

— Ты уже учила таблицу умножения?

— Нет, но это же просто должно быть.

— С чего ты взяла?

— Ну, в песенке поётся, что дважды два четыре, а пятью пять — двадцать пять. Значит, умножение — это сколько раз надо сложить одно и то же число.

— И почему же это просто?

— Так можно же просто сложить.

— Ну-ка сложи мне четыре на шесть.

— Восемь и ещё восемь — уже шестнадцать, и ещё восемь — это четыре до двадцати и потом ещё четыре. Двадцать четыре.

— А пять на три?

— Это десять и пять — пятнадцать.

— А семь на три?

Мы вышли из автобуса и пошли по детской площадке, я смотрела себе под ноги и считала.

— Это четырнадцать, от семи шесть до двадцати и ещё один. Двадцать один.

— Ну хорошо. А семь на восемь?

— Ой, сейчас. Двадцать один да двадцать один — это сорок два, а потом ещё сколько надо... — я задумалась и совершенно растерялась в числах.

Вадим Андреевич рассмеялся.

— Ну ладно, тебе это ещё рано знать.

Мы зашли в подъезд, поднялись и вошли в их квартиру.

Папа уже сидел на кухне и общался с женой Вадима Андреевича. Из одной из комнат вышли их внуки, у девочки тоже была разбита коленка.

— Ба-а-а-а, у меня коленка чешется.

— Ты только не чеши, чешется — значит, растает.

Папа вышел из кухни ко мне и повёл меня в ванную.

— Сонечка, смотри, сейчас набираешь ванну и отмачиваешь пластырь, он сам слезет, и ничего рвать не нужно. А потом выйдешь, и мы всё снова заклеим. Ты, главное, не торопись.

Он вышел из ванной, и я закрылась.

В ванне лежать было странно, да и папа ошибся, пластырь от воды, даже горячей, никак не отлипал. Пришлось снова срывать. Зато я так и рану от какой-то жёлтой плёнки почистила. Была только красная вмятина, по краям была рваная кожа. Я спустила ванну и ополоснулась, потом оделась и вышла со старым пластырем в руках.

— С лёгким паром! — сказал папа.

Я села, и он заклеил рану.

Мы пообедали с хозяевами дома. Несмотря на то, что я стала старше, пренебрежительное отношение со стороны их внуков ко мне не прошло. Они даже не сели с нами обедать, несмотря на все уговоры их бабушки.

По пути обратно в автобусе я уснула. Меня уже начинала злить эта постоянная сонливость и то, что я не могла расслабиться. Приходилось постоянно двигаться осторожно, чтобы не было больно.

Выходя из автобуса, я зацепилась за ступеньку и вывалилась на тротуар. И, конечно же, на обе колени. Злость и обида на себя начали душить. Ну как же так? Я что, совсем разучилась ходить? Неужели я вечно буду падать?

Папа довёл меня до скамейки на остановке. Рядом стояла бабушка. Сначала папа осмотрел мои колени, когда я села. Из-под пластыря текла кровь. А потом он посмотрел на бабушку.

— Сашка, неужели это ты? — спросила бабушка.

— Евгения Семёновна?

— Ну а кто ж ещё-то? Как поживаешь-то? Твоя красавица?

— Моя. Да хорошо всё, только вот Соня всё падает. — Да это ничего, возраст у неё такой. Я вон тоже падаю всё время. Выходит, мы с твоей дочкой ровесницы сейчас, — она приподняла свою юбку и показала свои разбитые колени.

Эти колени словно были совсем не её. У неё были сказочно-белоснежные волосы, и они были очень длинные. Она не убирала их в причёску как все бабушки с длинными волосами, что я видела. Нет, у неё была длинная свободная коса. Одежда на ней была светлая и «в цветочку», а ещё — удивительное лицо. Яркие голубые глаза светились изнутри, и, кроме них, ты ничего уже и не видел. Надо было очень постараться, чтобы различить морщины. Хотя морщины ничего не говорили о её возрасте, она была девочкой. В туфельках и с белыми носочками, в белой юбке с фиолетовыми цветами, которая была чуть ниже колен, в белой рубашке с жёлтыми цветами.

Я так засмотрелась на неё, что совершенно обо всём забыла — и про боль, и про досаду, я даже не слышала, о чём они говорят. И тут папа повернулся ко мне и подал мне руку. Я поняла, что нам уже давно пора домой. Мы попрощались и пошли к нашему дому.

Весь вечер я думала о той старушке. Надо же так жить, чтобы ничего тебя не тревожило... А ведь

она старенькая, ей должно быть очень больно, да и папы у неё нет, чтобы её поддерживать. А она такая красивая и радостная.

44.

Утро, уже почти по традиции, началось с медицинских процедур. Я всё думала, куда пропали мои сны. Несколько дней без снов выбивали меня из колеи. Я совсем не хотела помнить, что было вчера и когда это «вчера» вообще было. Мне было уже привычно, что между «вчера» и «сегодня» может пройти пара дней, а то и недель. Это было плохо — оставить меня наедине со своей проблемой.

День начинался странно: я просто села смотреть картинки, а папа убирал в большой комнате. Он вернулся только к обеду и предложил пойти в гости.

Дошли мы быстро, я была рада пройтись и отвлечься. В этой части города мы ещё не были. Дом был двухэтажный, и нам нужно было на второй этаж. Дверь нам открыла просто невероятная женщина. Она была выше папы и шире, не толстая, просто она была женщина-богатырь. Про себя я её назвала Хозяйкой Медной горы. В её зелёных глазах какой-то невероятный свет.

А вот в её жилье не было ничего особенного. Почти пустой деревянный пол, на котором был один маленький коврик, круглый стол у окна с белой скатертью, кровать, кресло, четыре стула у стены, тумбочка и маленький шкаф. Ещё была дверь на кухню, но я там не была.

Мы пили чай с черёмуховым вареньем. Это было что-то невероятное, я и не думала, что у этих цветов такие ягоды. Я мазала варенье на хлеб и добавляла в чай. Иногда я видела, как женщина улыбаётся, глядя, как я рассматриваю ягоды на ложке или как я специально держу ложечку так, чтобы с неё капало по капельке варенье и было видно, как оно растворяется в чае.

Мне было всё равно, о чём общаются взрослые. Папа снова рассказывал, какие мы с братом будем музыканты, а она отвечала, что есть в кого. А ещё она огорчилась, что я ушла с танцев, променяв их на рисование. И всё вспоминала, что папа был отличным танцором и мог бы сейчас ездить по заграницам со своими данными.

Вечером она вышла вместе с нами из дома и указала на дерево прямо у неё под окном; это было огромное дерево, по которому лазали мальчишки. Их было так много на ветках, словно они были воробушками.

— Ребят, ну подождите ещё недельку, ну ведь зелёные ещё ягоды, с животом мучиться будете, — сказала женщина.

— Ничего, тётъ Тань, черёмуха уже созрела.

— Рано ей ещё созреть, — крикнула она и повернулась к нам с папой. — Вот с этого дерева вы варенье сегодня ели, правда, прошлогоднее, ягоды

поспеют через неделю или две. Если эти гаврики всё не объедят. Вот ведь нетерпеливые.

Мы шли, и каждый молчал по-своему громко. Папа, наверное, думал о танцах и о том, что он уже совсем музыкант, окончательно. А я думала о черёмухе: какая же всё-таки ягода вкусная, и название у неё чудесное.

Потом папа зашёл в булочную у дома бабы Нади, а я осталась ждать на улице. Ко мне подошла маленькая старушка, в коричневом платье и в коричневом платке.

— Ты тут кого ждёшь, маленькая? — спросила она.
— Папу, он в магазине.

— А лет тебе сколько?

— Шесть.

— А мне девяносто два. У тебя зубки уже меняются?

— Да, уже четыре передних сменилось, внизу и вверх.

— А у меня опять зубы стали расти, медленно, но растут. Вот что значит дожить до девяносто двух лет.

Я смотрела на неё и не верила своим глазам: это же почти сто лет. А она сама ходит, да и не выглядит она на девяносто. На шестьдесят. Значит, жить на природе полезно?

— А ко мне внуки скоро приедут. Ты приходи к нам, играть будете, мы вон в том дворе живём, — она показала на двор рядом с домом бабы Нади.

Потом она зашла в булочную, и через минуту вышел папа.

— Папа, а прожить сто лет возможно?

— Конечно, возможно. Раньше люди и по триста лет жили, только это было очень давно, ещё до Моисея. — Это который евреев спас от египетского царя? — Правильно.

Дальше мы шли молча. Дома мы опять сменили пластырь, рана опять была в чём-то жёлтом и липком, а ещё текло много сукровицы, и она не сохла. Папа насыпал порошка и опять всё заклеил.

45.

Я сидела одна в темноте, где-то далеко внизу были звёзды, а на горизонте светилось северное сияние. Верх и низ были просто обозначениям, чтобы не путаться. Я даже не знала, почему я сижу, а уж тем более — что есть опора в полной пустоте.

«Ты должна усмирить вóрона, — сказали голоса в моей голове. — А иначе он улетит из библиотеки, и её захватят, а от тени его крыла потухнут миры».

Я увидела, как ворон с иссиня-чёрными перьями пролетает, и от его взмахов расходятся волны, которые гасят звёзды, а планеты разлетаются, как пыль, по всей Галактике.

Вот и работа. Я словно спрыгнула с того места, где я «сидела», и полетела вниз. Сам полёт не имел значения. Я закрыла глаза и представила, что я рядом с вороном.

Он смотрел на меня очень грустными глазами. Я ощутила, что ему уже всё тяжело. Он понял, зачем я здесь. Но больше охранять библиотеку он не намерен. Он не первую тысячу лет хранит её, должен быть отдых.

Как же ему было больно и тяжело нести своё бремя! Я стала такой же большой, как он, и просто его обняла. Нужно было что-то решать. Ему и правда нужен был отдых. Я стала дышать с ним в одном ритме, и наши души стали словно одним целым. Не единым существом — скорее, и мы, и наши души обнимались. И я поняла.

На его груди появилось золотое ожерелье с голубыми камнями. Они дублировали разум ворона, и он мог разлетаться на три стороны, оставаясь в библиотеке. Он и хранил библиотеку, и путешествовал по мирам своей тенью, ничего не разрушая, но познавая настоящую жизнь, о которой лишь читал в своих книгах, ведь он сам был библиотекой, хранителем всех знаний.

Теперь он не чувствовал усталости, в нём была только благодарность. Добрый друг, надеюсь, теперь тебе будет легче нести своё бремя.

46.

Утром я долго лежала, вспоминая свой сон. Вот бы прочесть всё то, что он хранит. Хотя мне бы сейчас хоть что-нибудь почитать. Я порылась в комод, что стоял у маленькой комнаты. Яркие книжки были совсем детскими: кроме картинок, ничего и не было. Я взяла толстую чёрную книжку и пошла в комнату.

Открыв её, я поняла, что дом — отличный шутник. Книга называлась «Хозяйка Медной горы». И как он её прятал и от меня, и от мамы? Она-то точно увезла бы её в Красноярск, она же рассказывала мне про эту сказку много раз. Прочитав самый первый рассказ, я стала смотреть следующие.

Все они были про уральских мастеров по изготовлению украшений и разных сувениров из камня и металла, которые добывали на рудниках. Про храбрость и обречённость обычных людей. Главной свободой была смерть. А ведь они были мастерами, которые творили просто удивительные вещи. А ещё они не видели всей серости жизни из-за того, что были в творчестве постоянно.

Там были рассказы о волшебных камнях, которые не признавали трусов и подлецов. Были и страшилки, где кошачий глаз стал действительно глазом кошки. И с каждой страницей я всё больше хотела побывать на Урале. Хотела подняться в горы, хотела увидеть настоящих мастеров. А ещё мне хотелось выточить из камня хоть какую-нибудь фигурку.

А папа готовил что-то особенное, он вешал новые занавески и мыл полы. Мне двигаться было категорически запрещено.

Вечером, почти ночью, мы вместе вышли к оставке и стали ждать, когда приедут мама и Денис.

Когда они подъехали и стали выходить из автобуса, папа сразу забрал у мамы сумки, и мы вчетвером пошли к дому. Денис почти спал. Мама спросила, зачем мне залепили коленку, если так рана может задохнуться.

Дома мы попили чаю и легли спать.

А утром мама увидела, что у меня с ногой.

— Так, для начала—больше никаких пластырей. Малашкин, ты чего, совсем, что ли? Ты хочешь, чтобы ей ногу ампутировали?

— Я всё делал так, как меня в детстве лечили.

— Даже странно, что ты дожил до своего юбилея. Хотя ты ж у меня теперь на шее. Я вас всех на себе тяну.

Папа вышел из комнаты, он был обижен. И зачем они постоянно ссорятся и говорят о разводе? Ведь это ничего не меняет, только орут много.

— Так, собирайтесь, пойдём гулять на речку,—сказала мама и вышла из комнаты.

А мы уже были в уличном, так что мы просто подождали, когда она вернётся, и пошли на каменистый пляж в центр города, без папы.

Шли мы сначала тихо, а потом Денис начал рассказывать, что за машины проезжают или стоят у обочины. Но машин было меньше, чем его познаний, так что он начал рассказать про все марки машин. Про то, что «Мерседес» назван в честь дочери основателя, а первая скоростная машина в СССР называлась «Пионер», что скоро будут машины на электричестве, а когда-нибудь вместо колёс будут магнитные подушки.

На пляже было тепло и солнечно, только иногда холодный ветер с реки щекотал руки. Мы пришли со стороны булочной, и всё вокруг пахло сдобным тестом.

— Так, теперь оба разулись и гуляем по колено в речке. Никому не бегать. Соня, будешь гулять, пока коросты не размокнут.

Мы с Денисом гуляли у берега. Он не мог гулять рядом со мной: там, где у меня вода была чуть выше колен, у него уже мокли шорты. Иногда он пытался брызгаться, но мама сразу начинала кричать, и мы просто расходились в разные стороны. Под ногами был песок. Весь пляж был в камнях, но вода бережно укрывала собой песок и водоросли.

Иногда можно было различить мальков, они огибали мои ноги. Они напоминали детей, играющих в догонялки. Наверное, все дети одинаковы.

Когда коросты стали похожи на липкое тесто, я вышла на берег. Горячие камушки почти не кололи мои оледеневшие пятки.

— Вот, держи,—сказала мать и протянула красную пластиковую плоскую расчёску.—Будешь ей снимать весь гной.

— Зачем?

— Чтобы гной не пошёл дальше в мясо.

— А может, лекарствами?

— Один уже тебе всё испоганил лекарствами. Либо сама, либо я это сделаю.

Я представила, как её руки будут этой расчёской прикасаться к ране. Мне стало не по себе, всё ждалось, и захотелось, чтобы она вообще никогда не приезжала, чтобы мы спокойно жили с папой и никто на нас не кричал просто так. Зачем она вообще приехала? Есть же у неё сын, Денис, она любит. Вот бы и жила с ним и радовалась, а нас бы с отцом не трогала. Я взяла расчёску и сама начала снимать липкий верхний слой. Было больно и стыдно за всё. Капельки воды стекали вниз, к пяткам и пальчикам, и на камнях оставались мокрые следы.

Камни были разные. Для людей, которые просто ходили по пляжу, камни были серо-коричневые. Но если присмотреться к каждому из них, можно было увидеть, что все они разные. Были жёлтые, и белые, и даже совсем прозрачные в трещинах, а ещё иногда камень был смешан из других камней. А ещё были почти красные, как кирпичи.

Рядом со мной лежал один такой, маленький, похожий на сливу. Я подняла его левой рукой—в правой всё ещё была ненавистная расчёска—и стала разглядывать. С одной стороны был скол, из-за которого было видно, что красный он только снаружи, внутри он был зелёным. А вдруг он был зелёным ещё при динозаврах, а потом уже стал красным? От моих мокрых рук камешек стал бордовым. Значит, и правда волшебный, живой, с долгой-долгой жизнью. Я положила его в карман, но продолжала думать только о нём, я не хотела видеть, как я расчёской чищу рану.

— Ну вот, правильно делаешь,—сказала она, нависая за моей спиной.—Кто маму не слушает, тот долго не живёт, а так ты себе ещё пару дней выиграешь. Вот же кровь-то у тебя гнилая, папанькина.

Я просто молчала. Объяснять можно только тем, кто тебя слушает, она же меня не слышала, она знала, что только она главная в нашей семье.

47.

Дома мы расселись с братом по кроватям и занялись своими делами. Я продолжила читать про мастеров Урала, а Денис читал свою энциклопедию о машинах. Родители были где-то в доме.

В комнату вошла мать. В руке у неё было что-то большое, похожее на свёрток. А потом она его поставила. Это оказался Дед Мороз, пластиковый и белый. Когда-то он был раскрашен, но теперь краска осталась только в мелких трещинах пластика.

Мы с братом рассматривали его, боясь прикоснуться. Мать вышла из комнаты и принесла ещё один свёрток. На этот раз это была женщина в русском народном костюме, только не в белом-красном, а в зелёном. У ног её были змеи, и всё платье как бы в камнях.

— Ну вот тебе, Сонечка, и Хозяйка Медной горы. Странно, что я её в прошлый раз на чердаке не нашла. Пока ничего не трогайте, всё в пыли. Я сейчас приду с тряпкой, и мы всё протрём.

Она вышла из комнаты, а я рассматривала эту горную царицу. Кокошник у неё был как корона, а коса почти до самого пола. Смотрела она гордо и надменно, но если смотреть ей прямо в глаза, находясь на одном уровне, то казалось, что взгляд у неё добрый и заботливый. Руки были в перстнях, а сарафан по низу был расшит камнями.

А потом я отошла и поняла, что она же — просто работа очень умелого мастера, хоть и живая. А может, потому и живая, что мастер знал, кого делает. И вообще, было похоже, что дом нас всех слышит и решил меня приободрить. Услышал, как я восхитилась Хозяйкой Медной горы, и начал делать мне подарки. И ничего, что вслух я ничего не сказала, он же как Дед Мороз — всё слышит. Или как Бог. А может, они все просто Его помощники? Он всё слышит, а они исполняют. Хотя они тоже всё слышат. Наверное, они просто органы Бога, а Он везде и всюду — и в каждом из нас.

Мама принесла тряпку и всё протёрла. А я просто наблюдала, замороженная, как Хозяйка начала светиться на солнце. Она была покрыта такой краской, которая на солнце блистала, как камешки.

Вечером мама снова рассказывала о феях:

— Над Дениской летает фиолетовая фея. Она поможет ему запоминать всё, и он ещё много чего узнает. У неё очки и сумка с инструментами, а ещё она не прилетела, а приехала на своей машине. Но если она захочет, она сможет переделать её в вертолёт.

Я представила, что у этой феи есть где-то далеко свой ангар с инструментами и деталями и она мастерит разные механизмы, даже механических птичек. И те могут и петь, и летать. А ещё она только к людям надевает юбку, в обычной жизни ходит в штанах и ужинает на крыше ангара, глядя на закат. — А у Сони изумрудная фея, она приносит в своём лесу здоровье всем травам. К ней приходят разные зверушки с ранками, и она всех лечит. Может, она к тебе прилетела лечить тебя.

А вот и нет, зверушек с ранками съедают волки, чтобы никто не болел и все были осторожны. Но, наверное, эта фея раньше их спасает. А может, это мама не поняла, что это наша Хозяйка Медной горы вылетела из своего тела и кружится надо мной, потому что дом приказал ей меня охранять. — Не забудьте поздравить папу завтра с днём рождения. И будьте хорошими завтра, к папе гости придут, — сказала напоследок мама.

48.

Утром мы все были в очень праздничном настроении. Родители как-то по-особенному наряжали большую комнату. Днём папа ушёл, а мы с мамой накрыли на стол. Даже достали праздничную

енисейскую посуду, которую мама не увозила, потому что в дороге могло всё разбиться.

Тарелки и чашки были в цветах и позолоте. А ещё было два стеклянных кубка. Снаружи кубки были украшены узорами.

Я всё рассматривала их и не могла понять: их так отлили или выточили? Один кубок был из розового стекла, а второй белый. Мама разлила по ним разные варенья и поставила на стол. Откуда у нас появилось варенье, я не знала, зато я знала, как появился торт.

Папа утром пожарил блины, и мама теперь промазывала каждый из них, собирая в торт. А ещё на столе стояли разные салаты и даже какая-то копчёная рыба. Всё было белым и радостным.

А потом пришёл папа и привёл с собой дядю Валеру и его жену. Его жена была просто потрясающей, она была очень худой и высокой, больше всего она походила на модели из журналов, при этом она была инженером. А вот дядя Валера был маленький и бородатый, он был даже ниже мамы. Зато у него был свой театр и своя рекламная фирма.

Взрослые смеялись и вспоминали свои праздники, особенно те, что проводили в театре. Как они играли на сцене, а ещё иногда разыгрывали сценки прямо на улице. Вспоминали общих друзей. Все были радостны.

Мы с Денисом поняли, что нам тут не место, и ушли на крыльцо. Мы слышали, как взрослые смеются все вместе. Их радость каким-то образом заполняла всё пространство вокруг. Как же хорошо, когда родители не ссорятся.

Даже вечером, когда дядя Валера с женой ушли, сказав на прощание: «Чао-какао», — улыбка не сходила с наших лиц. Как же хорошо в Енисейске. Наш дом не терпит конфликтов, он делает всё, чтобы внутри него всё было хорошо. Вечером мы всё ещё были веселы, словно гости и не уходили.

Я лежала в кровати, и подушка приятно холодила щёку. С другой стороны на подушке были вышиты цветы. Их вышивала моя бабушка.

Из-за рассказов матери я не знала, как к ней относиться. С одной стороны, она много пила, и из-за неё у папы было не очень хорошее детство. Поэтому папа всё ещё не стал ответственным и не может за нас отвечать. А ещё она пила алкоголь. Это очень плохо и страшно. Но разве может плохой человек вышивать такие красивые цветы? Даже если она говорила, что она меня проклинает, когда я родилась.

Люди странные, они говорят и делают много всего плохого, когда им плохо. А от алкоголя людям плохо. Сначала хорошо, потом плохо. Так и появляются алкоголики. Ну, так я понимала. Мама много рассказывала, зачем люди пьют яд.

А ещё наша семья странная. Чем мы ближе по родству, тем мы меньше говорим и показываем, что любим друг друга. А ведь мы любим, как-то же мы до сих пор живём.

49.

Утром приехали гости. Это был папин знакомый Виталий Ульянович. Он приехал с женой и сыном, на машине. У них был большой внедорожник, который они набили вещами. Папа сказал, что они на неделю приехали, и я обрадовалась: значит, и мы ещё будем жить неделю в Енисейске.

Они ворвались в нашу солнечную жизнь серой пылью города, смогом. Она шла от них, невидимая, душила, щипала носик, глушила лишним шумом. Им всем хотелось постоянно кричать, не говорить—кричать. Мама тоже это чувствовала и ходила из комнаты в комнату, тихо злясь, как кошка, которая бьёт хвостом.

— Галочка, а можно я порежу колбаску на столе? Или клеёнку положить?—сказала жена Виталия Ульяновича.

Лицо у неё было припухшее, а волосы лежали как парик.

— Вот же доска рядом,—сказала мама с улыбкой и отвернулась, выходя из комнаты.

— Ой, точно. Хорошо, порежу на ней.

Мама прошла мимо меня с очень злым лицом. Если бы эта женщина не была гостьей, мама бы её порезала на этой доске сама. Мама может.

Папа общался во дворе, у машины, с Виталием Ульяновичем, а их сын ходил по двору и курил. Если от его родителей веяло городской серостью, то от их сына веяло чернотой. Словно он был скелетом, на котором вместо мяса были слизь и чёрный дым. Ему было лет двадцать, как папиным студентам. Только папины студенты были весёлые и беззаботные. А он не жил.

Весь день родители устраивали для них комнату. Нас с Денисом посадили в маленькой комнате, чтобы мы не мешались. Лишь изредка мы слышали разговоры. Про то, что надо выпить за встречу. Что если выпить сегодня, то завтра уже можно будет ездить на машине, и они успеют в монастырь. Мама иногда приходила, лицо её было каменным, я её боялась. Она приносила бутерброды нам и уходила. Иногда вместо бутербродов были фрукты. Мне казалось, что она это делает, чтобы не быть там.

Но когда пришёл отец, я поняла, что там действительно плохо. Он не был пьян, от него почти не пахло, но он был серым. Папа очень любит общаться с людьми, но эти люди его травили.

Потом родители нас уложили и ушли в большую комнату к гостям за стол.

Ночью, когда я уже успела уснуть, они вернулись.

— Ну и зачем они на самом деле приехали?—спросила шёпотом мама.

— Димка наркоман, Виталя уже не знает, что с ним делать.

— К наркологу, что ж ещё?

— Четыре раза к разным докторам пробовали— всё едино. Деньги-то на это есть.

— А тут он что позабыл?

— Слышал про монаха, который лечит.

— То есть уже настолько всё плохо?

— А как ты думаешь? Света спивается до «белочки», сын на наркотиках. Он уже не знает, что делать.

— И вот они собираются так всю неделю провести?

— Надеюсь, нет. Завтра в монастырь, я с ними поеду, посмотрим, что там будет.

— Думаешь, они сразу начнут себя иначе вести? Света была пьяна уже в три часа дня. Всё готовила я, а потом твой же Виталя начал за столом говорить, что все женщины бесполезны и их заслуги сильно преувеличены.

— Он просто такой человек.

Родители замолчали. Видимо, это плохие гости. Вот бы дом умел выгонять плохих гостей.

За окном пошёл дождь, и я захотела на улицу, бегать по мокрой траве. В комнате становилось душно, пищали комары, а я не должна была двигаться, я же сплю. Писк иногда пролетал мимо уха. Я прижала ладошку к стене и представила, что я—это я и ещё я—дом.

На его серую, совсем бесчувственную крышу падали тяжёлые холодные капли. На стенах капли проникали в древесину, это было приятно, словно дождь гладил стены, и стены расслаблялись от его прикосновений. А когда дождь капал на окна, казалось, что он освежал взгляд. Днём солнце грело стёкла, а ещё к ним приставала пыль. А ночной дождь всё смывал и охлаждал. Это было приятно. Даже приятнее дневного дождя. Мокрая листва опустилась на крышу от тяжести. От порывов ветра крыша качалась в разные стороны. Такие прикосновения ощущала даже почти бесчувственная крыша, словно дом гладили по голове.

50.

Утром я проснулась под шум в соседней комнате. Гремели стеклянные бутылки, переругивались обитатели комнаты. Родителей не было. Я пыталась различить по голосам, есть ли они в соседней комнате.

Я лежала на кровати и старалась дышать как можно тише, чтобы понять, кто и где находится в доме. Но тут проснулся Денис. Он сел на кровати и стал оглядываться ещё не совсем открытыми глазами.

— А где мама?—спросил он.

— С гостями.

— А когда придёт?

— Не знаю, я их ещё не видела.

— Есть что поесть?

Денису голодать нельзя, он сразу злой становится. Я встала с кровати и пошла к печке. На ней был тёплый чайник—значит, родители ушли недавно; печка у нас сейчас не топилась—значит, чайник из другой комнаты. На тарелке были порезанные фрукты. Кольца апельсин и яблок, столбики бананов, только виноград был целым. Некоторые

фрукты были проткнуты шпажкой, некоторые просто лежали.

Я вытащила пару шпажек, розовую и светло-зелёную. Пластиковые, прозрачные, они вполне могли лежать в руках кукол, если бы они у меня были с собой. На рукоятках были полоски — видимо, не только у японских мечей рукоятки обматывают тканью. Но у шпажек была ещё дуга от того места, где лезвие переходило в рукоять, и до самого окончания рукояти. Видимо, для защиты пальцев.

Я показала шпажки Денису, но ему еда была интереснее, а я не знала, можно ли есть фрукты. Мы решили дожидаться родителей. Через какое-то время я тоже захотела есть. Денис уже весь извёлся, даже попробовал грызть пальцы. Пришлось следить, чтобы его руки были далеко от рта. Потом я взяла нам по два куса яблока и по две виноградины. Было вкусно, но мало. Каждый раз я старалась переместить фрукты так, чтобы не было заметно, что я что-то взяла.

Наконец пришли родители.

— Мама, я есть хочу! — тут же сказал Денис.

— Ну так вон же фрукты, для кого оставили-то?

— Ну, мы думали, мы их вместе есть будем, и записки нет, — сказала я.

Признаться, что мы уже давно их потихоньку едим, было стыдно.

— Значит, теперь будете есть сначала картошку, а потом фрукты.

Упапы в руках была кастрюля, он поставил её на стол и открыл крышку. Сначала из кастрюли пошёл пар, а потом я разглядела картошку в мундирах. Мама уже поставила на стол три тарелки. Каждый брал себе вилок по картошке и чистил её, а потом ел. Мама чистила картошку Денису, потому у них была общая тарелка. Папа эстетничал, у него был ещё и специальный нож, совсем безопасный и тупой. Им он разрезал очищенную картошку, потом отрезал ножом кусочек масла и клал его на картошку. Потом резал половинку картошки с тающим маслом пополам и уже эти кусочки ел.

Денис и мама просто сразу ели очищенную картошку, ещё горячую. Как у них это выходило, я не понимала. Может, у них кожа толще? Для меня же картошка была слишком горячей. Потому я её чистила, делила на кусочки вилок и оставляла в тарелке стыть. Мама недовольно на меня смотрела, но молчала. Как-то давно она запихнула мне горячую картофелину в рот, несмотря на мои протесты. Она была убеждена, что картошка холодная. Месяц у меня облезла с нёба кожа, о чём я ей иногда говорила. С тех пор мы больше не ссорились из-за температуры еды. Хотя она и говорила, что я пью не чай, а мочу, а суп уже давно покрылся льдом.

Почистив четыре картошки и разрубив их вилок на куски, я всё посолила и начала есть. Временами картошка была горькой, причём настолько, что челюсть сводило. После таких кусочков сразу

хотелось больше воды и заесть это всё нормальной картошкой.

Когда в кастрюле ничего не осталось, папа сказал, что сегодня едет с гостями в монастырь.

51.

Через час они уехали, а мы остались с мамой. Она делала уборку в другой комнате, а мы строили из кубиков башни и придумывали, кто мог жить в крепости.

Под вечер папа вернулся очень грустный, а гости сразу уснули в другой комнате.

— И как прошло? — спросила мама, когда уложила нас спать и везде было темно.

— Мне было страшно.

— Почему?

— Понимаешь, монах этот просто сказал идти к нему. Мы были должны стоять у проёма, в комнату не входя, а Димка — к нему идти, через пустую комнату.

— И что?

— Ну, Димка пошёл, а монах молитвы читает. Димка шаг-другой ещё нормально, а потом на пол падает, но ползёт вперёд.

— А Витя что, так и стоял?

— Нет, он ещё и жену держал. Если бы Динька так упал, я бы не смог стоять, я бы подбежал. А он стоял с каменным лицом и просто смотрел.

— А потом что?

— Да добрался Димка до монаха, всё лицо в слюне, в слезах. Добрался, приподнялся на колени и так и стоял рядом, пока молитва не кончилась. Потом мы уже зашли в комнату, а он смотрит на нас, словно и не узнаёт. Монах сказал ещё привозить. Только Витя не повезёт. Он его там на время жить хочет оставить.

— Может, и прав твой Витя: а вдруг поможет? Нам-то откуда знать?

— Может, и поможет, только ты бы лицо Светы видела.

— Переживёт. А ему и правда помочь может.

— Поможет, он так уснул в машине, прямо с улыбкой. Словно с него тяжесть какую сняли.

— Конечно, сняли. Ладно, давай спать.

Родители вскоре уснули, а я лежала в кровати и думала. Как это так — сидеть и читать молитвы, из-за которых люди идти не могут? Мама рассказывала, как люди читали молитвы и останавливали кровь даже в самой тяжёлой ране. Может, правда в наркоманах селятся бесы и демоны? Они и жрут изнутри, и заставляют яд принимать. Тогда, наверное, с алкоголем та же история.

Наверное, этот монах всех очень сильно любит. Иначе невозможно творить добро. Иначе бы он не смог смотреть на то, как из-за его помощи сначала людям плохо. Он же врач, просто гной вырезает из души. Хороший, значит. Но почему-то мне было его очень жаль.

На следующий день наши гости тихо собрали вещи и уехали.

Погода портилась, и всё было серым. Мама тоже собрала вещи, и мы поехали в Красноярск.

Часть четвёртая

52.

Мы ехали в Енисейск втроём: мама, я и брат. Папа уехал за неделю до нас, и я всё ждала, когда же поедем мы. На этом различия не заканчивались. Мы ехали в машине папиного друга. Он ехал в Енисейск к своей маме. Она нам ещё когда-то отдала деревянную водовозку.

Ехали мы с вечера, сразу после работы папиного друга, чтобы утром приехать. Спать было невозможно, запах машины был хуже, чем запах автобуса, а форточку нельзя было открывать, мог простыть брат.

В основном дорога была прямой, почти без поворотов, но я точно знала, что нам ещё придётся проезжать Тёщин Язык. Это был резкий поворот направо, да ещё и дорога при этом уходила вниз. Выходило так, что мы огибали скалу, и слева от резкого падения вниз с косогора нас спасали только железные ограждения.

Когда мы стали приближаться к этому повороту, я вспомнила, что в автобусе мне не было страшно его проезжать, а вот в машине стало страшно. Словно она может не войти в поворот, проскользнуть по песку, который был рассыпан сразу после дороги, и сорваться вниз.

Мысленно я попросила скалу, чтобы она нас держала и ни в коем случае не отпустила. Я уже училась в школе, но мне всё равно казалось, что всё в мире живое и доброе, кроме некоторых людей. Почему-то школа только усилила мою веру в это.

Поворачивали мы медленно, пару раз водитель ругался, что дороги так нормальные и не делают. Что в Америке важно, чтобы дорога была прямая, и они рубят горы и строят мосты над оврагами. А у нас, наоборот, всем плевать на водителей.

Когда мы прошли поворот, он открыл форточку и закурил. Я была рада, что всё прошло благополучно, а ещё наконец-то появилось хоть немного свежего воздуха. Я и сама не заметила, как уснула.

Утром нас встретил папа. Мы зашли в маленькую комнату и легли досыпать. Папа о чём-то шептался с мамой.

53.

Проснулись мы с братом уже под вечер. Родителей не было.

Мы открыли дверь и решили выйти на крыльцо.

Папа с мамой общались с девушкой. Она была очень высокая, худая и беременная. На вид она

была очень тупенькая. Лицо у неё было вытянутое, нижняя губа оттопырена, глаза были как у мёртвой селёдки. Но самое ужасное — говоря с нашими родителями, она закурила. Мама тут же поджала губы, но промолчала. Папа же так удивился, что замолчал. Да и привычная улыбка исчезла его лица.

Потом они продолжили разговор. Мы стояли у вторых дверей, и нас было не видно девушке, зато мама уже заметила, что мы проснулись. Она кивком указала папе на нас и пошла к нам. Вместе мы вернулись в комнату.

— Это наши квартиранты, они будут снимать большую комнату.

— Мама, девушка курит... — сказала шёпотом я.

— Её право, мы ей не родители.

— Мама, у неё же ребёночек в животе. А она курит.

— Я тоже это видела. Просто отходите дальше, если она будет курить.

— А они долго у нас будут жить?

— Ох, надеюсь, тогда зимой дом с нашего угла промерзать не будет.

В комнату вошёл папа.

— Ну что, дети, кто пойдёт знакомиться с соседями? У них есть собака.

Эта новость была самой важной, нужно было с неё начать.

Денис полез на кровать, а я пошла знакомиться с соседями.

Девушку звали Алёна, а её парня — Дима. Собака жила не с ними, так что они мне стали совсем не интересны. Собака Рекс жила в своей будке.

Будка находилась между бочками с водой и амбаром. Рекс был совсем щенком, похожим на бигля. Он сидел на цепи, и когда я подошла к нему, он начал на меня прыгать. Он не нападал, просто ему было скучно. Морда у него была при этом очень счастливая. Только вот его хозяева запрещали к нему подходить.

Я постояла перед его будкой и пошла домой. Гладить собаку мне тоже запретили.

Мама стала собираться гулять по городу. Я села читать сказки Пушкина, а Динька — рисовать машины.

Мама очень гордилась Динькой, говорила, что его рисунки очень техничны. Мои же рисунки она воспринимала как возрастное увлечение. Она так и говорила знакомым: «У Сони это из-за возраста. Все девочки лет до десяти рисуют и придумывают, что станут художницами. А вот у Дениса видна крепкая рука художника».

Мама вскоре вернулась и принесла пряники. Мы сели пить чай, и за чаем она достала серёжки.

— Вот, смотри, этот камень называется александрит. Посмотри внимательнее, какой он под разным освещением, — сказала мама и дала мне одну серёжку.

Серёжки были из золота, даже проба на дужке была. Вокруг камня была огранка, как будто это цветок, а камень — центр цветка. Камешек был

розово-фиолетовый. Но когда он оказался у меня на руке, он стал зелёным. Я удивилась и стала рассматривать его со всех сторон. От разного освещения камень имел разный цвет.

Я специально подольше разглядывала серёжку, запах пряников мне совсем не нравился. Пряники были мятными, однако, помимо запаха мяты, который был слишком резким, пряники пахли ещё и какой-то кислинкой.

— Так, а ты чего опять не ешь? Ты ж любишь сладкое,— строго сказала мать.

И Денис, и папа к тому времени успели съесть по два пряника и ждали меня. В семье всё делилось поровну.

— Они странно пахнут,— ответила я, зная, что участь моя неизбежна.

— Ну так с мятой же. Ешь, кому говорю, и так совсем дохлая.

Пришлось взять пряник и съесть его. Если кусать помаленьку и запивать чаем в больших количествах, было не так плохо. Второй пришлось съесть уже без чая, под строгим взглядом матери. А потом и третий, и четвёртый. Это был праздник под строгим надзором.

Засыпала я тяжело, всё вспоминая чудесный камень. Вот интересно, почему он такой? Мне нравились камни, причём не важно, были они прозрачными или плотными. Хотя нет, больше всего я любила янтарь, а он в основном прозрачный. Но самое важное, что он был живее всех камней. Трогая его, ты чувствовал, что он мог растечься. С другими камнями было иначе.

Совсем непрозрачные камни чувствовались как дедушки и бабушки, которые, прожив своё время, погрузились в себя и закрылись в кокон. Глаза их закрыты, а руки лежат на коленях. Они готовы тебя защитить, спрятав в себя, но они не будут с тобой говорить. Да и зачем? Их одежды и морщины расскажут тебе больше, если уметь смотреть.

Прозрачные камни, наоборот, так уплотнились, что начали сиять, и их свет пронизывает всё вокруг. Они готовы осветить твой путь или проникнуть в тебя песнью. Только глядя на них, ты не расскажешь об их жизни, не за что зацепиться.

54.

Голову разрывала боль, и жутко тошнило. Чем больше я пыталась отвлечься, тем хуже мне становилось. Начало морозить. Я спряталась под одеяло с головой и старалась дышать медленно, прогревая своим дыханием воздух вокруг. Сейчас было очень важно отключиться прежде, чем мне станет совсем невыносимо. Вдох—выдох, вдох—выдох, вдох—выдох...

Меня рвало, меня просто выворачивало наизнанку. Каждая мышца стремилась избавиться от яда, а мозг, спасая меня от потрясений, отказывался включаться. Лишь на несколько мгновений

я увидела, что у матери испуганное лицо, что свет они не включали, что поменяли ведро на кастрюлю. Потом я опять откинулась на кровать. Простыни были холодные, меня переложили на кровать родителей. Мать поднесла к моим губам воду, я смогла отвернуться.

— Пей, кому говорю, лекарство.

Главное—дышать ровно. Если я не буду осторожна, меня опять вырвет. Я поворачиваюсь и выпиваю всё. Меня трясёт, и судороги тела сбивают с ритма. Главное сейчас—считать. Раз, и два, и три, и четыре, и... Лучше через нос, так меньше тошнит. И тут новый спазм. Я еле успеваю приподняться от подушки. Судя по звуку, родители успели подставить ведро или кастрюлю, не важно. Почему же так холодно? За что мне это?

Иногда я открываю глаза; я под одеялом по самый подбородок, оно тяжёлое, и это неприятно. Слабость во всём теле такая, что я не могу повернуться на бок, хотя очень этого хочу. От стараний я опять засыпаю.

Мать подносит к губам стакан, я отворачиваюсь. Она поворачивает мою голову к стакану. Ну что такое, почему нельзя оставить меня в покое? — Это просто вода, ничего не будет. Ты слишком много жидкости потеряла.

Как же хочется спать. Приоткрываю рот, цепляюсь передними зубами за край кружки, так она не выскользнет. Вода течёт по языку, осторожно глотаю. Всё сжимается, надо перетерпеть, не вечно же меня будет так выворачивать. Допиваю до конца. — А теперь открой рот, это салат.

Пахнет вкусно, но мне же будет плохо. Зачем? — Открой, кому говорю, или я тебе сама его открою. Ты не ела весь день.

Ну не смогу я. И говорить-то не могу.

Мать давит на рот ложкой, она уже упирается в зубы. Я открываю рот и стараюсь медленно пережёвывать капусту с помидорами. Вкусно-то как. Новый спазм—и я опять успеваю только отклониться от кровати. Кислота из желудка обжигает горло. Ну всё, как закончится, буду спать, пока не стану здоровой.

Вечером я просыпаюсь одна в комнате. Солнце гладит меня по щекам. Я тоже по тебе скучала, ты же везде разное. Я сажусь. Мне кажется, что от солнечных лучей во мне становится больше сил. Какое-то время я просто сижу, свесив ноги с кровати, и согреваюсь от солнца. Как же холодно вчера было. Я открываю глаза: надо бы найти, где остальные. Я иду на крыльцо. На крыльце стоят мама и брат. Они что-то считают.

— Вон как Дениса напугала, пришлось успокаивать,— говорит мама, повернувшись ко мне. — Пойди пока тут с братом, скоро папа с лекарствами придёт. Я пока чайник поставлю.

Я встаю за спиной брата и, когда мама уходит, спрашиваю:

— Что считаем?
 — Машины. Сколько в город, сколько из города.
 — И как?
 — Пока стоим, четыре в город, одна из города. А ещё коровы.
 — А коров мы не считаем?
 — Нет, они же просто так ходят.
 — Хочешь, покажу, как я лазить умею?
 — А мама ругаться не будет?
 — Она же пока чайник ставит, я успею.
 — Давай.

Я перелезла через перила и полезла вниз по наружной части крыльца. Несложно, но немного страшновато. Когда я оказалась на земле, я посмотрела снизу вверх на Диньку. Не так уж и высоко. И чего я боялась? Я стала подниматься вверх, это было труднее. Особенно перекидывать ногу через перила.

— Я так лазить не буду, — сказал Динька.
 — Я и не прошу, просто показала.
 — О, ещё одна, красная, в город. Уже пять.

Открылась калитка, зашёл папа, пару шагов он сделал, опустив голову, ещё в своих мыслях. Потом поднял голову и увидел, что мы стоим. Сразу улыбнулся. Когда мама рядом, ему ничего не надо решать, просто надо выполнять её указания. Он так меньше боится, но тревожность ещё остаётся. А ещё он так чаще убегает и бежит дольше, потому мать даёт ему сразу много поручений в дорогу, чтобы не зря бегал.

В комнате меня ждали салат и куча лекарств. Запихнув это всё в себя, я легла читать и читала, пока не уснула.

55.

Я в другой части Енисейска, такой белой и невозможной, очень советской, с Домом культуры. Нас ведёт папа, в руке у меня мороженое, я прохожу мимо белых домов с колоннами. Это как парк домов. Даже не знаю, почему я решила, что это Енисейск.

Я огибаю одно из зданий. Сначала я вижу просто стену с голубой мозаикой. Потом ступеньки, ведущие к большим дверям, по бокам от которых стоят колонны. Есть несколько вывесок-плакатов, я не могу различить, что на них написано. Может, это кинотеатр? Хотя людей нет вокруг.

Перед зданием фонтан. Очень большой, огромный. Я не видела таких больших круглых фонтанов. Прямоугольные есть в Красноярске, они даже больше и светятся. А тут большой и круглый, и в елях.

Мама рассказывала, что ели высаживали вокруг правительственных объектов, чтобы снайперам было сложно стрелять. Мамы с нами нет, только я, папа и брат, и то я вечно от них отстаю. Они всё тут знают, я же стараюсь разглядеть всё и запомнить. Особенно узоры. Мне нравится, когда человек пытается повторить красоту природы. Даже простые колоски.

Солнце слепит белизной, всё вокруг словно нарисовано мелом на голубой бумаге. Дома растворяются, и вот они уже просто полосы мела. Потом полосы света. Свет.

56.

Свет бьёт в веки, тёплый, жёлтый. Может, город из сна и не Енисейск. В Енисейске-то свет жёлтый, и тёплый, и дружелюбный. За окном лают собаки. Стоп. У нас же только одна собака на дворе.

Я выглянула в окно. В самом углу, у забора перед амбаром, сидел чёрный щенок. Из подвала вышла женщина с тазиком и пошла к собаке.

— Глеб, ты чаво разгавкался? На тебе байды. Розку потом выпустим, как этот успокоится.

Она оставила тазик с едой перед собакой и пошла в подвал. Глеб был щенком и очень походил на немецкую овчарку. А ведь они умные собаки, с ними кинологи работают. Но мне его мама точно гладить не разрешит. Он же от подвальных, а от них могут быть болячки разные.

В комнату заходит папа:

— Пойдёшь к тёте Ане?

— У которой куры в подвале?

— Ну да, которая мама дяди Валеры.

— Конечно, пойду.

— Тогда собирайся, я маме скажу, что мы пошли, и мы пойдём.

Я быстро собралась. Папа как раз вернулся, когда я была готова к походу в гости. Хорошо хоть мама не заставила завтракать. Мы быстро дошли до двора тёти Ани. Она встретила нас на крыльце. — Саш, ну чего твоей с нами, стариками, сидеть? Тут вон детей привезли. Пусть хоть побегает. — Ну давай, — согласился папа, и я осталась на крыльце.

У второго крыльца сидели двое, девочка и мальчик. На вид они были моими ровесниками. Я подошла к ним.

— Здравствуйте. А давайте знакомиться?

— Давай. Я Настя, — сказала, повернувшись ко мне, девочка с белыми хвостиками.

— А я Коля, — сказал мальчик, и я увидела, что его зубы были просто огромными.

Они были толще моих и больше. Может, это молоко так на него повлияло? А как же он дальше жить будет? Может, в городе его зубы истончатся и станут нормальными?

— Я Соня, — ответила я. — Вы во что-то играете?

— Нет, сегодня Колю родители увозят, вот мы и ждали на крыльце. Хочешь посмотреть на моего брата? — сказала Настя.

— Давай, — согласилась я.

Мы пошли к третьему крыльцу. Напротив него сидели дедушка и совсем маленький мальчик. Он с трудом стоял на двух ногах. Молоточек в его руке, хоть и был маленьким, постоянно выпадал из ладошек мальчика, а его дедушка постоянно

говорил ему его поднять. То, что это дедушка и внук, было понятно по их одуванчиковым волосам. Казалось, что первый же порыв ветра их сдует и они разлетятся пухом по округе.

Дедушка поставил перед внуком доску и вбил в него гвоздь так, чтобы внук продолжил его забивать. Мне стало интересно, смогу ли я забить гвоздь.

— А можно мне попробовать? — спросила я.

— Ну попробуй, — дедушка дал мне молоток побольше.

Я попробовала забить гвоздь. Это оказалось нетрудно. Ржавый гвоздь легко входил в старую серую доску. Внук наблюдал за мной с интересом. Впрочем, Настя и Коля тоже за мной внимательно смотрели.

Я вернула молоток дедушке. Он взял доску и вбил новый гвоздь. В этот раз внук сам полез его забивать. Выходило у него не очень хорошо, он часто промахивался. Я очень хотела помочь. Но именно сейчас я чувствовала себя чужой. Гвозди и молотки — это способ деда общаться с внуком, вырастить из него мужчину. Я же просто чужая девочка.

Мы немного побегали с Настей и Колей друг за другом, а потом приехали его родители на машине, и мы начали прощаться. От неловкого одиночества, когда родители посадили Колю в машину, Настя пошла к дедушке и брату, а меня спас отец, который вышел от тёти Ани.

Мы шли вместе домой, а я всё думала, как же Коля будет жить с такими зубами. Неужели молоко и правда так влияет?

57.

Дума меня ждал нагоняй за то, что я пропустила завтрак. Мама ужасно злилась, если я не ела. После того как я выслушала её крики, мне пришлось есть суп. Не то чтобы он был невкусный. Просто я не ощущала его вкуса. Мало что можно было бы различить после того, как на тебя накричит мама. Её крики — широкие, как плохой твёрдый ветер, который бьёт тебя в грудь и оставляет чёрный след внутри. После такого всё внутри сжимается, и ты перестаёшь думать и ощущать мир. Есть в таком состоянии просто невыносимо. Каждый глоток даётся с трудом.

Вечером мама достала наволочку, в которой оказалось много разных обрезков ткани.

— Это от твоей бабушки осталось. Она шила много, — сказала мама.

— А зачем это? — спросила я.

— Кусочки оставляли для заплат. Или куклам наряды делать, если дочка была.

— И мы будем куклам наряды шить?

— Да, когда найдём для кого.

— А в Красноярск привезём? Там-то куклы есть.

— Привезём, если место будет. Ещё чего не хватало — туда-сюда тряпки возить.

Она положила наволочку в шкаф, на дно. В этот вечер мы ничего не делали с лоскутками, но я только и думала о них. Ведь можно было бы шить, а это интересно. Из ткани получался наряд. Это было интереснее, чем моделировать из бумаги. Из бумаги выходили машины, у которых большая часть стыков была прямыми линиями. А тут и кривые линии, и даже круг.

58.

Я была в лесу. В очень старом лесу, где верхушки деревьев так высоко, что свет снова начинает заливать землю, проходя сквозь далёкую листву. Корни деревьев были покрыты мхом, часто рядом со стволами росли молодые деревца, они были очень тоненькие, с маленькими листочками.

Навстречу мне вышел волк. Точнее, волчица. Это было понятно по её морде. Она смотрела на меня спокойно, словно чего-то ждала. Я не люблю убегать во сне: чем больше бежишь, тем хуже. Поэтому я просто сделала шаг в её сторону. Волчица не сдвинулась с места. Я сделала ещё один шаг; она вильнула хвостом, как собака.

Я подошла к ней, и она уткнулась мне лбом в грудь. Я попробовала погладить её по голове; шерстка у неё была мягкая, у основания почти чёрная, потом коричневая, а на кончиках почти рыжая. Она снова посмотрела на меня и мотнула головой вправо. А потом отошла от меня и, развернувшись, пошла за деревья. Я пошла за ней, и мы пришли к её берлогу.

Не знаю почему, но я полезла за ней в её жилище. Там мы просто легли на листья и уснули. Странно, но всё пахло фиалками и ещё немного персиками.

59.

Утром мы позавтракали и пошли к юннатам. Мама всё торопила нас. Оказалось, что папа сегодня должен уехать. Отъезд папы был плохой новостью. Это его родной город, и он тут всё знает. И его все знают и рады нам просто потому, что мы его семья. А с мамой мы — просто с мамой. Очередная курортная семья. Только дом и знает, что мы здесь почти свои.

У Дома юннатов мы позвонили в звонок, и к нам вышла очень советская учительница. Прямо как из фильма. У неё была высокая причёска, блузка с расшитым воротничком, коричневая жилетка и прямая юбка ниже колена, а ещё коричневые туфли на невысоком каблучке. Она улыбнулась нам.

— Вы зачем пожаловали?

— За огурцами, помидорами, ещё лук зелёный, — сказал папа.

— Ой, у нас как раз все теплицы забиты. В этом году дети перестарались, и урожая вышло очень много. Вы проходите, я сейчас всё соберу.

Мы зашли всей семьёй на территорию юннатов. Тропинка была обозначена деревянными

квадратными досками, от нагрузки они немного смещались по мягкой земле то влево, то вправо. Однако учительница цокала каблучками по ним так, словно это обычный паркет. У неё была идеально прямая спина, и двигалась она почти как робот или английская леди.

Мы зашли в деревянный домик. Слева была комната администрации, а справа живой уголок — правда, за закрытыми дверями. Я прилипла к стеклу в дверях и пыталась разглядеть хоть что-нибудь. Стёкла были витражные, их покрывали крупные розовые лилии.

Я разглядела клетку с ёжиком и ещё клетку с зайцем. Судя по звукам, там были ещё и птички. — Можем попросить, чтобы комнату открыли, и ты посмотришь зверушек, — сказала мама.

Я стала ждать возвращения учительницы. Пришла она с двумя большими пакетами. Папа отдал ей пятьдесят рублей и спросил, можно ли нам посмотреть животных. Но у неё ключа не оказалась.

Обратно мы дошли быстро.

Родители начали делать салат, а я сидела на кресле и думала, что же будет вечером, ведь день начался очень плохо. Хотя в Енисейске даже плохой день был теплее и радостнее, чем в Красноярске любой день в году.

60.

Папа уехал ещё до обеда. Мы проводили его на автобус. Хорошо быть взрослым, тебя не заставляют есть. Правда, салат вкусный, но папа его всё равно не ел. На прощание папа нас всех расцеловал; правда, мама сначала отказывалась, строго говоря, целовать сначала нас. Папа всегда на прощание целует трижды, в обе щёки и в нос. При этом он исколет тебе все щёки своей бородицей с усами. После того как он целует тебя, надо так же поцеловать его. Я всегда этого стесняюсь. В семье у нас обнимаются только мама и Динька постоянно. Потому я всегда стесняюсь обниматься и тем более целовать кого-то, слишком редко это происходит. И дело не в том, что мы друг друга не любим. Мы все, конечно, боимся маму, но в целом мы просто не проявляем эмоций. Эмоции — это лишняя окраска; мама говорит, что они отнимают силы.

Когда папа нас расцеловал, мама наконец сдавалась. По её лицу было понятно, что ей тоже не нравится его борода. Хотя это она сказала её отрастить, а то он от студента не отличался.

Вытерпев его поцелуи, она наигранно и нарочито зажала его голову между ладоней и начала чмокать — не целовать, а именно чмокать. Вышло так, словно она хочет показать, что она тут главная, а он скорее домашнее животное или даже её слуга. Папа рассмеялся, взял сумку и зашёл в автобус, который скоро отъехал.

Потом мы пошли в центр, и там мама зашла в магазин, где было много серых отдельных прилавков.

Мама смотрела что-то из книг, а я увидела маленьких куколок в пластиковых чехлах.

Каждая кукла была не больше ладони, они были в современной одежде, и на наклейке сверху был рисунок, как они поют на сцене. Это были не те куклы, для которых можно шить одежду, они уже были в одежде. Но они были маленькими, и у них было столько разных деталей. Казалось, стоит их освободить из пластикового чехла, и они начнут двигаться сами. В этот миг я их очень захотела, только мама такие не купит. Я вздохнула и отошла от прилавка.

Дома мы сели за стол, и пока мама раскладывала салат, я вертела вилку в руках. В открытые окна влетали и улетали мухи. Одна из них села на ручку вилки и поползала по узорам. Я стала медленно дышать и осторожно передвинула к мухе большой палец. Миг — и её лапки с левой стороны под моим большим пальцем. Муха жужжала, но не двигалась. И зачем мне её труп? Пусть летает. Я же уже поняла, что могу её поймать. Я подняла палец, и муха улетела.

За окном начал лаять щенок подвальных жителей.

— А ведь они его съедят, — сказала мать.

— Как съедят? — удивилась я.

— Как, как — как простое мясо.

— Как же можно есть собак?

— А как можно есть коров? Они же тоже и в сараях живут, и даже сами по городу ходят.

— Но это же коровы, а тут собака.

— А в чём разница? Та же домашняя скотина.

— Но собаки умные.

— Если бы мы ели только глупых, то тебя тоже можно было пустить на мясо. Хотя нет, откуда у тебя мясо? Одни кости. Из тебя только суповой набор получится.

Есть после такого разговора не хотелось. Может, она с папой так же поговорила? Потому он и уехал, не поев вкусного салата. После таких разговоров есть совсем не хочется.

Вечер прошёл очень тихо. Мама с Динькой читали, и я пыталась прочесть сборник скандинавских сказок. В них было слишком много глупых и злых троллей. Раз я глупая, значит, я тоже злая и плохая?

61.

Я снова оказалась на мраморном балконе. Иногда мои сны были с продолжением. Мне это даже нравилось. Если сон продолжался через время, значит, он жил и без меня.

Я перелезла через балкон. Вид вокруг особняка очень изменился с тех пор, как я там была. Из эпохи средневековья он скакнул в эпоху первых паровых машин, от которых всё ещё цепенели дамы с зонтиками и маленькими собачками. Я зашла в лавку через дорогу от особняка.

На вывеске были непонятные символы и брошь. За прилавком стоял милый старичок с невероятно белыми волосами и загорелой лысиной. Он казался очень тонким, почки хрупким, и его рост только усиливал этот эффект. Он приветливо улыбнулся и поклонился. Я поклонилась в ответ и стала рассматривать застеклённые прилавки.

Похоже, в этом мире камни были гораздо крупнее, чем у нас. По крайней мере, было всего две работы с маленькими камушками: две разного размера бабочки, выполненные так, словно металл, похожий на серебро, был кружевом, усыпанным мелкими бриллиантами и топазами. В остальном же металл просто обрамлял огромные булыжники, напоминающие сапфиры, гранаты и изумруды.

Старик кашлянул, и я подняла взгляд на него. В руках он держал чёрную бархатную подушечку с брошкой. Брошка была в виде огня. Огромный, примерно с грецкий орех, оранжевый камень был огранён так, что в нём словно полыхало пламя. Оправа из странного, почти красного металла была покрыта маленькими оранжевыми камнями. Он протянул подушечку мне.

Я отступила и отрицательно покачала головой. Потом вывернула карманы, показав, что там ничего нет. Старичок улыбнулся и поднял палец вверх. На стене висел мой портрет. Это был рисунок, на котором была я. В оранжевом платке, майке, джинсах и кедах. Кто же мог меня нарисовать? И как портрет сохранился до этой эпохи?

Старичок снова протянул мне подушечку с брошью. Я взяла её и прицепила на майку. Старичок улыбнулся. Брошь была холодная, но стоило мне прицепить её, как она начала греться. А ещё она была удивительно лёгкой.

Я ещё немного поулыбалась старичку и скоро вышла из лавки. Пройдя немного вдоль особняка, я обогнула его.

Перед главным входом стояла моя статуя, метров десять высотой, белая. Какое-то время я просто стояла перед ней, не веря своим глазам.

«Если вам что-то не нравится, мы можем её изменить. Мы делали её по портретам», — сказал женский голос за моей спиной.

Я обернулась и увидела милую женщину лет пятидесяти. У неё была высокая пышная причёска и пенсне. А ещё — длинное серо-фиолетовое платье из плотной ткани.

«Да нет, очень похоже. Только зачем вам моя статуя?» — ответила я.

«Вы наша богиня, народ вас любит и чтит. Мы решили, что статуя и портреты будут радовать людей».

«Богиня?»

«Вы спите веками и лишь иногда навещаете наш мир, чтобы показать, что вы живая. В нашем мире нет войн. А все наши исследования показывают,

что именно войны уничтожили прошлых хозяев этого мира. Вы же не меняетесь никогда, как и ваш дом. Возможно, именно ваш спокойный сон и есть залог нашего мирного существования».

«А откуда такие точные портреты? Последний раз я выходила, когда здесь были рынки, а о паровых машинах ещё и не было речи».

«Мы можем наблюдать за вашим сном через открытые двери, это всё, что нам под силу, а вот зайти в вашу комнату мы не можем. Иначе мы бы уже переложили вас на кровать».

«Понятно», — сказала я.

И задумалась, смогу ли я через двери попасть в этот особняк, или мне так и придётся всегда лазать через балкон.

«А что находится в остальных комнатах?»

«Библиотека, обсерватория. Есть ещё маленькое кафе, оно совсем недавно открылось».

«Проведите мне экскурсию».

«О, я и мечтать не смела».

Она провела меня по всем залам. В книгах, что я смотрела, не оказалось ни одного знакомого символа. Да и на картах звёздного неба не было ни Медведиц, ни Кассиопеи. Я даже посмотрела на свою комнату. Войти в неё я смогла, в отличие от женщины. Она оказалась директором библиотеки.

Пока директор держала дверь, я смогла выйти обратно. А вот когда я решила провести эксперимент и она ненадолго отпустила дверь — та закрылась, и я могла выйти только в кинотеатр.

После, когда мы пили чай в её кабинете, я спросила:

«А вы не думаете, что я не бог?»

«А кто же вы?»

«Ну, скажем, просто человек из другого мира».

«И чем это отличается от богов?»

«Как же? Бог создал весь мир и помогает всем его обитателям».

«Даже если вы не бог, вы такая же достопримечательность, как и наши горы».

«Что вы имеете в виду?»

«Вы слишком долго живёте. Да, большую часть времени вы спите, но никто не может похвастаться таким долголетием. Скажите, что первое вы помните о нашем мире?»

«Войну. Потом вулкан сжёг то, что не сожгли люди. Потом уже природа начала всё сначала».

«Видите? Это было очень давно. Камень, что на вас висит, в тот момент ещё не был камнем. А вы ещё говорите, что не бог».

«По-вашему выходит, что бог — это всё странное?»

«Всё, что поддерживает мир. Вы — наглядное доказательство, что любая война уничтожит наш мир. У нас нет убийств, нет насилия как такового. Совсем. Все знают, что в особняке спит девочка-подросток и только благодаря ей всё человечество получило второй шанс».

«Странная логика».

«Она—основа нашего мира. Во всех городах стоят ваши статуи, и везде можно найти ваш протрет, бесплатно. Милосердие получают бесплатно».

62.

С мамой я меньше понимаю, что происходит вокруг. Словно перестаю видеть и слышать, и даже вкусы пропадают.

Утро пролетело незаметно. Мы что-то поели и пошли на речку, на каменистый пляж, мама не хотела идти на песчаный.

На каменистом пляже всё кажется холоднее, а может, там и правда холоднее. Мы с Динькой пытались плавать, мама всё старалась объяснить Диньке, как держаться на воде. Когда она начинала злиться, что он не понимает, она загоняла нас на плед. А сама делала заплыв до буйков и обратно.

Это было наше время. Сидя на пляже, мы тряслись от холода, обёрнутые в полотенца, и разглядывали камни.

— Смотри, этот как стекло,—сказал Динька и, осторожно наклонившись, взял маленький коричневый камушек.

При ближайшем рассмотрении камушек действительно оказался как стекло. Он был прозрачный. Посмотрев через него на солнце, можно было увидеть, что он весь в трещинках, даже немного расслаивался. Я отдала Диньке камешек и стала сама высматривать интересные.

Мы сидели на островке-пледе, и каждый высматривал свой камень. Когда камень был замечен, мы наклонялись, не покидая пледа, и брали камушек. Так было интереснее—не сходя с пледа, найти все интересные камни. Коллекцию мы складывали в центре. А когда мама плыла обратно от буйков, мы перекладывали коллекцию за край пледа.

Первым не выдержал Динька. Когда мама в третий раз вернулась от буйков, он решил показать ей свою коллекцию.

— Смотри, это камушки,—сказал он.

— Вижу. И?—ответила мама, вытираясь.

— Смотри, какие они. Вот этот как яичко, только наоборот,—он показал маме белый камушек с жёлтым пятном.—У него желток снаружи.

Мама взяла камушек и начала разглядывать. — А этот хоть и зелёный, но весь в красных точках, как в веснушках,—подал Динька следующий камешек.

— А в этом—планеты,—показала я серый камень, на котором были белые точки и несколько вкраплений кварца; это походило на рисунок Галактики в учебнике.

— А какие ещё есть?—спросила наконец мама.

Мы вытащили всю коллекцию и начали рассказывать о каждом камушке. Мама рассматривала их вместе с нами. Потом сказала, что мы можем погулять по пляжу и ещё камни поискать.

Мне нравились прозрачные или те, в которых были прозрачные вкрапления. Я принесла несколько таких, и мама рассказала, что это кварц, из него делают стекло. Я стала представлять, как его режут и составляют пазл, чтобы получилась картинка, как мозаика. Но когда я спросила, как именно делают стекло, мама сказала, что кварц просто плавят.

А все остальные камни были глиной с разными примесями. Когда-то в земле глина была рядом с каким-нибудь металлом и под давлением стала совсем твёрдой и даже цвет сменила. А уголь вообще был когда-то деревом, а потом станет алмазом.

А потом мы нашли с Динькой леску с крючком. Мама была на пледе, далеко, и мы не знали, стоит ли нести её к маме.

— А если мама будет ругаться?—сказал Динька.

— Но это же для рыбалки. Может, мы рыбачить будем, а это как грибы собирать, а за грибы мама не ругалась.

— Но крючок острый, мы можем уколоться. Мама тогда точно кричать будет.

— Я возьму за леску, видишь, какой большой моток.

— Тогда крючок может потеряться.

— Я буду следить, чтобы не потерялся.

— Но несёшь ты. И нашла ты.

— Я так и скажу, не бойся.

Я взяла леску за моток, крючок болтался от каждого моего шага. Я осторожно несла его, Динька плёлся позади, глядя то на маму, то на камни. Я подошла и сразу всё выложила:

— Это леска от удочки. Тут ещё и крючок есть, всё запутано, но я могу распутать, и можно будет ловить рыбу.

— Ну, для рыбы ещё палки подходящие найти надо. Папа приедет, и пойдёте с ним рыбачить. Молодец, что нашла.

Динька насупился и показал, какие ещё камни нашёл. Мама посмотрела, а потом они пошли ещё пробовать плавать. Мама сказала найти ему у самого берега большой камень и держать его руками, а ногами шевелить так, чтобы были брызги. Так Динька точно лежал на воде.

Я плавала рядом с ними, на расстоянии видимости мамы. Как же хорошо, что мы сможем порыбачить. А потом мы будем готовить рыбу. Почему-то мечты эти показались мне фантазиями, которые не исполнятся, как текст в книге. Я постаралась забыть это ощущение.

Потом мы выбрались на пляж и стали собираться. Под юбку мама мне сказала надеть бриджи, которые она сшила из старых мужских трусов. Мама говорила, что это для того, чтобы я ноги не стирала, хотя стирал ноги Динька. Он часто потел, и ещё у него была аллергия на жару, он покрывался красными пятнышками. Но маме было всё равно. Если случилось с одним из нас, она лечила обоих, за компанию. Когда у меня постоянно шла кровь

из носа, Динька тоже какое-то время принимал мои лекарства.

На самом выходе с пляжа мы увидели пластиковую упаковку из-под гитары. Она полностью повторяла рельеф маленькой гитары, даже струны были намечены. Я взяла её и начала изображать, что играю на гитаре. Динька смотрел на меня немного ошарашенно, да и мама не понимала, зачем я держу мусор в руках. Тогда я решила спеть и начала с «Бременских музыкантов». Динька сразу понял, зачем всё, и забрал у меня пластиковую упаковку. Мы стали петь вместе. Потом мы пели Боярского, про городские цветы, потом про мушкетёров. Потом Пугачёву, про волшебника и про короля, который не мог жениться на простой девушке, потом про Арлекино. Мы пели во весь голос и по очереди играли на гитаре. Мама лишь иногда нас прерывала, когда мы переходили дорогу. Проходящие мимо бабушки улыбались нам. А я радовалась, что мы не в Красноярске. В Красноярске так петь нельзя, там люди, они будут осуждать. А тут можно спокойно петь, если поётся.

У последнего перекрёстка, перейдя дорогу, мы увидели шампиньоны. Они были большие. Гораздо больше, чем в Красноярске. Мама рассказывала, что шампиньоны растут только рядом с людьми, в деревнях и городах, а в лесу они не растут. А в деревнях некоторые не знают, что они съедобные, и зовут их шпионами. Я перелезла через маленькую железную ограду и собрала грибы. Они там были целой семьёй, даже совсем молочные попадались, у них ещё шляпка не отделилась.

А дома мама сказала мне почистить грибы, и потом мы сварили суп. Мама говорила, что и в каких количествах кидать в кастрюлю. Зато потом она говорила Диньке, что этот суп есть благодаря мне, потому что я грибы собрала. Приятно быть полезной.

63.

Утром мы позавтракали вчерашним супом и пошли гулять. На этот раз мы пошли к школе. По пути нам попадались только коровы, которых недавно выпустили погулять. Все вокруг либо ещё спали, либо закопались в огороды.

Школа была огорожена деревянным забором, издали она не отличалась от обычных домов. Как и папина школа, она была кирпичной. Только папина школа была серой, а эта была оранжевой, как персик. Солнце ярко освещало и школу, и двор вокруг неё. Всё, кроме кедров на заднем дворе школы. От деревянного забора к школе вела тропинка через луг. Вдоль тропинки росла лекарственная ромашка. Что она лекарственная, я узнала уже после того, как мне понравилось её есть, прабабушка рассказала. Мне нравилось есть жёлтые головки цветков, что-то в их вкусе заставляло меня есть их при первой возможности. Я не рассказывала об этом маме, но всегда их ела.

Вот и сейчас я сорвала несколько цветков и положила в карман. Уже в кармане я ногтем большого пальца оторвала жёлтую часть от основания цветка и сжала в ладонке. Когда мама точно на меня не смотрела, я незаметно положила это в рот. На вкус это было похоже на молодую зелень, ещё упругую, со сладковатым привкусом.

Когда мы подошли к школе, мы увидели развал. Рядом со школой была раскидана старая мебель. Белая, она казалась кукольной в окружении травы и кустов. В старых шкафах были портреты и испианные листки, стопки тетрадей и старые журналы. Запахи старой бумаги смешались с запахами лета. От всего происходящего стало радостно. Как будто мы были в театре. Что всё вокруг — декорации, а значит — понарошку. Мы смотрели, есть ли интересные книги в шкафах, жалели, что нельзя взять с собой парты домой. Даже разрисованные и с потрескавшийся краской, они были отличными столами, даже сидеть можно, крепкие.

И тут мы увидели карту. Она была большая, на ней был весь мир. Мама сложила её аккуратно и положила в пакет. Это было нашим школьным сокровищем.

Больше ничего интересного из того, что было можно взять с собой, на школьном дворе не оказалось. Мы с Динькой начали бегать между мебелью, играя в догонялки. Мама стала ругаться, что мы запнёмся и упадём. Потому мы побежали к кедрам.

Сухие иголки под ногами были влажными и холодными. Это чувствовалось даже через подошвы сандалий. Мы ещё немного побегали, но в тени было уже не так весело. Мы стали просто гулять под кедрами, замолчали и разошлись подалеже.

Стоя под кедром и глядя на солнечную поляну, на которой были парты, казалось, что все мы сейчас в фильме. В любой момент могли появиться ещё люди или животные или прилететь драконы. Но никого не было. Только мы втроём у школы.

Мама предложила собирать шишки. Когда мы собрали все шишки, мы пошли домой. По дороге я постоянно перелезала через ограду, которой были огорожены трава и деревья у дороги, и собирала грибы. Грибов было много. Мне нравилось обходить каждое дерево и находить все грибы. Словно все они были одной системой и можно было найти лёгкий способ, даже не глядя на землю, найти все грибы. Они росли узором, и можно было рассчитать этот узор. Так до самого дома я перелезала через ограды и собирала грибы. А у дома мы собрали молодую крапиву.

Дома мама первым делом разложила на моей кровати карту. Потом мы стали думать, куда и на что её повесить. Скотча не было. Зато были иголки из-под пятикубовых шприцев. Те, что остались после уколов Диньке.

Мы повесили карту, и мама сказала нам лежать и не мешать, пока она готовит. На карте все страны

были отмечены разными цветами. Что было написано, я не различала, даже лёжа на кровати под ней, а вот Динька с кровати напротив моей, стоящей у противоположной стенки, всё видел. Сначала мы просто перечисляли все страны, которые знаем. Я иногда садилась и смотрела, где какая страна находится, и завидовала маме и Диньке с их идеальным зрением. А потом мы начали рассказывать, какая страна на что похожа. Начали с Италии, которая похожа на сапог. Пока Динька это рассказывал, я стала искать что-нибудь необычное.

Африка была похожа на идущего робота, когда одну ногу не видно, потому что он идёт. Австралия — на голову кошки сбоку. Япония походила на морского конька, только вытянутого.

Было весело обсуждать это и иногда вставать и пальцем обводить контуры того, что видишь ты. Даже мама к нам иногда присоединялась.

Потом мы покушали и сели каждый по своим углам. Я рисовала комнату, в которой выросло много растений, а посреди комнаты на диване сидел мумми-тролль. Когда-то я видела этот рисунок в книге, и мне очень понравилось.

64.

В театре было тихо и нервно. Музыканты по очереди выступали на сцене, пробуя звук. Было много криков на звукорежиссёров. А я сидела в третьем ряду и сторожила вещи: плащ и несколько сумок. Сидела и писала картину.

Даже странно, как это было удобно. Стулья были деревянными, они остались с тех времён, когда клуб «Космос» был обычным дк космонавтов. Фрески с Гагариным да деревянные линейки стульев с откидными сиденьями — всё, что осталось от дк. На кресле справа были краски, на левом подлокотнике — палитра.

Всегда думала, что на коленках возможно писать акварелью, — по крайней мере, я это делала. А вот маслом писать было странно. В какой-то момент я заметила, что совершенно не использую льняное масло. Посмотрела на рисунок. Мазки были мелкие, больше напоминали мелкую листву.

«Зря ты используешь так много оранжевого», — раздалось за моей спиной.

«Я думаю добавить в листву ещё немного коричневого, будет совсем осень, и жёлтого».

«Жёлтого не надо, больше коричневого. Я скоро на сцену пойду, а потом мы все к тебе, так что не скучай».

«У меня картина, я не скучаю».

Справа была комната, слева осенний лес, разномастный, некоторые деревья были ещё зелены, а некоторые уже с коричневой листвой. Почти готово, остались комната и акценты в листве. Надо бы пройтись, готовая картина мне нужна к концу концерта, время есть. Встав и положив картину рядом с красками, я потянулась. Затекали все конечности

сидеть, согнувшись в три погибели, поднимая коленки к голове и опуская голову к коленкам, оставляя место только для руки с кистью. Пока ты рисуешь, напряжение всего тела незаметно.

Идти вдоль ряда было неудобно, уж очень узко. То и дело я цеплялась за деревянные подлокотники — не удивлюсь, если останутся синяки. Потом я поднялась наверх и в середине зала направилась к входу. Потом поднялась на балкон.

С балкона были видны тёмный зал, редкие кучки вещей на разных рядах; людей не было. На сцене начали петь музыканты. Одного куплета достаточно. Администратор пробежала по залу наверх, к звукачам. Потом ещё полкуплета. Администратор вернулась к нашим вещам, посмотрела картину. Интересно, она дурак?

Я спустилась. Солист уже сидел и пил минералку — надеюсь, без газа, на связках ведь отразится. Я посмотрела на картину, на ней была нимфа. Успела всё изгадить, хуже дурака. А нимфу жалко, платье и головной убор из листвы были неплохие, а вот лицо корявое, теперь править.

Нимфа села рядом и закрыла глаза. Тонкими мазками я выравнивала ей линию глаз, правила нос. Губки пришлось и вовсе закрасить и положить новые, не такие вульгарные. С этой нимфой я потеряла много времени, а ведь мебель сама по себе цвет не обретёт. Пришлось в срочном порядке лезть в картину. Пока с голубой краской. Деревянные подлокотники дивана должны быть синими, но изнутри светиться голубым, так что слоями надо цвет накладывать. Хорошо хоть кисти в картине увеличиваются до размера малярных.

В холст и из него приходилось заглядывать много раз, краски не хотели уходить вместе со мной в картину. Но даже с этими переходами работа шла гораздо быстрее, да и тело не затекало. Администратор побежала требовать бесплатный билет для нимфы.

65.

Проснувшись, я долго смотрела на белую стену, потом подняла взгляд и увидела нижнюю границу карты.

— Мам, я нашла новый способ рисовать картину.

— И какой же? — спросила мама с другой кровати.

Я повернулась и закрыла глаза, света в комнате было, как всегда, очень много.

— Нужно зайти в картину и красить каждую деталь отдельно. Я зашла в картину и красила подлокотник дивана сначала голубым, чтобы он через синий цвет светился.

— И чем же ты рисовала?

— Маслом.

— А ты хоть знаешь, как маслом-то рисовать?

— Ну, я видела.

— И где же ты видела?

— У художника, он с дядей Серёжей снимал помещение, где они папе разрешили уроки вести.

— Дядя Серёжа—это который краснодеревщик? В которого ты влюбилась?

— Я не влюблялась, он просто красивый, и всё. Ну и из дерева у него красивые вещи получаются, даже Баба Яга в карандашнице красивая.

— Ты вставать будешь, влюблённая наша?

— Ничего я не влюблённая,—сказала я, уже садясь на кровати.

Утро прошло незаметно. Я всё злилась, что мама так легко решала за меня, к кому я и как отношусь. За Диньку она так не решала. Динька был верным и не влюбчивым—значит, хорошим. А я, по её мнению, влюблялась во всех подряд и из-за этого была плохой.

После завтрака мы вышли в город. Было солнечно и пусто. Мы быстро прошли в самый центр и в этот раз повернули от памятника Ленину налево, в противоположную сторону от берега.

Домики на этой стороне улицы старались быть максимально непохожими на дома через дорогу. Даже железные ограды на этой стороне отличались от железных оград с другой стороны. Они были в краске, и ржавые, и в растениях—одним словом, живые. Дома были деревянными, с обязательной резьбой. Они выглядели как лорды и господа с кружевными воротниками и платками. Строгие и величественные. Другие дома в городе, даже с резными украшениями, были ниже их по статусу. А деревья рядом с домами в центре не были простыми плодоносящими растениями, нет, они были украшениями домов, шляпками и веерами.

Иногда между домами шли маленькие аллеи с лавками и клумбами. На входах в такие аллеи стояли турникеты, которые больше всего походили на маленькие карусели. Мы с Динькой вставали одной ногой на противоположные деления турникетов, а другой ногой отталкивались, как на самокате, и крутились. Иногда мы по очереди вставали двумя ногами и крепко держались руками за поручень, а второй крутил за двоих. А иногда, если турникет был хорошо смазан, нас крутила мама. На нашем пути попалось два голубых турникета. Тот, что был с ржавчиной, сильно скрипел, так что из него выходила плохая карусель. Следующий был чёрный, с загнутыми еловыми ветвями и шишками, крутился он очень быстро, мы на нём долго крутились. Потом было ещё два зелёных, но они были узкие.

В глубине аллеи за ними стоял дом с железной оградой. Прямо у самого дома росли деревья с красными ягодками. Сам дом был обит светлыми узкими досками. На каждом окне были деревянные кружевные рамы, окрашенные в белый цвет. Дом был утончённый и правильный, словно в нём жила старая леди. Даже деревья перед домом, с тёмной листвой, не казались лишними—это был садик для настоящей леди.

Мама подошла к железной ограде и сорвала с ветки, что росла между железной сеткой, несколько ягод.

— Это боярышник, он для сердца полезен.

Мы взяли с её ладони по ягоде и положили в рот. Это была странная ягода, в ней не было много сока, она скорее походила на варёную картошку, только с другим вкусом. А ещё внутри был твёрдый шарик. Когда я чуть надавила зубами, это оказались дольки семян. Они были твёрдые и не особо вкусные.

Мы насобирали ягод и сели на лавку их есть. Динька никак не мог научиться нормально выплёвывать. Каждый раз выходило смешно, и он обижался, а мама вытирала его подбородок и подбадривала, что он всему научится.

Динька плохо учится новому, но он основательный. Долго учит что-то одно, пока не узнает про это всё. Но пока учится, у него ничего не выходит.

Когда ему понравились шахматы, он прочитал все книги у нас в доме по шахматам, но до этого провёл много игр со мной, мамой и папой, постоянно проигрывая. От проигрышей он злился, плакал или начинал драться. И так, пока он не прочёл все книги. После этого он указывал, как та или иная стратегия, что мы ведём, называется и кто её использовал или придумал. В конечном итоге с ним стало неинтересно играть, вся игра превращалась в лекцию, и мы отвлекались и проигрывали.

Когда мы съели все ягоды, мы пошли домой. По дороге обратно мы опять катались на турникетах-каруселях. Динька из-за этого повеселел и забыл, что он не умеет плевать.

Мы начали петь песни. В этот раз у нас не было пластиковой гитары. Но разве это обязательно для пения? Мы шли и пели. Коровы настороженно поднимали головы, услышав нас.

Когда мы проходили мимо музыкальной школы, на доске объявлений мы увидели плакат. На нём было написано, что в День города пройдёт конкурс, на котором будут давать разные призы, даже велосипед. Всего-то нужно собрать много кругляшков от мороженого. Но мама не покупала нам мороженого, и конкурс был не для нас.

Мама посмотрела на меня, потом взяла с края урны два кругляшочка, слепленных вместе. —Этой фирмы нужны?—спросила мама, протягивая мне их.

Я сверила фирму и кивнула. Я не понимала, что происходит. Мама положила кругляшки мне в нагрудный карман, и мы пошли домой.

Дома мама достала папину старую тетрадь, она смочила кругляшки водой и прижала к листку.

—Так мы будем видеть, сколько уже собрали. Это как грибы собирать, только вместо грибов эти этикетки. То, что мы не покупаем мороженое, ничего не значит.

Вечером я всё смотрела на закрытую тетрадь и думала, что же мы сможем выиграть. В голове была пустота. Видимо, ничего нам не светит. Мама всё-таки странная.

66.

Мама разбудила нас среди ночи. Такое случалось, только если мы болели. Но мы были здоровы. Близились утро, за окном было светло, словно днём. Мы с братом сонно осматривались и пытались понять, что происходит.

Мама положила мне на кровать стопку вещей и начала одевать Диньку. Я оделась, всё ещё не понимая, что происходит. Мама взяла нас за руки, и мы вышли на улицу.

Было прохладно, а ещё всё было серебряное. Трава и окна, забор и вода в бочках.

— Енисейск и Питер, — начала мама, — находятся на одной широте. По ней ещё часовые пояса считают. Белые ночи в Петербурге знают все, но белые ночи идут по всей полосе.

— А разве сейчас не утро? — спросила я.

— Нет, сейчас только час ночи, максимум час тридцать. Потому и называются белыми ночами.

Мы шли по серому городу, на небе были редкие серебристые тучи. Людей не было. Было сумрачно и странно, даже страшно. Небо светилось само по себе. Мы гуляли по дорогам, и я представляла, как где-то в Питере по мостам гуляет много людей. Здесь же с нами были только деревья. Они шумели на ветру и успокаивали.

Я поняла, что мне страшно слушать, как шепчется листва. Словно всё затихло в ожидании чуда и бояться нечего. Мы шли по мосту, и чугун отливал серебром. А ведь на солнце он не отливал золотом. Видимо, серебро ему ближе. Я дышала в такт своим шагам, мне казалось, что воздух тоже состоит из серебра, он был холодный и сладкий, как вода в холодном роднике.

— А ещё в Енисейске можно увидеть северное сияние, несильное, но можно, — прервала тишину мама и остановилась.

Мы смотрели на небо. Оно было всё таким же серым, и я пыталась разглядеть любые перемены. Ветер гнал тучи на нас, и я увидела, как на небе что-то сломалось. Как трещина в камне. Словно радугу решили растянуть в ширину. Трещины менялись и прятались, а может, свет исходил с разных сторон. Словно в небе кто-то крутил огромный прозрачный камушек, который прятал настоящее солнце, но сквозь трещины пропускал странный свет.

Город казался мёртвым. Людей не было, хотя днём это радовало. Может, не хватало коров? Хотя серые коровы, бродящие по улицам, казались бы мёртвыми.

Всё было сказочно и странно. И непонятно. Словно чего-то не хватало. Динька начал зевать, и мы пошли домой. Дома мы быстро переоделись

в домашнее и легли в кровати. Стало тепло и спокойно. Может, всё должно было быть как в рассказах о Мэри Поппинс? Может, я что-то пропустила или не поняла?

Мне снились мосты и люди, и все под серебристым небом, даже почти голубым. Они не знали, как тихо и странно в городе, где всё соединилось. И белые ночи, и северное сияние. Сказочный город.

67.

Утро выдалось холодным, за окном лил дождь. Мама пошла на чердак. Я хотела с ней, но она сказала, что на чердаке столько пыли, что у меня от этого обязательно начнётся пневмония. Я ждала её у лестницы внизу и пыталась понять, в чём между нами разница, раз она на чердаке пневмонией не заболит. Через какое-то время мама спустилась с ворохом перчаток и варежек.

Меня она загнала в комнату сидеть с Динькой и следить за водой, что кипятилась на печи. Когда вода закипела, я вышла из комнаты к маме в коридор.

На столе мама разложила перчатки отдельно от варежек и общалась с какой-то женщиной. Когда я подошла к ним, я вспомнила, что это мама того мальчишка, с которым я играла когда-то. Я сказала маме про воду, и мы вместе пошли в комнату. Мама поставила кастрюлю на стул и пошла обратно к женщине. Через дверь я старалась услышать, о чём они говорят.

— Я решила продать... — говорила мама Димы.

— Уверены? Давно ведь стоит. Почему только теперь?

— Сдавать пытались. Да разве в этом городе остались нормальные люди?

— А продавать кому будете?

— Не важно, мы в Лесосибирске теперь будем... В нашей кладовке есть Димины игрушки, можете забрать. Он вырос, да и возить их смысла нет, новые куплю.

Потом послышались шаги, и хлопнула дверь. Следом мама зашла в комнату и взяла кастрюлю. Я сидела и ждала, когда она позовёт доставать игрушки. За дверью было слышно, как она переливает воду, потом замачивает варежки и перчатки, потом тоже уходит и хлопает дверью. Потом она вернулась, оставила что-то на столе и опять пошла к комнате.

— Идите с Денисом посмотреть игрушки. Может, какие починить удастся, — сказала мама, открыв дверь.

Динька непонимающе на неё смотрел, а я попыталась выйти за дверь.

— Куда разутой? Пол холодный.

— Так ведь из дерева.

— Это не означает, что он тёплый. Обуесть с братом и идите к кладовке.

Мама ушла, а я стала надевать сандалии, потом завязала брату кроссовки. Мы вышли в коридор

и сразу пошли к выходу. Дверь кладовки была напротив двери на наш чердак. Выходило так, что со всех четырёх сторон были двери.

Мама вынесла нам несколько пластиковых солдатиков и машинок, потом какую-то железную машинку, залепленную пластилином. Пока мама стирала в коридоре, мы с Денисом чистили игрушки. Когда я протёрла солдат, я приступила к машине. Для начала я убрала весь пластилин — очень странный способ ремонта железных машин.

Без пластилина машина выглядела гораздо лучше. Это была моделька машины, которые ездили в старой Англии, когда ещё танцевали на балах. Машина была тёмно-зелёной, без крыши, хотя насчёт крыши я не была уверена; у машинки было много повреждений. Пластилином была прилеплена решётка спереди, без пластилина она не держалась, так что я решила от неё отказаться. Было много ржавчины, и колёса плохо крутились. Большим плюсом было то, что гвоздики у машинки не углублялись, а были на поверхности. Так что я открутила их с помощью ложки и отсоединила дно.

Когда Динька это увидел, он расплакался и пошёл жаловаться маме. Мама пришла рассерженная вместе с плачущим Динькой.

— Что ты тут устроила? Денис говорит, что ты сломала игрушку, — сказала мама.

Я почувствовала себя жалкой, я ведь всё нормально делала. Пришлось показывать, что я делаю. — Пластилин мешался, я его убрала, весь пластилин с машины вот, — сказала я, показывая три маленьких кусочка: чёрный, голубой и зелёный. — Шурупы или гвоздики, как правильно? Вот все три. Видишь, в дне три отверстия? Я ничего не потеряла. Колёса плохо крутились, вот я и разобрала. Решётку на место не получится вернуть, можно на спички заменить, но так мне тоже нравится.

Мама всё посмотрела и ушла. Динька, всё ещё заплаканный, сел рядом смотреть, что я делаю. Машина оказалась с моторчиком: если её покатыть назад, заводя моторчик, то она поедет вперёд. Только на железячке, соединяющей колёса, было много волос, потому ничего не работало. Я всё почистила и собрала машинку обратно.

Потом я стала искать парафин. Динька начал ныть, чтобы я дала ему машину поиграть. Три маленькие машины ему уже были неинтересны. Пришлось объяснять, что без парафина она быстро сломается, а то он опять собирался жаловаться маме. Найдя остатки свечи, я протёрла все места, где отошла краска и где появилась ржавчина. После этого я отдала машину Диньке и начала чистить маленькие машинки. Их я тоже разобрала. У одной пришлось раскручивать шурупы кончиком ножа; хорошо, что мама не видела. Их все я тоже протёрла остатком свечи.

Вернулась мама и развесила варежки и перчатки перед печкой. Дождь за окном закончился,

выглянуло солнце. Мы собрали игрушки и пошли гулять.

68.

Мы дошли до пляжа. На улице было холодно, и о купании не могло быть и речи. Однако и мы, и мама хотели на пляж.

От реки дул холодный ветер, никакая вязаная кофта не могла от него спасти. Серые камни казались в таком холоде гораздо острее обычного. Мы с Динькой кидали их в волнующиеся воды Енисея. Это не были волны. Волны, что я видела на картинках, были с пеной и большие. Казалось, что где-то далеко кто-то большой встряхнул полотно Енисея, словно покрывало.

Мы даже не понимали, зачем нам нужно было кидать камни. В этом не было соревнования, я была старше и кидала камни лучше. Зато у Диньки они падали близко от берега и с большими брызгами, на что ругалась мама. Может, мы просто так грелись или воевали с Енисеем, чтобы он скорее успокоился.

Река и правда становилась спокойнее. Я стала упрашивать маму, чтобы разрешила мне пройтись вдоль берега в воде. На удивление, мама согласилась. Я не понимала почему. Даже мне эта идея казалась глупой и холодной. Но хотелось.

Я разулась и зашла по щиколотку в воду. Все мышцы в теле сжались, а ещё стало щекотно от любого порыва ветра. Я шла у границы накатывающей на пляж воды, волны то поднимались выше щиколотки, то чуть задевали ступни. Брат смотрел на меня с недоверием, он прекрасно понимал, как мне холодно. При каждом шаге я заново ступала на острые камушки, это не было больно, просто нужно было заранее сжаться и потерпеть. Если просто долго стоять на одном месте, камушки не чувствовались, только вода гладила по ногам.

Дальше я не заходила, не хотела намочить броджи. А ещё дальше начинались водоросли, их прибило к берегу с глубины. Иногда я их задевала ногой, они были склизкие и холодные. И хотя в них не было ничего опасного, мне не хотелось к ним прикасаться.

Когда берег пошёл на подъём, я вышла на пляж и стала ходить по сухим камням, чтобы быстрее высушить ноги. Это было не так приятно, как в воде, острее. Я ходила по камушкам, пока за мной не перестали оставаться мокрые следы. Отпечатки моих ног становились всё тоньше и бледнее, пока вовсе не исчезли. Я села на камни и надела носки, а следом — обувь. Стало мягко и тепло. Мы пошли к дому.

Когда мы проходили мимо папиной школы, где я когда-то разбила коленку, мы решили зайти во двор. Во дворе мы прошли мимо клумб налево, к игровой площадке. На площадке было много горok, шины, вкопанные в землю ступеньками.

Я ходила по деревянным брусьям, которые были высоко над землёй, и вспоминала, как однажды упала примерно с такой высоты.

69.

Похороны проходили тихо, все ходили оглоушенные, словно осенние мухи, и ждали машину.

Посреди комнаты стоял гроб, в нём лежала прабабушка, не спала, она в нём мёртвая лежала. Не понимаю, зачем мне мать сказала представить, что она спит. Разве не глупо спать в гробу?

Потом мужики закрыли гроб. Почему этого не делал мой дядя — неясно; он красный сидел в углу и смотрел на нас пустым взглядом.

Потом мы в автобусе поехали на кладбище. Там мне дали монетки, чтобы я их кинула, когда будут закапывать прабабушку. Одна монетка завалилась за рукав, пришлось кидать несколько раз. Я достала монетку, когда все уже кинули свои горсти и монет, и земли. Стало стыдно, но я кинула.

А дома у прабабушки накрыли на стол. Было много пьяных рож, в основном мужских, и трезвые женские. А ещё мы все пели. Да так, что люстра звенела от каждой песни. Но только если пели вместе — я, мама, тётя и бабушка. Если кто-то молчал, то всё было в порядке.

Потом все расходиться начали, зазвучало про посошок. Я спряталась на кухню, на кухне хорошо. Тут прабабушка читала молитвы, чтобы я спала лучше. Иногда мне казалось, что мама привозит меня к прабабушке только ради этих молитв.

Забравшись на стул с ногами, как мама не решает, я положила голову на колени и просто наблюдала за выходом. А ещё за теперь уже частыми пьяными рожками.

Потом мама с тётей начали убирать со стола и носить всё на кухню. Папа вышел со мной на улицу, и я стала ходить по бетонному крыльцу. Пять шагов туда, пять обратно.

Прабабушки больше нет.

Она как-то подарила хвост глухаря, и мы сделали фото. Значит, теперь я увижу её только на фото. А ещё она радовалась моему рисунку девочки, которой не существует. А потом высморкалась в него — значит, она не видела, что я нарисовала.

А когда она сталаглохнуть, мама пожарила церковные свечи на сковородке, они растаяли, а папа обмакивал полоски ткани в воск, он порвал наволочку. И они сделали большую трубу, как подзорную, только из воска и ткани. Странно, свечи церковные, а теперь воск обычный. Потом они положили прабабушку, воткнули в ухо эту трубу и подожгли. А когда догорело почти до головы прабабушки, они вытащили. Оказалось, что у прабабушки было много серы в ухе, и без неё она опять слышать начала.

А когда весной мама сказала мне спросить, как было на войне, прабабушка расплакалась. И мне

было стыдно, я не хотела задавать этот вопрос, но маму я боялась сильнее.

70.

Падаю. Очень медленно, как в кино. Или во сне. Асфальт приближается, и мне не верится в происходящее. А потом на время всё исчезает, и меня окружает тьма. Папа поднимает меня, держа за локоть. Немного больно от его пальцев. Кружится голова, капает кровь.

Когда мы заходим в квартиру прабабушки, мама начинает кричать на папу и искать, чем мне обновить кровь. Тётя просто бледнеет и смотрит на меня. Крови она, что ли, не видела?

71.

Я ходила по брёвнам, шаги были ритмичными, чтобы не теряться в пространстве. Я вспоминала, как было на похоронах. Было странно видеть перед глазами прошедшие события и при этом идти над землёй по бревну. Но возможность навернуться и пораниться меня сдерживала, я просто думала и вспоминала, без эмоций. Плакать можно только маленьким и если уже не можешь терпеть.

В какой-то момент меня окликнула мама, я спустилась, и мы пошли домой.

Дома мы поужинали, и мама села за шитьё. Я тут же полезла ей помогать. Сначала мама сказала, что в помощи не нуждается, а потом, когда порезала варежки на детали, велела каждую деталь выкройки обмёточным швом обшить, чтобы не рассыпалось ничего. Я села на кровать и начала выполнять задание. Мама на своей кровати занималась тем же.

Динька на тахте сидел за столом и рисовал машинки. Когда я заканчивала одну деталь, мама давала мне следующую. Мне всё хотелось шить быстрее мамы, но она уже принялась собирать детали вместе. Из нескольких варежек она нам сшила вязанные ботинки, которые походили на мозаичные носки.

— Вот вам носки. Снимете — убью, нечего простужаться, — сказала мама, протягивая нам носки.

— Но мы же сейчас спать будем, — сказала я.

Динька уже надевал второй носок.

— И пока спите, тоже снимать нельзя.

Я надела носки, и мы легли спать. Ноги чесались из-за шерсти. Постоянно хотелось снять носки.

72.

Утром я проснулась без носков.

На улице шумела компания. К кому это они приехали?

Мама зашла в комнату сердитая, это сразу почувствовалось. Она когда сердится, вокруг неё всё разлетается, словно она ураган, причём чёрный.

Мы позавтракали, и я собралась выходить из комнаты босая. Мама стала кричать на меня, и я получила свою порцию чёрного ветра. Когда мама

так кричит, ты даже не разбираешь слов, просто ощущаешь, как сквозь тебя проходит чёрный ветер, оседа в тебе, где-то внутри, песком. Я надела босоножки и вышла из комнаты.

В коридоре не было ничего интересного, а вот на крыльце было шумно. Оказалось, что к нашим квартирантам приехали друзья. Они заехали шумной компанией прямо к нам во двор и поставили машину напротив бочек.

Пёс квартирантов, который постоянно сидел на цепи у будки, бегал по двору. А ещё вокруг крыльца были натянуты нитки, и на них были вьюны. — Красиво ведь, цветы, — сказала девушка, что теперь жила в нашей большой комнате, и хлебнула пива.

Я не могла вспомнить её имени и просто мотнула головой. Беременная, а пиво пьёт и курит. Странная.

Вьюны были тонкие, светло-зелёные, с красными маленькими цветами. И они не должны были тут расти. Крыльцо и само по себе красивое. Как теперь с него слезать через перила? И как она смеет менять что-то в доме? Кто ей вообще разрешил?

Пришёл Динька, принёс свои машинки и кубики. Мы сели на крыльце играть и греться на солнышке. Рекс бегал по лугу, то гоняясь за бочками, то приставая к Розе.

Роза рычала на него и не позволяла приближаться. Когда Рексу всё надоело, он стал подниматься к нам на крыльцо. Сначала я решила, что он поиграет с нами. Но когда он к нам приблизился, он зарычал и попробовал укусить Диньку. Я оттянула его за ошейник и спустила по лестнице вниз. Уже внизу, сидя на последней ступеньке, я начала уже лично общаться с Рексом, осторожно протягивая ему ладонь и давая её обнюхать. Пару раз он дал себя погладить. А потом начал кусать. Я не понимала его поведения, я ведь не сделала ему ничего плохого. За моей спиной, наверху, послышался голос хозяина Рекса.

— Правильно, надо кусаться, нечего быть слизняком, — сказал парень и затянулся сигаретой.

Я улыбнулась ему и посмотрела псу в глаза. Это была абсолютно тупая собака, которая не хотела дружить. Он просто хотел всё грызть. Вот почему его отгоняла Роза.

Я встала и подошла к Розе. Сначала она на меня лаяла, но не нападала, а отходила. Тогда я присела и посмотрела ей в глаза. После этого она подошла ко мне и стала обнюхивать, даже разрешила погладить. А потом из её жилья — нескольких сваленных досок — вышли два щенка. Крепкий мальчик и очень маленькая девочка. Она была раза в два меньше своего брата. Оба меня обнюхали и продолжили свои игры.

Я вернулась на крыльцо. Динька сидел в оцепенении и следил за Рексом. Вышла мама.

— Рекс Диньку попытался укусить! — выпалила сразу я.

— Ну, на пельмени пустим, в чём проблема-то? — спокойно сказала мама, выливая из пластикового ведра воду.

— Он не наш, это чужой пёс.

— Ну, значит, у хозяев глаз на жопу натянем, чтобы собаку воспитывали. А собаку на пельмени.

— А если никого не убивать?

— А если не убивать, то... — мама спустилась со ступенек, обошла машину, набрала в ведро воды и вернулась к нам. — Вот вам вода. Как собака подходит — брызгаете её водой и говорите: «Цыля!»

— У Розы щенки.

— И что?

— Можно поиграть? Они смирные.

— Вот ещё заразы не хватало, — мама ушла, оставив нам ведёрко.

Мы продолжили играть, построили город, и Динька катал машины по трассам. К ступенькам приблизился Рекс. Динька даже шею вжал от страха. Я встала, макнула руку в воду и брызнула на пса: — Цыля!

Пёс дёрнулся от воды и попятился. Потом опять попробовал подняться к нам.

— Цыля, кому сказала! — прокричала я страшным голосом и брызнула ещё воды.

Пёс обиделся и ушёл. Вышла беременная девушка и недовольным голосом сказала:

— А чего вы с Рексом не играете?

— А он кусается, — сказала я.

— А почему он не на крыльце?

— А мы его водичкой брызгаем, чтобы на крыльцо не поднимался.

— А... — сказала девушка и недовольно поджала губы.

Тут я поняла, что они нам совсем не друзья, они хотели, чтобы мы боялись собаки, чтобы она нас по дурости укусила. Как же можно быть такими подлыми? Динька успокоился и уже не следил за Рексом. Он и так боялся животных, а если бы он начал их бояться ещё больше из-за укуса, он бы от нашей кошки по всему дому бегал. Хотя Софка хорошая и совсем не царапается.

Снова вышла мама.

— Ну как, больше не лез?

— Я его водой брызнула, и больше он не поднимался.

— Вот только раз попробует укусить... Ладно, там баба Агния рыбой нас угостила, идите пробовать. Это стерлядь.

73.

Мы зашли в комнату. На столе, который стоял между моей кроватью и Динькиной тахтой, на тарелке лежали три кусочка рыбки. Бежевые, с жёлтым отливом, они казались совсем не съедобными. Запах был новым, сельдь пахла иначе, да и горбуша

тоже. У этой рыбы в запахе была какая-то кислинка, не как от прокисшего, а своя. Динька, как послушный или голодный, сразу съел кусок, который протянула на вилке мама. Он покривился, и я поняла, что есть рыбу не стоит. Мама тоже съела свой кусок. — А тебе что, особое приглашение нужно? — спросила мама.

— Я не буду это есть, съешьте сами.

— Как это не будешь? Ты знаешь, что это реликтовая рыба? У неё вместо костей хрящи.

— Не буду, — сказала я и сжала губы и зубы, чтобы мама не пропихнула мне рыбу.

— А ну ешь, кому говорю. Она знаешь какая дорогая?

— Вот и съешьте с Денисом.

— Ешь!

— Нет!

— Ешь! — она взяла меня за руку, а другой рукой начала тыкать мне в лицо рыбой.

Я до боли сжала губы. Динька начал плакать. Наконец я сдалась, и мать запихнула мне в рот кусочек. Он и правда был чуть кисловат, а ещё рыба была старой, мясо было немного ватным и как будто зернистым, языком спокойно раздавливалось в кашу. Начался рвотный рефлекс. Язык у самого горла свело, начался спазм, и я почувствовала вкус кислоты, обожгло горло. Рот наполнился слюной. Я втянула носом воздух и проглотила злосчастный кусок.

— Всё, теперь можете идти, — сказала мама, и мы выбежали на крыльцо.

На крыльце к нам пару раз приставал Рекс. Но вода быстро его отгоняла. Всё ещё помня вкус рыбы, я пошла к маме в комнату.

— А рыба ещё осталась? — спросила я.

— Нет, конечно, — ответила мама.

Я выдохнула: больше её не придётся есть.

— Ну хорошо, — сказала я, поворачиваясь уходить.

— И чего ты так выделялась? Стоило пугать брата и устраивать сцены, раз так понравилось?

Я почувствовала, что у меня краснеют уши. Мама неправильно поняла мои слова.

— Вот и не надо больше истерик разводить. Сначала истерику устраивает, что есть не будет, а потом добавки просит.

Я поспешила уйти из комнаты. Объяснять матери, почему я спросила про рыбу, было стыдно. Обычно я спрашивала о том, чего боялась, избражая заинтересованность, чтобы точно знать, что меня ждёт.

Я вернулась на крыльцо. Быть рядом с мамой было стыдно, а рядом с Динькой скучно.

Я спускаюсь с крыльца и осторожно иду к Розе. Щенки играют друг с другом, не дерутся, играют. Девочка-щенок очень медленно передвигается, то и дело заваливаясь на бок. Её брат бежит вокруг неё, иногда помогая ей встать, подталкивая сбоку своей мордочкой. Он такой крепкий, сильный,

даже, кажется, серьёзный; про себя я называю его Глебом. Есть в этом имени что-то ширококостное.

Я осторожно подхожу к ним, а потом сажусь перед ними на коленки. Роза настороженно наблюдает за мной. Глеб подбегает ко мне, обнюхивает и снова бежит к сестре. Она медленно идёт, переваливаясь, в мою сторону. Я беру её на руки. Она такая маленькая, что умещается в двух ладошках. Я кладу её к себе на коленки, она не сходит с них. Немного повозившись, она сворачивается калачиком и засыпает. Чем больше я сижу, стараясь не тревожить её сон, тем больше понимаю глупость своего положения. Ноги затекают, трава начинает впиваться в кожу, словно железные прутья, да и мама может выйти в любую минуту. Я глажу девочку. Про себя я уже решила, что она Лиза.

Лиза не просыпается от моих прикосновений, просто мирно дышит у меня на коленках. Глеб иногда подбегает к нам посмотреть, всё ли в порядке с сестрой.

Когда терпеть долгое сидение становится совсем больно, я осторожно сгребаю Лизу в ладони и перекладываю на траву. Она начинает пищать во сне, не открывая глаз. Глеб подбегает, смотрит на неё какое-то время и убегает дальше охотиться на насекомых.

Я встаю с колен, кровь начинает приливать к ногам, это очень больно. Я стою и терплю покалывания. Просто ровно дышу, уговаривая себя, что скоро всё прекратится. Покалывания прекращаются, и я иду на крыльцо.

Глупые цветы. И зачем только их посадили? Тут открывается калитка, и заходит корова. Такого раньше не было. Я просто стою и смотрю, как она проходит к нам во двор, не обращая внимания на лай Рекса, и подходит к крыльцу. Рога у неё ещё маленькие, это молодая тёлочка, белая, с коричневыми и рыжими пятнами. Она смотрит на меня, а потом открывает рот и высовывает длинный язык. Мне становится страшно. Я оглядываю крыльцо в поисках ведра и беру его в руки. Корова слизывает с верёвочек цветы.

Пока я стою и думаю, в какой момент стоит прервать поедание вьюнков и стоит ли, на крыльцо выбегают наши квартиранты и мама. Глупый Рекс, зачем он лаял? Я макаю руку в воду и брызгаю на корову:

— Цыля!

Корова отодвигается от крыльца и удивлённо на меня смотрит. Потом она делает два шага назад и снова тянется к цветам.

— Да сделайте уже что-нибудь! — противно вопит беременная девушка.

Я снова брызгаю на корову и кричу. Корова пятится и выходит за ворота хвостом вперёд. Мама за моей спиной улыбается, я это знаю, даже если не вижу, даже если этого вообще никто не видит. Квартиранты возвращаются в дом, а мама говорит:

— А почему калитка не закрыта?

— Не знаю, я не проверяла.

— Ну так иди и закрой. Мало ли кто ещё зайдёт? Корова могла начать бодаться.

Я спускаюсь с крыльца и иду к калитке. Обычно она защёлкивается сама, если плотно закрыть дверь. Корова зашла потому, что дверь была даже приоткрыта. Я делаю громкий щелчок, и мама уходит в дом. Потом я открываю дверь и выглядываю на улицу. Коров не видно, машин тоже. Сзади подходит Динька.

— Что там, на улице? — спрашивает он.

— Ничего, даже машин нет.

— Дай посмотреть.

— Смотри.

— Надо выйти.

— Нельзя.

— А почему тебе можно?

— А я не выхожу.

— А я маме всё расскажу.

— Ладно, но стой у двери, никуда не отходи, и как скажу — возвращайся.

Динька вышел за калитку и встал, прижавшись спиной к светло-зелёным доскам забора. Я стояла рядом. Всё вокруг было неподвижным, словно это просто картина. Лишь иногда львиный зев, который вырос между асфальтом и домом, колыхался на ветру. Он рос у самой скамейки, на которой мы никогда не сидели. Она была покрашена вся светло-зелёной краской, как и забор. Дверь калитки не могла открыться полностью, потому что скамейка чуть покосилась в сторону двери.

— Так, всё, пойдём на крыльцо, — сказала я.

— Нет, не пойду.

— А теперь я маме расскажу, что ты выходил за ворота.

— А я скажу, что это ты мне сказала.

— Всё равно мы оба за это получим.

Динька начал жевать нижнюю губу, а потом зашёл во двор. Я оставила дверь открытой, чтобы коровы могли спокойно к нам приходить. На крыльце я только и ждала, когда же коровы придут доест оставшиеся цветы. Те цветы, что уже были пожёваны, свисали с верёвки там, где зацепились листочками. Мне не было их жаль, их посадили сюда без надобности, и это было не их место.

Во двор зашла коричневая корова с белыми пятнами на лице, она громко замычала, и Рекс тут же замолчал и спрятался за бочки. Она быстро двинулась к цветам и начала их есть. Я спустилась вниз и погладила корову по большому тёплому животу. Корова поела цветы, словно это лапша, зажёвывая тонкие стебли себе в рот.

Снова выскочили квартиранты. Парень сбежал с крыльца и резко двинулся на корову. И вот тут произошло то, о чём предупреждала мама. Корова опустила голову и пошла на него. Рога у неё не

острые, но выглядело это страшно. Пришлось вмешаться.

— Цыля! — крикнула я и сорвала траву. — Цыля!

Я махнула на неё травой, и корова недоуменно посмотрела на меня: мол, ты же меня только что гладила.

Парень опять пошёл на корову. Та замычала и побежала на него с рогами наготове. Даже царапнула ими машину. Парень поспешил спрятаться за амбар и оттуда закричал матом. Вышла мама. — Цыля! — снова крикнула я.

Нужно было всё решить, пока мама не начала действовать. А то она могла убить корову.

Корова медленно пошла ко мне. Я протянула ей траву, она шумно втянула воздух и потянулась к траве. Я сделала шаг к калитке, потом ещё один — и так, пока не упёрлась в неё спиной. Калитка была закрыта. Хорошая калитка, сама закрывается. Я переложила траву в левую руку и быстро стала открывать замок, глядя корове в глаза.

Потом я открыла дверь и вышла вместе с коровой на улицу. Траву я кинула подальше, и корова за ней пошла, а я вернулась во двор.

Беременная девушка ругала своего парня за никчемность.

Мама сердито смотрела на меня. Я почувствовала, как стали горячими щёки. Не хочу при квартирантах объяснять, что коровы нужны для поедания вьюнков вокруг крыльца. Придётся врать.

— Это ты не закрыла калитку?

— Нет, я закрыла.

— А корова тогда как зашла?

— Не знаю.

— Что ты не знаешь? Не закрыла — так и скажи.

— Я закрыла, ты же слышала щелчок.

— А почему тогда корова зашла?

— Сама зашла.

— Ага, у тебя всё само.

Мама развернулась и пошла в дом. Настроение у неё было хуже некуда. Лучше ей вообще не попадаться на глаза, совсем. Вторая корова объела не только вьюнки, она ещё нитки порвала. Крыльцо выглядело несколько потрёпанным с такими ниточными украшениями, зато так было лучше — может, нитки совсем уберут.

В Красноярске у нас висит картина, где нарисован наш дом. Мама рассказывала, что к ним пришёл художник и стал рисовать дом, а папа потом выкупил картину. Картина была странной, дом на ней имел светло-зелёный оттенок, как и вся картина. Словно художник смотрел через зелёные очки в солнечный день. А ещё на картине было видно, что когда-то с крыльца было два выхода.

Мама вышла на крыльцо с пакетом и злая. Я сразу начинаю вспоминать, чем ещё я могла провиниться сегодня.

— Мы идём гулять, игрушки занесёте позже.

— А если с ними что-нибудь сделают?—спросил Динька.

— Кому они нужны? Пойдём быстрее гулять.
Мы спустились с крыльца и пошли в город.

74.

Пока мы шли по улицам, мама была всё ещё злая. — Ищем кругляшки от мороженого. Это как искать грибы. Потом приносим мне.

— А почему мы пошли гулять?—спросила я.

— А что, не нравится? Можем вернуться обратно и дышать химией, которую наши соседи разлили в коридоре.

Лучше бы я и правда ничего не спрашивала и была незаметной. Кругляшки и правда были как грибы, их разбросали по всему городу. На траве, прилепленные к стенам домов и коре деревьев, они были везде, надо было только увидеть. И мы собирали их с Динькой, не обращая внимания на людей.

А потом Динька вскрикнул:

— Больно! Что-то жужжит, и больно. Больно, больно, больно!

Динька дёргал рукой и орал от боли. Он начал плакать и задыхаться от слёз. Я испугалась, что опять будет приступ, а мы не дома.

Мама взяла его за ладонь и подняла рукав футболки. Под ним была оса. Мама смяла её своими пальцами, растерев. Мне стало жалко осу. Она случайно запуталась в рукаве Диньки и от страха укусила, а теперь она мертва. Её раскатали между большим и указательным пальцем властной руки моей мамы.

— Чего ты орёшь? Оса уже мертва,—строго сказала мама.

— Бо-о-ольно,—завыл Динька, губы у него тряслись.

— Конечно, больно, ещё и опухнет. Дай посмотришь, не осталось ли жала.

Она взяла его руку и стала рассматривать укус. Место вокруг укуса быстро краснело и опухало. У меня самой аллергия на укусы. Я понимала, что сейчас Диньке и больно, и чешется, и режет. Нужно было смазать спиртом, вот только мы не дома. И что они только пролили, эти соседи?

Мама надавила пальцами на опухоль и вытащила маленькое жало. Рыдания Диньки стали громче, он испугался. Лицо его становилось красным, слёзы текли всё сильнее. Он уже начал немного задыхаться от плача. Мама присела на корточки и прижала его к себе, чтобы он успокоился. Я стала гладить его по спине. Когда он чуть затих, мама встала и повела его за ручку в магазин, где купила нам по мороженому.

— Только дайте вон то, на котором два кругляшочка,—сказала мама, когда продавщица открыла холодильник.

— Что, тоже собираете?—спросила продавщица.

— Да.

— Ну тогда вот ещё возьмите,—сказала продавщица, доставая из-под кассы пакетик, в котором было ещё несколько кругляшков.—Может, это обрадует вашего мальчика.

Я стояла за мамой, держа Диньку за руку, и удивлялась поступку мамы и поступку продавщицы. Мама развернулась и дала нам по мороженому, пакетик с кругляшками положила в свой пакет, к тем кругляшкам, которые собрали мы.

Мы начали есть мороженое, когда уже вышли из магазина. Сначала мы отдали маме кругляшки, а потом начали есть мороженое. Динька, как всегда, очень быстро ел. А мне было холодно кусать его, и я ела маленькими кусочками. Мама была без мороженого.

— Мам, хочешь попробовать мороженое?—спросила я.

— Нет, ешьте сами.

— А ты как?

— А я потом у вас двоих откушу.

Я посмотрела на Диньку: может, он быстро ест, чтобы никто у него ничего не забрал? Только мама же не ест сейчас мороженое, а мы едим—значит, надо делиться. А если бы и папа был, и с ним делиться. Только мама бы не разрешила с папой делиться, сказала бы, что он дармоед и без того жирный. Хотя папа у нас худой.

Мы медленно шли по городу. Динька успокоился. Мама откусила у каждого из нас по кусочку. Мне нравится в мороженом самое дно, где самая твёрдая вафля. А Динька, наоборот, её не любит, она у него тает постоянно и протекает. Хотя он съедает своё мороженое быстрее меня. Может, всё потому, что у меня холодные руки. Маме не нравится это. Когда она трогает мои руки, она говорит, что я ледышка, и начинает растирать мои ладони в своих. Она делает это, заботясь обо мне, но мне становится больно. И даже если я ей говорю об этом, она не прекращает растирать мои ладони. От маминой заботы ничего не может спасти.

75.

Гуляя, мы вышли к дому, где жила женщина, похожая на Хозяйку Медной горы.

— А мы тут с папой были,—сказала я.

— У кого?—спросила мама.

— Я не знаю, как зовут эту женщину, она на Хозяйку Медной горы похожа.

— И что вы тут делали?

— Черёмуховое варенье ели.

— С этого дерева?

— Да.

— А только она с него собирает ягоды?

— Нет, тут много мальчишек было.

— Ну, тогда лезь на дерево, черёмуха поспела.

Я с радостью полезла на дерево. Мне запрещалось обычно лазать, где мне хочется. Мама разрешала лазать только по турникам, с которых

я вечно падала. Вот когда я лазала по шкафам и книжным полкам, ничего подобного не случалось. А когда лазала последний раз под присмотром мамы на турнике, я упала вниз головой прямо на нижнее крепление.

Лазать по деревьям было одно удовольствие. Ветки всегда растут очень удобно для лазанья, если это не сосна и не кедр. Я залезла по стволу вверх и легла животом вдоль широкой ветки, стоя ногами в том месте, где ствол раздваивался. Внизу мама срывала ягоды Диньке и сама тоже ела. Я же была взрослой и не нуждалась в её помощи. Ягоды черёмухи были сладкие. Гораздо вкуснее, чем они были в варенье, и пахли лучше, правильнее. Дерево держало меня, покачиваясь на ветру. Казалось, что я на руках у огромной женщины. Она молода, и красива, и мудра — деревья глупыми не бывают.

Мимо прошла пожилая пара.

— Ну как так можно? Прям варвары какие-то, — сказала женщина.

— Ягоды надо мыть! — строго сказал мужчина.

— Не ваше дело, — грозно сказала моя мама, и они поспешили удалиться.

Какое им дело, кто как ест? Взяли и влезли в наш праздник. У нас победа над осой и черёмуховый пир, а они морали читают. Я ещё немного поела ягод, но настроение испортилось, и я стала слезать, набрав заранее в ладонь горсть ягод; наверху ягод было больше, чем на нижних ветках.

Слезать сложнее, чем подниматься, когда ты неповоротливая и здороваешься со всеми углами. Так что я очень неудачно слезла, под конец прыгнув и болезненно приземлившись на ноги. — Вот ещё ягоды, — сказала я, протягивая маме ладонь.

— И ешь сама.

— Я наелась.

Мама подставила ладонь, и я ей ссыпала ягоды. Она ссыпала часть Диньке, и мы пошли гулять дальше.

76.

Проходя мимо свалки, мама увидела большую деревянную балку. Она была покрашена в синий цвет и размерами напоминала столб. Высотой она было чуть выше мамы, а вот по толщине она была как футбольный мяч. Мама подняла её на плечо и понесла. Я смотрела, как она несёт её, и не понимала, как она это делает. Мама была всегда сильной, даже сильнее папы. Чтобы он её немного догнал, она ему наказала поднимать вечером деталь от мотора, которую я двумя руками совсем поднять не могла, а он её над головой по двадцать раз поднимал. Но эта балка была гораздо тяжелее. Мы с Динькой шли рядом и смотрели на неё большими глазами, помочь мы ей не могли.

Только когда мы подошли к дому, мы открыли перед ней калитку. Мама зашла во двор с балкой

на плечах и пошла сразу вправо. Раньше там был какой-то погреб, потом земля провалилась, и стала помойка. Там всё заросло, и мы там никогда не ходили. Мама кинула балку поперёк ямы и пошла к нам, мы с Динькой так и стояли у ворот. Я посмотрела на крыльцо, там курили наши квартиранты и их друзья. Лица у них были испуганные.

— Ну вот, дети, — сказала мама, подходя к нам. — Теперь никто не упадёт в помойную яму.

Она взяла нас за руки, и мы пошли в дом. Квартиранты со своими друзьями так и стояли неподвижно на крыльце, пока мы проходили мимо. В коридоре пахло чем-то едким, но не сильно.

А в нашей комнате не пахло ничем.

Мама взяла папину тетрадь и вклеила туда кругляшки, чтобы мы могли видеть, сколько их у нас уже. Было двадцать четыре; я даже удивилась, что так много.

Динька лёг с мамой, у него ещё болел укус от осы.

Дом затихал, даже соседей не было слышно.

77.

«Скажи, а ты уверен, что идти до бассейна — это удобно?» — спросила я.

«А как ещё можно до него добраться?» — ответил мой друг.

Я легла на спину в воздухе, словно это вода, и поплыла рядом с другом, глядя на него чуть снизу. Тут я и поняла, что это сон, я ещё не умею плавать на спине. Мой друг был взрослый, как папины студенты. А ещё он был лысый и выше папы. Как его зовут, я не помнила или не знала. Но с ним было безопасно.

Здание бассейна было старым, краска на стенах облупилась, когда-то белая крыша была теперь серой. Но бассейн был всё равно ярче всех серых зданий вокруг. Под всей серостью легко различались голубые волны и синие дельфины. И даже жёлтые двери, хотя они были покрыты большим слоем ржавчины.

Двери открыл мой друг, я не собиралась вставать на ноги, плыть по воздуху было приятно и казалось правильным. Сразу за дверью был бассейн. Такого тоже не могло быть. Где же фойе, раздевалки? Бассейн ещё и без воды был, и со всех сторон вокруг него толпились люди. Все они смотрели на дно бассейна и ждали воды.

Я решила наконец встать на ноги и тоже встала у края. Мой друг встал за моей спиной и взял меня за руку, чтобы я не упала. Только теперь я поняла, что я гораздо взрослее, чем на самом деле.

Плитка на дне была в трещинах, блёкая, кое-где не хватало частичек, и отверстия были замазаны бетоном. Я легла на воздух и немного спустилась, а потом я поплыла так, если бы в бассейне была вода и были бы разделительные канаты.

Моим примером вдохновились многие и тоже стали пробовать плыть по воздуху. Некоторые

падали, некоторые плыли. Становилось весело. Разве может отсутствие воды помешать плавать?

78.

Утром я проснулась без одеяла и без носков. Всё было кучей скомкано у моих ног. Казалось, одеяло—это облако, которое кушает носки. Мама готовила, Динька ещё спал, его одеяло тоже ело носки.

— Сегодня День города,—сказала мама.

— Ага.

— В парке сегодня разыгрывают призы.

— В каком парке?

— У папиной музыкальной школы.

— Но там же просто луг и сцена. Ни одного дерева.

— Называется «парк».

— И мы там будем?

— Конечно. А зачем мы кругляшки искали?

— Ну, я думала, просто так.

— Просто так ничего не бывает. Вы ничем не хуже других детей.

Мама разбудила Диньку, мы позавтракали и пошли в город.

Мало того, что на улице было пекло, так ещё и везде были люди. Их было очень много, особенно детей. Все кричали, бегали, веселились. Праздник в парке должен был начаться в шесть вечера, и у нас было полно времени.

В парке поставили много прилавков, где продавали лапти, свистульки, леденцы. Ещё поставили странные большие столбы, с которых свисали длинные цветные ленточки. Между прилавков иногда проходил мишка, в народном костюме, вместе с дрессировщиком. На мишке были намордник и ошейник, но без поводка. Люди улыбались ему и просили сфотографироваться. Мы нашли пункт приёма кругляшков. Они даже не смотрели, сколько у нас, мама просто сказала количество, и девушка насыпала в общий круглый аквариум столько же бумажек с нашей фамилией.

После этого мы пошли гулять дальше между прилавков. Пока мы стояли, я услышала, что у некоторых больше сотни этих кругляшков, у нас просто не было шансов победить. Стало немного грустно.

А потом мы увидели маленький зоопарк. В клетках прыгали хорьки, причём каждый в своей. Ещё была огромная клетка с попугаями. А потом мы увидели аквариум с маленьким крокодилчиком.

Рот ему забинтовали скотчем, так что он не мог открыть его, только лежал и зло на всех смотрел. Все вокруг только и говорили хозяину крокодила, чтобы он убрал скотч с бедного животного, но хозяин был непреклонен. Крокодилчик лежал и совсем не двигался.

Тут один мужчина, от которого пахло так, словно он пил алкоголь, подошёл ближе. Лево́й рукой он за руку держал мальчика с большими испуганными глазами. А правой рукой дотянулся до аквариума и постучал пальцами по стеклу.

Крокодилчик среагировал моментально. Он словно резко взлетел к стеклянному потолку аквариума и вышиб своим телом стекло. Мужчина успел отдернуть руку, но неровный край стекла его всё же задел. С указательного пальца капнула кровь, и мужчина поспешил положить палец в рот.

Мальчик хмуро посмотрел на отца.

— Пап, ты же по изюбрю бил перчаткой, подойдя к нему со спины.

— Крокодил быстрее.

— Просто пить не надо.

Я удивилась их диалогу, я бы не отчитывала так папу, даже если он не прав. Взрослым нельзя говорить, где они не правы, а то они обидятся и перестанут быть взрослыми. Лучше сказать так, словно это говорил другой взрослый. Тогда все просто решают, что у тебя хорошая память. Папе я говорю, что мама сказала делать иначе, и тогда всё нормально. Он не будет переспрашивать маму, как она говорила, мама у нас страшная, если не делать так, как она сказала. А как надо, я порой знаю лучше, чем папа, потому нас ругают меньше.

Мама поспешила нас увести из парка, и мы пошли в кинотеатр. Жара была очень сильной, воздух был вязким и даже солёным. Везде было много людей. Некоторые обливали друг друга из бутылок. Мама вела нас к кинотеатру. В этот раз мы сидели в полном зале, такого не было никогда, обычно зал пустой и в нём очень холодно. Теперь мест в зале почти не было, и было теплее, хотя и прохладно.

Мы уселись на свои места и стали смотреть фильм про девочку, которой было суждено стать самой лучшей в боевых искусствах. Я сразу захотела тренироваться так же, как она. Но мне нельзя было даже на физкультуру ходить. Меня столкнули с ледяной горки в школе, и что-то повредилось в копчике. Мама всё смеялась, что теперь у меня вырастет хвост. Хвост не вырос, но мне было больно долго сидеть.

После фильма мы ещё гуляли по городу. Люди заняли весь каменистый пляж. Мы смотрели на всё это с грустью. Они забрали наш город себе, они кричали в нём, мусорили в нём, ругались в нём. Светлые стены города серели от наглых людей вокруг, которые просто хотели праздника и не понимали красоты.

В парке начался концерт. Стали выступать музыкальные народные ансамбли, даже буряты приехали. У них были странные инструменты, похожие на папину домру, только вытянутые и с квадратными деками. Потом были танцоры. Все постоянно рекламировали розыгрыш призов. Мы сходили домой и покушали, а потом вернулись обратно.

Людей становилось всё больше, и они жались к сцене. Продавцы собирали свои прилавки.

Медведь сидел на траве и ел кочан капусты. Во всём происходящем не было радости, была какая-то странная злоба.

Вынесли круглый аквариум. Стали произносить фамилии победивших, и люди стали ещё больше жаться к сцене, толкая друг друга локтями. Мама увела нас за ворота, чтобы нас не задавили, из-за колонок всё и здесь было хорошо слышно. Тем более нашу фамилию. Но её не назвали.

— Ну и не выиграли мы. Это ничего. Зато поучаствовали, — сказала мама, когда мы пошли обратно.

Некоторые в парке рыдали, это было странно, они же не проиграли ничего своего. Они просто не получили ничего дополнительного.

— А мы и не могли ничего выиграть, там у некоторых больше сотни было, — сказала я.

— Только завидовать не надо. Вот они сколько денег потратили, и тоже не факт, что получили приз. А мы ничего не потратили и ничего не получили. Всё честно.

— Ага.

После такой жары ломило кости. Вечер был очень холодным.

В кровати я пыталась уговорить своё тело согреться. Суставы ломило. А папиной мази от хондроза не было. Мама усыпляла Диньку, её лучше не звать.

Я начала сжимать пальцы ног, чтобы кровь быстрее прилиwała к ногам, но боль становилась всё сильнее. Тогда я залезла с головой под одеяло, подтянула колени к лицу и стала дышать на них тёплым воздухом. Потом я начала растирать ноги от коленок к ступням. Стало чуть легче. Но потом опять стало очень больно, и я несколько раз ударила кулаками по костям. Тупая боль сместила острую на второй план. Я била по ногам, пока они не стали горячими. Боль отошла, я выпрямилась и уснула.

79.

Утром папа уже был у нас в комнате. Он приехал ночью, мама специально уложила нас раньше спать. Папа был радостный, он же от нас отдохнул. Вот бы он приехал на день раньше и был бы с нами на Дне города. И мазь бы привёз.

Прямо с утра мы засобирались. Мы все вчетвером шли к зубному. Точнее, шла мама, а мы её вели.

Больница была жёлтой и одноэтажной. На ней большими буквами было написано: «Дантист». Это те, кто зубами занимается. Мама шла к тёте Нине, она с папой в детстве дружила.

Пока маме сверлили зубы, мы с Динькой пытались угадать, в каком она кабинете. Везде были открыты окна. Правда, подойти к ним было нельзя. Прямо перед ними были высажены цветы.

Скоро вышла мама. Она сказала, что от анестезии она отказалась. У мамы, Диньки и меня была аллергия на новокаин. А лидокаина не было. У мамы не было нервов в передних зубах, и ей стали сверлить по живому. Она рассказывала, что теперь поняла, почему партизаны под пытками фашистов сдавали родную маму, когда им сверлили

зубы. А я шла и думала, можно ли удалить нервы в голове, чтобы не реагировать ни на что.

Дома мы взяли купальники и пошли в гости. Это были какие-то новые знакомые папы, потому что мы шли в часть города, где ещё не бывали. Сразу после моста мы повернули налево и пошли вдоль речки, что теперь ручьём тянулась на дне оврага.

У одного из домов стояла пожилая пара. Они улыбались нам и махали. Папа пошёл с ними в дом, а мы с мамой пошли в их баню.

В бане было очень жарко. Мама переодела нас в купальники, и мы парились, а когда она говорила, мы выходили на воздух. Иногда она нас поливала из маленькой ванны. А потом пришёл дедушка и дал нам по половинке свежего огурца с солью. И мы пошли в дом.

Дома нас встретили две взрослые девочки, они были, как наши сёстры Люба с Катей, близнецами. Папа нас отвёл в пустую комнату и переодел в простую одежду.

— Ну теперь с вами можно играть? — спросили девочки, заглядывая в комнату.

— Не можно, а нужно, — сказал папа, и мы с Динькой пошли к девочкам в комнату.

— У нас тут «Лего», и «Денди», и ещё фигурки из «Киндер-сюрприза», — сказала та, что с хвостиками.

— А машинки у вас есть? — спросила я.

— Были где-то, баба убрала часть игрушек в коробки, сейчас найдём, — сказала та, что с косичками, и полезла открывать коробки.

Я не знала, как их зовут, и они не спрашивали, как зовут нас. Так что мы просто играли в «Лего», а Динька ездил машинками между нашими домами и деревьями.

— А хотите, покажу красоту? — спросила та, что с косичками.

— Хочу, — сказала я.

Девочки были хорошие, я не боялась, что они сделают подлость.

Та, что с хвостиками, принесла спичечный коробок. Она села на ковёр и отодвинула крышку. Внутри была стрекоза.

Она была красивая, глаза её были изумрудные, а тело как из сапфира. Она вся была и хрупкая, и твёрдая. Мы все боялись её трогать, просто смотрели. Лишь иногда девочка с косичками чуть двигала коробок, чтобы свет лампы отразился на стрекозе по-новому.

— Это не мы её убили, — сказала девочка с хвостиками. — Мы её такой на пляже нашли. Даже трогать боялись, сразу в коробок положили.

— Красивая, — сказала я.

— Ага, красивая, — сказала девочка с косичками. — Мы её в город привезём и папе с мамой покажем.

Она встала и унесла коробок.

Мы продолжили дальше играть в город, но все мысли были о волшебной стрекозе. Из чего

делают таких стрекоз? Как они себе выбирают такие крылья?

Пришёл папа и забрал нас кушать.

Когда мы вернулись, девочки уже собирались. Девочка с хвостиками надевала гольфы, которые ей были до тусов.

— Бабушка так постирала, что гольфы стали как чулки, ещё одна стирка — и можно будет из них колготки сделать, — сказала она.

Я представила, что где-то именно так и делают колготки. Получается, что можно из колготок сделать гольфы.

Мама забрала нас из комнаты, взрослые уже прощались у порога.

А когда мы вышли на улицу, нас ждал сюрприз. У калитки стоял серый двухколёсный велосипед. Он не был взрослым, он был для нас с Динькой. Правда, пока Динька мог ездить на трёхколёсном.

Папа вёз велосипед одной рукой, а я любовалась на наш велосипед. Мы повезём его в Красноярск и будем на нём учиться ездить.

Дома папа поставил велосипед у крыльца.

Ночью родители собирали вещи, и я то просыпалась, то опять засыпала.

На следующий день папа решил что-то с квартирантами, потом взял сумки, и мы пошли на автовокзал. Мне разрешили везти велосипед. Я шла, держа его за руль, и пыталась понять, как на нём будет ехать самой. На руле были специальные рычаги для торможения, как у мотоциклов. Велосипед был весь серый, с чёрным седлом, ещё на руле была сетка, чтобы что-нибудь возить.

На вокзале я увидела мужчину и мальчика, которые приставали к крокодилчику. Когда подъехал автобус, папа положил велосипед и наши сумки в багажник.

В автобусе было всё новое, он всё ещё пах пластиком и разной химией. Мама села с Динькой, а мы с папой сели за ними, причём папа сел у окна. А через проход от меня сели мужчина с мальчиком.

Я долго и осторожно разглядывала мальчика. У него странные, очень тёмные глаза, почти чёрные, но с оранжевыми полосками. Я таких никогда не видела. Автобус ехал медленно, меня почти не тошнило от запахов. Когда наши папы уснули, я спросила:

— А кто такой изюбрь?

— Олень, папа на них в тайге охотится.

— Я Соня.

— А я Миша.

— Вы в Красноярск едете?

— Да, к папиным друзьям.

— А сам ты откуда?

— Из Иркутска. А ты?

— А я из Красноярска.

— А ты охотилась?

— Нет, мы даже не рыбачили.

— А я из настоящего оружия стрелял.

— Ух ты! А как так вышло?

— У меня папа самый крутой военный.

— А у меня папа музыкант, я только на его домре играла. Она мастером сделана.

— А я стану великим архитектором, мне так друзья папы сказали.

— А у меня мама художник, я тоже рисую. А ещё у меня мама психолог и строитель. Она много на кого училась и много знает.

— Круто.

Мама передала мне варёное яйцо, и разговор прекратился сам собой. Когда я поела, меня начало мутить. Я постаралась уснуть.

80.

Мы снова в Енисейске. Я стою у аптеки, родители куда-то ушли. Мне нужно их разыскать. Может, они зашли с Динькой в «Детский мир»? На тротуар садится птица, большая, как голубь, но вытянутая. С изумрудными пёрышками на голове, коричневыми пёрышками на теле и с чёрным хвостиком. Птица смотрит на меня.

Ко мне подходят мои друзья, Кристина и Дима. «Ты чего такая потерянная?» — спрашивает Кристина.

«Родителей не могу найти», — отвечаю я.

«Давай вместе поищем».

Я оглядываюсь на птицу, она словно кивает и улетаёт.

Мы идём по городу. Улицы изменились, дома покрасили в другие цвета. Памятник Ленину и вовсе стал фонтаном. Как и при Ленине, вокруг фонтана цветы, только теперь это кустарники. Не найдя «Детского мира» на своём месте, я решаю пойти к дому.

Мимо едут машины, жара, видимо, царит давно, в городе пыльно. И моста нет, точнее, есть, но он верёвочный и идёт вдоль обрыва. Справа от меня возвышается скала, а слева, метров через десять внизу, начинаются верхушки деревьев. У березков уже жёлтая листва, скоро осень.

Мы проходим мост. Поворот в сторону дома бабы Нади. А вот там, где должен быть мой дом, — дома соседей. Они встали на место моего дома. Нет ни зелёных ворот, ни дома — ничего. Мне становится очень страшно.

Дома больше нет.

Где-то внутри появляется ощущение, что дом со мной говорит. Дом есть. Но меня в нём больше не будет. Теперь дом внутри меня.

Меня будит мама:

— Просыпайся, мы приехали в Красноярск.

Людмила Шарга

Пять историй, рассказанных маленькой белой улиткой

Улитку привезла Оля.

То есть нет.

Конечно же, Оля привезла букет душистых трав, перебирая который, я и увидела маленькую белую улитку на листике мяты.

Я положила её на влажный виноградный лист — за моим кухонным окном вот уже третий год бушует лоза, а прошлым летом на ней появилось несколько гроздьев зелёного винограда, потемневшего и ставшего чёрным в августе. — Не упала бы, — шепнула я, — четвёртый этаж всё-таки.

Закружилась карусель событий длинного летнего дня, подхватила, увлекла за собой, и об улитке я вспомнила лишь поздно ночью.

Она спала там, где я её оставила, — на виноградном листке, вздрагивающем от тёплого ночного ветра.

— Интересно, улитки видят сны? И если видят, то о чём?.. Может, в снах с ними происходят невероятные истории? Расскажешь мне свою как-нибудь? До завтра.

А наутро улитка исчезла.

Возможно, её сдул прохладный северный ветер, и она теперь внизу, где-то под листьями малины и земляники.

Что ж. Пусть ей там будет хорошо.

Вот только нерассказанной и неслышанной истории было жаль.

Прошло две недели.

Я забыла о маленькой неожиданной гостье.

Прошло две недели.

Сегодняшним утром я, как всегда, подошла к окну, чтобы увидеть отражение восхода на стене соседнего дома и понять, каким будет новый день, и вдруг услышала тоненький голосок:

— Доброе утро.

— Доброе утро, — поклонилась я — на всякий случай — виноградным листьям, темнеющим и тяжелеющим гроздьям, розовым рассветным облакам и вредному мраморному клопику, с таким трудом изгнанному из кухни вчера вечером.

— Вот и я.

— Кто вы? Я вас не вижу.

— Ты же хотела услышать мою историю...

— Да, — кивнула я, понятия не имея, что это за история и почему мне захотелось её послушать.

— Вот я и вернулась, чтобы рассказать их.

Тут я наконец увидела маленькую белую улитку, бесстрашно раскачивающуюся на тоненьком виноградном усике.

— Осторожно! Здесь...

— Четвёртый этаж. Знаю.

История первая. Ангел

*О море, о времени, растроченном
впустую, о суете и умиротворении...*

— Отнеси меня к морю. Это — единственное, к чему я стремилась несколько жизней. Для тебя оно, наверное, нечто обыденное, привычное. Для меня — мечта. Отнеси меня к морю, пожалуйста.

— Вот только закончу срочные дела и отнесу.

— На что ты тратишь самое драгоценное время суток?..

— Я не люблю валяния в постели по утрам — столько нужно успеть... Чтобы потом успеть к морю.

— Я не о валяниях и постелях. Я — об утреннем времени, которое ты размениваешь на суету и спешку, на бесконечные хлопоты и заботы.

— А на что нужно тратить утреннее время?

— На себя. Прислушаться к себе, понять, всё ли в порядке. Вспомнить о главном. Утреннее время — самое дорогое.

— Я не принадлежу себе. И потом. Море для меня никогда не станет обыденным и привычным. К нему невозможно привыкнуть — оно не повторяется.

— Соглашусь, пожалуй...

— Хотя в чём-то ты со мной согласна.

— Я же не возражаю. И не спорю. Не люблю споры, диспуты и дискуссии.

— Надо же... Я — тоже.

— Так, значит, — к морю?

— А как же обещанные истории?

— Слушай.

В комиссионный магазин, где продавалась всякая всячина, зашли бабушка и внучка. Бабушка попросила показать малахитовую шкатулочку для

украшений, а девочка глаз не могла отвести от маленького ангела на третьей полке.

— Ну что, Майя, нравится?

Малахитовая шкатулка стояла на прилавке, но девочка на неё даже не взглянула.

— Бабушка, купи мне этого ангела, пожалуйста.

— Ты же шкатулку хотела, и чтобы непременно — малахитовая.

— Пожалуйста...

Девушка-продавец сняла ангела с полки.

— Это не простой ангел — фарфоровый. Он очень старый — вот клеймо. Но, к сожалению, с дефектом: отбито крылышко. Потому и задержался у нас, несмотря на то, что стоит недорого.

— Майя, видишь... Крыло отбито. Зачем нам такой?

— Бабушка, давай возьмём его. Пожалуйста. Он похож на меня.

Левая рука у девочки была подвязана косынкой.

— Ну, если ты настаиваешь... Но на шкатулку денег не остаётся — имей в виду.

Но девочка, казалось, не слышала бабушку.

Всю дорогу она бережно прижимала к себе маленького ангела с отбитым крылышком, а дома поставила на полочку над кроватью.

Ночью ей приснилось, что у ангела два крыла.

«Ты что же, выздоровел? А я только хотела вылепить тебе крылышко из белой глины. Папа подарил мне на день рождения целый набор для лепки».

«Я тебе снюсь. Ты видишь меня таким, какой я есть на самом деле. Почему у тебя рука не двигается?»

«Упала. Потом рука неправильно срослась — и её заново ломали. А теперь доктор говорит, что нет никакой надежды».

«Надежда всегда есть. Пока дышишь. Живи! Первое время будет больно... Но это скоро пройдёт».

Ангел коснулся краешком крыла руки девочки, и Майя с удивлением почувствовала, что может пошевелить пальцами.

«Вот здорово!»

Она засмеялась, захлопала в ладоши и проснулась.

Рука по-прежнему была чужой и безжизненной. И ангел стоял на полочке.

Майя начала лепить крылышко. Одной рукой это было делать неудобно, крылышко выходило неровным, некрасивым, она, плача, сминала глину и всё начинала заново.

Под утро, когда крылышко было готово, Майя почувствовала покалывание в пальцах левой руки.

В комнату вошла бабушка.

— Майя... Внученька, что случилось? Почему ты не спишь? Только пять часов утра.

— Смотри...

Девочка взмахнула левой рукой, как крылом.

— Как же это? И не болит?

— Нет, — соврала Майя. — Не болит. Ангел вылепил, — и увидела, что по щекам бабушки текут слёзы. — И знаешь, почему он не хотел продаваться в магазине?

— Почему?

— Ждал меня.

История вторая. Продавец тишины

*О платьях, переездах,
рассеянности и забывчивости...*

— Красивое платье.

Я так привыкла к тоненькому голосу за окном, что даже не вздрогнула.

— Это юбка.

— Во времена, когда платьем звалась любая одежда, я уже была, и была столбовой дворянкой.

Я рассмеялась.

— А владычицей морскою не ты ли была, случайно?

— Сомневаешься? У меня столько разного платья, что ты себе представить не можешь.

— Где же всё это?

— Когда тебя срывают с места и не дают ни минутки на сборы... У меня не было времени на то, чтобы заглянуть в зеркало, не говоря уже о том, чтобы собрать чемодан.

— Какой чемодан? Какое зеркало? У тебя же всё с собой — в домике.

— Действительно. Постоянно забываю, что я теперь — улитка.

— Теперь? Это лучше или хуже, чем было?

— Это не лучше и не хуже. Это иначе. По-другому.

— Ты всё помнишь о прошлом?

— Всё. Откуда бы тогда эти истории?..

Ёлка начала осыпаться в ночь на тринадцатое.

Ася задела еловую лапу и услышала тихий шелест иголок.

«Вернусь и всё уберу — и иголки, и саму ёлку...»

Всего десять дней на новом месте — опаздывать не хотелось.

Она нашла эту работу неожиданно, когда уже совсем отчаялась.

Ничего особенного: проверить почту, отобрать объявления о продаже в одну папку, о покупке — в другую, об аренде — в третью. Разместить на сайте десяток самых актуальных — с фотографиями и описанием. Снять объявления, которые устарели.

Она быстро освоилась: появляться в офисе каждый день не было необходимости, один-два раза в неделю — достаточно.

А сегодня праздник — старый Новый год. Значит, писем с объявлениями будет немного.

Писем было всего пять.

Быстро справившись с ними, она открыла последнее и улыбнулась: «Продам тишину оптом

и в розницу. Цена договорная. Звонить строго в указанное время. Виталий».

Староновогодняя шутка? Ася чуть помедлила и всё-таки набрала номер, указанный в объявлении.

Выслушав семь длинных гудков, нажала повторный вызов—ответа не было.

«Ну и сиди со своей тишиной оптом и в розницу, шутник».

Удалив странное письмо, она закрыла почту и представила, что сейчас отправится домой—через весь город, а там... кресло, плед, какао и любимое миндальное печенье в любимой синей вазочке.

Только бы соседи снизу не пели в караоке, как в новогоднюю ночь. А соседи сверху не запускали петарды с балкона. Всё-таки старый Новый год поспокойнее, чем просто новый. И никаких звонков—ни дверных, ни телефонных...

В ответ на её мысли ожил телефон.

— Алло, слушаю...

— Вы мне звонили час тому назад.

— Вы—Виталий?

— Да.

— Тишина оптом и в розницу?

— Что-то не так? Надо писать «ти-шы-ны», что ли?

Голос потеплел, и Ася поняла, что её собеседник улыбается.

— Объясните, пожалуйста. И поскорее, я тороплюсь.

— Тишина необходима людям, как чистый воздух, чистая вода, как настоящий хлеб, молоко, мёд... У меня её много. И я подумал: почему бы не поделиться с теми, кто нуждается в ней? И цену назначать не стал—каждый заплатит столько, сколько считает нужным.

— Воздух у нас пока бесплатный...

— То, чем вы дышите, нельзя назвать воздухом. Чистую воду давно уже покупаете, ведь так? А чтобы купить настоящий хлеб, обходите несколько булочных.

— Да нет, просто беру в той, что ближе. Я почти не ем хлеба. Да... И как выглядит ваша... тишина?

— Приезжайте—услышите. И увидите.

Ася представила домик в лесной глуши, озеро, сосны с янтарными стволами, уходящие в синее небо, тропинку в густой траве... Земляничную поляну, черничник и берестяное лукошко—как в детстве. Дед сделал для неё, маленькое. А у самого было большое—ведёрное. С ним и по ягоды, и по грибы ходил, а когда случалось, и мёд лесной приносил, в сотах, как куски янтаря...

«Середина января, дурёха. Какой тебе ещё черничник?»—одёрнула она себя.

— Приезжайте сейчас, если хотите. Можете взять с собой подругу. Или друга. Чтобы не возникало сомнений. Платформа «Тишина». Электричку идут с интервалом в два часа. Позвоните—встречу.

В трубке раздались длинные гудки...

Ася вспомнила шесть ящиков с пивом у подъезда, машину с надписью: «Петарды, фейерверки, салюты—мы сделаем ваш праздник незабываемым!»—и отправилась на вокзал.

Через сорок минут она стояла на платформе «Тишина». Никого, кроме человека в овчинном тулупе и валенках.

— Виталий?

— Он самый. А вы...

— Я—Ася.

Он посмотрел на её ботиночки на шпильках и короткое пальто.

— Километра два пройти пешком сможете?

— Попробую.

— Пошутил. У меня транспорт. Почему-то подумал, что вы сразу приедете.

Ася увидела небольшой снегоход у насыпи и заглянула в серые внимательные глаза Виталия.

— Мы не встречались раньше?

— Не исключено,—улыбнулся Виталий.—Я родом из этих мест. В моей жизни было много дорог, встреч, городов и вокзалов. Но не было главного—тишины.

Через четверть часа взгляду открылась небольшая поляна, на которой стояла бревенчатая изба. Пахло сеном и ещё чем-то очень знакомым, из детства.

— Топлёное молоко. Прошу...

Ася прошла по скрипучему снегу к дому.

— Тихо.

— Настоящая тишина—живая. Вот это—клёст. Птица такая, знаете? Зимой птенцов выводит. А это—зимородок. На самом деле он—землеродок. Слышите? А это сосны качаются... А это—синицы звенят.

В доме было чисто, уютно, тепло.

— Проходите. Через час постучу.

Ася оказалась в небольшой комнате: стены заставлены книгами, кроме одной—туда выходил бок русской печки,—и там стояла лежанка, покрытая пёстрым лоскутным одеялом. На столе—у небольшого окна—открытая книга: Шмелёв, «Лето Господне».

Прочла страницу, другую—и не заметила, как раздвоилась.

Одна Ася осталась в кресле у окна, с книгой на коленях.

Вторая—плыла по озеру в лодке, к бревенчатому дому на опушке. Вёсла поскрипывали в уклучинах, белая птица низко кружила над тёмной водой, и платье на Асе было длинное, холстинковое, с вышивкой и мережкой у ворота, и волосы в косу заплетены.

Голос знакомый—будто из сосен на пригорочке или со дна озера—с брызгами от вёсел долетел:

«Землянику одну не вари. С черникой вари. Земляника одна горенит».

В лодке лукошко берестяное—земляники полное. Сверху горстки две черники—россыпью. И когда успела набрать и где? Зима на дворе.

«Зима на дворе»,—вспомнила Ася, оставшаяся в кресле. И та—которая в лодке—кивнула: мол, сейчас,—к берегу причалила, и... снова стала одна Ася.

В дверь тихонько постучали.

Виталий молча, ни о чём не спрашивая, жестом пригласил её к столу.

Молчала и Ася.

Только за столом, угощаясь чаем с земляничным вареньем, спросила:

— Такое только во сне может привидеться. Так и не поняла, спала я или нет. На сон не похоже. Что это? И что за место?

— Этот дом построил мой прадед. Здесь всегда было так... тихо. Низина.

— Потому и платформа называется «Тишина»?

— Да.

— Варенье земляничное с черникой варили?

— Чувствуется черника? Удивительно... Как вы узнали?

— Земляника одна горенит.

— Прабабка моя так говорила...

— Значит, её голос я слышала в вашей тишине. Ведь у каждого своя тишина, я правильно поняла?

— Так... Мы слышим то, что способны услышать, вспомнить. То, что в нас. По сути—самих себя. Слышим то, на что настроена наша душа.

Она ещё о чём-то его спрашивала. Он отвечал.

Обратной дороги Ася не помнила.

Наутро она с удивлением обнаружила себя в офисе. Мигал монитор компьютера.

Набрала номер Виталия—длинные гудки. В справочной ответили, что станции «Тишина» на пути следования пригородной электрички теперь нет.

— Как это может быть?

— Была когда-то,—уточнила оператор,—лет тридцать тому... Я как раз в справочную работать устроилась. Стоял там один дом—всё, что осталось от довоенного посёлка. И жилец был один, Серов Виталий Николаевич,—вот, нашла запись в журнале.

— Виталий Николаевич, говорите? Спасибо.

Ася выключила компьютер, вышла из офиса и остановила такси.

— Железнодорожный вокзал, пожалуйста...

История третья, рассказанная во время дождя. О любви, наверное

Кому и как подать себя...

Читала вслух стихи.

Виноградный лист вздрогнул, раздался привычный тоненький голосок:

— Надо учиться себя подавать. Де-кла-ри-ро-вать.

— Когда, а главное, где ты успела набраться этого?

Улитка качнулась на виноградном усике и продолжала:

— Позиционировать. Принимать правильные, а иногда неправильные, но эффектные позы, эпатировать публику.

— Публика—у актёров.

— Позволь напомнить: весь мир—театр.

— Да... вижу, что ты времени зря не теряешь. Так что ты там говорила о подаче?

— Начни курить. Что-то уникальное. Без фильтра. «Партагас», к примеру. А лучше—сигары.

— Может, трубку?

— Неплохо. Но и не ново.

— Надо же. Тогда остаётся завести табакерку и прилюдно предаваться нюханью табака, а затем—чиханию. В промежутках между чихами выкрикивать стихи. И прозу. Топлес.

— Иронизируешь? Зря. Чихай, пей, кури... что угодно делай...

— Так я делаю.

— Что же?

— Пишу. Остальное—не важно.

Вожделенный ливень, сошедший на город, смыл тротуарную плитку, несколько элементов лепнины на фасаде старого дома, ветхий балкон, воспоминания о жарких днях и душных вечерах, о ночном безветрии, в котором увязла песнь цикады.

Опустевший виноградный усик рвал ветер.

— Эй... ты здесь?

Голос мой тонул в потоке дождя, я себя едва слышала.

— Где же мне ещё быть в такой дождь.

— Не вижу тебя.

— По-прежнему смотришь только глазами? Закрой. Теперь видишь?

— Не знаю. Кажется, вижу.

— Пожалуй, расскажу тебе одну историю. В дождь всегда вспоминается что-то связанное с домом, с очагом.

— Как в снегопад?

— Как в снегопад, только с другим ароматом.

Небо сошло на землю, и всё стало дождём.

Жители маленького посёлка не спали: рыбацкий баркас не вернулся.

Судьба семерых моряков была неизвестна.

Штормовой ветер повредил опоры небольшой подстанции, и весь посёлок остался без электричества.

В доме Агаты весь запас свечей вышел.

Закончились свечи и в ларьке, и в церковной лавке. Обещали привезти, но только на следующей неделе.

Агата, не раздумывая, зажгла большую белую свечу, перевитую золотой лентой,—одну из двух, что стояли на божнице,—и на миг замерла, в который раз повторяя молитву Богородице.

— Агата... Агата!

Будто окликнул кто. И голос так на голос Петра похож. Только глухой, сдавленный. Как из-под земли или из-под воды.

Она вышла с зажжённой свечой во двор, прикрывая язычок пламени от ветра. Постояла у частокола, за которым были обрыв и море.

Каждой осенью Пётр укреплял частокол прутьями ивы, которые быстро пускали корни и по весне вовсю зеленели, сплетаясь со старыми прутьями.

Так делали его отец, и дед, и прадед. Так делал и он.

Никто не помнит, сколько лет этой живой изгороди.

Здесь никогда не бывало оползней и обвалов, как в других местах, где море отвоёвывало берег и наступало на посёлок.

Со временем получилось, что дом Петра и Агаты стоял на самом краю обрыва.

Когда-то давно тут был маяк.

Теперь маяком служило окно их старого дома, на котором всегда с наступлением сумерек зажигалась лампа или свеча.

— Агата! Открой...

На этот раз голос другой — женский, и совсем рядом.

— Это ж венчальные, — ахнула Нора, соседка, забежавшая за шалфеем, который водился только у Агаты. — Зуб разболелся, мочи нет...

Агата отсыпала немного сухой ароматной травы, пояснила, как заваривать.

— И не жаль такую красоту жечь?

— Это окно выходит к морю. На нём всегда, сколько себя здесь помню, горела свеча. Так было, когда в море уходил дед Петра. Его отец. А теперь и он.

— Так-то оно так, да ведь не напасёшься свечей... Да ещё венчальных.

— Ступай, Нора. И не забудь: полоскать каждые полчаса.

Отвар из шалфея помог, зубная боль помаленьку утихла, и Нора уснула.

На третьи сутки и ветер утих.

Задремала Агата, и ей привиделось, что рыбаки уже вернулись домой, а она проспала их возвращение.

Она проснулась, вышла во двор.

Отсюда хорошо была видна маленькая бухта, на берегу которой и находился рыбацкий посёлок.

На подоконнике догорала вторая свеча, когда в дверь постучали.

Агата открыла, не спрашивая кто, обняла темную фигуру в капюшоне.

— Пётр...

— Вымокнешь. На мне нитки сухой не осталось.

Он поцеловал её в лоб.

— Я уже не знала, что думать. Снимай всё — и к огню, греться. Будем ужинать.

— Погоди с ужином. Агата, у нас осталась терновка?

— Налить?

— Принеси и садись рядышком, сам налью.

Агата сняла с полки бутылку в оплётке с тёмной тягучей настойкой, две чарки.

— За твоё возвращение.

Пётр разлил терновку в чарки, плеснул немного в очаг. Огонь стих на мгновение и тут же разгорелся с новой силой, по комнате поплыл терпкий густой аромат тёрна.

Агата пригубила горьковатую настойку. Хотя и собирала ягоды после первых заморозков, а терпкость осталась.

— Все живы?

— Чудом... Баркас перевернулся в миле от берега. Думал — не выплыву. Сначала было тяжело, потом легче... Потом почувствовал — дно. И уже на дне увидел тебя.

— Меня?

— В белом платье, с жемчужным венцом на голове — будто короной. И со свечой. Нашей, венчальной. Ты её зажгла и искала кого-то.

— Там ещё кто-то был?

— Люди. Много людей. И все будто неживые...

Агата перекрестилась, зябко повела плечами и достала тёплый шерстяной плед.

— И очаг не спасает. Укрывайся. Затоплю-ка я печь.

— Постой.

Пётр удержал её за руку.

— Ещё терновки? — улыбнулась Агата.

— Ты светила в лицо каждому, наклонялась, всматривалась, всё искала кого-то...

— Кого же я могла искать?.. Тебя, конечно.

— А я был рядом. Ты меня не видела. Я тебя звал... Но вслух не мог ни слова вымолвить. И тогда ты закрыла глаза — и услышала меня, и сразу увидела,

взяла за руку и повела за собой. И венца на твоей голове уже не было, а был простой белый платок. Я шёл. За мной — остальные. Невозможно сосчитать, сколько.

— Все вышли на берег?

— Все. Давай за возвращение...

Пётр вылил остатки терновки в чашу, выпил залпом и стал смотреть на огонь, словно что-то пытался там разглядеть.

— Ты, видно, был без сознания, — тихо сказала Агата.

Но он уже не слышал — крепко спал.

Она укрыла его пледом и вышла на улицу. Шторм утих.

Наутро в посёлке только и было разговоров о чудом спасшихся рыбаках.

Каждый из них рассказывал своё: кого-то подхватило сильным порывом ветра, кого-то волной. Хромому Нику привиделась покойная мать — вынесла его на руках, как младенца, и оставила на берегу. Самому молодому среди рыбаков, Игнату, — огромная рыба, хвостом выбросившая его на отмель. Старика, которого все звали Сэм, спасла

маленькая внучка—он души в ней не чаял. Мужа Норы вывела к берегу кошка... трёхцветная дикая бестия, прибавшаяся к ним прошлой осенью. И как только Нора её ни гнала из дому—глядь, а кошка снова на своём любимом месте, у печки. И неведомо было Норе, что муж, дождавшись, пока она уснёт, впускал кошку в дом.

Пётр слушал их и молчал. Он-то знал, что спасла всех его любимая Агата, не пожалевшая зажечь венчальные свечи, её молитва. Её любовь.

— Ты хочешь сказать, что каждый из них спасён кем-то... кем был любим?

— Именно.

— Но ведь бывает и по-другому. И ещё... Никого невозможно удержать над пропастью без воли к жизни.

Тишина стала мне ответом.

И дальний раскат грома, предвещающий возвращение дождя.

История четвёртая. Портрет

О закатах и двойниках

— Закат сегодня невероятно красив!

Я подошла к окну.

— Интересно, где ты услышала эту фразу?

— Нигде,—обиделась улитка.—Моя. И очень красивый закат.

— Закат действительно хорош. А фраза из какого-то старого фильма. Или романа: прекрасная погода, не правда ли?..

Улитка сделала вид, что не услышала.

— Закаты не повторяются. Как море. Как люди и птицы.

— Говорят, что у каждого из живущих здесь есть двойник... Да, и потом, близнецы—они же так похожи.

— Ты говоришь о внешнем сходстве. Если присмотреться—то и в нём можно найти отличие. Здесь нет ничего повторяющегося—всё неповторимо. Уникально.

— А вы, улитки... вы так похожи.

— Примерно как вы, люди. Доброй ночи.

— А обещанная история?

— Смотри на закат.

Солнце опрокинуло чашу неба, янтарные потоки разлились меж облаками, свет смягчился, потеплели тени домов и деревьев, взгляды и голоса. Послышалась песенка цикады.

Случайная строка, залетевшая неведомо откуда, распустила «павлиний хвост» и показалась невообразимо прекрасной, почти гениальной.

Осторожно, едва прикасаясь к оперению невиданной доселе диковинной птицы, чувствуя себя первооткрывателем, создателем, творцом, отпускаю строку, и...

На бумагу ложатся слова.

Обычные, косные, расхожие и обыденные, из которых к утру, возможно, останется одно. Слово.

Идею сплотить неуправляемый седьмой «А» Алле подкинул муж, когда она в очередной раз жаловалась на класс, в котором вынуждена была взять классное руководство после ухода на пенсию Нины Матвеевны. Уж очень та просила. Да и как откажешь первой учительнице?

— Ты справишься, Аллочка. Они хорошие, только прячут себя за бравадой и жестокостью. Сердце у тебя открытое, доброе—детей любишь.

Алла обещала забежать, провести, заодно и поговорить.

В субботу Нину Матвеевну забрала скорая. А утром в воскресенье её не стало.

Так и достался седьмой «А» Алле в наследство от первой и любимой учительницы.

На весенних каникулах всем классом решили отправиться в старый городской парк, бывший когда-то излюбленным местом отдыха многих горожан.

Со временем парк пришёл в запустение, редкие растения, высаженные ещё его владельцем, одичали, здания разрушились. Оставались только пруды, на одном из которых был маленький остров с фанерным домиком для лебедей и уток, но и их давно никто не чистил, а о лебедях с утками помнили только старожилы.

Пришли все. Даже толстушка Тома. Да что там Тома... Пришёл даже Герман, которого в классе не любили за то, что был тихоней, носил очки, за то, что был чистеньким: безупречный пробор, белая рубашка, чёрный костюм с жилеточкой, всегда до блеска начищенные ботинки. За странное имя: кроме как Гера, никто его не называл. Гера Чокнутый.

На удивление, прогулка прошла без особых приключений.

Дети бродили по старому парку, слушали рассказ Аллы о князе—его первом владельце.

Узброшенного здания, в котором когда-то была летняя библиотека, Алла остановилась.

— А здесь на одной из стен была фреска с изображением жены князя, его единственной возлюбленной.

— Где, на какой стене, Алла Николаевна? Покажите... А вы видели её? Она была очень красивая? Как её звали? А что было дальше?

Девочки окружили Аллу. Мальчишки стояли чуть поодаль, но и им было интересно—это чувствовалось по взглядам.

— К сожалению, уже никто не помнит имени, никто не знает, на какой именно стене была фреска. Её написал безымянный художник, влюблённый в жену князя. Князь очень рассердился и повелел закрасить портрет. Каково же было его удивление, когда он, прогуливаясь, по обыкновению, ранним

утром, увидел, что портрет целёхонек. Он приказал наказывать нерадивых слуг и вновь закрасить стену. Но наутро с фрески как ни в чём не бывало смотрела его жена. Тогда он сам взялся за кисть. Но и это не помогло. Князь пришёл в ярость и обезумел. По его приказанию слуги содрали со всего здания побелку и штукатурку—до самой кирпичной кладки, положили новый слой штукатурки и краски. Наутро...

— Фреска проступила сквозь новые слои штукатурки и краски,—раздался в тишине голос Германа.

— Тише ты! Тебе-то откуда знать?..

— Нет-нет, ребята,—Алла увидела, что класс стоит вокруг неё и ждёт; ни смешков, ни мобильных телефонов, ни выкриков—ничего этого не было.—Герман прав. Фреска действительно никуда не исчезла.

— И что же князь?

— Сошёл с ума. Повелел засечь художника до смерти. Подарил городу сад, впоследствии ставший городским парком, и все строения в нём и уехал. — А что же стало с его женой?

— Она исчезла. Поначалу все думали, что она сбежала с художником. Потом, когда бедного художника похоронили, пошли слухи, что она утопилась в одном из этих прудов. Но тела так и не нашли.

Девочки вздыхали, мальчики притихли, и вновь в тишине прозвучал голос Германа:

— Вот эта стена. И портрет. Я его вижу.

— Видит он... Скажи, очкарик, что ты ещё видишь? Хватит врать—достал ты всех уже... И тут выпендриться хочешь...

— Тихо, ребята, тихо.—Алла укоризненно посмотрела на Германа.—Не ожидала от тебя. Признайся, ты ведь выдумал это? Пошутил?

— Нет. Я действительно знаю, где эта стена. И вижу фреску. И знаю, что на самом деле случилось с княгиней. Она сбежала, и её спрятал садовник в своём домике. Жена садовника ухаживала за ней—княгиня долго была без сознания, бредила... — Прямо как ты сейчас,—выкрикнул кто-то.

Все рассмеялись.

— Потом у неё родился ребёнок. Мальчик. Мой прадедущка. Меня назвали Германом в его честь. А её звали Мария.

Голос Германа утонул в новом взрыве смеха.

— Костюмчик этот не он ли тебе в наследство оставил?..

— Хорошо,—улыбнулась Алла.—Если ты в это веришь—пусть так и будет. Но ведь это легенда. Красивая и очень печальная. Но легенда. Нет никаких свидетельств, документов—нет ничего, что подтвердило бы твои слова. Пора по домам, ребята! И не забывайте: в следующее воскресенье мы едем в графскую усадьбу на озере. Ой, мой автобус... До свидания!

Герман направился к трамвайной остановке, но путь ему преградили несколько одноклассников,

и среди них Маринка Петрова, задиравшая и дразнившая его с первого класса.

— Ну-ка, Гера, покажи-ка нам портрет прабабушки!

— Пусть вначале стену покажет,—выкрикнул кто-то сзади, и Герман понял, что окружён.

Подталкивая в спину, они привели его к зданию библиотеки.

— И где же он, портрет, который ты видишь?—выступила вперёд Маринка.—Или его видишь только ты, а мы тут все слепые—так? Может, нам очки нацепить? Одолжишь?

Она сорвала с Германа очки и, будто случайно уронив, наступила на них ногой.

— Ой... прости-прости. Что теперь будет с нашим зрением?.. Ах. Есть портретик?

— Есть,—тихо ответил Герман.

— Что ж ты врёшь, очкарик, а?.. Я тебе сейчас помогу сказать правду.

Маринка подошла совсем близко, замахнулась...

Лиц Герман не различал, перед глазами прыгали размытые грязные пятна, голоса расплывались, смешивались в низкий и монотонный гул.

И вдруг всё стихло.

— Оставь, не видишь, припадок у него...—сказал кто-то из ребят и осёкся, в ужасе глядя на стену.

На ободранной, растрескавшейся от времени стене, у которой лежал без сознания Герман, сквозь слои старой побелки проступал портрет прекрасной молодой женщины с длинными волосами, развевающимися от ветра по обнажённым плечам.

История пятая. Стрелы Времени

Орхидеи, зелёный чай, море и воспоминания

Виноградный лист, освещённый солнцем, покачивается на ветру.

Вижу каждую прожилочку, каждое пятнышко, и легко и светло на душе, словно она—моя душа—выпорхнула на миг из тела и покачивается на молодой лозе, пьёт благодатное августовское тепло и светится от счастья.

Сиюминутное, почти эфемерное состояние, поднимающее над миром и миром, над суетой и болью, над новостями, которые всё больше и больше напоминают колонку криминальной хроники, состояние лёгкости и безмятежности бытия, любви.

Оно пройдёт.

Вернётся мирское и суетное.

Солнце падёт за горизонт, унося с собой свет дня сегодняшнего.

Но в сердце останется ощущение тихой радости, беспричинной и лёгкой, как молодой виноградный листок на ветру, освещённый щедрым и благодатным августом.

— О чём бы ты писала, если бы не море? И писала ли бы вообще?

— Об орхидеях. О закатном луче, пробивающемся сквозь зелень виноградных листьев, о темнеющих виноградных гроздьях. О жизни и смерти. О любви. О маленьких и очень завистливых белых улитках...
— Я не завижуду. Я пытаюсь понять, насколько важно делиться с кем-то своими воспоминаниями и размышлениями. У папы в шкафу книга была с таким названием. На третьей полке стояла.

— У какого папы?..

— У моего, разумеется. Прости, всё время забываю, что я теперь—улитка.

— Теперь... у папы... Откуда это?

— Не только у тебя есть память.

— О прошлых воплощениях?

— Или... о будущих.

— Что ещё ты помнишь?

— Влажная тёплая земля, запахи лаванды и мяты. Золотая роза и глупая белая бабочка на ней.

— Глупая?

— Она рассказывала розе о Турции, о каких-то горящих путёвках all inclusive...

— В чём же глупость?

— Всё закончится быстрее, чем она думает. Вернее—не думает.

Я вспомнила свой недавний телефонный разговор, но промолчала. Маленькая белая улитка права. Я и есть та самая глупая бабочка. Думаю, что буду всегда, не дорожу временем.

«И свято верим, что бессмертны... а нам бы до утра дожить...»

— Что-что?

— Зелёный чай, говорю,—лучшее средство от жары. Хочешь глоточек?

— Слушай историю о стрелах Времени.

— Каролина!

Девочка лет пяти словно возникла из воздуха. Золотистые локоны из-под кружевной шляпки, длинное белое платьице, красные сандалии...

На каштановой аллее парка темно рано.

Мама девочки ещё раз окликнула её, но маленькая модница даже не посмотрела в её сторону. Всё внимание Каролины было приковано к маленькому зелёному кузнечик, каким-то чудом оказавшемся на ладошке.

— Немедленно подойди ко мне.

Девочка повела плечиком. Несколько золотых локонов упали с плеча.

Старушка, дремавшая на скамейке у развилки, вздрогнула и улыбнулась, увидев девочку.

— Это тебя мама зовёт?

Девочка кивнула.

— Не отзываешься? Нехорошо. Поймала стрекозку?

— Это кузнечик. Разве не видите?

— Вижу, ласточка, вижу... Я могу не увидеть камень у себя под ногами, а то, что далеко, теперь вижу хорошо.

— Я бы тоже хотела видеть далеко.

— Не спеши. И в тебя попадёт стрела Времени—и ты будешь видеть далеко, всё знать о будущем и ничего не помнить о прошлом.

— Что за стрела такая? Стрелка от часов?

— Стрелы Времени настигают каждого. Первая стрела—детство. Ранит больно и оставляет самый глубокий след.

— Как от укула?

— Укол—сущие пустяки в сравнении с этой стрелой. Не все замечают её. Не все и не сразу.

Каролина краешком глаза заметила, что мама подошла совсем близко, и поспешно спросила:

— А вторая стрела добрее первой?

— Вторая стрела отравлена ядом одиночества и неверия. Всё становится чужим и чуждым.

— А как же мама и папа?—удивилась девочка.

— Они-то как раз и кажутся самыми чужими. Почти врагами.

— Что же делать? Бежать из дому?

— Представь, многие так и делают. Но нет. Необходимо всё пережить и дожидаться третьей стрелы.

— Она хорошая?

— Она лучшая. Лёгкая и звенящая. В её радужном оперении радость и счастье. От её укула хмелеешь и однажды, проснувшись ранним утром, понимаешь, что умеешь летать. И летишь.

Мама Каролины тихонько присела на скамейку рядом с дочкой.

Девочка слушала старушку, не отрывая взгляда от маленького зелёного кузнечика на ладошке.

— Что же случится потом?

— Четвёртая стрела собьёт тебя однажды на лету—высоко-высоко, когда будешь уверен, что вниз уже никогда спустишься. Не приземлишься. Четвёртая стрела принесёт в твой дом печальные вести о болезнях и смерти родных и близких тебе людей.

Мама девочки сделала предостерегающий жест. — Каролина, нам пора.

— Я останусь. Пожалуйста. Я хочу узнать о четвёртой стреле. И о пятой—тоже.

Девочка умоляюще посмотрела на мать. У неё были огромные глаза в чёрных пушистых ресницах—льдисто-серебристые, серые—и внимательный спокойный взгляд взрослого человека.

— Красивое имя,—улыбнулась старушка.—Кто назвал тебя так?

— Не знаю,—пожала плечами девочка.—Родители, наверное. Да?—обратилась она к матери.

— Так звали твою прабабушку. Мою бабушку. Все называли её Лина, и только самые близкие—Каролина.

— Когда-то давно меня тоже звали так...—вдохнула старушка.

— А теперь как вас зовут?

— Не помню.

Мама девочки встревоженно посмотрела на старушку.

— Надеюсь, вы помните, где живёте? Свой адрес можете назвать?

— Конечно, помню. Здесь недалеко—там, где пятый трамвай делает круг.

— Номер дома помните?

— Я помню дорогу. Решётку старых ворот помню: нужно войти во двор и свернуть направо—у третьего окна, у старой вишни.

— Может быть, вызвать полицию? Они помогут.

— Вы очень добры. Спасибо. Я всё хорошо помню—не волнуйтесь.

— Мама, зачем полиция? Мы же сами можем отвести бабушку Каролину домой. А она по дороге расскажет о пятой стреле и о том, почему кузнецик называется стрекозкой... Расскажешь?

— Расскажу...

Старушка встала, опираясь на тросточку с ручкой в виде улитки.

— Каролина, ты учишься французскому языку? Каждая барышня должна знать французский. Кстати, стрекозу французы называют демуазель...

— Знаю, знаю!—закричала Каролина и, забыв о маленьком зелёном кузнецике, захлопала в ладоши.

Кузнецик исчез в высокой траве.

— А моя бабушка звала стрекозу Синим Коромыслом. А вот кузнецика—стрекозой.

— Как всё перепуталось,—вдохнула мама девочки.—Но вы всё же не забывайте следить за дорогой.

— Нет-нет, не волнуйтесь. Как ваше имя?

— Анна.

— Не волнуйтесь, Анна. Вот мы и пришли.

Они подошли к старинным кованым воротам, вошли во двор и свернули направо—у третьего окна, у старой вишни.

— А как же пятая стрела, бабушка Каролина?

— Пятая стрела приносит избавление от страданий, если выпущена вовремя. Приходи завтра в парк, на нашу скамейку. Придешь?

— Приду!

— Вот тебе открыточка на память.

На открытке была изображена каштановая аллея старого парка и единственная скамейка—у развилки.

Ночью начался дождь, который шёл, не переставая, двое суток.

Он то затихал, переходя на мелкий морсящий шаг, то усиливался.

Ни о какой прогулке в парк мама и слушать не хотела.

Каролина, вздыхая, сидела у окна с книгой и смотрела, как по оконному стеклу сбегает потоки дождевой воды.

Солнце выглянуло только к вечеру на третьи сутки. Наутро Каролина с мамой отправились в парк.

Каштановая аллея была усеяна листьями и каштанчиками в колючих рыже-зелёных dospехах.

На скамейке у развилки лежало несколько каштановых листьев.

— После такого дождя надо бы ещё побыть дома—очень сыро.

— Как ты думаешь, мамочка, она тоже сейчас дома?

— Думаю, да. Сидит в кресле у окна и вяжет внукам шерстяные носки.

— Как жаль, что я не её внук. Мне никто никогда не вязал носки в кресле у окна...

Мама укоризненно покачала головой:

— Твоя бабушка живёт далеко от нас. Но она часто присылает тебе подарки.

— Я хочу, чтобы мы жили все вместе. И чтобы она сидела в кресле у окна и вязала мне носки. И тебе. Чтобы мы ходили гулять в парк, на любимую каштановую аллею. И чтобы папа... жил с нами.

На следующий день Каролина с мамой снова отправились в парк, но скамейка по-прежнему была пуста.

— Мамочка, пожалуйста, давай сходим к ней. Это же недалеко.

— Но это не очень удобно—беспокоить пожилого человека.

— Мы только узнаем, как она... И всё. Пожалуйста.

— И ты не будешь приставать с вопросами? И будешь хорошо себя вести?

— Обещаю.

Они прошли через парк, вошли в старинные кованые ворота во двор, свернув у третьего окна—у старой вишни.

На оконном стекле—изнутри—белел листок бумаги с надписью: «Продаётся»,—и номер телефона внизу.

— Как же так?...—растерялась Каролина.

— Пойдём. Я записала номер—возможно, по нему мы что-то сможем узнать.

Уже у самых ворот их окликнули.

Мужчина с грустными глазами, одетый в серую ветровку и джинсы, держал в руках небольшой пакет.

— Вы Анна? А это, насколько я понимаю, Каролина. Мама рассказала мне о вашей встрече. И ещё... просила передать, что к ней прилетела...

— Пятая стрела Времени?—шепнула девочка.

— Да. И вот ещё пакет. Мы хотим продать её домик и вернуться туда, где жили раньше.

— Раньше?

— До того, как мама заболела. Она хотела, чтобы мы жили вместе—под одной крышей. Переезд к нам она не перенесла бы. Поэтому переехали мы. Я и мой сын.

— Папа, ты скоро?

Из двери выглянул светловолосый худенький мальчик.

— Познакомься, Лёвушка. Это—Каролина. И её мама—Анна. А это—Лев.

— Спасибо... Мы пойдём, пожалуй.

— Если случится вдруг оказаться в Риге—звоните.

— А вы звоните нам, если приедете. И просто— звоните.

Анна записала номер телефона на открытке с видом скамейки у развилки, на каштановой аллее старого парка.

— Вот, возьмите. Это скамейка, на которой любила сидеть ваша мама. И твоя бабушка.

Каролина протянула Льву несколько колючих рыже-зелёных каштанов.

— Осторожно. Они очень острые.

— Не острее, чем стрелы Времени.

Дети понимающе переглянулись.

Придя домой, Анна заглянула в пакет.

Там лежало три пары тёплых шерстяных носков—две взрослых и одна детская.

— Как всё переплелось в твоих рассказах. Разные времена, лица, судьбы... Но что-то же их связывает?

— Конечно. Спирали моего домика. Новый виток—новая жизнь—новая история. Мой домик—маленькая галактика. Не замечала?

— Судя по количеству витков и историй—тебе пять лет? А сколько длится год в твоей галактике?

— Пять минут или пятьсот лет—не имеет значения.

— Ты хочешь сказать, что тебе не страшны стрелы Времени?

— Я ничего не хочу сказать. Всё уже сказано. И записано, надеюсь?

— Записано, конечно.

— Тогда... до следующего витка. И до следующих историй.

ДиН РЕВЮ



Марк Вовченко

Иное время на дворе...

Красноярск: «Буква Статейнова», 2019

Введение

Холод, лёд, вода—и вот
Книжной мудрости печали
В детстве много нам читали,
Но не вовремя, не впрок.
Утекла вода в песок,
Как и время—
Между пальцев.
Кто остался—
Тот без счастья.
Кто ушёл,
То навсегда,
Как весенняя вода,
Тихо, мирно, без скандала
И без чёткого следа.



Падая, ты взлетаешь—
Так ли это важно в усталости
Или нежности непонятной,
Собирая по каплям и выдавливая
Меру своей безопасности в том времени
И ненужности, для точности
В созерцании ушедшего.



Детство.
Вместо стола
Подручный материал—колени.
Уроки школьные на них.
И счастье,
Когда никому
Не нужна единственная
Табуретка в доме.
Она удобнее для
Написания заданий школьных,
Чем пол и колени мамы.



Безмолвие степи,
Миллионы лет всё то же.
И время не течёт,
Пространство—дымка та же.
И заведённый круг—
Хозяина порядок.
И только ты не рад,
Не вписываясь рядом.

Владимир Алейников Незабываемо!

Прощание с созвездием Весов

Ты столько раз являлось мне в юдоли
И столько дней дарило золотых!
И мне ль не знать душевной этой боли?
Я не забыл садов твоих пустых.

Твои дары—свидетели величья,
Твоих щедрот обильней—не найти,—
Я ведал сам—звенела песня птичья,
Всеми внимал—попробуй перечти.

Кто объяснит, когда ты показалось,
Когда прозрел я образ твой в звездах?
Я всё скажу—и, если сердце сжалось,
Ещё я жив—и счастлив днесь в трудах.

Целебный корень в почве отзовется,
Пробьётся ключ под солнцем из глубин—
И каждый миг младенцем назовется,
И каждый шаг отзывчив и любим.

Не говори, что выше понимания
Весь этот строй, где дышит Божество,—
Язык наш прост—и сущность дарованья,
Наверно, в том, чтоб выразить его.

Прости меня,—удерживать не стану,
Но всё же ты побудь ещё со мной,—
Пусть некий гул, как призрак океана,
Возникнет вновь над скифской стороной.

Пусть, в звоне воскресая колокольном,
Костёр пылает в память о тебе—
И ты уйдёшь виновником невольным
Того, что нам завещано в мольбе.

Я буду ждать,—прощанье, нарастая,
Уже обнимет,—вот его и нет,—
Ну вот и всё,—крича, взовьётся стая,—
Но только свет—откуда этот свет?

Скорпион

Сулея, любимица застолья,
Золотым наполнена вином,—
Незабвенным духом своеволья
Сквозь туман повеет за окном.

Не стеснят свободного дыхания
Ни листва, что нынче облетит,
Ни реки холодной нареканья,—
Разве кто вниманье обратит?

У тебя намеренья иные—
Всё поймёшь—увидишь глушь да тишь—
И созвездья знаки водяные
На бумаге сразу различишь.

Ты стоишь у поднятого моста—
Нет за ним ни замка, ни дворца,
Но уйти от пропасти непросто—
Не поднять бессонного лица.

Над тобой—распластанная птица,
За тобой—немалые лета,
И небес осенних багряница,
И степных ступеней пустота.

Не дивись, что воздух стал опорой,—
Это твой и оберег, и знак,—
Ты прошёл над памятью, в которой
Посвящёнье выглядело так.

И теперь, грустнее и мудрее,
Ты обрёл пристанище в любви,
Чтобы сердце билось, не старея,—
Ну а песнь и так у нас в крови,

Чтоб с душою Первенцы творенья
Разговор продлили вне времён,
Где пылает символом горенья
Над землёй пустынный Скорпион.

● ● ●
 Незабываемо!—зови, не дозовись,
 Куда-то вдаль заглядывая редко
 Сквозь этот сад, священный, как девиз,—
 С ним тоньше связь, чем хрустнувшая ветка.

Не то в задумчивости чуткой приутих,
 Не то встряхнулся, ве'домый в тумане,—
 Когда б на то хватило сил моих,
 Зачем бы я загадывал заранее?

Как были дороги и тополь, и орех,
 Их повторенья, конусы и сферы!—
 Не подойти вплотную без помех,
 Не упредить, коль шастают химеры.

Нарушить что-нибудь не так-то и легко,—
 Возьми хоть сад—нельзя его обидеть,—
 И весь теряется, и дышит глубоко,
 Чтоб, чуть прищурившись, опять его увидеть.

Вот так и ты—и тих, и напряжён,
 И смотришь вечерами не напрасно
 Куда-то вглубь, где сам ты отражён,
 Где отрешенье попросту прекрасно.

Пойми—но смилуйся, смирись—но подари
 Весь этот воздух, ставший пеленою,—
 Не гаснут до рассвета фонари,
 Сверчки поют,—скажи мне: что со мною?

Имя любви

Набухли глазницы у каменных баб—
 Не плачут, но будут и слёзы,—
 Открыты их лица, хоть голос и слаб,
 А в сердце—сплошные занозы.

Ах, женская доля!—опять ни вестей,
 Ни слухов о тех, что пропали,—
 Никак не спастись от незваных страстей,
 Поэтому камнем и стали.

О том говорю, что не выразишь вдруг
 Ни тайны—ведь нет ей предела,—
 Ни силы забвенья—ему недосуг
 Тревожить усталое тело.

О том говорю, что в душе прорвалось,
 Чему поклоняемся ныне,
 Зане прозреваем,—и вам не спалось,
 И вы пробудились, богини.

Уста разомкни и его назови—
 Ведь ждёт и очей не смыкает,—
 Нет имени тоньше, чем имя любви,—
 Так часто его не хватает.

И вот он откуда, сей давний недуг,
 Собравший всю боль воедино!—
 Пойдём—я с тобою,—так пусто вокруг,
 Так тесно крылам лебединым.

● ● ●
 Вы, деревья осеннего сада,
 Под навесом трава череда,—
 Знаю: вам утешенья не надо—
 Вы утешите сами всегда.

Отчего так пристрастна природа
 К нашей речи, беспечно-нагой,
 Словно к лучшему времени года
 Подобрать не сумели другой?

Почему же прощает обычно
 Недосказанность слов и примет
 Здесь, где яблоку спеть непривычно,
 Будто осени вовсе и нет?

Не томи ты меня расставаньем
 С этим ржавью покрытым листком,
 Если дышишь, как встарь, узнаваньем,
 Точно птица, трясёшь хохолком.

И знакомства мои беспредельны,
 Да и дружбы на хуже иных
 Здесь, где властвует столь безраздельно
 Этот воздух в пределах земных,

Здесь, где запах разносится пряный,
 Горьковат и привычен на вкус,
 Где почудится, гордый и странный,
 Некий голос—подарок от муз.

● ● ●
 Говорили, что дни не уйдут,—
 Кто вернёт мне хотя б отголоски?
 Грустен пыл и напрасен твой труд—
 Лишь от слёз пробежали полосы.

Не ищи ничего в облаках—
 Так и ветер придёт ненароком,—
 Ты напомни ему о сверчках—
 Пусть ответом смутит одиноком.

И никто не подскажет—к кому
 Подойти и вести разговоры,
 Как слепые, спеша в полутьму,
 Отверзая тяжёлые шторы.

И ужель не поймёшь никогда,
 Отчего без церквей забывленных
 До сих пор так пусты города?—
 В них младенцев не счесть убиенных.

Да и в сёлах, заметных окрест,
 Задушевности как не бывало,—
 И печальны глаза у невест—
 Видно, исповедь их миновала.

Словно колокол был—и пропал,
 Но осталось предчувствие звона
 Меж заречных ржавеющих скал,
 Над извечным пристанищем стона.



Куда спешить?—в садах просторней стало,
Природа медлит—что ей возразишь?
Исчезли тени—этого ли мало?—
И ты поймёшь: вот утренняя тишь.

Есть место всем—и листьям под ногами,
И деревьям в недавней нагоде,
И этим дням, юдольными кругами
Ведущим нас к невидимой черте.

Лишь тучи, к югу чувствуя влечение,
Туда стремятся,—прихоть их пройдёт—
Хрустальный стон со вздохом облегченья
Оконце потайное разобьёт.

И всё, что было скрыто пеленою,
Предстанет перед нами наконец,
Глаза слепя своею белизною,
Чтоб отозваться в трепете сердец.

И, солнце нескончаемое славя,
Блаженствует и плачет птичий хор—
И ты теперь задумываться вправе,
Зачем тебе дарован сей простор.

Декабрь

Этот месяц, последний по счёту,
Размахнется бровями ветвей,
Чтобы в нас настораживать что-то,
Будоражить струенье кровей.

Он поистине выйдет навстречу,
Провожая доверчивый год,—
И тогда, коль успею, замечу,
Чем он за душу сразу берёт.

Он напьётся морозного сока,
Чтоб досталось ему поделом
И тумана молочное око
Растекалось в слезах за стеклом.

Он поднимет набрякшие веки,
Чтоб синели прожилки дорог,—
Знать, порыв не угас в человеке,
Если весь на ветру не продрог.

Пахнет ёлочной терпкою хвоей,
Липнут к пальцам обёртки конфет,—
И мерещится призрачной Троей
То, чего даже в помыслах нет.

Не ищи же в снегу запоздалом
Хоть намёка незримых высот,
К испытаньям готовься немалым,
А не то и январь не спасёт.

Всё осталось в тебе, как впервые,—
С глазу на глаз природа добра,
Хоть смущают шатры снеговые
Холодом роковым серебра.



Ну вот и снежная крупа
На листья сыплется с шуршаньем—
И опустевшая тропа
Своим подавлена молчаньем.

Кусты редуют хризантем,
Ещё не тронуты руками,
Страшая мокрыми совсем
Полузакрытыми белками.

Слепцов озябших странный хор
Они напомнили невольно,—
И сознаюсь—с недавних пор
Смотреть на них мне слишком больно.

Не позабудь—растает снег
На чернозёме и камнях—
Ведь не скрывает человек
Того, что понял в откровеньях.

Уже не спрячешь от него
Свидетельств горя и мученья—
И есть в запасе торжество
И пониманья, и прощенья.

Затем даровано тепло,
Чтоб было с кем им поделиться,—
И вот листву не замело—
И ожил взгляд—а день всё длится.



Ну вот и вечер—сизый дым
Роднит костры по всей округе
С каким-то светлым и пустым
Пробелом, брезжащим на юге.

Собаки лают—знать, прошёл
По этим улицам пустынным
Дурманный запах вязких смол,
Наполнен смыслом половинным,

Недобрым привкусом смутил,
Не удержался от намёка—
И небо мглой охватил,
Запеленав его с востока.

И кто мне скажет, почему
Оно так хочет обогреться—
Как будто холодно ему,
Да никуда ему не деться?

Как будто тянется к нему
Земля с закрытыми глазами
И мнит: неужто обниму?—
И заливаётся слезами.

Надежда Панфилова

По сотам памяти



Морозная свежесть осеннего утра...
Настывшей тропой пробегу к роднику.
По медленным волнам на лодочке утлой
Никто не спешит переплыть за реку.
Забыты и пляжи, и рыбные плёсы:
Другие заботы, другие дела...
Вдогонку за летом под небом белёсым
Притихшая стая гусей проплыла.



Однажды отпустят погосты
И рыбы морской глубины;
Увижу, доступны и прёсты,
Реальностью ставшие сны.
Туманом укроет калину,
Всю белую в раннем цвету,
А я этот берег покину,
Оставлю его темноту.
Живётся беспечно и вольно
Без груза напрасной мечты.
...Калине, наверное, больно,
Когда обрывают цветы?..



Открою Псалтырь.
Отложу карандаш и бумагу:
Давид-псалмопевец
Давно уже всё написал.
Прости мне, Господь,
Непонятную людям отвагу—
Быть именем только,
Что Ты при крещении дал.

Затихнут все звуки.
Рассыплется прахом земное.
Останется имя над данностью,
Будто звезда,
Которая смотрит на мир
И зовёт за собою;
Да только невидимы тропы,
И даже не сыщешь следа.

Бессонница

Когда пройдёт последний караван
И будут пересчитаны верблюды,
Луна рассыплет звёзды мимо блюда
И рассмеётся, усмотрев обман
Волны перенесённого бархана.
Ах, ящерка! Неведомо тебе,
Что все песчинки сочтены до срока,
Что нет невыполнимее урока,
Чем сниться ускользящей звезде,
Ныряющей в окрестностях тумана.
Следы, следы... На запад, на восток.
Вот только что... казалось бы, обидно,—
Здесь был колодец, в нём—воды глоток,—
Всё пересохло. Из колодца видно
Капризную изменчивость Луны,
В ночи её лукавые забавы.

Качается двугорбие спины.
Течёт песок. И где-то—зреют травы.



Зачем ты строишь рынок
у вокзала?
Я сяду в поезд,
где пространства мало,
где стол и полка,
в занавесках щёлка.
Колёса щёлкают
о рельсы на ходу.
Зачем ты строишь рынок?
Я пройду
и не куплю хурмы и винограда.
В окне вагона—
промедленье взгляда.
И проблеск света.
Зачем ты строишь?
Я не жду ответа.
Я уезжаю, не увидев крышу.
Зачем?
— Чтоб слышать,
что пока не слышу.

Галине Рудаковой

По реке поплыла шуга.
Катер вытащили на берег.
Стынут пойменные луга...
Только я холодам не верю.
Мы на острове. Тихий дом.
Банька топится по субботам.
Хорошо посидеть вдвоём,
Позабыв о дневных заботах.
На скамеечке. У огня.
Прикрывая от жара лица...
А за банькой дрожит стерня,
И снежок меж стеблей струится.
Как просеянная мука,
У куста соберётся горкой...
Но невидимая рука,
Раздвигая пространства створки,
Вдруг покажет зелёный луг
И обрыв над крутой излучиной...
Мне с тобой хорошо, мой друг.
Хорошо. И не надо лучшего.

Неуловима бестелесность
Неисчисляемого дня,
Где нет тебя и нет меня,
А только наших душ окрестность
Пересечением лучей—
Пересечением мечей,
Из стали выкованных плотью.
Уже пришёл умелый плотник,
Уже построена ладья...
Уже мгновенья бытия
Уносит быстрое течение...
...Остановить неотречение,
Запомнить неподвижность сна,
Где нулевая кривизна
Включает всё без исключения.

Сегодня пятница.
Тридцатое число.
Запропастилось летнее тепло.
Кружными тропами
округу миновало.
Неспешно мимо старого вокзала
проехал поезд.
Ожиданьем встречи
наполнен мир
и этот долгий вечер,
такой беззвёздный,
такой непроницаемо молчащий,
не бывший
и уже не настоящий...

Скоморохи

Уйти пустынным в чащобу
Иль скоморохом в балаган?!
Душа, как звёзды высшей пробы,
Не тяготит пустой карман.

Но звёзды светят, да не греют,
А скоморох хорош с лица.
Пусть станет людям веселее,
Пусть отогреются сердца.

Вот он с усмешкой в медной кружке
Монету медную встряхнёт
И, подмигнув своей подружке,
По кругу с песенкой пройдёт:

«Жизнь кружится каруселью:
Кто—лошадка, кто—ездок.
Только, помня про веселье,
Не забудь про кошелёк!»

Трудна пустыннику эпоха.
(Крута ракетная дуга.)
Живут в народе скоморохи.
Сияют в небе жемчуга.

Всё мимо:
Вокзалы больших городов,
Полустанки;
Разлуки и встречи...
И чьи-то слова,
И настойчивый, пристальный взгляд,—
Всё мимо...
И только один не пришедший,
Непрожитый вечер
Всё ждёт,
И не знаю: вперёд ли идти?
А быть может, вернуться назад?
Кружение дней—
Окружное шоссе неслияния с жизнью.
Из времени выпав,
Без боя сдаются часы.
И где меня ждут:
На моей
Кем-то в прошлом назначенной тризне
Иль в дальних лугах,
Зеленеющих после грозы?
Увы, между прошлым и будущим
Нет остановки.
Из времени выпав,
Вне времени жить научусь.
Всё мимо. Всё мимо.
Простите, мне даже неловко:
Вы мчитесь куда-то,
А я...
Ну а я остаюсь.

● ● ●
 По сотам памяти
 Разбросан дикий мёд.
 Какую пчёлку выкормлю в неволе?
 Не усташусь ли ожидания боли?
 И радости, когда она придёт?
 Не перепутать замки и замки
 И правильно замкнуть замки на замках!
 Вот—замок детства. Сны в нём так легки,
 Так весело лететь с горы на санках!
 Но вот потом!.. Потом—тащись наверх.
 Тащись наверх. А склон такой крутой!..
 Стемнеет. Позовут идти домой.
 Так и останусь съехавшей к подножью.
 И буду жить в долине до поры,
 Пока вернусь к вершине той горы,
 Где пчёлка мёд альпийский прячет в соты
 И бабочки порхают без заботы.

● ● ●
 Сиротеет душа
 Поздней птицей на выжженном поле,
 Где ни зёрнышка нет, ни росинки,
 Чтоб силы вернуть.
 Если крылья даны,
 Разве кто-то удержит в неволе?
 Заповедан издревле
 Спасительный знаемый путь.
 По весне журавли
 Возвратятся на прежние гнёзда.
 Слёзкой выступит сок
 На берёзовом светлом стволе.
 И цветы расцветут
 На лугах и на старых погостах.
 И пойму я, как просто,
 Как радостно жить на земле.

ДиН дебют

Юлия Комаровская На счастье!

● ● ●
 Коллекции годами собирают
 Из самых неожиданных предметов,
 И облака, и эхо в них бывают,
 А я коплю счастливые билеты.
 Красивые, как будто на рекламе,
 И скромные, без яркого декора,—
 С помятыми в карманах уголками,
 Надорванные строгим контролёром.
 Их у меня не много и не мало,
 А столько, сколько мне для счастья нужно.
 И если вдруг везение пропало,
 Билетики спешат на помощь дружно.
 У каждого билета—номер новый,
 А в сумме половинок—совпадение...
 Вот эта цифра—адрес нашей школы,
 А эта цифра—мамин день рожденья.
 Кусочки счастья разного формата
 Я бережно храню в большом альбоме,
 И от коллекции моей чудакотой
 Светло и благодатно в нашем доме!

● ● ●
 Чудес на свете много—ну и пусть!
 В чужом краю и красота чужая...
 Для русичей земля родная—Русь:
 Великая, былинная, святая.
 Разруху, голод, войны, мятежи
 Пришлось осилить русскому народу.
 Русь никогда от страха не дрожит
 И на колени не вставала сроду.
 Богатыри, дружинники, цари,
 Большевики, советские солдаты
 Крепили Русь, спасали, как могли,
 От гибели её хранили свято.
 Не знаем сотой доли мы того,
 Что сделали бывлые поколенья,
 Но реет флаг российский высоко
 Благодаря их доблестным свершеньям.
 Судить о том, что было, не берусь,
 А вот о том, что будет, точно знаю—
 Останется на карте мира Русь:
 Великая, былинная, святая!

Роман Круглов

В словесной ворожке



Жизнь замерла, и стали не нужны
Мечты и звёзды, чаянья и сны,
Затем они пропали, как сигнал...
Не ты ушла—я сам тебя прогнал,

Поскольку знал, что станешь мне чужой,
Трезвея, становясь самой собой.
Ты справилась. Мне тоже по плечу
Без цели делать то, что не хочу.

Хотя и праздник, и горят огни,
Такие тихие настали дни,
Так на душе беспомощно свежо...
И беспощадный сыплется снежок.



Мир заурядный, человеческий
Перестает мне быть чужим:
Поминки, адюльтеры, речи,
Консилиумы, кутежи—

Всё глупо-сложно в человеках
(Как и во мне—таком простом).
И я давно на ветке века
Обычным трепещу листом—

Дерусь с одними, сплю с другими.
По осени граблями рук
Простая смерть нас всех обнимет,
Встречая, будто старый друг.



Чтоб не в отчаянье лихом,
Без любования грехом,
Без жалости к себе—

Как я раскаяться смогу?
(Я и сейчас, возможно, лгу
В словесной ворожке.)

Подверженный законам тлена,
Я не могу ходить сквозь стены,
Могу лишь биться головой,

От боли огрызаясь всеу...
Я на стене окно рисую,
Однажды я уйду в него.



Оторопь деревьев, судорога вод.
Осень лишнего не тронет, но своё возьмёт.
Что ты лоб набычил? Знаешь ведь давно:
Не трагично всё, обычно—мудро и смешно.

Вся проблема только в хронометраже—
Фильм со вкусом, с чувством меры б кончился уже.

Нужно ставить точку, но сейчас устал.
Ну а так бы ты, конечно, бросился с моста.



Влажные глаза, сухие вина,
Мелкие дела, и не беда,
Что во всём вот в этом дне не видно—
Я и не такое... не видал.

Так за суетой мне и не хватит
Времени, чтоб сесть и в тишине
Осознать, как глупо жизнь растратил,
И затем отчаяться вполне.



Благоухал он без тоски
И цвёл без гневного «доколе?»—
Теперь, почти святой от боли,
На стол роняет лепестки.

Прекрасный мученик, меня
Всего лишь навсего не любят...
В рай попадут цветы, а людям—
Познать все прелести огня.



Я грешу. Опыт книжный
И мораль—бесполезны...
Может быть, после нижней
Будет верхняя бездна?

Из греховного быта—
Из питательной гнили—
Я цветком гиацинта
Расцвету на могиле.

Триптих

Я. Д.

I.

Завтра конец света.
Что же, пойдём в ресторан.
Мир не исправить, и знание об этом —
Непоправимый изъян.

В будущем — мрак, будто
И настоящего нет.
Апофеоз безутешного бунта —
Нервный гостиничный свет,

Мягкие шторы с кистями...
Высшие силы не мстят:
Мы всё изменим, хотя и не сами, —
Верь, и за веру простят.

II.

О страхе и о неверии
Даже в душе — молчи.
Это не лицемерие.
Просто представь: лучи

Станут стальными спицами,
Будут уколы спиц
На бортовых самописцах
Мимо летящих птиц,

В небе проступит прозелень
Краски заката умрут,
Нашепчет об этом поползень
Тополю под кору,

Вести впитает с поверхности
Чутких корней амбир...
Всё остаётся в вечности —
Не засоряй эфир.

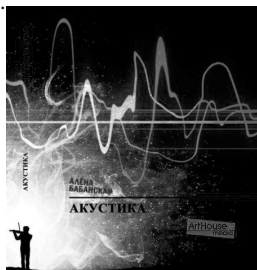
III.

Мы будем жить не вопреки,
А потому, что всё непоправимо —
Весной цвести обрубками кривыми,
Перерастать свои грехи.

И если ты меня предашь
Или умрёшь — и одному придётся...
Стерплю. Судьба сама прядётся —
Ей бунтом форму не придашь.

Проходят формы — талая вода:
Нет вечного ни в старости, ни в страсти.
А мы с тобой впечатаны в пространство —
Всегда.

ДиН РЕВЮ



Алёна Бабанская

Акустика

Москва: «Арт Хаус медиа», 2019

«Акустика» — вторая книга московского поэта Алёны Бабанской. В неё вошли стихи 2014–2019 гг. Это короткие стихотворные притчи о любви и нелюбви, о жизни и смерти, о хрупкости, мимолётности всего сущего, о связи божественного и тварного. Автор пытается через малое познать макрокосм, вслушиваясь в звучание самой жизни.

Мой добрый бог с сигаркою в руке
Творил меня на фрезерном станке.
Чтоб божий дух во мне не умирал,
Он лишнее, как стружку, выбирал.
Из ангелов кто против был, кто за,
Но резвая работала фреза.
Пускай из деревяшки изваял —
Для мастера не важен матерьял.

А если дерево — дичок,
С тугими мелкими плодами,
В нём время медленной течёт,
Не замутнённое садами.
И от него всего-то прок,
Что летом тень и птичий посвист.
Всё между строк, всё между строк.
Всё — ненаписанная повесть.

Владимир Пономарёв

Над горизонтом судьбы



Расползаются по небу серые тучи,
Словно грязная акварель по мокрой бумаге.
А я иду и думаю, что было бы лучше
Спрятаться в какую-нибудь будку для собаки

И не высовывать носа, пока не стихнет ветер,
Который сшибает с ног и рвёт крыши,
Не желая больше ничего на свете,
Кроме горячего чая и воротника повыше

Да пятна на небе в тёплом тоне
Для цветового контраста в этот рисунок невзрачный.
Его не хватает на сером фоне
Пейзажа, который я бы раскрасил иначе...

В день рождения другу-поэту,
уехавшему в Питер

Ты затерялся в смутном Питере,
Что закодирован в три литеры.
По мне, так словно на Юпитере—
Неизмеримо далеко!

Рад ты тому или печалишься—
К тебе так просто не завалишься,
Бутылкой водки не «запалишься»,
Всё это сделать нелегко.

Ты нынче стал как привидение,
И чтоб поздравить с днём рождения—
Я этот «гимн грехопадения»,
Увы, слагаю «за глаза».

Ах, где уют древесно-стружечный
На кухне той, почти игрушечной?
Ах, где наш диалог нешуточный,
Который завершить нельзя?

Ты заблудился в смутном Питере,
Где собрались одни ценители...
Послать бы всё нам на три литеры,
Присесть к столу, налить сто грамм.

Но расстоянья непреложности
Оставили лишь две возможности
Преодолеть все эти сложности—
В «Фейсбуке» или в «Инстаграм».



...А в мутном полусне слагались строки
О том, как в полуяви жизнь текла
Там, где сквозь капли мокрого стекла
Был горизонт судьбы такой далёкий,

И лучшее, казалось мне, вдали,
Где лилии ещё не зацвели.

Но в смутном полусне бледнели мысли,
И полуявь свою теряла власть.
Дождь за окном стучал уж битый час,
Над горизонтом облака нависли,

И лучшее не виделось в оправе
Туманных полусна и полуяви...

Украинцу

Мы в разных городах и странах,
Мы в разных нишах бытия.
Неважно, что у нас в карманах
И результатом чьих обманов
Сегодня стали ты и я.

Важнее—где ты видишь правду
И как воспринимаешь ложь,
Важней—куда и с кем идёшь,
И что ты скажешь мне как брату,
И что в конце концов поймёшь...

Опечатка

Тут не театр, а «теарт»,
И эти—«арт», и те, конечно!
(Увидеть в опечатке нечто—
Неописуемый азарт!)

А может, это «чайный арт»—
И этим «арт», и тем заварят,
И что-нибудь ещё подарят.
Таков стандарт!

А может, данная фигура
Не слово—аббревиатура?
А может... Что ещё сказать?
Чудно с ошибками писать!

Аркадий Гонтовский

Ижица



Ещё как будто синева
Воркует стай голубиной,
И в шёпote бредут слова
Издаleка, как пилигримы,
Идут к тебе, но всё обман:
То осень бродит по двoрам,
Заглядывая с грустью в окна.
Она, конечно же, с утра
В дождливом мoроке промокла,
И ей давно уже—пора...
Покуда теплятся слова,
Покуда ты—ещё с любимой—
Глядишь, как стай голубиной
Слетает под ноги листва.

В прозрачности осенней

В небес прозрачности осенней,
Когда за грустью даль слышна,
Есть отголоски песнопений,
И шорох звёзд, и шёпот сна

Над ускользающим от взгляда
Движением—то не спеша
Вскипают волны листопада:
Ты слушаешь, и льнёт душа.

Пленённая многоголосьем,
Она глядит на времена
Сквозь всепрощающую осень
И вспоминает имена...



В конце посёлка через луг—
Железная дорога,
И поезда: тук-тук, тук-тук,—
Грохочут понемногу.

И в каждом—тыщи лошадей
Хрипят и тащат грузы,
Куда-то вдаль везут людей
Из бывшего Союза.

Куда-то вдаль, куда-то прочь,
Куда-то за потребой...
Тук-тук, тук-тук—стучится ночь
В захлопнутое небо.



Бессонница. Поднялся в восемь.
Облокотившись у окна,
Гляжу, как исчезает осень:
Вот лист упал—и тишина
С падением соприкоснулись.
И непрестанно облака,
Что странниками свысока
Бредут над пропастями улиц,
Роняют дождь.

Текут по стёклам
За каплей капля, ткut узор,
Плывёт, покачиваясь, двор.
И вся Вселенная промокла.
Такой нелепый лезет вздор
Картину в оконной раме,
Где затухающее пламя,
И осень, мокрая от слёз,
Свела продрогшими краями
Всё, что когда-то не сбылось.

Ижица

Ночь. Поэт стихами пыжится
Необъятное объять,
Не хватает только ижицы,
Чтобы выдохнуть на ять.

Звёзды вместе с ним корячатся,
Прогибаются под ним.
А ему зачем-то плачется,
Что не умер молодым.

Он, конечно, перебесится,
И сойдут в его тетрадь
Тишина и росчерк месяца
С ударением на ять,

Где вся бездна расстояния
До мерцающей звезды
Вдруг наполнится звучанием
Покатившейся слезы.

И пока поэту слышатся
Небеса и сны трущоб—
Мир стоит, и Богу пишется,
Что-то пишется ещё...

На излёте

День обезличен. Вечер пуст.
За окнами фонарь устало,
Как зачарованную грусть,
Свет выдыхает вполнакала.

Мы с ним давным-давно дружны
И понимаем — с полувздоха,
Он светит так, когда мне плохо.
И сердце ищет тишины,

Чтоб — в ней исплакавшись — пролиться
Нещадной грустью на листы,
И сжечь страницу за страницей,
Сгорая в них до немоты,

И падать в уходящем свете
Сквозь слёзы, сумерки и гарь
Туда, где сгорбленный фонарь
Один — за целый свет в ответе.

Подари мне, осень, пару строк
От своей неразделённой грусти,
Пусть от нас двоих летит листок
Письмом в родное захолустье,

Где не слышно, как железный век
Обрывает в полночи колёса,
Где туманы из полночных рек
Пьют твои нечаянные слёзы.

Приоткрой иные словари
Древних исчезающих наречий,
Чтобы мог поведать, как горит
Лист берёзы у пустых скворечен,

Как поют неспящие дожди
Заболевшей сентяблями чаще...
И душа задумчиво глядит
В этот мир живой и настоящий.

Дрожь дождя в фонарном свете,
Шорох капель по стеклу.
Шорох, шёпот — это ветер
Пересказывает мглу,

Перешёптывает листья,
Пересказывает дождь
И не знает больших истин,
Чем влюбиться в эту дрожь.

...Тихо. Зыбко. Безответно.
Словно ты чего-то ждёшь,
С тишиною вслед за ветром
Перешёптывая дождь,

Повторяя: «Боже, Боже,
Сколько нежности во мгле...»
И всё тонет в лёгкой дрожи
Светлых капель на стекле.

Тишина и солнечные блики.
Дремлет свет на золотой листве.
Журавлей растаявшие клики.
Сны и шёпот. Осень в колдовстве.

И глядит бездонными очами
Бывшее со мной и не со мной,
Словно я допущен до венчанья
Красоты земной и неземной.

Было всё — и горести, и лихо,
Но сегодня нежностью прощён.
Господи, как трепетно и тихо,
Только даль и даль со всех сторон.

Я ловлю и, замирая, внемлю.
Каждый вздох спешу предугадать...
Свет стекает листьями на землю,
Чтоб землю будущему стать.

Геннадий Васильев

Нехорошо об ушедших

Бабушка

Бабушка собралась в поликлинику. Её уже давно мучила одышка. Несколько раз обследовали в стационаре, наконец поставили диагноз: ИБС — ишемическая болезнь сердца, — и отпустили с миром. С одышкой легла в больницу — с одышкой вернулась. Ничем ей не помогли, если не считать диагноза. Ну а диагноз — не лечение. Таблетки, что ей прописали при выписке, были — мёртвому припарки. Получала она их по льготе, но если б ещё помогали...

И вот она собралась в поликлинику, к участковому врачу, узнать: нельзя ли назначить такое лечение, которое бы помогло? И на всякий случай узнать: а может, никакая не ИБС у неё («ишемическая болезнь» бабушка выговорить, хоть убей, не могла, получалась какая-то «и...мическая»), а астма?

Стояла затяжная весна — холодная, хотя без дождей. Бабушка оделась тепло: на ноги — чуни, которые ей купила внучка, на себя — старое, «сесимезонное», как она называла, пальто, повязалась платком, в руку — старую свою палку, и пошла. Палка эта досталась ей от отца, тому — от его отца, её деда. Была она деревянная, суковатая, струганная и ошкуренная, покрыта тёмным лаком. Обычный сук, крепкий и надёжный, как всё старое.

Внучкина квартира, в которой теперь вместе с внучкой жила бабушка, была на первом этаже. Пять ступенек вниз, потом ещё три — с крыльца. Она спустилась, опираясь на палку, медленно пошла по улице, бережно лелея свою одышку. Поликлиника находилась в трёх кварталах, надо было идти немного в гору, эта гора для неё и служила настоящим подвигом. Ододела. Совершила подвиг. Она постояла на светофоре, отдышалась. Горел зелёный, но она не торопилась, отдыхала. Перешла улицу, потом ещё одну — под прямым углом. Вот и поликлиника. Когда-то в этом доме располагался ружейный магазин, держал его один француз. Ничем не был магазин знаменит, кроме одного: здесь, отправляясь в царскую ссылку в Шушенское, мировой вождь покупал себе ружьё и припасы для охоты. Такая выпала ему ссылка.

На двери главного входа была прилеплена бумажка, на ней — печатными буквами: «Вход в поликлинику», — и стрелка налево. В поликлинике делали ремонт. Бабушка вздохнула, обошла здание, зашла с чёрного входа. Там на стене тоже висела

бумажка — стрелка показывала вверх: «В регистратуру через 3 этаж». Бабушка немного посидела на стуле — позаботилась администрация, стулья поставила, — снова вздохнула и, опираясь на палку и цепляясь за поручень, стала подниматься. Заняло это много времени, она останавливалась через каждые три ступеньки, отдыхала на всех площадках, но сердце всё равно стучало неровно. Наконец поднялась на третий этаж. И снова увидела табличку: «Регистратура — 2 этаж». Надо было пройти по всему замысловатому коридору, по широкой лестнице в два пролёта спуститься на второй этаж, постоять в очереди в окошко, взять карточку и талон — и вернуться назад. Нужный кабинет находился на третьем.

Она испугалась: если спустится — уже не поднимется обратно. «Вот ведь пропасть... Знала бы, что ремонт, — не пошла бы. Что ж теперь — возвращаться?» Она подошла к кабинету участкового терапевта. Три человека сидели, ждали своей очереди. У всех были талончики с указанным временем. Бабушка заискивающе спросила: «Все сюда?» Ей не ответили, только посмотрели выразительно: куда ж ещё? Кабинет-то один. Самая молодая не выдержала, кивнула:

— Сюда, бабушка. А у вас талон на какое время?

— Да нет у меня талона...

— Так ты, бабуля, сперва пойдёшь в регистратуру да возьми талон, а потом спрашивай, — раздражённо сказал пожилой мужчина в спортивном костюме. — Без талона кто тебя примет-то?

Третья пациентка, женщина средних лет, не повернула головы, говорила по телефону.

Бабушка снова, в который уж раз, вздохнула.

— Если спущусь — обратно не поднимусь. Одышка, — пояснила она безнадежно и собралась уходить.

Девушка внезапно сжалилась:

— Ладно, бабушка, я тут вроде крайняя самая, идите передо мной.

— Спасибо, внучка, — бабушка благодарно посмотрела на неё, села на свободный стул.

Участковая была новая, принимала долго, время в талонах никак не отвечало тому, что она тратила на каждого больного. «Видать, основательная, не просто так: „Откройте рот, закройте

рот, дышите— не дышите“. Старая-то— всё по расписанию, и посмотреть толком не успеет, а уже кричит следующего»,— думала бабушка про себя. Наконец очередь дошла. Девушка еще раз кивнула: — Идите-идите! Только недолго, а то мне на работу надо вернуться.

— Я скоро, только лекарство спрошу,— заторопилась бабушка.

Она зашла, поздоровалась. Врачиха была молодая, чуть старше девушки в очереди. Она что-то писала; не поднимая головы, кивнула на стул: — Минутку...

Отложила ручку, подняла на бабушку очки.

— Ну, на что жалуемся?

— Одышка меня донимает. Диагноз мне поставили— и... ми... ИБС, в общем.

Врачиха улыбнулась:

— Ишемическая болезнь, понятно. В вашем возрасте не редкость.

— А я думаю: не астма ли? Больно уж дышать тяжело.

Врачиха снова улыбнулась:

— Ставить сами себе диагноз мы все мастера. Ну что ж, давайте карточку, будем смотреть, чем вас лечили.

— Так не взяла я карточку.

Глаза за очками удивились:

— Как так? Ну а как же я могу знать, что с вами делать? Я здесь недавно, вас не лечила, вы для меня— новый пациент. Что ж вы карточку-то не взяли? Как без неё?

— Так я же говорю: одышка, если вниз сойду— уже не поднимусь обратно...

Врачиха сняла очки, протёрла их, постучала задумчиво очками по столу. Решительно встала.

— Ладно, ждите, я сейчас,— и вышла.

Девушка заглянула в кабинет:

— Бабуля, куда это она? Я ж так на работу из-за вас опоздаю.

Бабушка пожалала плечами, виновато улыбнулась:

— Ничего не сказала, вышла— и всё.

Минут через пять врачиха вернулась. Очки смотрели теперь строго, почти неприязненно.

— Нет вашей карточки в регистратуре,— сказала она, и в тоне её слышалось открытое осуждение.— Что ж вы мне голову морочите? Я и на прежней работе с этим сталкивалась, и здесь уже. Вот так возьмут карточку, унесут домой, а потом приходят— и мы, как ищейки, бегаем по всей поликлинике, следы отыскиваем. Если уж домой унесли— что ж не взяли с собой-то?

— Не брала я карточку,— пыталась оправдываться бабушка,— я и была-то здесь не помню когда последний раз.

Вдруг сообразила:

— Может, внучка взяла, да мне забыла сказать?

— Зачем же внучке ваша карточка?— снова удивилась врачиха.

— Ну, проконсультироваться с кем хотела, может. У неё знакомые врачи есть, а в карточке— выписка с диагнозом, лекарства...

Участковая смотрела на неё уже почти с ненавистью.

— Ну вот что. Без карточки я с вами говорить не могу, я даже слушать вас сейчас не стану,— она кивнула на фонендоскоп,— вы всё чужое время уже на себя забрали. Найдёте карточку— приходите, будем думать, что делать с вашей... одышкой,— и вдруг спросила:— Скажите, а сколько лет вам?

Бабушка замаялась— она никак не могла запомнить свой возраст накрепко, каждый раз считала от рождения.

— Семьдесят семь, получается...

Врачиха наклонилась к ней всем корпусом:

— Так что же вы хотели?

Бабушка уже открыла рот, чтобы ответить: мол, лекарство хотела такое, чтобы помогало,— взглянула в очки— и вдруг поняла смысл вопроса. Встала, опираясь на палку, пошла к двери. Удвери оглянулась:

— И правда, что я хочу? Когда же и быть одышке, как не теперь?

И добавила, уже открывая дверь кабинета:

— Пожить вот ещё малость хотела. Но раз без карточки нельзя, что ж...

Домой она шла быстрее— и под горку было, и торопилась, думала: придёт, позвонит внучке на работу, попеняет: что ж не сказала, что карточка у неё? Она бы и с дороги позвонила— вот беда: со-товый телефон ей внучка подарила, а пользоваться им она так и не научилась. Тыкала бестолково по кнопкам— попадала куда не надо. Ладно, позвонит из дома. И спохватилась: она ведь и сама внучку не предупредила, что к врачу собирается, не хотела беспокоить. Чего уж пенять...

Дома, отдышавшись у порога, прошла к себе. На телефонном аппарате красным мигал автоответчик— значит, пока её не было, кто-то звонил домой и оставил сообщение. Как послушать автоответчик, она помнила. Бабушка нажала нужную кнопку, стала слушать: «Это с поликлиники звонят, с регистратуры. Я извиняюсь, мы нашли вашу карточку, она не в той ячейке лежала. Вернитесь в поликлинику, доктор вас ждёт, она принимает до...»

Бабушка всхлипнула, но плакать не стала. Посидела молча. Потом сама себе пошевелила губами: — Вот как... Нашли, значит, карточку... А я-то думала— внучка взяла, а мне не сказала...

Меч карающий

Конспект одной жизни

1.

В детстве он тонул. Да кто не тонул в детстве? В речном затоне формировали плоты, потом

их тащили по реке буксиры в неведомую даль. Брёвна для плотов—лиственница ли, сосна мачтовая, он не знал,—свободно плавали у берега, оцепленные, чтобы не унесло течением. Целое поле. По древесному полю можно было бегать, имея сноровку: мокрые брёвна крутились в воде, и надо было успеть перепрыгнуть на другое, прежде чем бревно под тобой повернётся мокрым боком. Он не успел и провалился между. Бревно под руками крутилось, удержать его было невозможно, и он тонул. Плавать не умел. Обиднее всего, что всё происходило в трёх метрах от берега. Напуганные друзья-пацаны бегали у кромки воды и кричали: «Тонет!» Спас его соседкин квартирант. В два прыжка перемахнул расстояние, отделявшее от берега, схватил под мышки, швырнул на траву. Глянул в выпученные глаза—и влил подзатыльник, от которого он на секунду ослеп.

— По гроб жизни должен будешь мне, пацан! — сказал спаситель и ушёл, матерясь.

Благодарность за спасение смешалась с чувством безотчётной неприязни. Выходит, тот его в долг спас. А долг—то, что рано или поздно придётся возвращать. По малости лет он, конечно, не мог так думать. Думал потом, когда вспоминал. Брёвна ещё долго крутились перед глазами, готовясь накрыть его навсегда. И затылок ныл, вспоминая подзатыльник.

Этот квартирант, снимавший у бабки-соседки угол, был студент техникума. Станный человек. Однажды бабка застала его лежащим головой на пороге—глаза закрыты, язык вывален, пена. Эпилептический припадок. Бабка с перепугу села на пол и заплакала. Он открыл глаза, спрятал язык, вытер пену:

— Чего плачешь, старая? Не плакать—скорую вызывать надо. Репетиция это была. В следующий раз за врачом беги.

Она не поняла ничего. Стала относиться к квартиранту с боязнью. Но гнать не торопилась: ждала обещанных денег. Он задолжал, клялся уплатить вдвое:

— Работа у меня тут наклёвывается денежная, заживём! Долг отдам и ещё сверху посеребрю!

Она и ждала. А его посадили.

Когда милиция приехала, завыва сиреной, он снова упал на порог, спросил:

— Помнишь, что говорил? За врачом беги, не то... — и погрозил волосатым кулаком.

Вывалил язык, пустил пену, закрыл глаза, задышал припадочно. Бабка милиционеров встретила, икая от страха. Молча показала на припадочного. Старший подошёл к телу, отвернул веки. Пнул несильно в ребро:

— Вставай, эпилептик сраный! Не знаешь даже, что при припадке глаза закатываются. Сестра у меня болезнью этой болеет. Нашёл кого дурить.

Квартирант перестал придуриваться, дал надеть на себя наручники. Бабка схватила его за рукав:

— А деньги?

Тот криво усмехнулся, кивнул на милиционеров: — У них теперь проси, старая. А за меня свечку поставь, если умеешь.

Тут же провели обыск. В середине толстой книги «История Коммунистической партии Советского Союза» страницы были причудливо вырезаны. Контур напоминал пистолет. Пистолет в эту нишу и помещался. Только теперь его не было.

— Твоё оружие? — негромко спросил старший, вынимая из сумки целлофановый пакет с чёрным предметом.

На арестованного он не глядел. Тот снова усмехнулся, не ответил. Старший так же не глядя и, кажется, несильно ткнул предметом в живот—студент охнул, согнулся, двое других в форме его подхватили. Старший махнул рукой—парня увели в машину.

Перепуганную бабку ни о чём спрашивать не стали. Зато она насмелилась, спросила: что натворил-то? Милиционер посмотрел на неё внимательно, вдруг снял фуражку, сел: — А расскажу, пожалуй.

Студент с двумя такими же, как он, совершил вооружённое ограбление. Это по науке. На деле же они остановили на дороге ехавшего с фермы тракториста, думали—он с зарплатой. Грозил самодельным пистолетом, согнали с трактора. Мужик оказался с норовом, как-то исхитрился прихватить из кабины монтировку, выбил пистолет, стал охаживать ближайшего. Двое других, однако, подмяли его, оглушили, вывернули карманы. Денег у тракториста оказалось—пятнадцать копеек, и те одной монетой. От вскипевшей злости и нахлынувшего страха троица изуродовала мужика его же монтировкой до полусмерти и скрылась, забыв пистолет. В больнице тракторист умер.

Бабка охала: вот кого приютила, вот какая работа денежная у него «наклёвывалась»... И некстати вспомнила:

— Он тут недавно мальчонку соседского из речки спас: тонул...

Старший покривился:

— Может, зачтётся ему... на том свете.

2.

В одиннадцать лет его чуть не зажалили до смерти пчёлы. Родители расходились, порознь оба переехали из Сибири в Нечерноземье, здесь сошлись опять. Лето в этих краях—жаркое, сухое. Знойным днём забрёл на совхозную пасеку. Были на нём одни трикотажные штаны, закатанные по колено. Пчёлы возмущённо погалдели—и обрушились на лоснящийся потом торс. Сперва он от них отмахивался, потом побежал в панике, а после уже ничего почти не чувствовал, только выли и катался

в овсе, теряя силы. Спасли его командированные на уборочную городские водители. Кто-то увидел издали, сначала не понял, чего это пацан так мечется, а догадавшись, погнал грузовик на всей скорости, схватил мальчика, забросил в кузов — и снова по газам. Привёз сразу в медпункт. Из кузова его вынесли, самому спуститься не было сил. Тело билось, как под током. Ни говорить, ни соображать он не мог, только всхлипывал без слёз. Прихрамывающий отец, заведовавший медпунктом, подхватил на руки, уложил на кушетку. Вызвали скорую из района, та приехала быстро. Его увезли в больницу. Три дня полоскало непрерывно, только успевали тапки оттаскивать. Во рту стоял противный вкус пчелиного яда. На одной руке отец выдернул пятьдесят шесть пчелиных жал. Дальше считать не стал. Получалось, что ради его гибели своих жизней не пожалели сотни три полосатых тружениц.

Навестить приехал водитель того грузовика — с опухшей и перекошенной физиономией, заплаканным глазом. Пяток пчёл подарили свои жала и спасителю. Сам же пострадавший не опух ничуть. Врачи качали головами: «Феномен! Теперь никакой ревматизм не страшен!»

Бездетный водитель, не зная, чем утешить спасённого подростка, привёз баночку мёда. Пчелиного. Он увидел — и заплакал. Тот смешался, ушёл, кляня себя.

Долго потом ещё, наказанный пчёлами, не мог он видеть мёд, переносить его запах. Не мог ходить на колонку за водой: к ней всегда летом слетались на водопой не пчёлы, так осы.

А пасека скоро сгорела. В валках на поле загорелся хлеб, огонь мгновенно добрался до ульев, и через пару часов от пасеки остались дымящиеся головешки. Пасечник, который каждому улью дал «семейную» фамилию, а с пчёлами четверть века общался без дымокура и защитной сетки, слёг от горя.

3.

Через год он подхватил стригущий лишай. Купались в пруду, где пастухи поили коров. Больше в тех краях купаться было негде. Коровы и занесли заразу в воду. Перед школой, накануне первого сентября, родители отправили его в район стричься. Парикмахерша, только успев запустить машинку в отросшую за лето шевелюру, охнула:

— Господи! У тебя же вся голова в лишае! Что ж мне с машинкой-то теперь делать? Её же стерилизовать придётся!

Ещё поохав, она всё-таки достригла его и сказала:

— Дуй домой скорее, скажи родителям — пусть в больницу тебя везут!

Он, по малолетству и лёгкости восприятия жизни, ничего не понял. Приехал домой на попутке —

шофёр всю дорогу косился на его пятнистую голову. На высоком, выше взрослого роста, крыльце стоял отец. Глянул на него сверху, посерел лицом. Вынес из дома берет, строго приказал не снимать ни в каком случае. Наутро повёз за сто километров в специальную больницу, где лечили кожные болезни.

Больница была детской. Мест не хватало, и в переполненных палатах спали иногда по два человека на кровати. Мимо процедурного кабинета старались лишний раз не проходить: оттуда всё время слышались детские крики и плач. Там рвали волосы. Сначала голову намазывали вонючей чёрной мазью, бинтовали, корни волос от мази размягчались, потом юного пациента сажали на низкий табурет, сестра или медбрат накрепко зажимали голову меж своих колен — и пинцетом выдёргивали волосы. Процедура варварская, но, объясняли детям, необходимая. Иначе стригущий лишай не вылечить.

Постоянная боль, вонь от мази, духота и смрад в палатах вызывали у детей раздражение и злость. Те, что повзрослее, нередко дрались между собой, а если не было повода подраться — издевались над мелкими. Все дети были лысыми, носили перепачканные мазью панамы, и в общем туалете, не делившемся на «мальчиковый» и «девочкин», нелегко было различить, кто сидит орлом на толчке — мальчик или девочка.

Больница была далеко, и мать сумела приехать только раз. Увидела — ужаснулась. Она сама работала медсестрой и понимала, что в таких условиях его не только не вылечат как следует, а снабдят чем-нибудь похуже: разновидностей этой кожной болезни очень много. Несмотря на расстояние, она через два дня приехала снова, привезла одежду, тайно переодела его в палате, вывела за ворота — и вернулась в больницу требовать выписку. Главврач долго сопротивлялся, боясь ответственности, в конце концов плюнул, приказал выдать выписку, а наедине неожиданно сказал:

— Вы правильно сделали. Мы его здесь залечим. Всю жизнь потом мучиться будет.

Отец сходил в школу, договорился с директором, что ему разрешат сидеть на уроках, не снимая берета. Аргумент прозвучал убедительно: его изуродованная голова напугает кого угодно. Директор отдал устное распоряжение, учителя провели беседы с учениками, и скоро его берет перестали замечать.

Все, кроме одного. Тот был старше двумя классами, здоровее физически и при каждом удобном случае, когда рядом не было взрослых, норовил стащить с его головы берет. Издевательски смеялся, приглашая к веселью других. Он плакал от злости и бессилия. Родителям не жаловался: не видел смысла.

Вылечить болячку в больнице успели, но предупредили: волосы, скорее всего, никогда не отрастут.

Отец, прирождённый лекарь, хоть и без высшего образования, что-то покумекал — и раз в неделю стал брить ему голову. Сначала было больно, потом кожа привыкла. После десятого или пятнадцатого бритья волосы вдруг полезли, да такие, каких у него отродясь не было. Курчавые, жёсткие, норовистые. Началась другая мука — каждое утро их расчёсывать. Мелкая расчёска не брала вовсе, но и крупной они слушались неохотно. Зато шевелюра обещала вырасти такая, что на него стали обращать внимание девчонки и даже девушки.

Мучитель-старшеклассник наконец от него отвызался.

А спустя годы его недруга и самого настигла беда. Службу в армии он проходил в Семипалатинске. Во время очередных испытаний случилась авария, воин надышался страшным веществом — гептилом. Он не только облысел за месяц, но заработал туберкулёз, который развивался стремительно. Комиссовать его не успели: умер в госпитале.

4.

Призвали в армию и моего героя. На пересылке, обритый, стоял, ёжился от осеннего холода. «Покупатель»-старлей скомандовал:

— Кто на трубе играл на гражданке — шаг вперёд!

Не думая, сделал шаг. Забрали в музыкальную роту. Позже испугался, подошёл к «покупателю» уже в вагоне, по пути к месту:

— Товарищ старший лейтенант, пошутил я, не играл сроду, только на баяне умею, и то плохо.

Старлей посмотрел весело и нетрезво:

— В армии как? Не можешь — научим, не хочешь — заставим... — развернул, лёгким пинком под зад отправил на место в вагоне. — Иди, музыкант. Радуйся, что не в стройбат.

Пришлось выучиться. Играл на тубе. Во время исполнения гимна выпустил из инструмента неприличный звук. Легко отделался: дали по голове тубой, отправили грести снег на плацу. Мимо проходил полкан. Он отдал командиру честь лопатой. Тот остановился, изумлённый:

— Ты что, солдат? Ты е...нул?

— Так точно, товарищ полковник! — отчеканил, не выпуская лопаты, отдавая честь левой рукой. — Меня тубой е...нули.

— Что?! — взревел полкан.

Прямо с плаца отправился на «губу». Фамилия полковника была Тубо.

На гауптвахте провёл два дня. Дурным голосом орал похабные песни. Предупредили. Не внял. Караул сменился. На второй день зашёл сержант — начальник караула.

— Поёшь?

— Так точно!

— Поплясать не хочешь?

— Никак нет!

— Придётся, — вздохнул сержант и сильно пнул в промежность.

Ударился о стену, сел на задницу, успел сказать: — Лишил наследников, козёл... — и потерял сознание.

Пришёл в себя в госпитале. Промежность распухла так, что вставать не мог. Лечили долго. Пока лечили, узнал: сержанта, что его пнул, судили и отправили в дисбат. Была в разгаре борьба с неуставными взаимоотношениями.

5.

Комиссовали по неспособности к строевой. Вернулся в родной совхоз, стал работать. В память о воинской службе ходил слегка нараскоряку и о потомстве не думал. Скоро остался один, родители ушли друг за другом, оставив ему старый дом с высоким крыльцом. Вся жизнь его теперь была — дом и трактор, в котором души не чаял. Тот ему платил тем же: не ломался, не подводил, позволял ежегодно держать первенство в соревновании, завешивать стену грамотами и вымпелами, получать премии.

Работу свою любил не только за награды и премии, за дополнительные деньги, которые никогда не лишние. Любил, что работал не в бригаде, а по индивидуальным нарядам, мог целую смену не видеть никого, орать от души песни, не боясь никого напугать. Слухом природа обделила. Любил просторы деревенские, поля, колки берёзовые, редкие леса. Жизнь свою любил, которая — он считал — удалась. Праздники встречал всегда один, почти не пил. Только в Новый год — бокал шампанского под речь первого лица, рюмку соседской самогонки — под горячее, и — телевизор. Этого хватало. Одиночество его не тревожило. Он и не думал о том, что одинок.

Как-то раз весь день возил силос от силосной ямы на ферму. Подъезжал, разворачивался тележкой, погрузчик нагребал корм, он вёз его к коровникам. Увлёкся и забыл, что сегодня полущка, что надо было до конца дня подъехать к касе за деньгами. Закончил уже почти затемно, махнул рукой: ладно, завтра, куда деньги не денутся. По пути в гараж, в лесочке, через который шла дорога, его остановили трое. Махнули рукой. Он выжал сцепление, остановил трактор: мало ли что, — высунул голову из кабины. Один вскочил на гусеницу, сунул в нос пистолет:

— Давай по-тихому: ты нам — деньги, мы тебе — жизнь.

Хотел было сказать: нету денег, не успел получить. Понял: не поверят.

— Ладно, сейчас, вылезу только, тут неудобно. Ты там посвети пока. Я человек мирный, если со мной по-хорошему — что ж не поделиться?

Парень соскочил вниз, достал фонарик, переложил пистолет в левую руку. В это время он сверху

огрел его монтировкой, пистолет выпал, парень схватился за руку.

— Я вам, б...ням, покажу сейчас деньги! — и стал охаживать молодца.

А об остальных забыл...

Его сбили с ног, отобрали монтировку, оглушили, вывернули карманы. В карманах оказались пятнадцать копеек одной монетой.

— У, сука! — зарычал тот, которого он приласкал монтировкой.

Его изуродованное тело нашли утром, рядом с ворчащим трактором. Он был ещё жив.

Умер по пути в больницу.

Карающий меч впервые промахнулся.

Нехорошо об ушедших

Из цикла «Рассказы о чудесном»

Пришёл ко мне знакомый поэт. Без звонка, так, — под окно кабинета подошёл, помахал руками: пусти. Окно высоко, хоть и первый этаж, но он как-то прыгал, прыгал, махал руками, пока я не увидел.

Открыл окно, сказал код домофона.

Зашёл, не поздоровался — кивнул, прошёл в кухню. Закурил, не спрашивая. Огляделся молча: куда пепел? Я ему так же молча блюдце сунул. Жду. Зачем пришёл? Не друзья мы с ним, так — по цеху литературному коллеги, встречаемся иногда на собраниях. Я там, правда, гость нечастый, да и он, кажется, не особенно их уважает, собрания наши годовые-отчётные.

Тем более: зачем пришёл? Надо что-то? Денег занять или как? Если денег, так давно лишних в руках не держал, всё посчитано и распределено. Если «или как», так не выпиваю я, и тоже давно. Не то чтобы не хочу — ещё как хочу, бывает! Но возраст и печень с поджелудочной уже не позволяют. Те, кто меня хоть немного знает, в курсе. Он — из их числа, хоть и не друзья.

И зачем тогда пришёл?

Он долго молчал. И выдал:

— Рассказ перепиши.

Я не понял:

— Какой рассказ? Кому переписать?

Он усмехнулся, стряхнул пепел.

— Не «кому», а заново перепиши. Набело.

Я опять не понял:

— Яснее можно?

Он грустно усмехнулся.

— Ну куда яснее-то? У тебя в рассказе... ты там мою жену душой назвал... А она умерла. Ещё до того умерла, как ты рассказ свой написал и напечатал. Мы с ней, конечно, последние годы не жили, развелись, застучал я её, и вообще... Но она умерла, понимаешь? Нельзя об ушедшем человеке так говорить: «дура»... — он решительно ткнул бычком в блюдце. — Надо переписать.

Я начал понимать. Сел от него поодаль, как садятся подальше от заразных или психически нездоровых. Сказал осторожно:

— Рассказ — не о тебе и не о твоей жене. Я просто списал портреты для своих героев с тех людей, которые мне показались наиболее соответствующими. Нет в рассказе и не может быть обиды ни твоей жене, ни тебе.

Он снова усмехнулся.

— Ну, говорить-то теперь можно что угодно, — и наклонился ко мне: — Значит, по-твоему, она — наиболее соответствующая определению «дура»?

Глаза его светились недобро, но не сумасшедше. Я видел сумасшедших, у меня есть друг-психиатр, он работает в клинике, показывал мне ненормальных, у которых глаза полны безумства и слюна до пола.

Этот просто меня не любил.

Он спросил медленно:

— Если она, по-твоему, соответствует этому определению, то я, проживший с ней тринадцать лет, какому тогда определению соответствую?

Что он от меня хотел услышать? Ну, что хотел, то и услышал.

Я так же медленно ответил:

— А ты соответствуешь определению «дурак», но не потому, что прожил с ней тринадцать лет, а потому, что пришёл ко мне с дурацкими претензиями, — и резюмировал: — Ничего я переписывать не стану, друг дорогой, ты меня своей софистикой не проймёшь. Мой рассказ — художественный вымысел, фантазия, и ты, как литератор, это хорошо понимаешь, и если у тебя других пожеланий ко мне нет, то... работать мне надо.

Слово «пожеланий» я высказал как можно более внятно, почти по слогам. Так же внятно произнёс слово «работа». И встал.

Встал и он. Он был чуть выше меня и попытался презрительным взглядом смерить меня сверху вниз. Не очень получилось — скорее, карикатура вышла. Ну не шло ему это. Он от этого ещё больше обозлился.

— Ладно. Гонишь — уйду. Но запомни: просто так тебе это не обойдётся.

Я усмехнулся:

— Запомню, постараюсь.

Я захлопнул дверь. В окно видел, как идёт он по улице, что-то цедя под нос, не глядя по сторонам и не оглядываясь на моё окно. Я вытряхнул блюдце с окурком, проветрил квартиру. В семье курящих не было. «Расскажу жене вечером — посмеётся». И пошёл работать. Меня ждала начатая повесть, просили своего участия заброшенные стихи. И я забыл о происшествии, не рассказал о нём вечером жене.

Ночью, под утро уже, меня взяло странное беспокойство — такое, от которого просыпаются. Как будто ветер внезапный поднялся на улице,

или гром гроыхнул вдалеке, или... не знаю—что ещё. Я открыл глаза. Во рту было сухо. Кружка на тумбочке оказалась тоже сухой. Я встал, побрёл на кухню. Болела голова, и вообще в организме происходило что-то постороннее—так бывало раньше, когда я крепко выпивал вечерами и потом от полуночи до утра мучился, то хватаясь за стакан с водой, то стремясь вынести на улицу своё паническое недомогание. На кухне не стал зажигать верхний свет, включил крошечную подсветку над раковиной, налил воды из-под крана, выпил. Не очень полегчало, но стало отпускать. Вода—великое дело. Вдохнул, налил ещё, поднял стакан—и в стекле увидел какое-то движение. Жена встала? Обернулся—и чуть не выронил стакан. На стуле, где утром курил поэт, сидела его жена. Ладно бы—просто сидела: она была в ночнушке! Я отродясь её в ночнушке не видел. И вообще-то встречался с ней раза три при жизни, и всякий раз хотелось отделаться, как от назойливого насекомого или приставучей породистой и невоспитанной псины. Зудела, зудела... Дура она была, и ничем это переделать нельзя, никакими словами не переписать. Последний раз видел её на похоронах, пришёл туда из чувства цеховой солидарности и ко гробу не подходил, только цветы поставил и ушёл сразу.

И вот—она, сидит, курит, смотрит на меня зелёными глазами, ночнушку поправляет. Ну не может же такого быть! Если и приходят покойники, так курить они всё равно не должны! Я тряхнул головой. Она засмеялась тихо:

— Да не тряси головой, не поможет! Не приснилась я тебе. Дай лучше пепельницу или блюдце, сорить не хочу.

Я дал блюдце. Она стряхнула пепел, затянулась снова.

— Я вот чего пришла. Ты рассказ перепиши.

Я только заметил: стакан по-прежнему был у меня в руках, вода в нём мелко дрожала. Я поставил стакан, стал понемногу успокаиваться.

— Какой рассказ?—спросил тихо—жена спала.

Не вышла из спальни и кошка. И не спряталась: говорят, кошки потустороннее чувствуют, боятся его, прячутся. Эта же—нет, так и лежала у жены в ногах, свернувшись.

— Тот рассказ, что ты сейчас сочиняешь,—так же тихо и спокойно сказала она.—Ты там моего мужа дураком назвал—неправильно это. Перепиши.

Я, кажется, совсем успокоился. Сны случаются и такие вот—объёмные, в тактильных ощущениях. — Я не сочиняю никакого рассказа. Мужа твоего видел сегодня, мы о тебе говорили, о рассказе. Я ему всё объяснил. Что тебе-то нужно ещё?

Она вздохнула, погасила окурочек—движением точь-в-точь как у него. Встала—ночнушка

приподнялась, как от ветра, хотя никакого ветра в кухне и вообще в квартире не было. Мелькнули голые, спелые, совсем не покойницкие бёдра, на мгновение розовым подмигнула грудь—она её тут же спрятала. Вдохнула.

— Не понял ты... Что же, как знаешь. Только нехорошо об ушедшем так говорить: «дурак»... Прощай.

Исчезла, будто не было.

Я сел. Допил воду, тряхнул головой. Блюдце с окурком реально стояло на столе. Я потрогал стул, на котором она сидела. Стул отдавал теплом. Больше ничего реального не было. Запаха дыма не осталось.

Я не могу долго хранить в себе даже самые сильные впечатления. Выкинул окурочек, вымыл блюдце, пошел спать. И уснул ведь!

Утром жена смотрела на меня подозрительно. — Странный запах на кухне. Ты не курил, случайно?

Я посмотрел на неё изумлённо:

— Сдурела? Двадцать лет уж как бросил или больше. И курева-то дома нет, ты же знаешь.

— Странно. От соседей, что ли? Или из подъезда?

Я проводил её на работу, поцеловал в щёчку. Утренние наши расставания нравились мне своей... незамутнёностью, что ли, в них была искренность, которой уже не содержат вечерние встречи, когда, измученная офисом и клиентами, она приходит домой или когда я встречаю её у крыльца офиса и мы оба бредём не спеша, рассказывая друг другу о событиях минувшего дня. Рассказываем от души, но уже слегка уставшие, покрытые плёнкой дневных забот, суеты, чужого присутствия и вмешательства.

Утром—другое дело. Мы—это мы, и никого больше.

И вот я её проводил, вернулся в зал, сделал зарядку, стал на кухне готовить завтрак.

Телефон зазвонил обычным своим голосом, хотя мне показалось—вызывающе.

— Привет! Ну что, ты идёшь?—голос друга-литератора был деловым, как будто мы уже обсуждали что-то и предварительно о чём-то условились.

— Куда?

— Ну на прощанье.

Я ничего не понял.

— Какое прощанье? С кем?

Пауза.

— Я ж тебе вчера сообщение отправлял—не пришло? Поэт умер. Позавчера ещё, ночью. Сегодня прощаемся. В одиннадцать, в зале, где всегда последнее время...

Комната поплыла. Вот, значит, как. Кто же ко мне приходил вчера утром?

Ночью—знаю кто.

А утром-то—кто?

Марат Валеев

Борода

Квадратик

— У-у! — мычал Фёдор Селиванов, раскачиваясь на стуле и держась за щеку. — Ох, будь ты неладен.

Дойдя, что называется, до точки, Фёдор выбежал из дома и устремился к трассе, чтобы добраться до райцентра — к стоматологу.

Навстречу ему топал вразвалку крепыш Иван Пудов по прозвищу Квадратик. Хотя его с таким же успехом можно было бы обозвать и Кубиком — вот такая основательная и устойчивая комплекция была у человека.

Пудов работал у нас в деревне кузнецом (что это конкретно за деревня — уточнить, я думаю, не обязательно, таких в нашей стране — тысячи; скажу лишь, что она до сих пор стоит на славной казахско-русской реке Иртыш), лицо от постоянного соседства с огнём имел багровое, нравом обладал озороватым.

Надо также сказать, что мастером он слыл знатым. Оттягивать лемеха плугов, переключивать бороны, сваривать шины для тележных колёс для него было делом плёвым, рутинным.

Квадратик ещё умел выковывать — для души, как говаривал он, — всякие художественные штучки, управляясь при этом с раскалённым железом так, как будто это было и не железо вовсе, а пластик.

Он мог выковать кленовый лист, розовый бутон, ещё чёрт знает что. Ну вот, например, у всех в деревне заборы были как заборы: из штакетника, частокола, жердей. А Квадратик больше года мудрил чего-то в кузне и, к изумлению всей деревни, обнёс свой двор ажурной металлической изгородью, а в центре каждого пролёта укрепил выкованный из железа же вензель «ИП» — из начальных букв своего имени и фамилии, на манер экслибриса.

Квадратик неплохо умел варить и электросваркой, но не любил вида швов, поскольку считал их — поди ж ты! — неэстетичными, и когда хотел вложить в своё изделие душу, все стыки, перекрестия сваривал только кузнечным способом.

А для скрепления звеньев своего железного забора склепал хитроумную систему креплений и собрал его, как «конструктор». Но если бы кто-то хотел утащить хоть одно звено, фиг ли что у него бы получилось, потому что крепления эти, опять же, замыкались каким-то хитроумным способом.

Голова, одним словом! А заборные ворота и калитка у Квадратика вообще получились настоящим произведением искусства. Там и птички железные рвались в небо, и зверьки какие-то прыгали в стальных кущах.

Когда Квадратик собрал свой забор и покрасил его, вся деревня ходила любоваться, да и всех заезжих гостей водили сюда как на экскурсию.

Забор Квадратика показали даже по областному телевидению, и в передаче этой его назвали художником. Во как!

Ну вот, значит, идёт наш художник по деревне, а навстречу ему Фёдор Селиванов со своим большим зубом.

— Ты чего это скучился, Селиван? — участливо спросил его Квадратик.

— Зубом маюсь, — простонал Фёдор. — В район вот надо.

— К зубнику, что ли? Так зря — вон Агафониha только что вернулась ни с чем. Нет его. В область зачем-то поехал.

Селиванов облегчённо вздохнул: встреча с врачом, внушающим ему страх даже издали, откладывалась.

Но проклятому зубу как будто только это и нужно было — он занял с удвоенной силой. Фёдор даже затряс головой от боли.

Квадратик сочувственно поцокал языком и предложил:

— Хочешь, я тебе помогу?

— А как? — рыдающе спросил Фёдор. — Выбьешь, что ли?

— Зачем? — обиделся кузнец. — Применю народное средство, даже не охнешь. Ну, пошли... Как куда? Ко мне в кузню...

Здесь надо сделать совсем небольшое отступление. Кузня эта раньше была колхозной, потом совхозной, а когда совхоз развалился, перешла в собственность Квадратика. Потому как никому была не нужна. Всё в совхозе растащили, а вот кузницу не тронули. Не было там ничего ценного, кроме нескольких куч ржавого металла.

Правда, когда началось поветрие повального сбора и сдачи металлолома (в райцентр разобрали и увезли всё, что было железным и похожим на железо), металлоискатели устремили свои взоры и в сторону кузни.

Но Квадратик успел сколотить рядом с кузней дощатый сарай, перетащил туда несколько тонн погнутых и ржавых уголков, прутков, труб и прочего, закрыл всё это богатство под замок и затем громогласно объявил, что если хоть одна сволочь сунется к его металлическому складу, он тому голову расплющит кувалдой. Вот так вот запросто — положит на наковальню и ахнет со всей дури.

А Квадратик силищей обладал неимоверной. Потому как начинал он молотобойцем, сразу после армии, ещё в семидесятые годы, и набил себе кувалдой такие мышцы, что куда там всяким Ван Даммам и этим, как их, Шварценегерам.

А художественной ковке он научился знаете у кого? В тот год у нашей деревни остановился цыганский табор. Эти цветистые, горластые поселения на колёсах появлялись в наших местах в те времена практически ежегодно.

Они разбивали свои шатры или за селом, или на лугах и активно приступали к своей национальной трудовой деятельности, как-то: женщины с детьми попрошайничали, гадали, незаметно таскали кур, которые при этом почему-то никогда не поднимали гвалт, что им полагается по определению, а покорно сидели в складах многочисленных юбок до решения их куриной судьбы.

Было в таборе и двое кудрявых смуглых кузнецов, сверкающих золотозубыми улыбками. Управляющий отделением тут же прикомандировал их к Квадратику, к тому времени оставшемуся в кузнице за главного (пожилой уже кузнец Пахомыч очень сильно заболел, его увезли сначала в районную, а потом в областную больницу, откуда он вернулся уже только на наше деревенское кладбище — рак).

И вот эти двое цыгана, не без участия, конечно же, нашего Квадратика, перебрали и заново склепали для полеводческой бригады десятки борон, а попутно выковывали желающим, за небольшую плату, топоры, остроги, цыганские ножи, а самое удивительное — железные розы, и даже с шипами на проволочных стеблях.

Квадратик дневал и ночевал рядом с цыганскими кузнецами, и они таки открыли ему, что называется, «секрет дамасской стали». И Квадратик — сам! — сначала выковал ромашку, потом — резной кленовый лист, ну а дальше — пошло-поехало.

Так благодаря цыганам наша деревня неожиданно заполучила человека, который управлялся с железом, как стряпуха на кухне с тестом. Даже сноровистее.

Да, о чём же это я? А, вот: долго ли, коротко шли наши друзья, но скоро оказались на месте. В прохладной, с закопчёнными до черноты стенами кузнице Квадратик усадил Фёдора на какой-то чурбак рядом с наковальней, бросил ему на колени моток суровой нитки и приказал:

— Обвяжи-ка больной зуб покрепче... Делай что говорят или вали отсюда!

Фёдор тягуче сплюнул и простонал:

— Коновал хренов. Так я и сам бы смог.

Но подчинился — выбора у него не было. Пока Фёдор, повизгивая и суча ногами, шарился у себя во рту, Квадратик раздул горнило мощными качками мехов и сунул в гудящее пламя обрезок трубы.

Фёдор с обречённым видом следил за приготовлениями кузнеца. Потом беспокойно завозился и спросил:

— Ты чего это, выжигать мне зуб собрался, что ли? А шнур этот — уж не бикфордов ли?

— Помолчи, — отмахнулся Квадратик. — Что я, садист-мазохист какой-нибудь? Я своё дело почти сделал. Теперь всё зависит от тебя... Закрывай глаза, говорят тебе!

Фёдор махнул рукой и крепко зажмурился. Квадратик проворно выбрал слабинку шнура и привязал конец к наковальне.

Затем выхватил щипцами из горнила раскалённый металл, издал нечеловеческий вопль и сунул белый, испускающий искры обрубок трубы под нос широко распахнувшему от ужаса глаза Селиванову.

Тот ошалело откинулся назад:

— Ты чего это, паразит? Да я тебя сейчас...

И пошёл, набычившись, на кузнеца.

— Не слышу «спасибо», — ласково сказал Квадратик, отбрасывая лязгнувшие щипцы.

— Что-о?! — оторопел от такой наглости Селиванов.

И вдруг остановился, осторожно потрогал щёку, повозил за ней языком.

— Хы, а зуба-то нет! И не болит. Когда это ты успел?

— Я-то тут при чём? Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Квадратик поднял с пола шнур. На конце его сиротливо покачивался зуб с чёрной дыркой.

— Так выходит, что это его всё-таки я сам выдернул? — изумился Селиванов. — Ну, Ванюша, и хитёр же ты.

— Народное средство! — внушительно сказал Иван Пудов по прозвищу Квадратик. — На, держи на память. Хотя постой, не прячь его пока, а поддержи вот так на весу.

И Квадратик, повозившись в кучке железа, выбрал из неё какую-то большущую гайку, зажал в клещах и сунул в горнило.

Через пару минут он аккуратно положил на наковальню раскалённый до белизны кусок металла и, время от времени бросая беглый взгляд на раскачивающийся на шнурке селивановский зуб, затюкал молоточком.

Ещё пять минут — и он сунул уже не белое, а тускло-красное и начинающее покрываться серой окалиной изделие в лоханку с водой, которая тут же забулькала, запарила.

Потом Квадратик извлёк из лоханки выкованную им штуковину, обтёр тряпочкой и протянул Селиванову:

— На вот. Хочешь — на шее носи, хочешь — на стенку повесь.

— Ё-моё! — пробормотал Селиванов, вглядываясь в сизую железную штуковину. — Так это же мой зуб! Только раз в десять больше, и даже дупло в нём проделал! Ну ты, Квадратик, и мастер!

— Как учили, — весело ответил Квадратик, вытирая руки о фартук. — Ну, водка-то у тебя дома есть? Пошли, надо бы тебе продезинфицироваться, да и мне стресс снять не мешает...

И они дружно затопали по деревенской улице к дому Селиванова, весьма довольные друг другом и оживлённо болтая на ходу.

Это только одна пришедшая мне на ум проделка Квадратика, на которые он был так же изобретателен, как и при работе со своими железками.

А вот теперь нет уже и нашего Квадратика. Умер у себя в кузне в одно мгновение — как раз кому-то чего-то выковывал, в очередной раз занёс над наковальней молоток, как бы задумался на секунду и рухнул на земляной пол. Сердце.

Могилка Квадратика обнесена маленькой копией его знаменитого ажурного забора. Оказывается, он сам загодя её заготовил и жену предупредил: мол, смотри, Мария, если что — то вот там, в сараюшке, стоит разобранная оградка, за что, конечно, тут же схлопотал от неё.

Нет Квадратика. Но люди его будут помнить ещё долго. Почти в каждом дворе деревни есть его работа: кому ухват выковал, кочергу, скребок для чистки обуви от уличной грязи, кому — лопнувший обувок топора заварил.

У самых уважаемых Квадратиком людей хранятся выкованные им цветы, листочки всякие, птички-зверушки. Всё как настоящее. Только железное. А значит — вечное...

Борода

— Ну ладно, мужики, я пошёл, а то жена уже, наверное, по... потеряла меня!

Андрей Потапов с трудом встал с продавленного кресла. Кресло это, а также ещё старый диван, притулившийся к плохо оштукатуренной стенке с рядами самодельных полок, заваленных всяческими запчастями, инструментами и ещё каким-то железным хламом, находились в просторном тёплом гараже соседа и приятеля Андрея, Серёги Шелудько.

— Да ну ты чё, Андрюха! Посиди ещё, вон водки у нас сколько! Ты чё?

Серёга приподнял со стола семисотграммовую бутылку водки, не опорожнённую ещё и наполовину, поболтал ею в воздухе. Водка ласково булькнула за толстым прозрачным стеклом. Ещё одна такая, только пустая, бутылка валялась под низеньким колченогим столом и время от времени с тихим звоном перекачивалась по деревянному полу, когда её задевали ногами.

Сам Сергей сидел на диване, рядом примостился ещё один мужик — коллега Серёги по работе в автомастерской с редким ныне именем Никодим. Мужики были уже крепко пьяны, но, похоже, расходиться по домам не собирались, так как праздновали получение зарплаты.

Андрей Потапов свою получку, вернее, остатки её, отдал своей жене ещё несколько дней назад.

В гараж этот Андрей попал не затем, чтобы напиться, — Шелудько уже давно обещал ему притащить с работы пару флаконов уайт-спирита, которого в их мастерской было, по словам Серёги, «хоть залейся». А этот уайт-спирит, в свою очередь, Андрей обещал тестю, жившему в деревне Опухлинка, за тридцать километров от областного центра. Тестю же он нужен был как растворитель — он собирался не то что-то красить, не то, наоборот, смывать краску.

По словам тестя, в их единственном опухлинском магазине этого уайт-спирита отродясь не было, вот он и попросил зятя в недавнем телефонном разговоре достать его в городе. А когда Андрей, в свою очередь, обмолвился Серёге о просьбе тестя и пожаловался, что никак не может выбрать времени, чтобы сходить в какой-нибудь хозяйственный магазин и купить, наконец, этот вонючий уайт-спирит и отвезти при случае в Опухлинка, Серёга и сказал, что не надо куда ходить и тратиться: он притащит пару флаконов с работы.

И вот сегодня вечером он позвонил Андрею из своего гаража и попросил его прийти и забрать уайт-спирит (мы не случайно столько внимания уделяем этому растворителю, так как ему предстоит сыграть в нашем рассказе немаловажную роль). Андрей заикнулся было, чтобы сосед приволок флаконы к себе домой, а он потом зайдёт и заберёт. Но Серёга и слышать не хотел.

— Приходи в гараж, и всё тут! — орал он в трубку — и менее громко, на тот случай, если жена Андрея рядом: — У нас тут есть!

Гаражный массив был всего в паре сотен метров от хрущёвки, в которой проживали друзья, и Андрей, несмотря на недовольство жены, решил-таки сам сходить и забрать у Серёги уайт-спирит. Ну и заодно составить ненадолго компанию Серёге. Хотел посидеть с часок, а вышло — четыре часа проторчал с мужиками в этом прокуренном насквозь гараже! И когда собрался, наконец, уйти домой и включил отрубленный, чтобы жена не доставала, мобильник — увидел с десяток пропущенных от неё звонков. Ага, Верка таки потеряла его и злится! И, как бы в подтверждение этой глубокой мысли, телефон тут же задилинькал.

— Ну? — буркнул в трубку Андрей.

— Ты где шляешься? — закричала жена. — Звоню тебе, звоню... Зачем телефон отключил?

— Затем, — неопределённо сказал Андрей. — И... иду уже, иду, не ори только!

С женой у него обычно разговор был короткий: чуть что — посылал её куда подальше. И шла обиженно, и возвращалась снова. Любила она его, что ли? А вот Андрей не мог сказать, любил ли он свою жену, с которой прожил вот уже... вот уже тринадцать лет и которая родила ему дочь Тайку. Он и женился-то по «залёту» Веры, и долго считал себя обманутым, «подловленным», что и накладывало печать неприязни на отношения с женой.

А вот дочку свою, Тайку, тютелька в тютельку «срисованную» с него, он точно любил, хотя так завуалировано, что Тайка порой не могла понять, есть ли у неё отец или это какой-то грубый чужой мужик живёт с ними совершенно по непонятной причине. — Ну так иди давай, — раздражённо сказала уже потише Вера. — Тут с дочкой такое случилось, а он шляется непонятно где...

— Да чего там с ней могло случиться-то?

Андрей хоть и был пьян, но насторожился.

— Придёшь — расскажу, — всё ещё сердито про бурчала жена. — Так ты идёшь?

— Иду уж, иду, — отмахнулся Андрей и захлопнул трубку.

Главное, что он уяснил для себя, — ничего особенного с Тайкой не произошло, какие-нибудь школьные неприятности, не более того, иначе бы Верка тут же сообщила ему. Но идти всё равно пора, хватит уже глотать водку. Завтра же заступать на сутки (Андрей работал охранником на автостоянке).

— Ну, тогда на посошок, — согласился с его уходом Серёга, разливая водку. — А мы с Никодимом посидим, у нас тут ещё есть. Да, Никодим?

Сосед его уже клевал носом, но при последних словах Сергея проснулся и потянулся за своей стопкой. Андрей проглотил водку, зажевал куском колбасы и, пожав руки остающимся мужикам, стал боком протискиваться мимо Серёгиной «тойоты». — Андрюха, а чё, уйдт-спирит не заберёшь?

Андрей чертыхнулся и вернулся к столу. Сергей уже выставил на него две светлых пластиковых бутылки с весёленькими наклейками и тёмными колпачками крышек. Андрей поочерёдно затолкал их в карманы куртки.

— Может, ещё по стопочке, а? — предложил Серёга.

— Не, не, братуха, мне х-хватит! — энергично затряс головой в вязаной шапочке Андрей. — Завтра ж н-на работу. Ну, спасибо тебе! Если что, тоже об... обращайся!

Он ещё раз пожал руку Сергею и пошёл к выходу.

На улице уже стояла морозная туманная ночь, сквозь которую с трудом пробивался жёлтый свет уличных фонарей. Снег бодро поскрипывал под сапогами, редкие прохожие прятали носы в шарфы или прикрывали их перчатками.

Местные синоптики не обманули — ещё утром по телевизору они обещали резкое похолодание,

хотя и без того было под тридцать. А сейчас, похоже, ломануло все сорок.

Андрей быстро дошёл до своей панельной пятиэтажки. Взвизгнула открываемая им подъездная дверь без домофона — жильцам подъезда всё ещё никак не удалось прийти к единому мнению, надо ли скинуться на это современное средство защиты от несанкционированного проникновения посторонних.

Одни считали, что надо, другие — что пусть платят те, кто боится грабителей, а этим, другим, бояться нечего, у них всё равно грабить нечего. Эти «другие», в основном пенсионеры, составляли чуть ли не большинство, и потому подъезд их до сих пор оставался доступным для всех. Что интересно, такая же ситуация была и в трёх других подъездах этой разваливающейся панельки шестидесятых годов постройки по улице Энтузиастов.

И ведь правда — не было ещё случаев ограбления ни одной из квартир их дома. Во всяком случае, последние лет десять. Произойди обратное, может, тогда дело и сдвинулось бы с мёртвой точки. Грабить-то их дом не грабили, но подъезды со свободным доступом облюбовали алкаши и наркоманы, а в последние несколько лет зимой в них гостевали бомжи.

Опять же, большинство жильцов терпимо и философски относились к их присутствию: дескать, от тюрьмы да от сумы не зарекайся, — что надо было понимать так: сегодня ты благополучен, но кто знает, что завтра с тобой может произойти, поскольку в нашей стране, где люди всегда были расходным материалом, всякое может случиться, поэтому и надо быть терпимыми к терпящим бедствие.

Но Андрей себя к этому большинству не относил, бомжей ненавидел и нещадно гонял их из своего подъезда. Позавчера он буквально на пинках вынес не старого ещё бродягу по кличке Борода. Про него было известно, что не так давно был нормальным человеком, но потом у него умерла жена, детей же у них почему-то не было, и Борода пустился во все тяжкие.

Пропил все сбережения, всю обстановку в доме, а потом какие-то ушлые ребята отжали у него и квартиру-«двушку» в кирпично-монолитной девятиэтажке, которая стояла на этой же улице Энтузиастов, но только через два дома.

Так Борода оказался на улице, стал грязным, вонючим, заросшим — пегая борода у него вымахала с лопату, вот отсюда и кличка образовалась. В свой дом он ночевать не ходил: во-первых, подъезд его был оснащён домофоном; во-вторых, Борода, похоже, ещё не совсем опустил и боялся, что его узнает кто-нибудь из соседей. Вот он и ошивался поблизости, выбрав для «перекантовки» от морозов эту панельку. Выгонят из одного подъезда — можно прилечь во втором, третьем...

Как только Андрей вошёл в подъезд, в нос ему с мороза сразу шибануло кислым и едким запахом. Так вонял только Борода. Ага, значит, из тех подъездов его шуганули жильцы или раньше него приземлившиеся на ночёвку другие бомжи — постоянной «прописки» у них тут не было, поскольку и в других подъездах находились жёсткие мужики типа Андрея Потапова.

Борода ещё не спал, а сидел под лестницей на какой-то картонке, прижавшись спиной к батарее, и даже в подъездном полумраке Андрей разглядел на его лице страх.

«Ага, падла, боишься! — злорадно отметил про себя Андрей. — Боишься, а всё равно сюда ходишь, заразу распространяешь! Блин, как же тебя отвадить раз и навсегда?»

— Я тебе говорил не ходить сюда? — зло спросил Андрей, не сводя глаз с пытающегося встать с картонки бомжа. — Говорил?

— Я щас, щас, — лепетал Борода, упираясь грязными, почти чёрными руками в бетонный пол и вставая на карачки.

Глухо зазвенела какая-то посуда, отодвинутой ногой бомжа в порванном дутыше, — Андрей отстранённо отметил про себя, что такая же небольшая кастрюлька, с нелепыми алыми розочками по синеватой эмали, есть и у них на кухне, Верка в ней обычно варит яйца.

— Щас я уйду...

— Конечно, уйдёшь, — процедил Андрей, соображая на предмет, как бы в этот раз окончательно и навсегда отвадить Бороду от их подъезда, от их дома и двора.

Тут старики живут беспомощные, тут дети гуляют во дворе, да его же дочка Тая возвращается, бывает, поздно из музыкалки. А мало ли чего гнездится в пропитых и отравленных мозгах этих бездомных, подзаборных тварей? Вон этим летом в канализационном колодце, совсем недалеко от их дома, обнаружили истерзанный труп девочки-подростка. Правда, кто это сделал, пока не нашли. Да кто ж ещё, кроме этих вонючих скотов, потерявших человеческий облик и живущих, как крысы, в разных норах?

Андрей задел рукой оттопыренный карман куртки. И его внезапно осенило: вот чем он навсегда отпугнёт Бороду от своего подъезда. А Борода всё никак не мог выпрямиться: кряхтел, стонал, бормотал чего-то, — радикулит, наверное, мучил бедолагу.

Андрей, не сводя ненавидящих глаз с бомжа, вытащил бутылку из кармана, с усилием отвернул пробку, подошёл к Бороде вплотную и стал поливать уайт-спиритом его спину, обтянутую рваной и лоснящейся от грязи болоньевой курткой. Жидкость, пахнущая керосином, стекала у того со спины на рукава, на бесформенные штаны и даже, кажется, на сивую лопатообразную бороду, которая сейчас упиралась чуть ли не в бетонный пол.

— Ты что делаешь, а? Зачем? — испуганно забормотал Борода, повернув к Андрею своё заросшее по самые брови лицо. — Что ты, что ты? Не надо! Я щас встану и уйду. Не надо!

Но, охваченный праведным, как он считал, гневом, Андрей уже не слушал его. Он попятился от Бороды, одновременно нахлопывая в карманах спички. Найдя их, он чиркнул одной спичкой. И когда она вспыхнула маленьким факелом, швырнул её на пропитанную уайт-спиритом куртку бомжа. Куртка тут же занялась желтоватым пламенем, и языки его быстро расплозились по всей спине, по рукавам, по штанам, загорелась даже борода. — А-а-а! — хрипло закричал бомж, приняв, наконец, вертикальное положение. — Горю! Горю!

И, беспорядочно колотя ладошками по трещащей от огня бороде, весь охваченный пламенем, он как-то враскачку и согнувшись побежал к выходу, чуть не задев горящим рукавом прижавшегося к стене Андрея.

Хлопнула дверь, и вопли горящего Бороды стали слышаться тише. Андрей наконец испугался того, что сотворил, и торопливо стал подниматься по лестнице к себе на четвёртый этаж.

На втором этаже приоткрылась дверь одной из квартир, из неё наполовину высунулась встревоженная тётка — кажется, Настасья или Наталья Петровна, завсегдатай лавочных посиделок у подъезда.

— Что там такое? Что за крики?

— Не знаю, — отрывисто сказал Потапов, продолжая в том же темпе подниматься выше.

В дверях своей квартиры он столкнулся с женой. Вера, в тапочках, в накинутах на плечи тёплом платке, держала в руках старенький плед.

— Куда это ты собралась на ночь глядя? — отдуваясь, с подозрением спросил Андрей.

— О, явился — не запылится, — неприязненно сказала жена. — Вниз иду, хочу этому... как его... Бороде плед старый подарить. Холодно же. А чем это от тебя воняет?

— За какие такие заслуги? — задохнулся от возмущения Андрей, пропуская вопрос мимо ушей. — Чего это ты так его жалеешь, а?

— А то и жалею. Пока ты где-то водку свою лакал, он сегодня доченьку нашу, можно сказать, спас. Если не от смерти, то от насилия! — с расстановкой произнесла Вера. — Ну-ка пропусти! Схожу к нему, вернусь, тогда всё и расскажу.

— Не ходи, его там нет, — загородил ей выход Андрей. — Картонка евонная лежит, кастрюлька твоя стоит (теперь Андрей не сомневался: посуда была из их дома. Значит, эта дура ещё и покормила этого вонючего бомжа!). Ну, чего тут случилось? Рассказывай... Блин, и на минуту вас оставить нельзя, обязательно куда-нибудь вляпаетесь...

И Вера рассказала. Всего пару часов назад Тайка, как обычно, возвращалась из музыкальной школы.

По дороге ей показалось, что за ней увязался какой-то дядька. Тайка прибавила шагу, и дядька тот вроде отстал. Он настиг её на третьем этаже. Зажал рот ладонью и потащил наверх, на пятый этаж.

Неизвестно, что он дальше намеревался сделать с их двенадцатилетней дочерью: или затащить её лёгонькое тельце на чердак, или изнасиловать на последней лестничной площадке, а потом задуть. Понятно лишь, что ничего хорошего Таечку не ожидало.

Её спас Борода. Греясь внизу у батареи, он увидел, как за девчонкой на цыпочках поскакал какой-то рослый парень, затем услышал её писк и, не медля ни минуты, пошаркал своими рваными дутышами туда, наверх. Он ничего такого не сделал. Он просто негромко сказал: — Слышь, ты, оставь её, а то сейчас начну во все двери подряд стучать...

И насильник испугался, опустил полуобмороченную Таечку на ступени и так же, на цыпочках, как и прокрался, побежал вниз. Борода помог девочке прийти в себя, довёл её до квартиры, а сам спустился обратно к батарее.

— Вот за это я его и покормила, и плед сейчас хотела отнести,— всхлипывая, закончила свой рассказ Вера.— Так куда же он мог уйти на ночь-то глядя? Может, ты его опять выгнал, а?

— Нет его там,— упрямо повторил Андрей и за-
торможено стал раздеваться.

Это что же получается? Этот недочеловек, это бомж вонючий спас его дочь, его кровинушку, а он его уйт-спиритом полил—и спичкой?..

Андрей скрипнул зубами и потряс головой. Надо было бы выйти во двор, посмотреть, что там с Бородой. Но было уже поздно: во время рассказа жены он слышал через всегда открытую кухонную форточку—там они обычно оба курили, и он, и Вера,—как со двора почти одновременно прозвучали сирена скорой помощи и вой милицейской машины.

Андрей прошёл в детскую—Тая уже спала, тихонько поскуливая во сне, как маленькая обиженная собачонка,—и осторожно поцеловал её в голову.

Когда им в дверь резко и нетерпеливо позвонили, Андрей сам пошёл открывать её и безропотно протянул руки для наручников...

ДиН симметрия

Сергей Городецкий Город на заре

Молчат огромные дома
О том, что этот мир—тюрьма.

И вывески кричат о том,
Что этот мир—публичный дом,

Где продаётся каждый сон,
А кто не продан, тот смешон.

Железных фабрик силуэт
Кричит о том, что воли нет,

Что эти кубы из камней
Сдавили бешенство огней.

Заре запели петухи.
Порозовели стен верхи.

Не отрываясь от земли,
Качнулись в море корабли.

Вспорхнул и замер лёгкий шквал.
Седой газетчик пробежал,

Вонзая в сонный мозг людей
Пустые вести площадей.

Валы согбенные сплотив,
Грохочет утренний прилив.

В ущелья улиц, под дома
Бежит испуганная тьма.

И, как бушующий народ,
Из алых волн встаёт восход.

Мильоны огненных знамён
Вздывает в зыбь ночную он.

И, как трибун перед толпой,
С последней речью боевой,

С могучим лозунгом: «Живи!»—
Выходит солнце, всё в крови.

Баку, 1919 г.

Виктор Самуйлов

Нескладыш

Излучина небольшой говорливой речушки: один берег — высокий лесистый яр, другой — низкий, болотистый. Выдавилась из болотины, вспучилась горбом насыпь железнодорожного полотна. Распёр красавец-мост громоздкие насупленные высоты ажурными плечами, застыл, напрягшись о крепкие каменные быки, ровно сложенные из колотых серых гранитных квадратов. Несутся в далёкой дремотной глуби стремительные прозрачные струи игривого потока, ослепительно взблёскивающего тугой гривастой спиной. Зайчиками мечутся лучики солнца, отражаясь от чешуйчатой глянцевиной поверхности потока, пятнают неуловимыми бликами и серый камень, и увесистое клёпаное железо, и песчаную осыпь, изорванную в лоскуты змеиным переплетением корней, теряясь затем в грязном гравийном хаосе железнодорожной насыпи.

Отсюда, сверху, макушки деревьев небольшой рощицы в пойме речушки кажутся всего лишь неровным травянистым выгоном у околицы, выбитым безжалостными коровьими копытами до бурлистого кочарника.

Лесок внизу молодой, сосновый; деревца стройные, гибкие. Иногда из-за крутого далёкого песчаного мыса стремительно налетает лёгкий шелестящий ветерок, принося запахи луговых трав, лесной земляники, подхватывая по пути из приречной болотины горсть тяжёлого сырого духа, прели и гнили. Всё это он перемешивает, закручивает в острый терпко-тяжёлый букет... сам же легко и незаметно исчезает, оставляя в вечернем тихом тёплом, как парное молоко, воздухе лишь трепещущую дрожь макушек деревьев. Они ещё долго недоуменно и робко подрагивают зелёными гривами, рассыпаясь в настойчивом вкрадчивом недоуменном шепотке.

Четверо мужиков тяжело развалились на штабеле шпал, только что ими сложенных на небольшом отступе полотна. Попискивает где-то внизу, в приречных кустах, иволга. В болотине оглушительно проскрежетал коростель. Мужики встрепенулись, оглянулись, на миг затихли, удивляясь красоте, открывшейся усталому взгляду.

Рабочие сидят на запачканных мазутом ярко-оранжевых куртках. Посреди них газета, на ней кое-какая снедь, одна пустая, другая наполовину опитая бутылка водки. С выпивкой не спешат,

закуска еле жуётся, запивают холодным квасом. Натрудились, натаскались тяжёлых просмоленных брусков. За работой не заметили, как солнышко присело к горизонту. Чуть уж розовело оно над далёкими острыми верхушками елей, которые тёмным частоколом заслонили станцию. Слышно там гуканье маневрового паровоза; оглушительный треск мотоцикла взлетел к темнеющему небосклону и тут же стих, потерявшись в необъятной выси.

Минут двадцать назад мужики прихлопнули последнюю шпалу, покряхтивая, вскарабкались на штабель, поближе к последним лучикам солнца. Работой остались довольны, хоть руки и тело одеревенели до болючей немощи, но на душе спокойно: с недельным уроком справились в три дня, и теперь две упряжки в их заботе, а потом и два выходных. К дому не рвались: завтра с раннего утра закрутятся на подворье, работы у каждого непочатый край.

Водку пили дружно, с продыхом и хаканьем, закусывали вяло. Разгорячённые тела остывали, отходили от работы с неохотой. Выпитое разбежалось по натруженным членам, смывая чутунную тяжесть в мышцах, приглушая боль в надсаженной пояснице и суставах.

— Ещё б бутылочку, — крикнул здоровенный дедина, разливая остатки водки по пластмассовым стаканчикам; там, сям белело их у основания насыпи предостаточно.

Мужики согласно вздохнули, осовело уставясь в сторону замрачневшего горизонта. Рельсы прямыми серебристыми нитями сбегали по аккуратной галечной насыпи, казалось, прямо в тяжёлые темнеющие небеса, черкая заодно и далёкий гребень леса, уже слившийся с сумраком небосклона в единое. Чуть померцивали первые звёздочки. Рельсы, если прищурить око, закручивались своими далёкими концами в какую-то сочную жаркую загогулину.

Колька Петрован тряхнул головой, раскрыл пошире глаза: никакая это не загогулина — молодой рогатый месяц повис в далёком просторе. Стальные серебристые нити вдруг закрутились паутиной у самого Петрованова носа. Колька недоуменно качнулся, съёжился, не спеша наклонился и, клюнув лысой макушкой, поехал, задирая

рубаху о шпалы, на галечную осыпь; думалось ему, что вмиг пролетел он огромное расстояние и сейчас жалким комочком падёт в разверзшуюся пылающую пасть. Сердце у Петрована защемило страхом чуть не до обморока, до помутнения рас-судка. Испугом передавило дыхание. Но вместе с тем ему радостно, просторно от чувства, что сейчас произойдёт необычное, неведомое, обя-зательно неимоверно прекрасное— вот только исчезнет Петрован в разъятом, рогатом, жажду-щем огненном зеве... и всё!... Его настоящее пред-назначение, смысл его ничённого теперешнего существования... там! И многое другое. Там Колька будет счастлив и радостен, могуч и великодушен. А может, и любим...

Всякий раз, напиваясь вдрызг, Петрован просил, можно было и услышать, склонив голову ухом к бескровным Колькиным губам:

— Пустите меня, отпустите, не держите!..

Колька съехал неловким долговязым телом на мазутную стерню. Раньше туда шмякнулась, вроде сама по себе, голова с редкими седыми слипши-мися за ушами волосами. Острые коленки жалко завалились вбок. Васька-хряк, так кликали за глаза здорового ребенка, потянулся на край штабеля. — Слабок, друганок, — вздохнул участливо, го-рестно, — особенно сёдня. Рановато завалился...

Два похожих, один чуть помоложе, поглаже лицом, остроносых мужичка — братья Щёголе-вы — насмешливо переглянулись:

— А те, Васька, какая разница? Раньше начнёшь — раньше кончишь...

Хряк досадливо поморщился:

— Ладно ржать, шалопуты. Допивай что осталось — и по домам. Делов ещё... не переделать.

Братя радостно заржали, двигая вислыми усами.

— Тьфу! — ругнулся Васька, опрокидывая водку в зубатый рот.

Швырнул под откос стаканчик, туда же хотел запустить бутылку, потом, строго глянув на брать-ев, сунул её между шпал. Те кивнули: пусть лежит. Что постарше, осмотрел рожицу, пойму реки.

— Вась, и то правда, разбегаемся, вон как тумани-ще прёт, знобко будет. Побегли, брат!

Хряк крутнулся тяжёлым туловищем в сторону кивка Щёголева-старшего. Посмотрел на Петрова-на, нелепо раскинувшегося по гравии. Захрустел малосольным огурцом, пробурчал:

— Вы тут приберите, а мы с Петрованом до хаты подадимся: с утра на покос.

Щёголевы одновременно мелькнули оттопы-ренными мизинцами, допив водку, крикнули. Сожалеюще посмотрели на хрумкающего остат-ками огурца Хряка. Нюхнули рукав одинаковых форменных выгоревших добела рубаш, начали собираться. Подхватили оранжевые куртки со шпал, побросали инструмент в тележку о двух

колёсах и покатали в сторону станции, не спеша переговариваясь.

Васька сердито посмотрел им вслед, вздохнул и опустил на колени возле друга. Приложил ухо к его губам. Выпрямился, посмотрел вверх, неловко перекрестился:

— Всё отпусти да отпусти. Да кто тебя держит, чёрта нескладного?..

Колька глухо что-то промычал, дрогнул веками, но глаз не открыл.

Васька ещё раз вздохнул, недоверчиво-внима-тельно вглядываясь в товарища. И что нашла? Ну действительно, несуразное существо, на ногах ботинки сорок пятого размера, а коленки, локти и плечи так остры, смотри — материя прорвут. Но руки-то, руки... пальцы изящные, чуткие, сильные, а туловище взять... нескладное, долговязое, чуть скособоченное. Огромный судорожный кадык на жилистой тощей шее. А нос... тонкий, с ноздрями трепетными и чувственными. Лоб скошенный, во-лосёнки за оттопыренными ушами жалко липли к костистому черепу... Всё по частям, всё не в друж-бе. Но вот одна закавыка: стоит поймать взгляд — а по фигуре уж в глаза никто Кольке и не смотрит — и всё! И пропал! И пригож сразу Петрован, и всё на месте, всё по уму: бездонная, всезнающая, мудрая глубина в их синеве, в глубине тёмного зрачка. Но и боль, и мука неразрешимого вопроса бьёт в сердце, в душу поймавшего взгляд Петровановых глаз. Может, потому и нет друзей у Кольки. Род-ственники сторонятся, знакомые обходят. Один Васька-хряк — друг и опора. С самого раннего детства опекает Петрована. По девкам таскал, по праздникам; хулиганства и гулянки — всё вместе. Как телок, протопал Петрован за могутным другом лет двадцать пять, а то и больше. Лишь раз попе-речил Хряку: женился своей волей и любовью на молодой учительнице, учёной городской девушке. Берёзка — нежная, гибкая, ласковая.

Завистливые, понимающие истинный цвет при-роды — ну а как по-другому? деревенская баба должна быть ломовой кобылой, — кумушки на завалинках ехидно судили: «Тю! Невзабыльна! Худа: ни кости, ни мяса, — хозяйства нашего не попрёт...» Но ошиблись досужие языки. Тянет училка и школу — она одна во всех ипостасях, и хозяйство, как и положено по деревенским меркам. И в доме всё по-городскому. Мужики же затюкали своих баб попрёками. Обзавелись те передниками; сапоги, грязная одежда — в коридоре, тапочки у порога, и много другого, раньше ненужного, а те-перь необходимого, привнесла Вера в быт деревни.

А в своё время Васька и невесту другу присмо-трел: пять Петрованов сложить — одна б только и вышла. Эх! Как Васька ломал друга, гнул, а ничего не получилось.

Васька поддёрнул мотню, отвисшую до колен, заложил Колькину руку себе на шею, своей одной

прихватил её, другой за туловище друга обнял и поволол вниз по тропе, сбегавшей вкось по насыпи к травянистому просёлку. Просёлок скользил вдоль железки, а у реки вилял в сосновый бор. Тот, сверху сливаясь с сумраком кронами, понизу белел песчаными откосами, причудливо растопырившимися корнями. В темноте корни больше смахивали на щупальца сказочных страшилищ...

Васька-хряк ничего не замечал — ни веса Кольки, ни грозно сомкнувшихся над головой плотных сосновых крон. Он, чему-то своему плутовато и стеснительно улыбаясь, споро вышагивал по дороге. И Петрован ноги переставлял, не в пример безвольно болтавшейся голове и огрузневшему туловищу, довольно ходко. Хряк иногда отпускал Колькину руку, поддёргивая мотню рабочих штанов. Пузо круто выпирало из-под расстёгнутой застиранной ситцевой рубахи; грудь, мощная, волосатая, тяжело вздымалась от быстрой ходьбы. Васька приостановился. Они уже вышли из соснового бора и начали подниматься на пологий взгорок, выходя к задам деревни, далеко тянувшейся по высокому берегу реки.

Бор клонился всей своей тёмной громадой в излучину речки. И оттуда, клубясь плотной молочной пеленой, расползалась, растягиваясь по прибрежным кустам, по опушке бора белёсая зыбкая мгла. Волнами, на глазах набирая силу, туман напирал на крутую стену оврага, лез вверх по взгорку, разрастаясь вширь по всему видимому пространству. Сырость, влага от ног к животу, к груди окутала Ваську неприятной холодящей изморозью. Хряк крепче обхватил Кольку, стараясь его теплом приободрить внезапно заглодевшее нутро. Петрованова голова качнулась в сторону бугрившегося из долины тумана и опять упала Ваське на шею. Хряк матюгнулся:

— Ух! Страхотища!..

Как застоявшийся жеребец, взбрыкнул ногами и поспешно потащил Кольку вверх, как бы убегая от чего-то неприятного, вдруг хлынувшего на него белёсой промозглой туманной поступью из далёкой низины.

Выбравшись на простор, перевёл дыхание. До околицы было рукой подать — метров двести-триста. Васька повеселел. Потатило теплом, пахнуло навозом, парным молоком, пылью. Опять поддёргнул мотню и почти бегом свернул к задам огородов, промчался мимо фермы, кося взглядом на сыто чавкающих в темноте коров в большом загоне. Иногда слышались тяжёлые вздохи.

— Поздно, поди, — пробурчал он, — припозднились мы чтой-то.

По узкой тропке — Колька месил ногами траву, росой моча штаны до колен, — добежали чуть не в конец деревни.

— Ничё... в баньке обсохнешь. А мне в мокреть лезть ни к чему, — буркнул Васька.

Придерживая Петрована, он подошёл к отдалённо стоящей вросшей покосившейся тёмной постройке. Молодой месяц глазасто пучился с бездонного небосклона, заливая мертвенной синевой притихшие окрестности. Небольшой прудик у баньки, окружённый старыми скрюченными ветлами, застыл зеркальной непроницаемой гладью. Космы веток касались воды, иногда шевелились — вроде и ветра нет, — рябя водяное зеркало серебристым мерцанием.

Васька приостановился, открыл дверь баньки, оглянулся на луну:

— Тьфу, язва! Выставилась!

Пятясь задом, затащил Кольку внутрь. В баньке было тепло, пахло прелым веником, калёным железом, плесневелой водой. На полке — валялся старый ватник. Васька осторожно уложил друга, тот беспомощно мотнул головой, коленки брякнулись о стену. Хряк выправил Кольке положение, прикрыл ватником. Уже выходя, споткнулся о веник, громко шмякнул его в стену, сердито дёрнул носом. Петрован сонно всхлипнул, тяжело, с присвистом, задышал. Васька приостановился, тревожно вглядываясь в блеющее лицо Кольки.

Наверное, банные запахи сбили Петровановы видения на новый лад. Что он видел? Себя сопливым пятилетним мальчуганом, как его зимой раздевали догола у горячей печки в доме, закутывали в тулуп и тащили в баньку. Обычно это была мамка, иногда тётка, иногда бабка. Мужикам Колька мешал париться. Кольку совали в баню, выпрастывали из тулупа. Сами бабы раздевались в предбаннике. Петрован любил смотреть, как женщины по одной заходят в парилку. Голые фигуры робко протискиваются под низкой притолокой, чуть сжавшись, опустив руки, прикрывая себя тазиками, мочалкой, постирушками. Топчутся, стыдливо поворачиваясь друг к другу спинами. На том Колькино гляденье и заканчивалось. Его мыли, мылили, мыло попадало в глаза, он начинал орать, отбиваться. И вот, отмытый, чистый, сидит в тазу с тёплой водой, поджидая, когда кто-то первый напарится и, подхватив его шубейкой, помчится по снежной тропке домой, а в баньке уже творится что-то сказочное. Вот этого Колька и ждал, и орал он не от мыльной боли. Он боялся пропустить тот момент, когда женщины, вот такие недавно немощные, пристыжённые мамки, тётки, бабки, превратятся в сказочных красавиц. Пугающе шипит, исходя клубами от каменки, обжигающий туман, мелькают вишнёвые тугие тела — смех, визг! Оглушительно, стремительно хлещет, смачно шлёпая о крепкие спины, веник; в радужном сиянии веером летят по тёмным углам брызги воды. Ой как Кольке хочется, вот так охая, постанывая, влететь в парилку в клубах морозного пара, в комьях снега на раскрасневшемся теле — и с визгом на полку... А там уже ждут: шлёп, шлёп...

Петрован натужно замычал, заскрипел зубами. — Кто же я? Богородица!.. Христос... Любовь... Кому это нужно?!.. Кому? Для кого? Как разделить?..

Хряк осуждающе вздохнул, переступил с ноги на ногу, вглядываясь в тёмные углы.

— Что бормочешь? — воровато перекрестился. — Спаси и сохрани, — поправил ватник. — Дрыхни, друганок... Пора уж, наверное, и прописать тебя тут. Нескладыш ты наш...

Пятясь плотным задом — на расшитых штанах виднелся тёмный клин, — вылез из бани. Достал из-под застрехи замок, повесил его, повернул ключ. Потянул, проверил, защёлкнул ли. Прислушался... Тихо. И вдруг, лихо топнув ногой, вприпрыжку помчался вдоль высокого штакетника к аккуратненькому домику в конце улицы. Несколько раз тьякнул чей-то пёс. Васька приглушённо рывкнул: — Замолчь, паразит!

Остановился рядом с домиком, в тени огромных тополей, прислонился плечом к дереву, перевёл дух. Прислушался. Деревню укрыло как пологом. Темно... Тихо... Звёзды тысячами мерцающих искорок усыпали небосклон. Полумесяц луны редкими блёклыми мазками высвечивал шиферные крыши домов. Зыбкие отсветы одиноких фонарей пугливо жались под изгородями широкой улицы. Журавль колодца задрался вверх, ведро на цепи затаённо-недвижно висело над срубом. Громады теней изменчиво, незаметно размывали открывшуюся Васькиному взгляду картину в мертвенно-знобкое безмолвие. Стоял минуты три, невольно залюбовавшись необычностью красок. Тревожно передёрнулся, поддёрнул мотню, хмыкнул: — И чтой-то я такой влюблённый?..

Решительно сплюнул, шагнул к покосившейся задней калитке, резко дёрнул её за ручку, открыл, прошёл росной тропкой, стараясь не трогать высокую картофельную ботву. Всё же замочил брюки. Укрылечка нагнулся, хлопнул по штанинам: — Вот зараза, какая роса.

Ступил на крылечко. Оглянувшись, стукнул костяшками пальцев три раза в косяк двери. Рванул рубашку из штанов, шумно задышал, вытирая тыльной стороной ладони слюнявый рот. Широко шагнул в распахнутую дверь: шагнул по-медвежьи косолапо, чуть присев и растопырив ручки. — Ох ты, моя лапочка... Заждалася, милая...

Стукнуло об пол, падая, и покатилося, гремя, ведро. Васька раздосадованно матюгнулся:

— Ах, чтоб тебя... Ты что ж ведра на дороге ставишь? Чуть нос не расквасил.

Хряк пытался облапить встретившую его женщину. Та, слабо отбиваясь, пятилась назад.

— Ну хряк ты, Васька! Самый настоящий боров. Ну погоди же... Где Петрован?

— А где ему быть? — хохотнул Васька. — На обычном месте...

Подхватив женщину на руки, он шагнул в комнату, чуть не запнувшись о порог.

— Уронишь!.. Боров...

— Не уроню, Веруня! Такую кралю! Сам вобьюсь, а тебя ни в жисть!

— Эх, Васька! Одно у тебя достоинство... обижаться не умеешь.

Васька лихорадочно стянул сапоги; размотав портянки, швырнул их в угол; рубашку, куртку сбросил в другой; путаясь в штанах, рванулся к Вере. Она, насмешливо-презрительно взглядывая на него, стояла у разобранной постели. Чёрная длинная рубашка, белые руки, плечи, лицо наливались отталкивающей синевой, хищный оскал проступал в углах скорбно поджатого рта. Васька метнул на неё короткий взгляд, скрипнул зубами, рванулся, схватил, смял, бросил её на кровать.

Через некоторое время Хряк, сладострастно позёвывая во всю масляную, умиротворённую рожу, ворковал:

— Ну Верка! Эх!.. — сладко зажмурился, прикрыл оплывшие глазки. — Да... Такая вот прогонистая вроде, жидкая. Не наша... — опять самодовольно хрюкнул.

Вера, прикрыв глаза, чуть вздрагивая, как бы распрямляясь, лежала рядом. Васька шумно вздохнул, скептически глянул на небольшие груди Веры, на длинные стройные ноги, впалый живот...

Вера открыла глаза:

— Хряк...

Васька сморщил низкий лоб:

— Ну что — Хряк да Хряк? Васька я.

— Не Васька... Хряк!

— Ну за что ты его любишь, неведального? — Васька сел на постели, сильные плечи обвисли. Зло вздыбился. — Пропащий человек. И не мужик он, и по хозяйству одни недоразумения.

— Хряк! Ты расскажи, что у вас тогда случилось?

Васька брякнулся на спину, кровать угрожающе скрипнула... Вера поморщилась:

— Ну что случилось? Вась!

Хряк глубокомысленно рассматривал потолок.

— Рожа кака-то страшная повиделась... — помолчал. Расстроено вздохнул. — Ну чего случилось? Десять раз рассказано.

— Ещё раз расскажи.

— Ну... побили нас. Вот... ему меньше попало. Сбежал... Я бока подставлял!

— Но срок-то ему дали?

— Ну а как? Всё правильна. Он же закопёрщик. Бензин у фермера слил?... Слил! А когда тот бить его начал, он дрыном фермеру башку проломил. Как телка завалил.

Вера прошептала:

— После отсидки он другим совсем стал. Молчит всё время. Смотрит так... как будто всё видит, всё знает...

— Да брось ты. Нам что — плохо? Как вспомню... как первый раз! Ну, ты ломалась! Всю рожу мне расцарапала... Ха-ха-ха! — Васька самодовольно ткнул Веру в бок кулаком. — В наших краях... а может, и в граде, против меня ни одна не устоит. Раз я схотел!.. Всё! Моя! Лучше сама ложись. Раз-задорюсь... Па... арву!

Вера прикрыла глаза. Робкая слезинка прочертила влажный след на щеке. Васька растерянно хмыкнул:

— Ну!.. Сопли развела. Всё! Я побёг. Мне ещё и Нюрку убажнить надо, заподозрить. Всё! Побёг!

Васька, скособохась, слез с кровати и, не обращая внимания на Веру, стал одеваться. Только он напялил на себя брюки, как раздался стук в дверь. Вера стремительно вскочила с постели.

— Ой!.. Кто это?

Хряк метнулся по комнате. Заскочил в сапоги. Опять раздался стук в дверь.

Остановился у двери, обречённо поднял кулак, скрежетнул с отчаянием зубами, рванулся к окну. — Полезу... Кто-кто. Она это...

Вера отщёлкнула шпингалет. Васька, отдуваясь, натужно покраснев, начал протискиваться задом в оконный проём. Уже снизу, из темноты, протянул руки, наверное, за рубашкой и курткой. Вера нагнулась, подала их. Что-то сверкнувшее в лунном свете у её головы заставило женщину отпрянуть. На лице Хряка испуг сменился недоумением, голова стала запрокидываться. Он виновато

посмотрел на Веру, и прежде, чем свет разума погас в выпученных глазах, облегчением и радостью озарили они уже мёртвое лицо. Пальцы на миг зажали подоконник, вырвав кусок дерева, он кинул руки к ней, но силы в них уже не было, пальцы растопырились, посыпалась с них труха, руки упали вниз, потянули и тело, Васька боком сполз в темноту, прошептал:

— Вот и полетели, друганок, никто нас не удержит теперь...

Вера закричала:

— Коля!.. Вася! Милые!.. Что ж вы наделали?..

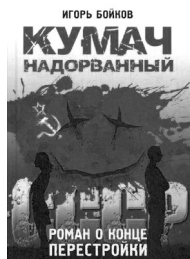
...Петрован посмотрел себе под ноги, осторожно отступил, вздохнул, прислонил лопату к заваulinке: — Вещдок...

Долго из темноты снизу молча вглядывался в Веру, прикрывшуюся Васькиным бельём.

— Живи, Веруня, и нас помни, — устало выдохнул. — Бензин слил я, а дрыном... вместе бежали... Эх, Васька! Эх, друган!.. — потряхнул головой. — Звони в милицию, я в баню, — повернулся и зашагал через огород, ломая картофельную ботву тяжёлыми сапогами.

С заплота сорвал верёвку, сделал петельку, подёргал узел, кося взглядом на задумчивую, притихшую луну, просунул другой конец верёвки в малую петлю, надел большую петлю на шею. Пригнувшись, шагнул в баню. Стал на лавку. Шаря руками по перетяжинам, удовлетворённо проговорил: — Вот и добежали...

ДиН РЕВЮ



Игорь Бойков

Кумач надорванный

Москва: «Книжный мир», 2019

Библия утверждает, что Моисей сорок лет водил по пустыне евреев, вышедших из Египта, чтобы за это время родилось поколение, не помнившее жизни на покинутой родине. А в России, тихо и незаметно, минуло тридцатилетие с начала горбачёвской «катастрофы», память о которой уже не только в сознании молодого поколения, но и у зрелых людей растворяется во мгле времени.

Книга Игоря Бойкова возвращает нас в годы перестроечного лихолетья, когда деградировали идеология и мораль, разрушались экономика и государство, а измена и безумство воцарялись

повсюду: от Кремля до самых до окраин Страны Советов. Мало было таких, кто устоял в то смутное время, больше тех, кто либо с упоением крушил Родину, либо отгородился от последних времён стенами своей «хаты с краю».

Этот роман — о «рождённых бурей», о предательстве и подвижничестве, о том, как, вопреки всему, малая горсть патриотов сохранила честь и верность Отечеству. В центре произведения — судьбы юноши и девушки, чья первая любовь погибла в вихре перестройки, проданная и раздавленная несправедливой эпохой.

Наталья Ковалёва

«Прости мя, Боже!»

Зинка орала на него так, что в серванте звенели рюмки. Она ругалась матом или подбирала такие слова, которые больно задевали его самолюбие. А из-за чего? Подумаешь, с мужиками посидели. Впервой, что ли?

— Ты, скотина! Когда деньги будешь в дом приносить? Мне надоело смотреть на твою пьяную морду. Через день да каждый день заливаешь зенки. На что пьёшь? Нет, я спрашиваю: на что пьёшь?

Иван сидел на диване и тупо улыбался.

— Мне от детей и соседей стыдно за тебя! Ходишь по селу и собираешь стопки. В доме скоро хлеба не будет! Скотинья раздолбанная! — не унималась жена.

В глубине пьяненькой души Иван понимал, что супруга где-то права. Но он же не виноват, что совхоз обанкротился, а МТС развалилась. Хозяина-предпринимателя ещё не объявили банкротом, поэтому их официально не увольняли, но и зарплату не платили. Совсем. Уже третий месяц работники затягивают всё туже и туже пояса. А что мужикам делать? Работы нет. Вот и справляют поминки по совхозу.

Жена ходила по комнате, выговаривая обиды и претензии, при этом не прекращала делать какие-то свои дела. У Ивана было хорошее настроение, и когда она поравнялась с диваном, он попытался обнять и похлопать её по задку, так сказать, смягчить гнев.

Реакция супруги была неожиданной. В следующую секунду он понял, что зря это сделал, — тяжёлая Зинкина рука отпечаталась на его физиономии.

— Ну ты руки-то не распускай, — озлобился Иван, трезвея, держась за щёку, — а то и сдачу получить можешь!

— Ой, а ты на это способен? Да ты ни на что не способен! Импотент недоделанный! От тебя уже как от козла воняет! Пользы от козла больше, чем от тебя! Вот для чего ты живёшь? Чтобы пить да жрать?.. Неудачник жизненный!

Это была, как говорится, последняя капля масла в костре супружеского раздора. Гнев и обида вспыхнули внутри с силой фейерверка. Он подскочил с дивана и ринулся к выходу. В сенях запнулся за что-то, заматерился. Курица, выскочившая

невесть откуда, улетела от его пинка к покосившемуся забору. Иван заметался по двору, не зная, как погасить гнев, обиду и злобу — на Зинку, на себя и на весь окружающий мир.

— Я тебе покажу неудачника! Я тебе покажу импотента! Ты у меня ещё горькими слезами плакать будешь! Сука!

В порыве гнева заскочил в сарай. На верстаке лежала верёвка. Нервным движением схватил и начал делать что-то наподобие петли.

— Сама-то кому нужна будешь?.. Ещё сопли не раз на кулак намотаешь... Я вам всем покажу... Надоело! Всё! Конец!

Злоба кипела в нём сильнее и сильнее. Краем уха слышал, как хлопнула калитка. Подумал: «Наверное, к соседке пошла жаловаться».

Пододвинул старую шатающуюся табуретку, осторожно встал на неё и перешагнул на верстак. Перекинул верёвку через кольцо для переносного фонаря, свисающее с потолка, и туго затянул. На другом конце верёвки болталась петля. Взял её в руки, надел на шею...

Почему-то стало страшно, затряслись ноги. Холодный пот потёк по виску. Поправил на шее крестик, перекрестился:

— Прости мя, Боже!

За спиной скрипнула дверь. Резко повернул голову. В проёме стоял соседский сынишка Витёк с широко открытыми глазами:

— Дядь Вань, вы чо это?

Иван машинально и резко скинул петлю с шеи. Мальчишка испуганно ойкнул и пулей вылетел из сарая.

Ивана обдало жаром, а потом кинуло в холод. Его просто трясло всего. Ноги стали ватными, и он опустился на верстак. Взял, не глядя спички и «бычок» недокуренной сигареты, лежавшие рядом. Подумал, что это уже когда-то было в его жизни, где-то он это видел. Как дежавю... Да, конечно, он вспомнил!

В далёком детстве вот так же неожиданно заскочил в сарай. И на этом же месте стоял его отец с верёвкой в руке...

Иван закурил. «Неудачник!» — звенели в голове обидные Зинкины слова. Может, и правда неудачник? Может, на роду у них написано быть неудачниками?..

Отец рассказывал, что дед Ивана, Семён, жил в Белоруссии. Когда в четырнадцатом году началась империалистическая война, его забрали на фронт. Дед был храбрым солдатом Первой мировой. Пламя войны, унёсшее многие тысячи жизней простых людей, не пощадило и его. Он, конечно, пришёл с фронта живым, полным георгиевским кавалером, но за это поплатился здоровьем — потерял руку на поле боя.

После войны вернулся в родную деревню. Женится. Жена Прасковья родила четырёх детей — трёх дочек и одного сына. Шли годы. Дети росли, отцы вместе со страной поднимали сельское хозяйство — пахали, сеяли, убирали. Жили трудно, бедно, голодно...

Его отцу Фёдору, младшему из семьи, исполнилось только шестнадцать лет, когда объявили войну двадцать второго июня сорок первого. С самых первых чисел июля началась оккупация их района. И уже к середине июля его полностью захватили немецкие войска. Молодёжь эшелонами угоняли в Германию.

Дед Семён знал, что такие немцы, не понаслышке. Воевать он не мог с одной рукой и потому сделал для себя вывод: это конец! Дед оделся во всё чистое, надел свои ордена и вышел перед деревней встречать свою смерть от немецких захватчиков.

...Немцы вторглись в деревню ближе к вечеру. Моторизованная пехота шла шумно, заглушая лай собак и поднимая придорожную пыль. Дед стоял на пригорке возле дороги, ожидая своей участи. Рукав рубашки был заткнут за пояс, ветер развеивал его редкую седую шевелюру, а на груди блестели от закатывающего солнца Георгиевские кресты. Он думал, что вот сейчас примет смерть за Родину как солдат! Пусть немец видит, что он не боится врага и смерти!

Но немцы почему то, проходя мимо, стали отдавать ему честь. Вся колонна! Так и простоял старик со слезами на глазах до самого заката, не понимая, почему немец его не убил...

...А сельчане истолковали это по-другому. Плевались вслед, думая, что дед Семён хлебом-солью встретил немца. Через неделю его нашли мёртвым на сеновале. Говорили, что сердце не выдержало позора...

Отец рассказывал Ивану, что он тоже попал под оккупацию. Его, как и многих деревенских парней и девочек, погрузили в эшелон и отправили в Германию. Отец с ребятами пытались бежать. Они прыгнули на одной остановке из вагона, но немецкие охранники дали по ним очередь из автоматов, поймали парней и снова затолкали в вагон. Батю ранило в колено. Соседи по вагону помогли остановить кровь и перевязали ногу. Больше о побеге не могло быть и речи.

Охраняемый автоматчиками эшелон шёл и днём, и ночью. Сначала прибыли в Германию, а оттуда

направили в Данию на сельскохозяйственные работы. Работали на фермеров от зари и до заката, как батраки. Но кормили их хорошо и не обижали. Так прошло четыре года...

Бате исполнилось двадцать лет, когда весной сорок пятого закончилась война. Осенью всех «батраков» собрали и отправили на Родину. Родная деревня приняла его как предателя (а он так скучал по Родине!). Обвиняли, что работал на немцев, называли «немецким прислужником», обзывали «власовцем». Говорили, что яблоко от яблони... Но разве ж была его вина в том, что шестнадцатилетним мальчишкой попал в жернова войны?

Жизнь в белорусской деревне стала невыносимой, и батя уехал в далёкую Сибирь, подальше от злобы и ненависти сельчан. Долгое время жил спокойно, женился, родил детей. Но и здесь «слава» настигла его. Кто-то написал донос. Проверки НКВД, недоверие властей, нелюбовь сельчан...

Всё было: и поджигали, и кошек дохлых в открытое окно кидали, и курей травили. Обзывали фашистом недобитым...

Однажды не выдержал. Побежал в сарай, схватил верёвку и стал искать, куда бы закинуть...

...Иван вспомнил, как в тот день с пацанами решили порыбачить. Договорились пойти на вечерний клёв. Сварил немного перловки на наживку, но вдруг подумал, что нужно ещё червя накопать. Пошёл в сарай за лопатой. Дверь была полуоткрыта, и он тихо прошмыгнул в полумрак.

Иван сначала ничего не понял. Даже испугался от неожиданности, когда увидел отца, стоящего на табуретке посередине сарая.

— О, батя! А ты чего здесь делаешь... — и застыл от страшной догадки о происходящем.

Отец вздрогнул, схватился за шею и нервно сдёргнул с себя петлю. Видно было, что он стыдился своего поступка.

— Уйди, Ванька, уйди. Христом Богом прошу! — и заплакал.

Иван тихо вышел из сарая и спиной слышал, как отец неистово молился:

— Господи, прости мою душу грешную! Прости мя, Боже...

Через месяц отца обнаружили мёртвым за окном. Убийц так и не нашли...

...Зинка бежала к своему дому, не разбирая дороги. Майская грязь летела брызгами во все стороны. Иногда ноги в старых калошах разъезжались, попадали в лужу и наполнялись холодной водой, но она этого не замечала.

Женщина влетела во двор, чуть не вырвав калитку с петель, и напрямик устремила к сараю. Рывком распахнула дверь...

— Иван, не смей! — ещё не видя супруга, заорала она.

Иван сидел на грязном полу и молился:

— Господи, прости меня, прости мя, Боже!

Зинка почти прыжком очутилась возле него и тоже рухнула на колени.

Она обняла его за голову, прижала к себе: — Ваня, Ванечка! Прости меня, дуру! Не со зла я! Как ты мог додуматься до такого? Вот дурачок! Я же люблю тебя!

Иван уткнулся супруге в грудь и заплакал. Зинаида гладила мужа по лысеющей голове, вытирая солёные ручейки, текущие по её щекам.

И неслось навстречу, туда, в космическую даль: «Прости нас, Боже!»

ДиН симметрия

Крест Николая и второе пришествие Бенедикта

Исследуя Шенгелианскую впадину, я замыслил сотворить пусть небольшую, но сенсацию. Дело в том, что супругой Георгия Шенгели была Нина Манухина, так же, как и её избранник, вышедшая из Серебряного века. Где-то на дальнем фоне Манухиной — я приметил ранее не ведомую мне поэтическую фигуру. В биографической справке значилось: «артист балета и политический преступник». Так я открыл для себя Николая Минаева и его стихотворение 1919-го года «Вокруг замкнутые уста...». Поэт, рождённый в 1895-м и завершивший земной путь в 1967-м, накануне собственной кончины обращался к первому секретарю Союза писателей СССР Константину Федину с просьбой хоть о каком-то вспомоществовании. Прошедший тюрьмы и лагеря за якобы антисоветское содержание стихов, пластика которых выдавала в нём скорее артиста балета, он при жизни опубликовал их не более пятидесяти. Между тем юного Минаева благословил тогдашний мэтр русской поэзии Валерий Брюсов.

«Вне земного времени» шёл по Земле и принавший в 1914 году православие Бенедикт Лившиц. В 38-м он так же, как и его нынешний симметричный собрат, примет крестные муки, чтобы навеки остаться «полутораглазым стрелцом» — по названию самой известной своей книги. Но когда читаешь стихотворение Лившица 1919 года «Он мне сказал: „В начале было Слово...“», которое обменивается взаимной симметрией с минаевским, впечатление, что у «забывшего прежнюю звезду» автора — не полтора, а по меньшей мере дюжина глаз. Или — такие полтора, что не отыщутся и у дюжины их обладателей. А его примыкание к футуристам — либо прикрытие, либо высокий знак прочтения будущего. Посему Бенедикт Лившиц — всегда современник тех, кто к нему обратится в данную минуту.

Юрий Беликов

Николай Минаев

Вокруг замкнутые уста
И неестественные лица,
Но воплощается мечта,
И каждый должен веселиться.
А жизнь — к Голгофе крестный путь,
И, повинувшись жёсткой плети,
Спешим, не смея отдохнуть,
К недостижимому на свете.
Покорны рабскому ярму,
От унижения сгорая,
Идём как в затхлую тюрьму
К вратам обещанного рая.
И жутко в этой суеде
Изображать собой паяца
И даже в муках на кресте
По приказанию смеяться.

1919

Бенедикт Лившиц

Он мне сказал: «В начале было Слово...»
И только я посмел помыслить: «Чьё?»,
Как устный меч отсек от мирового
Сознания — сознание моё.

И вот — земля, в её зеленоватом,
Как издали казалось мне, дыму,
Откуда я на тех, кто был мне братом,
Невидящих очей не подыму.

Как мне дано, живу, пою по слуху,
Но и забывши прежнюю звезду,
К Отцу, и Сыну, и Святому Духу
Я вне земного времени иду.

1919

Михаил Стригин

Чужак

Рассвет упорно пытался зацепиться за крыши домов, но облака отбрасывали его лучи вверх, не давая им опуститься ниже и осветить мансардные окна самого лазурного города Франции. Как будто облакам вчера отвалили жирные чаевые, чтобы они позволили выспаться после загула гостям и жителям Ниццы. Самые богатые люди со всего мира приезжают сюда, где на улицах города каждый вечер происходит показ самых последних марок дорогих автомобилей и не менее дорогих платьев. Сегодня, в День взятия Бастилии, выспаться утром просто необходимо — главный праздник Франции требует безукоризненного внешнего вида. Город уже позаботился об этом, он ещё вчера был украшен французскими флагами, развешенными на каждом углу.

Пока рассвет безуспешно боролся с облаками, на одной из улиц района Аббатуар смуглый, крепко сложенный мужчина в изрядно поношенном джинсовом костюме возился с тросом, которым к перилам крыльца был припаркован велосипед. Какой-нибудь ранний или, наоборот, слишком припозднившийся прохожий мог бы принять его за воришку: мужчина никак не мог попасть ключом в скважину замка, его руки тряслись, он как будто сильно волновался. Мужчина был средних лет, но седина уже пробивалась сквозь чёрную плотную шапку волос. С юности обожжённое солнцем лицо с грубоватыми правильными восточными чертами было покрыто недельной щетиной.

— Проклятая Ницца, проклятая Франция, — процедил он.

Анис, так звали мужчину, уже вспотел, как будто тягал пудовую гирию, а выражение лица было настолько злым, что казалось, будто он снимает не трос с велосипеда, а ошейник с собаки, которую хочет спустить на врага. Но вокруг никого не было. Редкие машины, проезжавшие мимо, в основном пикапы, развозили к завтраку продукты и свежую выпечку по ресторанам. У Аниса внутри всё непроизвольно сжималось, и тошнота подступала к горлу раньше, чем нос успевал уловить аромат печёного. Вчерашняя смесь дешёвого вина и местной настойки стояла колом у него в горле, а резкий запах дешёвой женской косметики не смылся

даже под холодным утренним душем. Анис снова воспользовался службой знакомств, хотя уже несколько раз клялся себе завязать с этим делом. Дамы, которые приходили на свидание, весьма отдалённо напоминали выложенные в Интернете фотографии. Ему вспомнился вчерашний бигмак в «Макдональдсе», столь же отдалённо похожий на свою аппетитную рекламу на фасаде ресторана.

Замок всё никак не поддавался. Превозмогая тошноту, Анис сосредоточился на руках. Злость ядовито шипела внутри. Её хватило бы, чтобы отравить небольшой город. Ему вспомнилось, как в юности он пытался угнать мотороллер со склада спортивного магазина, но тогда трос оказался настолько толстым, что он не мог перекусить его кусачками. Анис сумел оставить на металле только пару зазубрин, но прибежал охранник с собакой и схватил его. Громкое разбирательство в школе и поход с отцом к местному мулле не вразумили Аниса. «Ты не можешь мне купить мопед, Аллаха нет. Всё устроено нечестно!» — кричал он на отца.

Воспоминание ещё больше разозлило Аниса, он ругался на свою вчерашнюю слабость, на свою мать, которая родила его невезучим, он злился на этот город, который может себе позволить спать до обеда, на президента Франции, который игнорирует права эмигрантов... Ключ неожиданно повернулся, и трос резко раскрылся, больно ударив Аниса замком по руке. Небольшая, но глубокая ранка моментально заполнилась кровью.

— Дьявол! — чертыхнулся Анис.

Ему предстояло добираться на велосипеде практически через весь город до места парковки грузовика, на котором он развозил мороженое по сети ларьков местного предпринимателя Этьена. В этом сладком грузе тоже была некая насмешка судьбы: каждое утро с горького похмелья доставлять сладкое лакомство тем, у кого и так было всего с лихвой. Аниса передёргивало, когда он видел детей, уплетающих мороженое. В детстве он лакомился только по большим праздникам, а яркие фотографии «Nestle» с плакатов на фасаде супермаркета тянули к себе каждый день, когда он шёл мимо них в школу. Вчера вечером, прогуливаясь вдоль фонтанов по площади Массена, он не выдержал и украдкой толкнул в спину конопатого пятилетнего мальчишку, смачно поедающего

эскимо. Тот споткнулся и припечатал мороженое к яркой шифоновой юбке своей матери. Получив от неё подзатыльник, малыш обиженно разревелся...

Четыре года назад Анис, оставив дома в Тунисе жену с тремя детьми, подался на заработки во Францию. Он забрал с собой десять тысяч евро, которые были накоплены семьёй за десять лет, с твёрдым желанием их удесатерить. Анис по телефону, выслушав всё, что о нём думает жена, обещал ей, что когда-нибудь покатает её на кабриолете по Лазурному побережью и они обязательно отведают омаров в лучших ресторанах Монако. Анис мечтал о ночных клубах, спортивных аренах, больших кинотеатрах... Впервые приехав в Париж, он почувствовал, что сказка воплощается в действительность и он словно скользит от ночи к ночи, упиваясь столичной жизнью. Ничего похожего в его по-мусульмански аскетичном городе Мсакен не было.

В Тунисе при внешней религиозности уже царил светская мораль: хочешь — молись, хочешь — нет. Мечеть находилась далеко от дома Аниса, и он уже в старших классах позволял себе пропустить утренний намаз и поспать пару лишних часов. Отец работал на виноградниках и уходил на работу рано. — Сын, через час подымайся и иди в мечеть, воистину намаз отстраняет от мерзости и явного греха, — цитировал он суру из Корана, собираясь в поле.

— Хорошо, отец, — отвечал Анис и спал дальше, порой просыпая и первый урок.

— Ты не мусульманин, опять пропустил намаз, тебя накажет Аллах, — кричала мать, поднимая его в школу.

— У нас из класса почти никто не совершает фаджр.

Книг Анис не читал, зато буквально глотал американские фильмы.

«Когда-нибудь я буду жить в стеклянном небоскрёбе, на сотом этаже, и забуду этот убогий одноэтажный город с его Рамаданом и никому не нужными правилами Корана», — мечтал он.

Почему, спрашивал себя Анис, где-то там ходят в рок-клубы, а здесь обречены на пение муэдзина? Он завёл дружбу с местными байкерами, но отец не мог купить ему мотоцикл, и Анису приходилось завистливо вздыхать при виде стальных машин.

Во Франции Анис надеялся получить всё и сразу. В Париже он работал водителем такси, сутенёром, потом был боевиком в одной полукриминальной структуре, но, получив год условно, завязал с этим. В веренице событий Анис получил извещение о разводе и понял, что остался один. Отец учил его, что мужчина в семье — опора.

— Слушай лозу, она расскажет тебе о том, что без корней засохнешь, семья — это основа, — говаривал он, приводя сына на виноградники, где в сезон приходилось работать по двенадцать часов в сутки.

Но Анису всегда казалось, что он упускает что-то большее. Узнав о разводе, он ощутил облегчение. А с другой стороны, какой теперь смысл пыжиться изо всех сил?

«Особняк, „мерседес“ — для кого теперь это всё?» — вспоминал свои мечты Анис. Возвращаться ему было некуда.

— Ну её к шайтану. Женщина — порождение ада. Не поймёшь, что у неё на уме. Говорит мне: «Ты глава семьи. Ты наш защитник. Слушайся муллу, он плохого не скажет». И тут же: «Что ты мне свою мать в пример ставишь? Сейчас не прошлый век». Отец зарабатывал мало, и то мать боялась глаза на него поднять. А моя: «Не нравится — уходи». Знает, что имущество ей отойдёт. Новые правила развода, брачные контракты — это всё объедки со стола Франции, — рассказывал Анис своим подельникам.

С каждым годом желание срубить куш постепенно растворялось в череде неудач и развлечений. Сказка превратилась сначала из цветной в чёрно-белую, а затем стала просто фотографией какой-то китайской деревни: в бедном районе Гобелен в Париже, где он жил, все вывески были написаны иероглифами, и французский язык здесь не слышали уже давно. После того, как у него обчистили квартиру, с остатками денег и небольшой дорожной сумкой Анис добрался до Ниццы.

Переночевав в хостеле, он решил прогуляться по городу, пытаясь найти место, где ему может улыбнуться удача. Выйдя на набережную, Анис почувствовал жажду, но прошёл мимо множества открытых ресторанчиков и присел выпить кофе только возле отеля «Негреско». Ему хотелось хоть как-то прикоснуться к роскоши, подышать одним воздухом с людьми, сидящими здесь. Они приезжали и уезжали на дорогих авто, которые стартовали со звериным визгом и рыком. Это было круто. Анису захотелось стать владельцем такого автомобиля. Он развалился в плетёном кресле и представил, как его новый шёлковый костюм будет холодить разгорячённое тело в открытом кабриолете...

— Что будете заказывать? — вопрос официанта прозвучал словно из ниоткуда.

Анис вернулся к действительности и расстегнул душную джинсовую куртку.

— Кофе, будь любезен, — растерянно попросил он.

Чуть позже, когда официант, по виду тунисец, застилал стол салфеткой, Анис вкрадчиво спросил:

— Земляк, где бы можно подработать?

— Гражданство есть? — вопросом на вопрос ответил официант.

— Да я коренной француз, — обиделся Анис, показывая французский паспорт.

— Тут в порту стропальщиками такие коренные работают. Сам два года отпахал, пока не нашёл это место. Правда, оно тоже сезонное, и я вместе

с птицами лечу каждую осень обратно в Африку. Но если ты хочешь что полегче и есть права и деньги, то можешь взять грузовик в аренду и развозить мороженое. Есть в городе одна компания, там директором Этьен, она поставляет мороженое в два десятка ресторанов. Одна машина вполне справится, если начинать затемно. Местная компания, где он нанимал водителей, сейчас бастует, поэтому Этьен может заплатить и двойную цену. В это время он обычно в офисе.

«Может, повезёт»,— подумал Анис, а вслух спросил:

— Какое сегодня число?

— Десятое июля. Скоро День взятия Бастилии, большой местный праздник,— сказал официант, нахмурившись.— Сплошная суета. Кстати, у нас тоже праздник— неделю назад наконец-то открылась мечеть, приходи в пятницу на вечернюю молитву. — Я не верю в Аллаха,— с вызовом ответил Анис. — Так не должно быть. Ты родился правоверным,— бросил официант и ушёл на кухню.

Рёв автомобиля заставил Аниса обернуться. Из припарковавшегося спортивного авто вышла девушка в обтягивающих джинсах и незаметном топики, на её голове была широкополая соломенная шляпа необычной формы. Шляпа была похожа на морскую раковину, из которой выглядывал и сам моллюск: лицо девушки было абсолютно бледным, а взгляд—холодным.

«Или финка, или шведка»,— подумал Анис.

Когда она проходила мимо, верх её шляпы зацепился за спицу зонта, под которым сидел Анис. По инерции девушка сделала ещё несколько шагов, а шляпа так и осталась висеть на краю.

«Шанс»,— решил Анис. Он встал, снял головной убор и протянул его девушке. Но та бросила на него уничтожающий взгляд и, поглубже надев шляпу, прошла к угловому столику. Анис разочарованно упал в кресло, стараясь не смотреть в её сторону.

«Пришла одна, и уйдёт одна»,— он бросил ещё один взгляд на её двухместный спорткар, в котором пассажирское сиденье было завалено коробками с одеждой.

Жалобный скрип стула отвлёк внимание Аниса. Из-за соседнего столика поднялся молодой рыхлый итальянец. Он бросил на стол две купюры по двадцать евро и пошёл к выходу, не отрывая взгляда от экрана смартфона.

Итальянец выглядел нелепо в дорогом, но сильно измятом белом шёлковом костюме и отельных шлёпанцах на босу ногу. Завершал картину жёлтый шарф, небрежно повязанный на шее,— Анис невольно вспомнил селезня, которого держали в декоративном прудике китайского ресторана в Париже. Анис всё ждал, когда же его приготовят для какого-нибудь любителя утятин.

Проходя мимо, итальянец запнулся и, чтобы не упасть, схватился свободной рукой за ближайший

к нему стол. Недопитая чашка кофе, соскользнув с блюда, опрокинулась на колено Аниса. Он подхватил её и, поставив на место, привстал и расправил плечи, но итальянец, не отрываясь от экрана, пробормотал: «Сорри»,— и бросил на стол пятьдесят евро. Анис мельком успел разглядеть на смартфоне фото морской рыбалки на акул. «Он думает, им всё можно».

Место для скандала было неподходящим.

«Это он здесь селезень, а хотелось бы послушать, как он будет крякать уткой, если его зажать где-нибудь в проулке».

Анис забрал брошенную купюру и прихватил чаевые, которые итальянец оставил на своём столе. Пора идти искать офис торговой фирмы.

Он быстро договорился с Этьеном, невысоким худощавым французом. У того была практически безвыходная ситуация: рестораны искали других, более шустрых поставщиков. Этьен предложил подписать партнёрский контракт.

Несмотря на природную худобу—кости выпирали на плечах из-под рубашки,—он пытался произвести впечатление серьёзного бизнесмена. Все атрибуты—просторный кабинет, большой дубовый покрытый кожей стол—говорили об этом. Внимание Аниса привлекли крупные золотые, инкрустированные камнями, часы на руке Этьена: они сползли по запястью, когда тот ставил свою подпись. Этьен быстрым движением поднял часы на место. Анис подумал, что было бы неплохо со временем сесть в этот кабинет вместо Этьена и обзавестись такими же часами. Но что-то его смущало: может, излишнее радушие, может, странная суетливость хозяина.

— Тунис и Франция были столько лет вместе, мы должны помогать друг другу. Предлагаю обмыть сделку. Гренаш— моё любимое тунисское вино.

— Отлично,— ответил Анис.

Подписывая контракт, Анис заволновался. Чтобы успокоиться, он начал вращать ручку между пальцами, как любил делать его поделщик в Париже. Этьен откупорил бутылку и начал разливать вино по бокалам, но, заглядевшись на ловкие движения Аниса, отвлёкся, и вино забрызгало джинсы новоявленного партнёра.

— Оу,— выдохнул Анис.

— Извини, в квартале отсюда есть химчистка, там отстирают и вино, и кровь,—сочувственно заметил Этьен, указывая на тёмное пятно.

— Это не кровь, это кофе,— Анис повернулся, скрывая ногу под столом.

Этьен достал из сумочки толстый кожаный бумажник, замявшись, вынул пятьдесят евро и положил их на стол перед Анисом.

«Отец неделю работал на виноградниках, чтобы получить такие деньги»,— подумал Анис. — А вдруг это вино из того самого винограда?» Он украдкой бросил взгляд на бутылку— вино было закупорено

через два года после смерти отца. Но внутри колыхалось странное эхо: «Мы на побегушках у европейцев, мы на побегушках, это неправильно».

После встречи с Этьеном Анис поехал в прокатную фирму на холмах за городом и взял в аренду среднетоннажный рефрижератор марки «Рено». Он заплатил две тысячи евро залога и четыреста в виде оплаты аренды за три дня. Ему предлагали пикап, но он посчитал, что сможет, кроме мороженого, возить что-нибудь ещё. Анис хотел почувствовать себя хозяином дороги, жоаком стаи, за которыми бегут легковушки, мотоциклы, пикапы... Хотел посмотреть, как расступятся все они, когда он выедет на дорогу. Он жаждал новых впечатлений. Его уже не так пугало, что в кармане осталось несколько сотен евро.

«Может, ещё и покатаю на кабриолете не жену, так детей,— думал Анис, выходя из офиса прокатной фирмы и нащупывая в кармане остатки денег.— А может, и не получится»,— мысль царапнула и пропала в потоке приятных предчувствий.

Когда он подходил к городу, солнце точным броском опустилось в единственное облачко на горизонте, как бильярдный шар в лузу, и, подсвечив его, ещё долго выглядывало из-за горизонта, словно луза была переполненной.

«Эту партию я должен выиграть»,— подумал Анис и отправился искать жильё.

В сравнительно недорогом местечке Аббатугар он нашёл то, что было нужно. Зайдя в комнату и бросив сумку на кровать, Анис первым делом достал ноутбук, вошёл в Интернет и погрузился в местные сайты знакомств. Он верил, что сегодня его день и он в приятном обществе прогуляется по Английской набережной...

Три дня пролетели в суете. Было очень жарко, и Ницца огромными порциями поглощала мороженое. Рефрижератор Аниса, как большая ложка, сновал от базы к ресторанам, без усталости убаюкивая город.

Наступило утро долгожданного праздника. Особо настойчивые лучи пробивались сквозь облачный занавес, проникли под тёмные гостиничные портьеры и потревожили нежащихся в постелях гостей города. Город начал готовиться к вечернему действу: флагами и шарами украшали набережную, устанавливали VIP-зону и полицейские ограждения, расставляли пиротехнику, залпы которой должны были напомнить о давно прошедших событиях.

Разделавшись с парковочной цепью, Анис устал крутил педали. Даже раннее облачное утро не остужало внутреннего жара. Каждый оборот педалей отдавался болью в голове; если бы не похмелье, организм бы уже привык к нагрузке. Пот ручьём лил по лицу и спине. Анис с завистью

подумал о мажорах, которые приезжают за своими грузовиками на такси. А бросив взгляд на облачное небо, позлорадствовал: «Никто, кроме небожителей, ваш салют и не увидит».

Обливаясь потом, он вспомнил свои мечты о том, как будет хозяйничать на дорогах. Работа на грузовике была тяжёлой— приходилось помогать на разгрузке. Вставая перед рестораном, грузовик обычно перегораживал улицу, и автомобилисты, которые не могли объехать большегруз, с удовольствием жали на клаксоны. Так нелепо твякают на сенбернара болонки. Это даже забавляло Аниса, но управляющий одного из ресторанов пожаловался Этьену.

Когда выдавалась свободная минутка и Анис мог спокойно посидеть в кабине грузовика, он с завистью выглядывал посетителей в дорогах костюмах, входящих в ресторан с парадного входа. Их взгляд обычно не останавливается на грузчиках и водителях. Они не замечают их, как не замечают мелких грызунов крупные хищники, высматривающие только крупную дичь: дорогие машины, ярких женщин... Анис пытался отрепетировать подобный взгляд перед зеркалом, но у него выходило комично и жалко.

«Они, наверно, и этот взгляд получили вместе с наследством»,— Анис вспомнил Этьена. Ему не хотелось верить, что тот достиг всего сам. Хотя хватка современного бизнесмена проявлялась в Этьене отчётливо: в первый день он не заплатил под предлогом, что заболел бухгалтер, во второй сказал, что готовится к празднику и пришлось все деньги вложить в оптовую партию мороженого.

«Я должен сегодня забрать свои деньги»,— пульсировало в голове у Аниса. Ему было необходимо сегодня вернуть машину в агентство или внести ещё четыреста евро, а денег осталось только на мороженое. Внимание Аниса привлекла ярко освещённая витрина ювелирного магазина. Он притормозил, его взгляд пробежал по ценникам и остановился на одном, с четырьмя нулями. Анис присвистнул: «Ломик бы сейчас...»

Нет, сидеть он не хотел. Заметив, что самым дорогим на витрине было обручальное кольцо с крупным бриллиантом, Анис непроизвольно посмотрел на свою правую руку, где ещё не так давно блестели его обручальное кольцо на безымянном и родовое на среднем. Первое он подарил в прошлом году уже забытой девушке по вызову. След от него уже сравнялся с общим загаром. Родовое кольцо, переданное отцом от деда, было бездарно проиграно в напёрстки на Монмартре таким же коренным французам, как и он. Попытка забрать кольцо назад стоила ему разбитого носа.

Анис на скорости приблизился к перекрёстку и, не слезая с велосипеда, поехал по пешеходному переходу. Сигнал клаксона застал его врасплох. Велосипед вильнул вбок и врезлся в паряплет.

Анис, перелетев через раму, упал на тротуар. Оглянувшись, он увидел за рулём грузовика крепкого араба, бледного от неожиданности. «Как у себя дома», — сплюнул Анис и вытер кровь с локтя.

Когда Анис приехал на парковку, тучи уже расступились и пятились к горизонту, уступая пространство празднику. Анис, загрузив машину мороженым, поехал развозить лакомство по точкам Этьена. Когда в холодильнике осталась только пара контейнеров с подтаявшим мороженым, Анис, оставив грузовик на парковке, отправился в офис за зарплатой. Он чувствовал, что Этьен так просто не расстанется с деньгами, и эта мысль заставляла его остервенело крутить педали.

Этьен спокойно стоял у зеркала, разглаживая полы своего дорогого хлопкового пиджака в крупную коричневую клетку. Пиджак был несколько великоват для него. Заметив Аниса, Этьен ещё раз провёл рукой по лацкану.

— Садись, — неожиданно резко бросил он.

Анис растерянно плюхнулся в кресло и больно задел разбитым локтем о край стола.

— Я больше не нуждаюсь в твоих услугах. Забастовка закончилась. Не вижу необходимости платить тебе больше, чем другим. Вот ещё что: мне позвонили из нескольких точек — мороженое было подтаявшим. Это я тоже вычту. Ты же не хочешь, чтобы я проинспектировал остальные точки?.. Мой юрист всё подготовил, — отрезал Этьен.

Боль не позволяла Анису сосредоточиться. Но при слове «юрист» у него внутри всё оборвалось: как ловко Этьен из обвинителя превратил его в обвиняемого.

Он забрал деньги, не пересчитывая, посмотрел на Этьена с обречённой ненавистью и вышел. Забыв про велосипед, стоящий у входа, он пошёл пешком. Невыносимая обида подступила к его горлу и встала поперёк, мешая дышать.

Пройдя квартал, Анис зашёл в неприметное кафе, спрятавшееся за яблонями. В нём не было никого в это время — время сиесты. Сел за первый попавшийся стол. Огляделся с ненавистью и болью. Напротив его стола висела картина — единственное яркое пятно на серо-коричневой стене.

На картине была изображена гостиная в марокканском доме, где семья — муж, жена и двое детишек — обедала. Ещё пять лет назад он так же сидел во главе стола и лениво покрикивал на балующихся детей, пока жена накрывала на стол. Он подробно разглядывал своё прошлое, боясь заглянуть только в глаза изображённых на картине людей, интуитивно опасаясь их презрения. Сквозь гул в голове он слышал женский возглас, донёсшийся от входа в кафе:

— Настя!

Обернувшись, Анис увидел у входа молодую пару. Женщина в белом коротком платье быстрым

движением придержала маленькую девочку с рыжеватыми кудрями, чуть не упавшую с плеч мужчины. Мужчина, молодой брюнет в чёрных шортах и фирменной футболке клуба «Лион», видимо, запнулся за порог.

«Русские», — подумал Анис. Он немного знал их язык. В криминальных кругах Парижа они всегда удивляли его хмуростью, но уж если смеялись, то оглушительно громко. Эта тройка была другой — она светила изнутри.

Они, возбуждённые происшествием, прошли через всё кафе, сели за столик под картиной и на смешном английском заказали рыбный суп.

Анис не понимал, как может им быть так хорошо, когда ему так плохо. Он смотрел, как они играют с девочкой, заигрывают друг с другом, но когда мужчина поцеловал женщину в шею, Анис смутился и перевёл взгляд на картину. Он встретился взглядом с улыбающимся мальчишкой — и картина ожила. Ребёнок, смеясь, уплетал кус-кус.

Аниса пронзило чувство одиночества, пронзило так сильно, что ушло в позвоночник. Как будто игла хирурга вошла в него и обездвижила Аниса. Боль отступила — он впал в оцепенение и боялся очнуться, чтобы не испытать её снова. Он не слышал официанта, подошедшего принять заказ, и заметил его только тогда, когда ему на колени запрыгнула кошка.

— Кыш! — Анис отшвырнул её на пол.

Отскочив, она оглянулась и жалобно посмотрела на Аниса. Он подумал: «Меня отшвырнули так же».

Он заказал чашку чая, достал смартфон, чтобы чем-то занять руки и голову, начал быстро прогонять новостную ленту «Фейсбука». Вдруг он заметил на экране знакомое лицо: с фотографии улыбалась девушка, как две капли похожая на его жену в молодости, рядом с элегантным немцем. Они стояли возле огромного «мерседеса». Комментарий к фотографии гласил: «Он увезёт нас в рай». Кто он — джип или мужчина — было непонятно. Разглядывая джип, Анис вспомнил свой грузовик. Ему стало ясно, что делать дальше. Пружина разочарований, сжимавшаяся последние два года, моментально распрямилась. Он вдруг понял, что вся его жизнь была вызовом Аллаху, а все невезения — ответом ему. Что в глубине души он презирает тех мажоров, к которым его тянуло на протяжении всей сознательной жизни.

«Вечером, в праздник, на набережной будут все. И Этьен притащится. Лощёные подонки, вы заманиваете нас в свой европейский рай. А я покажу вам арабский ад!»

Он отшвырнул телефон, смахнул чашку на пол и вышел из кафе. План выстроился быстро. «И возвращать грузовик не надо», — проскочила мысль.

Он добрался до гостиницы, взял из сумки пистолет калибра 7,65, привезённый из Парижа.

Вспомнил, как обошёл металлоискатели на железнодорожном вокзале: «Не зря»,—и с этой мыслью он отправился к грузовику. На последние деньги шиканул и взял такси до парковки. Уже когда грузовик шёл полным ходом к Английской набережной, его остановил кордон полицейских. Анис не торопясь вылез из кабины, подошёл к двум офицерам:

— Везу мороженое на праздник. Оно тает. Очень жаркий день. Гости Ниццы останутся без сладкого.

Один из офицеров сказал другому, что машину необходимо досмотреть. Но второй махнул рукой—и Аниса пропустили.

Вокруг уже было темно, по улицам двигались тысячи людей—словно десятки горных ручьёв вливались в бурлящий поток, где всё светилось, вспыхивало, кружилось, шумело, и было не разобрать—ад это или рай.

Анис медленно подъехал к полицейским ограждениям, отделяющим пешеходную зону, и выглянул из-за деревьев на набережную—там извивалась огромная сверкающая змея. Празднующие люди как будто перестали быть живыми, они как будто уже частично переварились этой змеёй и превратились в оплывшие манекены, в тряпичные куклы. Пустота! Пустота гудела над яркими огнями. Эти огни светили, но светили они чёрным светом.

«Этьен!..» Анис включил магнитолау на полную громкость. Вместе с ударившими басами он вдавил педаль газа до упора и, пробив невысокие ограждения, влетел на набережную. Первыми он отбросил нескольких стражей порядка. Кого-то из них переехал. Машина подскочила, Анис прикусил губу и почувствовал вкус крови. Чувство превосходства распрямил его. Теперь он специально начал вилять, чтобы зацепить людей, идущих сбоку. Колонки в кабине были мощными—крики практически не доносились до него. Через несколько секунд после того, как он переехал ограждения, картина на набережной преобразилась. Броуновское движение стало упорядоченным. Как будто прорвало в нескольких местах плотину, и вся вода устремилась туда. Люди разбегались, пытались заскочить в проулки, многие прыгали с мостовой на пляж. Анис видел множество лиц. Большинство людей, прежде чем уйти под машину, успевали обернуться. Они как будто что-то хотели сделать или сказать.

Некоторых сбитых грузовиком подбрасывало вверх, и они ударялись о кабину водителя. Анис видел их бесконечный ужас. Он искал глазами пиджак в крупную коричневую клетку. Больше всего ему хотелось заглянуть в глаза его владельца. — Этьен, ну где ты?

Машина неслась словно по полю с высокой травой, подминая под себя людей и оставляя лежать их уже смятыми, сломленными. Когда грузовик

пролетал мимо отеля «Негреско», Анис заметил знакомый жёлтый шарф на шее толстяка.

— Посмотрим, чем ты заплатишь теперь.

Итальянец держал смартфон в правой руке, подняв его выше бегущих мимо людей, и даже не смотрел на грузовик—он смотрел на экран, медленно спускаясь с крыльца отеля и снимая происходящее.

Анис резко крутанул руль в направлении мужчины, тот в свою очередь опустил в ужасе глаза, и их взгляды встретились.

— Ага, ты увидел меня!

Но в следующий момент Анис крутанул руль в обратном направлении и объехал француза. От воздушной волны тот отшатнулся, но вес позволил ему устоять. Уже проехав метров пятьдесят, Анис бросил взгляд в зеркало заднего вида и увидел, что француз идёт, переступая через людей и снимая их. Тела лежали, как скошенная трава.

— Снимай, снимай, итальяшка.

Грузовик неумолимо мчался по набережной. Кто-то из полицейских выпустил обойму по кабине, но от бронированной плёнки, наклеенной на лобовое стекло для защиты от камней на трассе, пули отскакивали.

— Слабаки!—разгорячился Анис и сильнее надавил на акселератор.

В эту секунду в боковое зеркало он увидел, как мотоциклист перепрыгнул со скутера на подножку грузовика и пытается открыть дверцу. Анис повернул руль рефрижератора и, проскрежетав юзом по фонарному столбу, сбросил храбреца на мостовую. Выжить после такого падения было невозможно.

Анис перевёл взгляд с бокового стекла на лобовое и увидел пару, стоящую прямо по пути следования автомобиля,—мужчину, пытающегося достать младенца из коляски, и девушку, остолбеневшую от ужаса. Фары грузовика уже ярко осветили их. На мужчине блестела знакомая футболка клуба «Лион». В последний момент мужчина подхватил ребёнка и рванул, словно спринтер, в сторону, ухватив за руку девушку. В следующую секунду они выскочили на газон.

— Везучие эти русские,—бросил Анис со злостью.

Уже пустая коляска взлетела в воздух и, прочертив дугу, словно бейсбольный мяч, рухнула на траву.

Анис увидел, что врезается в группу арабских туристов, и первым, кого он сбил, был мальчишка—его подбросило и припечатало к лобовому стеклу. Искажённое от боли лицо оказалось прямо напротив лица водителя.

На Аниса смотрели глаза его сына. Анис выпустил руль из рук. Автомобиль выскочил на газон, сбив холодильник с мороженым, и врезаясь

в дерево. Через несколько секунд подоспели полицейские и высадили в кабину не меньше полусотни пуль. Когда открыли двери, изрешечённый Анис вывалился из них на кем-то брошенный французский трико́лор, залив его кровью...

Утро пришло равнодушно и неспешно. Набережная, открывшаяся рассвету, была то тут, то там обагрена кровью, будто бы по ней, мечась между домами и деревьями, уходило от охотника гигантское раненое животное. Небо было предательски чистым, и краски буквально горели на солнце.

Зной быстро затопил набережную. Он накрыл искореженную коляску, лежащую на газоне рядом с самым пафосным отелем Франции. Его тяжёлое дыхание почувствовала маленькая Анастасия, разбросавшая рыжие локоны в утреннем сне на лоджии недорогой съёмной квартиры. Обжёг он и Этьена, лежащего у открытого окна в госпитале,— тот не смог попасть вчера на праздник, у него открылась язва желудка. Пот лил рекой по лицу толстяка, сидящего на балконе отеля «Негреско», но тот ничего не замечал— он заворожённо смотрел на экран смартфона, где щёлкал счётчик лайков, отсчитывая живых.

ДиН РЕВЮ



Альбина Мамаева

Встречи с прошлым

Красноярск: «День и ночь», 2019

Речь героев и героинь Альбины Мамаевой до боли напомнила мне застольные разговоры в гостях у В.П. Астафьева. Та же раздольная напевность, тот же удивительный «корневой» говорок, отдающий столь глубокой древностью, что дыхание перехватывает: эк «закручено-заворочено», а как точно!

МАРИНА САВВИНЫХ

Обробел

Сергуня не успел бросить у печи дрова, в избу забежал Федька:

— Иваныч, ты дома ли нет?

— Я куды деваюсь? Печь затопляю. Иди в куть, садись на табаретку.

— Есь ковды сидеть! Вовка-то где? Ишшо всё дрыхнет?

Сергей Иваныч переломил об колено пучок лучины:

— Хватился, паря! Он уж ковды-ы-ы убежал!

— Вот дак здорово! Вечор сам звал: мол, нады помогчи ерданей надолбить да уды поставить, а то один до ночи будет пешней махать...

— Вот-вот... А ты не забыл, во сколь ставать-то собирались? Мне дак ково-то помнитца, што не в девять часов...

Федька прикусил язык.

— Дак само крайно в шесь... Я ему вить наказывал: просплю, дак штоб зревел меня.

Сергуня стал выходить из себя:

— Вовка-то вечор язык смузолил тебе говореть, штоб с вечера всё собрал да поране спать лёг. Нет, у тебя всё допоследу! Ковды ума-то накопишь?

Фёдор с досады хлопнул себя по голяшкам:

— Да склался я! Всё собрано, в сенях стоит! Уж в окошко стукнуть или зреть-то чижало было?! Я бы живо соскочил...

— Соскочил он! Как же! Мы тебе наказывали не закрючиватца или не наказывали?

— Да я-то при чём?! Видать, мамка заложила дверь-то. Ково ей не спитца, пачево быто по ночам на улицу бегат?

— Ну я уж не знаю... Вовка-то сколь времишша стукался! В дверь не дотёркался— пошёл под окошки... Ты, стало быть, глухомяте или уж едак смёртно спишь... Это хто чево?!

— Иваныч, не поверишь, уснул со включённым радивом. Оно ревёт под ухом— ково услышишь?

— Всё-то у тебя не слава Бох! Спишь как конь, вот и не с ково спрашивать. Вовка-то уж к месту должен подбегать. Иди счас— имай ево...

Сергуня поскрёб затылок:

— Ставай на лыжи да беги к нему. Всё сколь-нить пособишь. Но гляди, пешней огрет, дак не плачь— сам заработал.

Борис Дрозд

Ключи от рока

I.

...На лестничной площадке пятого этажа, чуть выше его, на крошечном пространстве с низким потолком, заставленным мебельным хламом, — там, откуда вводила короткая, в шесть ступенек, лестница к чердачной двери, сидел в продавленном кресле мужчина. Затаившись здесь в темноте, он время от времени пил водку из горлышка бутылки и поджидал того, кто должен был прийти в его квартиру, чтобы спать с его женой. Так как свет мог помешать ему в осуществлении его плана, то человек обесточил подъезд, разбив в первом этаже выключатель, подававший свет сразу на все этажи. Человек опасался того, что на лестничную площадку или сюда, наверх, могут в любое время выйти соседи ещё из трёх квартир на площадке, в двух из которых соседи были заядлыми курильщиками. Сам он тут частенько курил, стряхивая пепел в баночку из-под кофе, которые рядом стояли вдоль стены; в них же и хоронили окурки. А затем шустрая бабёнка, убиравшая этажи, опорожняла баночки и собирала разбросанные неаккуратными курильщиками окурки.

Фамилия у него была Горюнов.

В этом кирпичном доме сталинской постройки на лестничной площадке было четыре квартиры. Его квартира была первая от лестницы с левой стороны, а справа, напротив, жил Богомолов — с женой и двумя девочками-погодками. В квартире соседа, судя по звукам, оттуда, из-за дверей, доносившимся, ещё не спали. Слышались какая-то возня, скрип половиц и изредка ещё какие-то непонятные домашние звуки. Вот уж Горюнов не думал никогда, что у них такая слышимость даже за двойными дверями и кирпичными стенами старого дома! Вот уж не думал и не гадал, что наступит в его жизни когда-нибудь такой день, когда он будет сидеть под дверью собственной квартиры и поджидать любовника его жены!

Сидел он здесь уже больше двух часов и время от времени курил. И теперь, закулив и выпустив дым после нескольких затяжек, он тут же подумал о том, что тот, кого он ждет, наверное, должен быть осторожен, он может учуять запах свежего табака, что-то заподозрить и пойти на попятный. Ведь приходец будет пробираться к дверям в чужую квартиру, к замужней женщине, ночью, и поэтому

вряд ли ему захочется, чтобы его увидел какой-нибудь курильщик, живший по соседству. А может, он совсем не только страх, но и всякую осторожность потерял и думает, что ему тут нечего опасаться?

Но курить хотелось нестерпимо, и Горюнов, который был высокого роста, пригибаясь, поднялся по ступенькам ещё выше, к самой чердачной двери, сделал несколько быстрых глубоких затяжек и тут же придавил сигарету о стену и бросил её на пол. Затем вернулся в своё кресло, достал из-за пазухи начатую бутылку водки и сделал ещё несколько глотков...

В подъезде стояла тишина. Жильцы, досматрившие свои сериалы и развлекательные телепрограммы, успокаивались и готовились ко сну. А многие уже спали.

Вдруг внизу хлопнула железная дверь. Горюнов замер и понял, что это он. И правда, спустя несколько секунд на лестнице послышались шаги поднимающегося наверх человека. Горюнов даже слышал его дыхание. Поднимался человек уверенно, несмотря на темноту. Вот приходец взобрался на пятый этаж, слышалось его учащённое дыхание от подъёма на пятый этаж, вот он уверенно нащупал на стене кнопку звонка, позвонил. «Сволочь, уже давно проторил сюда дорожку! — подумал Горюнов. — Нашёл хорошую, тёплую лунку у бездетной замужней бабы!»

И тотчас же из-за двери послышались быстрые и, как ему даже показалось, радостные шаги его резвой жены — лыжницы-чемпионки с её стремительной походкой; вот звякнул замок, и дверь отворилась. В дверном проёме обозначился слабый свет из прихожей, показалась её рука, когда она, отворяя дверь, пропустила его в квартиру. И ещё Горюнов увидел большой полиэтиленовый пакет в руке, который гость держал в руках. «На ночь пришёл, сука! Целый пакет притащил еды и выпивки!» — догадался Горюнов.

И злоба, и ревность, и обида, и ненависть мигом выросли в его душе в такой ком, что тотчас же хотелось закричать, застучать в двери и наброситься на гостя. Он быстро слетел со ступенек на площадку, подбежал к двери, прислонил ухо к двери. — Милый, милый! Я так ждала тебя! Почему ты так поздно? — услышал он голос жены.

— Задержался на работе, — слышался за дверью мужской голос. — И пока пешком добрался до тебя... Машину так и не поставил пока на колёса...

— А твоя уехала?

— Да, сегодня уехала к матери.

Голоса ещё слышались — и мужской, и женский, но уже тихо, и слов было не разобрать — жена, вероятно, закрыла вторую дверь. В их доме двери в квартирах были двойными и массивными. За дверью слышался только счастливый смех жены, и Горюнова остро кольнула и ранила обида: при нём жена никогда так счастливо не смеялась. Он никогда не слышал у неё такого радостного смеха!

Потом и голосов не стало слышно, только слышалась какая-то возня, как будто кто-то елозил по двери, опирался телом на неё. «Всё ещё стоят в прихожей, — определил Горюнов. — Но почему они так долго молча стоят в прихожей? — подумал он. — Целуются, наверное! Конечно, целуются! И тот, пришелец, привалился к двери или жену прислонил к двери и теперь целует её!»

И Горюнова снова охватила тяжёлая ревность, злорада и ненависть от этого жуткого обмана, от этой раскрытой им самозванческой тайны. Значит, правы были соседи: жена его гуляет и в его отсутствие приводит в дом любовника! Жена Маша, которой он так верил! Единственная его Маша!

Одна только мысль о том, что сейчас этот пришелец целует, обнимает тело его жены, трогает её грудь, а потом потащит её в постель, на его кровать, довела его до приступа бешенства. Он сжимал кулаки от ярости и с трудом сдерживал себя, чтобы не застучать в дверь. Как запросто и невинно она обманывает его! И как подло она предала его, когда так честно и правдиво глядела ему в глаза, собирая в последнюю поездку! Как заботливо укладывала в его сумку еду и всё, что ему нужно в дорогу! Она укладывала, не подозревая того, что он уже всё знал, уже соседи говорили ему; он уже знал, что вернётся из рейса раньше положенного срока, чтобы не просто устроить ей проверку, а застукать её с поличным.

Горюнов вернулся наверх и закурил уже в открытую, затем достал из-за пазухи бутылку и сделал ещё несколько глотков. Но мысль о вошедшем в его квартиру любовнике жены не давала ему покоя. Его разрывало то соображение, что теперь этот мужик, попав в его дом, чувствует там своё превосходство над ним, Горюновым. Городец маленький, все друг друга знают, и наверняка этот гадёныш знает, что тут, в этой квартире, живёт он, Горюнов, а Маша — его законная жена. Ещё бы — он спит с его женой, женой обманутого Горюнова! И это длится, наверное, не один месяц! Обманутый муж, в постели которого спят чужие мужчины, в которую без зазрения совести впускает жена... такая родная, такая милая жена, которой он, от природы недоверчивый к женщинам, так доверял!

Ей единственной из всех женщин доверял! О, эта вечная горькая насмешка над мужьями счастливых любовников! Зачем теперь жить? И как жить, когда предадут самые лучшие люди на свете? Зачем теперь дом, осквернённый женой? Уж лучше не жить, а уйти навсегда в тайгу. Звери — они никогда не поступают так подло, как поступают люди — эти лживые, коварные двуногие особи.

Но он сдержал себя, только мычал от невыносимой муки и кусал губы, и скупые слёзы стили в уголках глаз, не скатываясь по щекам. С трудом, но сдержался, так как у него был план. Если теперь он своими глазами видел, как жена впустила в квартиру чужого мужчину, то он хотел и надеялся застать их в постели, чтобы уличить наверняка, поймать их на месте, так сказать. Но для этого придётся высидеть здесь немало времени — час-другой-третий...

Но он высидит здесь столько, сколько нужно, для того чтобы отомстить обоим!

Несколько раз он спускался вниз, выходил во двор и смотрел на окна, чтобы увидеть, горит или не горит в них свет.

Только через два с лишним часа свет в окнах его квартиры погас — стало быть, легли спать. Он ещё выждал какое-то время — шёл уже третий час ночи. Наверное, пора. Горюнов снял ботинки перед дверью, чтобы ступать неслышно, сунул пригтовленный свой ключ в английский замок, открыл дверь, потянул её на себя. К счастью для него, она не скрипнула. Осторожно, чтобы не клацнул замок, поставил его на предохранитель, а дверь запер осторожно на задвижку. Осторожно открыл вторую дверь, которая никогда не запиралась, так как замков на ней не было. Дохнуло устоявшимся теплом, родным запахом дома, милого дома, который опоганила жена, предавая его. В родной дом он пробрался, как вор, и крадёт, как вор, на цыпочках! Он уже тут лишний, уже ненужный!

Он ещё немного постоял у порога, прислушиваясь к звукам в квартире: спят или нет? Может, легли, но ещё не спят? Только бы не спугнуть их раньше времени!

Но голосов из спальни не было слышно. Тогда, светя фонариком, Горюнов осторожно пробрался в кухню, где на столе увидел сыр, сервелат, полбутылки коньяка, шампанское в бутылке, опорожнённое на две трети, яблоки, нарезанный и обсахаренный лимон, виноград, — и всё это лежало в тарелках из красивого семейного китайского сервиза с синими рисунками зверей, который доставался из серванта только по праздникам. «Ишь ты, гадюка, как гостя-то дорогого встречает! — с горестной усмешкой подумал он. — Даже сервизные тарелки вытащила! И шампанское стала лакать, хотя терпеть его не могла!»

Эти факты озлобили его ещё сильнее. Он сел на стул и, светя фонариком, зажатым под мышкой,

осторожно отстегнул замки деревянного чехла, достал ружьё. Оно было уже готово к стрельбе, оба ствола были им предварительно заряжены патронами двенадцатого калибра. Взял курки и злорадно усмехнулся при этом, подавляя в себе остатки жалости. Он представил, как оба ужаснутся, изумятся, как будут метаться, лопотать что-то в своё оправдание. Но нет—никакой жалости к осквернителям его очага!

Затем он выключил фонарик, чтобы нечаянно не разбудить и не спугнуть светом спавших в спальне любовников. Держа ружьё в правой руке, Горюнов, осторожно ощупывая стену левой рукой, двинулся по коридору к спальне. Вот поворот налево, и он свернул и сделал ещё два шага в глубь длинного коридора... В нём с правой стороны—дверь в спальню. Она была открыта, но завешена портьерой.

Свет в спальне уже не горел. «Спят уже, голубки, натешились!»—злорадно и горько усмехнулся Горюнов.

Он осторожно отвёл стволom портьеру, застыл на пороге. Было тихо и темно. Постоял немного, вглядываясь в темноту и привыкая к ней. Мелькнула мысль: зажечь свет, чтобы увидеть их? Или посветить фонариком? И представил, как же они всполошатся, если он сейчас зажжёт свет!

II.

Горюнов был сильный, бесстрашный человек, опытный таёжник. Он много времени проводил в тайге, состоял в обществе охотников и ежегодно пользовался лицензией на отстрел медведя и копытных животных. И удача сопутствовала ему чаще, чем неудача. Он не боялся крови, так как немало убивал животных и видел, как они истекают кровью. И сибирскую тайгу он любил больше, чем город, в который его забросила судьба и в котором он не находил никаких радостей, чего-то для себя важного. И при всякой возможности старался из него вырваться. Работал Горюнов машинистом тепловоза и водил грузовые поезда. Он любил дорогу, это молчаливое передвижение по пространству, когда отдыхает душа, любил перестук колёс, мелькание домов, домишек, стожков сена в полях, берёзок, елей и кедрачей, когда ехали по тайге; любил ветерок, задувающий с посвистом в открытое окно,—любил эту дорожную музыку для одиноких душ, не обременённых излишней мыслью. Тут только, в дороге, в любимой работе, не считая тайги и таёжной жизни, была отрада его жизни и отрада его души.

И в помощники он себе выбрал такого же молчуна—молодого парня по фамилии Григорьев. За всю шести-семичасовую смену в одну сторону до пункта назначения, а затем обратно—ещё шести-семичасовую смену, они едва ли обменивались десятком-другим слов. И в гостиницах, где отдыхали,

а зачастую ночевали в ожидании обратного рейса, тоже молчали.

Маша вышла за него тридцати пяти лет от роду, будучи женщиной бездетной, не побывавшей даже в коротком замужестве. А ему тогда было сорок три. Прожили они семь лет. Сошлись они без особой надежды на детей. Горюнову нравилось в Маше то, что в ней было много мужского, даже во внешности: крупный нос, сухое тело спортсменки-лыжницы, стремительная походка, резкие движения, угловатость; нравились её короткие волосы, сильные руки, крепкое пожатие. И никогда он не слышал, чтобы она сплетничала. Нравилось то, что в тайге, когда он иной раз брал её с собой, она была своим человеком, не терялась, не пугалась тайги, не боялась темноты, справлялась с палаткой и с лодочным мотором, с костром, водила автомобиль и могла сварганить кашу едва ли не из топора. Нравилось и то, что она не красилась. Это нравилось Горюнову в особенности. Не красилась жена совсем, не подкрашивала сухих губ, ресниц, бровей, не накладывала на лицо пудры и теней, не отращивала ногти. Нравилось именно то, что в ней мало было «бабского», как все эти «косметические штучки» называл Горюнов. Он любил в ней ещё ту особенность, что она потела, когда работала, он любил вкусный запах её пота, Это был запах его жены, который он узнавал сразу—так зверь узнаёт запах своей самки. Но именно это свойство стремятся заглушить в себе женщины, прыскаясь различным парфюмом, который раздражал его мужицкую натуру рыбака и таёжника. И Горюнов тихо радовался тому, что ему так повезло: когда ему уже перевалило за сорок, он после неудачного первого брака и пятнадцатилетней жизни бобыля наконец-то обрёл подругу жизни, хозяйку в своём доме, во всём или почти во всём устраивавшую его.

Жили они без особенной любви, но с приязнью. Горюнов был скуп на ласку, на похвалы, а тем более на комплименты, в которых, впрочем, его жена, скорее всего, не нуждалась. Нравилось ему и то, что Маша молчала, когда он пил или приходил пьяным, никогда не упрекала и не ворчала, молча принимала его выпивки, а случалось—короткие запои. Они сошлись, когда у каждого из них на жизненном горизонте было немного шансов найти себе пару. Резкую, грубоватую с наполовину мужским характером и складом ума Машу обходили вниманием мужчины, и она уже смирилась со своим одиночеством, с судьбой безмужней, бездетной женщины, которой остаётся только радоваться или завидовать чужому счастью и избыток нерастраченной нежности отдавать животным или чужим детям. А то ещё заняться какими-нибудь общественными делами, устройством чужих жизней, как это обыкновенно бывает у бездетных женщин.

Та сторона жизни, которая была у жены отдельно от него, Горюнова мало интересовала. А это

были её лыжные прогулки, соревнования по лыжам ветеранов лыжного спорта, на которые она время от времени ездила и в них участвовала, затем походы в бассейн и нечастые девичники с двумя-тремя подругами.

III.

Маша работала на городской ТЭЦ прибористкой. «Киповцы» — так их ещё называли на станции. Работа была посменная. Накануне к Маше подошла её подруга Нина Чупрова — моложавая, хорошенькая сорокалетняя женщина, с густыми тёмными длинными волосами, кареглазая, круглолицая, улыбчивая, с ямочками на щеках.

— Машенька, твой ещё не вернулся из командировки? — спросила она.

— Нет, завтра жду к вечеру.

— Подменимся, а?

— Когда?

— В ночную. И ключи дашь?

— Нет, не дам! Мне завтра мужа встречать. Он в последнее время стал что-то подозревать.

— Ну Машенька, — умоляла её Нина. — Это в последний раз. Честное слово! Машенька, у нас юбилей, годовщина! Уже три года...

— Уже три? Как же быстро время летит! Я вас поздравляю!

— Мы завтра квартиру снимаем, нам уже обещали.

— До завтра ещё дожить нужно, — как-то отстранённо и отчуждённо проговорила Маша, словно бы думала о чём-то постороннем и не житейском.

— Доживём, куда мы денемся! — уверяла её Нина.

— Ох, подставьте вы меня! Завтра муж вернётся, у него звериное чутьё, — всё ещё не соглашалась Маша.

— Мы, как всегда, Машунь, уберём, отмоем, со своим бельём! Утром нас как ветром сдует!

— Ладно, что же с вами делать! Пользуйтесь, пока я добрая!

— Ой, Машка, как же я тебя люблю! Что бы мы без тебя делали?

Это тянется уже несколько месяцев. Маша завидовала этой парочке, которая пользовалась её сердобольностью. Завидовала по-хорошему чужому счастью, пусть даже и ворованному, так как Нина и Сергей, её любовник, имели свои семьи. Несколько месяцев пользовались они её уступчивостью и добротой. Городок был небольшой, снять квартиру считалось большой удачей, а остаться вдаль от чужих глаз всяких разных доброхотов тоже непросто. Отдав ключи в те дни, когда муж уезжал в командировку, и подменившись, она иной раз провожала со смены эту влюблённую парочку грустным взглядом бездетной, постаревшей, недолюбленной женщины, в доме которой никогда не раздадутся детские голоса и детский смех. Вот так бы и ей возвращаться со своим любимым вместе со смены, потом

завернуть в детсад и забрать детей или встретить их в Доме творчества, бывшем Доме пионеров, где они посещали бы какие-нибудь кружки, а потом по дороге заглянуть в супермаркет, спросить и мужа и детей: «А что мы сегодня будем ужинать?» А дома, по давнему устоявшемуся распорядку, включить телевизор, накормить детей и мужа, поужинать, дождаться любимого сериала, побыть с детьми, уложить их спать, проверить уроки, а то ещё взяться за недочитанную книгу... Счастье — оно такое простое, такое доступное и состоит из ежедневных забот, из ласкового взгляда мужа или слова, из мысли, что у детей всё хорошо и что на работе всё хорошо. Много ли нужно для простого, обычного женского счастья?

И хотелось ей любви, которой никогда не было в жизни и которой так и не удалось почувствовать. Такой же вот, как у Нины и Сергея, у которых глаза светятся и, наверное, душа поёт, когда они смотрят друг на друга. Разве им откажешь? Когда смотришь на счастливых, влюблённых людей, на их нежную, трепетную любовь, всегда кажется, что в твоей жизни этого нет, и в душу закрадывается грусть о чём-то несбывшемся, о том, чего в твоей жизни никогда уже не будет, о том, что время уже упущено, а там и старость не за горами... И смешно ведь... Иной раз Маша шла вслед за ними до супермаркета и сталкивалась с ними в магазине. Они шли от проходной как бы порознь, но неподалёку друг от друга. Вся станция, да и, пожалуй, чуть не весь город знает о любовной связи электрика Сергея Сычёва и прибористки Нины Чупровой. От кого и что тут скроешь? Пожалуй, и в их семьях — и для её мужа, и для его жены — это не секрет. Уже донесли, нашептали им доброхоты, да и у супругов глаза, наверное, есть... Сейчас оба войдут в супермаркет и там будут ходить по торговому залу как бы порознь, по отдельности, а затем как бы случайно сталкиваться в каких-нибудь отделах, где якобы обоим что-то нужно, заполнять корзинки — впрочем, заполняла корзинку только Нина, а Сычёв для вида купит что-нибудь по мелочи — бутылку пива, хлеба, пряников, сухарей чай пить дома или на смене... До последней минуты не хотели расставаться друг с другом, всё оттягивали возвращение домой, в свои семьи. А потом, рассчитавшись в кассе, прощались друг с другом у входа одними глазами и жестами — так это было заметно со стороны!... Только совсем слепой не увидит эту любовь, эту теплоту в их взглядах, эту сердечную привязанность. Вот пришла к этим двоим любовь, и они ничего не могут поделать с собой, их неотвратимо тянет друг к другу. И, казалось бы, зачем же им расставаться? Жить бы да жить им вместе. И, глядя на них, наверное, можно было посетовать на судьбу, на её каверзы и превратности оттого, что те возлюбленные, которым хорошо вместе, хорошо

вдвоём и им бы не нужно расставаться, — они всё равно расстанутся, вынуждены расставаться и идти туда, в дома и семьи, где, быть может, их уже не любят, им не рады, их не ждут, к ним давно охладели или оравнодушили, а то ещё встречают с упрёками, попрёками, окриками. Куда уходит любовь? Почему она не удерживается в семье? Почему люди охладевают друг к другу? Почему люди не дорожат любовью?

А о себе Маша с грустью думала, что любовь обошла её стороной, проглядела она её, всё некогда было, спорт, он многое забирает, особенно если он профессиональный, всё время сборы, тренировки, соревнования, личная жизнь и рождение детей отходят на второй план, а потом оказывается, что тебе уже тридцать, за тридцать, а вот уже и тридцать пять стукнуло, и твой суженый где-то прошёл мимо, проглядела его, не увидела, не до того было... Но всё же ей грех жаловаться, у неё есть муж, хоть и без любви сошлись, но уж, видимо, когда женщине к сорока годам идёт, о любви думается меньше, чем когда-то в молодости, и меньше, чем хотелось бы... Может быть, остывает и холодеет душа? Или уже нет такой острой потребности в любви или в совместном сожительстве только по любви, как когда-то в молодости? Вдобавок ко всему спортсменки — «бабы специфические», как шутил один знаменитый лыжник, большой юморист. Им ли привередничать?

А муж, Горюнов, был нелюдим, одиночка, охотник, рыбак, его не переделаешь, да это и невозможно, и ненужно. Уж какой есть... Другого-то всё равно не дал Бог... Дома он бывал мало, не любил гостей. Он не знал слов, проникающих в женское сердце и ласкающих его. Дети, быть может, могли бы удержать его дома подольше, но детей Бог им не давал, Маша не беременела, и Горюнов, у которого тоже не было детей от первого брака, очень страдал от этого, хотя ни слова никогда не говорил об этом и виду не показывал. Маша, как могла, сглаживала эту семейную пустоту и горькое одиночество в квартире, когда мужа не было дома, читала книги, сидела в Интернете, засыпала с работающим телевизором...

IV.

...Горюнов ещё какое-то время стоял в дверном проёме, всматриваясь в темноту и прислушиваясь.

— Кто тут? — вдруг спросила глухим, незнакомым со сна голосом жена, которая, словно бы сторожевая собака, скорее почувствовала человека в доме, чем увидела его. — Кто здесь?

Жена села в постели, свесив ноги на пол. Резко белело в темноте её тело.

— Это я, твой муж! — ответил Горюнов, с ехидством отцеживая каждое слово. — Пришёл к тебе с последним любовным приветом!

Жена резво поднялась, и тотчас же Горюнов выстрелил в белевший её силуэт из одного ствола выстрелом опытного охотника. Выстрелил скорее интуитивно, чем зряче, поддавшись на её спешное движение в его сторону, упреждая все её возможные мольбы и оправдания. Прежде он хотел увидеть их обоюдное унижение, хотел увидеть её растоптанной, а её любовника — умоляющим о пощаде, и боялся сжалиться и дрогнуть.

— Это тебе за весь твой блуд, сука! Подыхай вместе со своим хахалем! — проговорил он.

Он видел, как она упала спиной на кровать, сражённая свинцом с близкого расстояния. Упала молча, раскинув руки, без единого звука, а ноги её оставались на полу. Жизнь, вероятно, прекратилась в ней сразу, как только свинец впился в тело. Но на какие-то мгновения раньше её падения проснулся от выстрела мужчина — тот, который лежал рядом с ней, вернее, за ней, на широкой двуспальной кровати.

— Ты кто? Ты что? — вскочив на кровати во весь рост, закричал он истошно от испуга, от неожиданности, от ошеломляюще громкого для такого маленького помещения звука выстрела и от запаха пороха, который, вероятно, сразу же ударил его по ноздрям — так зверя ударяет по ноздрям запах пороха и уже излившейся из его тела крови. Закричал и от того ещё неведомого, но страшного, которое так внезапно ворвалось в тихий ночной уют и покой этой спальни и постели, этой квартиры, этого дома и подъезда и грозило чем-то непоправимым...

Гость сделал шаг в сторону стрелка, чтобы соскочить с кровати, но Горюнов точным выстрелом из второго ствола попал ему куда-то туда, что он сразу умолк и только, завалившись сверху на жену, захрипел.

— Это тебе за то, чтобы не шлялся по чужим бабам! — прибавил Горюнов.

— Ключи... — донеслось до Горюнова хриплое, горловое клокотанье мужчины. — Ключи...

«Ключи? Какие ещё ключи?» — подумал он.

Горюнов чувствовал совершенное хладнокровие, ни один мускул не дрогнул в нём, как будто бы он был наёмный стрелок, который сделал добротню и правильно порученную или хорошо оплаченную работу. Или как будто бы он вершил суд высшей справедливости.

Он подошёл вплотную к убитым. Но мужчина больше не проронил ни слова.

Горюнов посветил фонариком на него: пуля в самом деле угодила ему в горло, откуда ещё хлестала кровь, заливая постель и лежавшую под ним жену. Он не спешил их осмотреть и зажечь электричество. Он достал из внутреннего кармана куртки свою початую бутылку, сел в кресло и несколькими большими глотками почти опорожнил её, поставил у ног рядом с прислонённым к стене ружьём. И закурил.

V.

Прошло около четверти часа. Было слышно, что ожил подъезд: где-то внизу хлопнула дверь, слышались голоса на площадке. Громкие выстрелы, вероятно, если не переполошили, то разбудили соседей.

Поднявшись, Горюнов нащупал выключатель на стене и хотел зажечь свет, но передумал. Не хотел он видеть всю эту картину при ярком свете лампы. Он достал из кармана фонарик, включил его, затем подошёл к убитым, ухватил мужчину за ещё тёплую, не остывшую руку, чтобы стащить его на пол и взглянуть в лицо жене, — тот, завалившись, накрыл своим телом жену.

И тут вдруг Горюнов увидел, что у лежавшей навзничь женщины были длинные волосы, которые чёрными прядями выбивались из-под лежащего вниз лицом мужчины и резко выделялись на фоне белой простыни. И эта женщина была, что называется, в теле, с плотными широкими ляжками, а у Маши были короткие и светлые волосы и тело худощавое, поджарое, жёсткое. И, стянув мужчину на пол, он окончательно убедился в этом. Залитая кровью женщина была не его жена! Это была не Маша! «Что за чёрт! — промелькнула в нём мысль. — Что это за баба тут взялась?»

И Горюнов понял, что он ошибся. Ошибся жестоко и непоправимо.

И впервые за эти минуты сердце его дрогнуло, и он опешил.

Но что это за люди? Как они попали в его квартиру? Кто их впустил?

От этой жуткой неожиданности у него мигмом пересохло в горле и мучительно захотелось пить. Он вышел в коридор, зажёл здесь свет и отправился в кухню, к холодильнику, надеясь найти в нём что-нибудь холодное — молоко или брусничный сок.

Он нашёл в холодильнике яблочный сок в пакете и в поисках стакана брезгливо стал передвигать на столе тарелки с едой и фруктами. И вдруг рядом с недопитым фужером с шампанским Горюнов увидел ключи. Это были ключи его жены — с круглым кофейного цвета брелоком, на котором было изображение улыбающегося розовощёкого малыша — мечты обоих о ребёнке. Всех ключей было три — один от домофона, а два от дверей. «Так вот оно как вышло! Дала кому-то свои ключи от квартиры!» — догадался Горюнов.

Он вернулся в спальню и, внимательно осмотрев убитых им людей, узнал в них сослуживцев Маши: Нинку Чупрову и Сергея Сычёва.

Он сел в кухне и набрал номер мобильного телефона жены.

— Мария, ты где? — даже не поздоровавшись с женой, спросил он ледяным тоном, который не предвещал жене ничего хорошего.

— Как где? На смене, где же ещё, — услышал он её голос.

— Сегодня же не твоя смена, — в свой ледяной тон Горюнов подпустил ещё и ехидства.

— Меня попросили подмениться, — отвечала ему Маша. — Завтра утром я буду дома. А ты где? Уже едешь домой?

— Я приехал раньше, нашёл твои ключи на столе, приезжай за ними, чтобы они тут не валялись. Они твоим гостям больше никогда не понадобятся, — отвечал он ей своим ледяным ехидным тоном.

— Что ты там натворил? — услышал Горюнов голос жены и прервал разговор.

Жена тут же набрала его номер и потом ещё не раз звонила ему, но он не отвечал на её звонки.

VI.

Прошло ещё какое-то время, для Горюнова неизвестно какое. Он сидел в прихожей на низеньком стульчике и непрерывно курил одну сигарету за другой, ни о чём не думая и тупо глядя перед собой. Ружьё стояло рядом с ним, прислонённое к стене. А за дверью тем временем слышались суета, возня, в неё стучали и стали звонить, и всё громче и неистовее, и он услышал из-за двери как будто бы голос жены Маши:

— Открой, Валера, открой, прошу тебя! Валерочка, миленький, ну открой же!!!

А вскоре зазвонил его мобильник, и на дисплее, когда он телефон достал из кармана и глянул, высветилось имя: Маша. Но он не нажал кнопку отзыва. Только подумал тоскливо: «Эх, Маша, Маша! Вот наша жизнь с тобой и кончилась».

В дверь уже били ногами. Ясное дело, били соседи, а не жена. Но ни выбить, ни вскрыть снаружи эту массивную дверь, закрытую на задвижку, было невозможно.

Удары отвлекли Горюнова от своих мыслей. Он зарядил ружьё двумя новыми патронами. Соседи — эти доброхоты! Им до всего есть дело! Чужая жизнь им в сто раз интересней, чем своя! Будь они все прокляты! Люди называется — хуже зверей!

Он вскинул ружьё и выстрелил в дверь поверху сразу из обоих стволов, чтобы отогнать от двери соседей, без намерения кого-то застрелить.

И тотчас же в подъезде закричали, завизжали бабы, раздались чьи-то команды, и многолюдство это поразило Горюнова, словно бы проснулся не только весь подъезд, но и весь дом.

А затем всё стихло: наверное, все соседи покинули подъезд или разбежались по своим квартирам, опасаясь, как бы он не вышел в коридор и не начал стрелять по ним. Горюнов всё никак не мог ни на что решиться, только, всё так же сидя в прихожей на стульчике, курил непрерывно сигареты одну за другой, тупо и отстранённо глядя перед собой, соображая, как же теперь быть и что делать.

Миновало ещё какое-то время. Может, час, а может, больше или меньше. Время теперь для Горюнова текло неощутимо. В подъезде уже не

было шума, никто не пытался взломать двери, зато со двора донёлся шум автомобилей, раздавались голоса людей, громкие команды... Тут Горюнов поднялся и, войдя в кухню, подошёл к окну. В просторном дворе мигал сине-красными огнями милицейский автомобиль «Жигули» и стояла пожарная машина с выброшенной лестницей. Вокруг машины суетились люди в робах горчичного цвета и в касках. «По лестнице полезут в окно,—догадался Горюнов.—Стёкла выбьют и влезут в квартиру».

Он зажёг в кухне свет, принёс из прихожей ружьё, пересчитал оставшиеся патроны—их осталось шесть. Зарядил ружьё двумя новыми патронами, хотя не был уверен в том, что будет стрелять. Затем снова выключил свет и глянул в окно. И тут он увидел, что пожарная лестница упёрлась в стену дома ровно под его окном, а внизу суетились несколько человек.

Он погасил свет и сел на стул, держа в правой руке заряженное ружьё, а в левой—недокуренную сигарету. Как только послышалось приближение поднимающегося по лестнице человека за окном, Горюнов задалвил окурки и наставил ружьё на окно.

И вдруг от сильного удара каким-то предметом вылетело стекло в одной раме. Горюнов изготвился стрелять, но тут неожиданно что-то влетело в кухню, и он почувствовал резкий запах чего-то едкого и жгучего. Невыносимо щипало в носу, едко и нестерпимо ело глаза, из которых сразу же потекли слёзы. И из-за окна крикнули:

—Выходи давай, не дури! Выходи в подъезд без оружия! Жив останешься!

Горюнов выскользнул в прихожую, притворив за собой двери.

Тем временем он слышал, как кто-то влез в кухню, а за ним другой... И на лестничной площадке послышались у дверей голоса людей... И тогда Горюнов перебрался в спальную, где лежали убитые им люди, плотно закрыл двери, сел в кресло и тоскливо подумал: «Пропа я... И людей ни за что загубил... Ни за что ни про что... Эх, Маша, Маша!»

В прихожей уже слышались голоса, в неё из кухни и, похоже, со стороны входной двери, с лестничной площадки, пробрались люди...

Тогда Горюнов снял носок с правой ноги, устал в ружьё в пол, а дуло направил себе в область сердца.

VII.

—Валера, вставай! Да вставай же, Валерочка! Проснись же ты, наконец!

...Горюнов, одетый, спал на диване во второй, меньшей комнате. Он проснулся оттого, что Маша трясла его и даже била по щекам и что-то едкое и нестерпимо вонючее щипало его ноздри. Он поднялся и сел на диване, ничего не понимающий, с отсутствующим взглядом, озираясь по сторонам.

Резко и противно пахло нашатырём, который кто-то подсунул ему под нос. В комнате горел свет.

Хмурый и мрачный со сна и ещё не пришедший в себя, с разлохмаченными волосами, Горюнов исподлобья глядел жёлтыми тигриными глазами на топтавшихся в комнате и дальше—в коридоре, видных через дверной проём,—двух пожарников и милиционера. Сон ли всё это, его продолжение, или он видит людей наяву? Маша, живая, одетая в короткую серую козью шубу, с тревожным, красным от мороза скуластым лицом стояла перед ним на коленях.

—Валерочка, что с тобой? Зачем ты закрылся на задвижку?—спросила она.

—Не знаю, не помню,—мрачно отцедил он ответ.

—Ну вот, жив-здоров ваш муж! А вы беспокоились!—проговорил милицейский офицер из коридора.—Только зря окно высадили!

Когда пожарные и милиционеры ушли, Горюнов спросил жену:

—Зачем подсунули мне под нос нашатырь?

—Валера, ты же спал как убитый! Тебя никак нельзя было разбудить! У пожарного был с собой пузырёк с нашатырным спиртом, только так тебя смогли разбудить!

Такое бывало с Горюновым иной раз: уставший и вымотанный в дороге, заснёт после выпитого алкоголя сном медведя, впавшего в зимнюю спячку, и его не добудешь.

—Сколько времени?—спросил он.

—Уже одиннадцать часов. В восемь у меня закончилась смена, и я сразу поторопилась домой...

—Почему так холодно в квартире?—затем спросил Горюнов, поёживаясь.

—Окно же нам выбили, Валерочка... Я вызвала милицию, испугалась за тебя... Я два часа стучала в дверь, думала, что с тобой что-то случилось, а милиция позвонила эмчезникам. Пожарники взобрались по лестнице, выбили стекло, чтобы влезть к нам через окно,—поясняла Маша.—Холоду напустили, на улице минус тридцать два. Я закрыла окно подушками, но квартира ещё не прогрелась.

Горюнов слушал её с мрачной рассеянностью и как будто бы думал о чём-то своём, морщась и потирая лоб. Слушал, но не слышал её, погружённый в себя, в своё сновидение с ещё свежими и не исчезнувшими образами. Он поднимался, по-прежнему мрачный, словно бы не верящий происходящему, и прошёл в спальню. Маша—за ним. Здесь широкая двуспальная кровать была заправлена коричневым китайским покрывалом, а сверху—одна на другой—подушки. Одна плашмя, а другая—острыми концами в стороны. Горюнов постоял здесь, оглядываясь по сторонам. Жена стояла за его спиной.

—Чего ты ищешь, Валера?—с недоумением спросила она.

—Он лежал здесь,—вдруг проговорил муж.

— Кто?

— Сычёв. А под ним Нинка, твоя подружница... Я убил их обоих. Было очень много крови.

— Да ты с ума сошёл, Валерочка? Очнись же, наконец!

Но он точно не слышал её.

— Где моё ружьё? — спросил он.

— В сейфе, наверное, где же ему ещё быть?

Прошли к его сейфу, который находился в большом встроенном шкафу, куда вела дверь из прихожей. Горюнов зажёг электричество, открыл створки шкафа для одежды: там, за висевшими старыми пальто, куртками и прочей одеждой, был узкий сейф, — он был заперт и опломбирован его личной печатью, выданной и заверенной в местном отделении МВД.

— Я звонил тебе сегодня? — спросил он.

— Нет, Валерочка.

— А что за шум был в подъезде? Я слышал, как там бабы кричали и визжали.

— Там соседи ниже этажом подрались до крови...

Горюнов всё ещё встряхивал головой, никак не мог отойти от своего мрачного сновидения. Так и стоял он в коридоре, погружённый в себя. А потом прошёл в кухню и сел на стул. Маша стояла около него.

— Дурь страшная снилась, — заговорил он. — Дурь такая, как будто и вправду всё со мной было. Я хотел тебя убить и твоего хахала, думал, ты мне изменяешь. Соседи мне шептали... со всех сторон: мол, баба твоя гуляет... И я его выследил. — Как ты мог поверить в сплетни, Валерочка?

Горюнов подозрительно исподлобья — снизу вверх — глянул на жену.

— Как будто ты у нас такая святоша среди баб! Нинке потакаешь с её хахалем! А где твои ключи, кстати? — со свойственным ему ехидством спросил он.

— Вот они...

И жена достала из кармана шубы ключи. Горюнов увидел те самые ключи жены с круглым коричневым брелоком и с улыбающимся розовощёким малышом, которые он видел во сне лежащими на столе в кухне среди тарелок и фужеров.

Он всё ещё не верил в то, что бывшее с ним и с людьми в его квартире — было лишь сном.

— Я пришёл домой и учуял в квартире чужой запах. Невыносимо воняло чужим мужиком! Я выпил водки и завалился спать, я не спал две ночи. Ты зачем Нинку с Сычёвым пригрела у нас? Ты им дала эти ключи? — спросил он жену.

Маша знала, что лгать мужу, у которого было не только звериное чутьё, но и какая-то нечеловеческая интуиция, было бесполезно и бессмысленно. А хитрить — тем более.

— Прости меня, Валерочка, я давала ключи от квартиры своей подруге. И не один раз. Они утром ушли, наверное, перед тем как ты приехал.

— А-а, вот это уже хорошие новости! Лучше некуда! Ты же знаешь, я терпеть не могу в нашей хате чужих людей! На наше семейное ложе зазвала свою подружницу с её хахалем! Каким местом ты думаешь, баба? Хорошо хоть не к тебе какой-нибудь хахаль заявился!

— Прости, Валерочка... Прости... Ну, ударь меня, если я заслужила! Ударь!

Маша встала перед ним на колени и низко склонила голову, признавая свою вину и изговившись принять удар тяжёлой мужниной руки, хотя он никогда не бил её.

— Глупая баба! — продолжал отчитывать её Горюнов. — Потакаешь этим блудливым сукам и кобелям! И как тебе самой не тошно потом в постель ложиться?

— Они такие влюблённые, Валерочка! И со своим бельём... — защищалась Маша, не поднимая головы. — Прости меня...

— Влюблённые... со своим бельём... — с ехидством, морщась, отцеживал слова Горюнов. — Мужу и жене изменять в открытую! Нинкин муж ещё доберётся до этого Сычёва! По мне, так он бы уже давно был покойником!

— Я в этом уже убедилась, — тихо произнесла Маша, так же не поднимая головы.

На этом их разборки закончились. Как будто бы Горюнов остыл.

Прежде всего, не откладывая на утро, Горюнов, одевшись, принёс с лоджии запасное стекло, убрал с кухонного стола всё, что здесь было, достал инструмент: стеклорез, линейку, лёгкий деревянный молоточек, чтобы подбивать стекло снизу по разрезу, маленькие гвоздики. Он был намерен тотчас же снять размеры, вырезать стекло и застеклить окно. А Маша, переодевшись в домашнее, убирала с пола и с подоконника осколки разбитого стекла, сметала веником в совок и ссыпала в мусорное ведро. Оба работали молча, без слов. Горюнов был по-прежнему хмур и даже мрачен, и по его дыханию Маша чувствовала, что он ещё не отошёл от всего, не простил её, внутри в нём бродило ещё раздражение. — Неужели ты бы меня убил, Валера? — отложив веник и совок, вдруг тихо спросила Маша, подойдя к нему сзади и обняв его со спины.

Горюнов ничего не ответил. В его звериной натуре не было таких слов, чтобы выразить своё любовное чувство к жене. Он только бросил работу и, обернувшись, обнял жену, крепко прижал её к себе, и скупые слезинки, невидимые для Маши, подкатили к уголкам его глаз. Скупой на слова и ласку, он ерошил её короткие волосы, вдыхая знакомый, родной запах её пота и всей её женской сущности, запах его самки, и, должно быть, только этот запах каким-то особенным целебным ароматом проникал в его сердце и в душу, и мрачное его лицо мало-помалу разглаживалось, а сердце

оттаивало и отмякало. Это была его Маша—живая Маша, его единственная, родная Маша, с любимым, жёстким, сухим телом, знакомым ему на ощупь до каждой клеточки, даже через толстовку, которая на ней была надета.

— Маша, моя Маша... — бормотал Горюнов отходчивым голосом. — Родненькая ты моя... Жёнушка... Чуть не похоронил тебя... Это ты меня прости...

А Маша прижималась к его небритой щеке с уже седеющей щетиной, жалась к его груди — а от Горюнова несло тяжёлым запахом перегара, табака и неистребимым, но таким родным и знакомым Маше запахом солёнки.

— Прости, Валерочка, прости меня...

— Но глупая же ты баба! — востропавшись, снова вспомнил своё Горюнов. — Вы, бабы, глупый народ... Никакого соображения... И ты только так не делай больше, никогда не делай... Не потакай никому, ты мой характер знаешь...

— Знаю, Валерочка, знаю, — отвечала Маша.

И они так ещё некоторое время стояли, обнявшись, и совсем помирились, а потом занялись каждый своим делом.

...И только спустя какое-то время, когда на Горюнова однажды накатило воспоминание о своём страшном сне-яви, он припомнил историю, которую он подслушал, когда ехал в поезде, в плацкартном вагоне, на боковушке, а по соседству мужик рассказывал случай о том, как любовники взяли ключи у жены, чей муж был в командировке, чтобы позабавиться. А тот неожиданно вернулся, открыл двери своим ключом, увидел в прихожей чужую одежду, обувь, достал ружьё и убил их обоих. Думал, что жена привела в их дом любовника.

Их было трое в купе: двое сидели по одну сторону, а третий, который рассказывал, — напротив. Они ужинали и пили пиво, которое принесли с собой в пластиковых бутылках. Горюнов, который прилёг на своём месте, не раздеваясь, поверх

беля, по-походному, как любил спать частенько даже дома, прислушивался к их разговору. В купе было темно, свет горел лишь в проходе рядом с проводником, и Горюнов не видел их лиц и фигур, слышал только их голоса. Он только слышал, как рассказчик шуршал обёрточной бумагой, и видел, что он то и дело вытирал губы и руки полотенцем. — И бабу, и мужика убил? — спросил тот, который сидел у самого окна, напротив рассказчика.

— А то! Сразу обоих и положил! — отвечал ему рассказчик.

— Что же он их не разглядел прежде? — спросил тот же, кто сидел у самого окна.

— Наверное, в темноте дело было, он не стал свет зажигать. А когда свет врубил и увидел, что натворил, то взял и сам застрелился, — шурша бумагой, пояснил ему рассказчик.

— М-да, не знаешь, где смерть свою найдёшь, — ответил на это третий, сидевший всех ближе к Горюнову, в толстом свитере грубой вязки, молчавший до этого времени.

— Случайность всё это, — строил свою версию тот, что сидел у окна напротив рассказчика. — Сколько случайных смертей на свете! Едешь по дороге, а в тебя по встречной какой-нибудь чёрт пьяный въедет... И — капец всему!

— Это не случайность, мужики, а судьба, рок, если хотите. Случайностей не бывает. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Только ту смерть найдёшь, которая суждена тебе. Да-да, это уж как закон, никем не писанный! Вот дала баба любовникам ключи потешиться, а вышло так, что дала им *ключи от рока*. А рок тут их и настиг.

— Рок, рок... Какой там ещё, к чёрту, рок? — не соглашался с ним тот, что сидел у окна напротив.

И крепко-накрепко запомнились Горюнову эти странные, не совсем понятные слова мужчины-рассказчика из плацкартного вагона: «*ключи от рока*». Как будто бы ключи могут быть виновниками чьей-то смерти.

Николай Тимченко

Колобок

Приложение к жилью

Участок краснокаменной дороги позади. Денис вышел на оживлённую трассу Курагино—Кускун. Куда идти дальше, ему всё равно. Мальчишка остановился в раздумье. Можно продолжать путь в Курагино, там живёт бабушкина сестра, и туда близко—километров шестьдесят.

«Но нужен ли я там? Нет, бабушка Лора не обрадуется появлению неродного внука. Совсем другое дело, если я окажусь у бабы Наташи в Красноярске. Попасть бы туда, а там я не заблужусь в большом городе. В Ветлужанке я ориентируюсь как у себя в Каменке, а из центра туда ходят автобусы».

Прошлым летом и ещё раньше Дениска по неделе гостил у бабы Наты. Там он успел познакомиться с местными мальчишками, ходил с ними в сады, чтобы отведать полуспелых фруктов. Не раздумывая долго, повернул на Кускун. Идти пешком до Красноярска нереально. Ему, двенадцати лет от роду, это понятно без подсказок.

«Если повезёт, то кто-нибудь подвезёт. Мир не без добрых людей,—вспомнил Денис пословицу.— Дома сейчас не до меня. Вспомнят про сына, когда начнут ругаться из-за квартиры».

Так было утром. Папа сказал тогда: «Дениска останется со мной, а ты можешь идти на все четыре стороны. Гуляй, ветер»,—отозвался он о маме. Мама, долго не думая, злобно выпалила: «Вспомнил о сыне, когда припекло! Тебе не сын нужен, а квартира».—«Не мерь всех на свой аршин, не суди по себе. Сама ты кукушка. Обойдётся без ребёнка. Он нужен тебе только затем, чтобы меня сделать бомжем. Не бывать этому».

«Наверное, они ещё долго делили меня, как приложение к квартире»,—с грустью подумал беглец.

Да, Денис сбежал из дома. Даже запершись в своей комнате, слушать родительские ссоры не было сил.

«Баба Ната любит и поймёт меня. Она разрешит жить с ней»,—не сомневается юный путник.

Мальчику неизвестно, знает ли папа, что у мамы есть другой мужчина. Денис однажды видел, как мама в машине целовала дядю Серёжу. Тогда он откуда-то подвёз её к подъезду. В тот раз Дениска не придал значения поцелую, ведь дядя

Серёжа—папин друг. Глаза ребёнка на предательство мамы открылись позже.

В одну из папиных поездок работать вахтовым методом Денис ушёл ночевать к Сеньке. На дачной веранде они одни, и дышится там легче, чем в железобетонных пятиэтажках. Но Сенька, не предупредив и не позвав друга, уехал с отцом на рыбалку. Пришлось возвращаться домой. Мама с дядей Серёжей были так заняты любовью, что не слышали, как ребёнок открыл дверь своим ключом. Мальчишка, закусив губу от злости и досады, покинул квартиру, даже не замкнув её. Ночь он провёл на лавочке около столика, за которым днём доминошники стучат костяшками.

Может быть, как говорит мама, на вахте у папы есть женщина? Может, и он предаёт маму? Тогда так ей и надо!

«Но это значит, что я для каждого из них—как колодки на ногах каторжанина? Я—то единственное, что мешает им оставить друг друга? Нет, для них дороже квартира, а я лишь приложение к ней,—с горечью рассуждает путник.—Всё, хватит думать о них. И себя жалеть хватит. Не маленький, прожигу и без них».

Мальчик вытер подсыхающие слёзы и, с думой о предстоящей встрече с бабушкой, пошagal быстрее прежнего. И встречные, и попутные машины проезжают, не останавливаясь. Никому нет дела до одиноко идущего мальчишки с целлофановым пакетом в руке. Или проезжающие думают, что взрослые где-то рядом собирают грибы, а ребёнок вышел от мошки и комаров на обдуваемую ветерком трассу?

Размышляя, Денис не пытался останавливать попутки. Сейчас, понимая, что пешком далеко не уйти, пытается остановить кого-нибудь. Машин двадцать промчались, не сбавляя хода. Размахивая перед собой пакетом, он не теряет надежды остановить попутный внедорожник. Удача. Машина, проскочив по инерции, задним ходом подъезжает к попутчику.

По номерам путник узнал машину того самого дяди Серёжи. Промелькнула мысль: «Бежать в лес? Нет, он куда-то ехал по своим делам. Останавливается потому, что узнал сына своей любовницы».

Открывая дверцу, Сергей Иванович удивлённо произносит:

— О! Какие люди — и без охраны! Вот так встреча! Куда путь держишь, Дениска? Останавливаешь, значит, куда-то хочешь уехать? Садись, по дороге расскажешь.

Пассажир быстро сообразил, как ответить, чтобы дядя Серёжа не развернул машину и не отвёз его домой.

— Лето скоро кончится, начнётся школа, а им обоим всё некогда отвезти меня к бабе Наташе. Целый год не был у неё. И она к нам за год ни разу не приехала. И ещё, наверное, целый год не приедет, а я соскучился по ней. И по ветлужанским мальчишкам соскучился. Не представляешь, как мы в прошлом году в чужие сады «хорька гоняли»!

— Ну, друг ты мой, как «хорька гоняют», мне известно. Только мы не в сады, а в огороды лазили, когда темнело. Кого из друзей сегодня нет, к тому и лазили. Дома и гороха, и морковки, и огурцов, и подсолнухов пруд пруди, а «хорькануть» надо. Романтика! И микрорайон Ветлужанка в Красноярске мне знаком. Довезу в лучшем виде.

Сергей Иванович предался воспоминаниям. Пассажиру успели надоесть рассказы взрослого, хоть и были они о детстве. Незаметно слушатель заснул, а дядя Серёжа, не замечая этого, продолжал сыпать воспоминаниями.

Сквозь сон юный путешественник услышал: — К Мане подбезжаем. Красивая река. Её начало в Восточном Саяне, за перевалами, от истока Сисима. Сисим около нас ещё мал, а вот Мана, дойдя досюда, успела вобрать в себя притоки. Вполне приличная, хоть и не такая широкая, как Кизир. Но в устье её можно сравнить по ширине с нашим Красавцем.

За мостом через реку стали встречаться ответвления дорог к сёлам. Трассу проложили намного позднее, чем на берегах появились селения. Вскоре тайга расступилась: сначала для полей, а потом и для лесостепи.

Сергей Иванович решил, что совместная поездка сблизит его с мальчуганом, который уже скоро может оказаться пасынком. Испортить отношения с ребёнком ему не хотелось бы.

— Когда обратно собираешься?

— Пока сам не знаю.

— Понятно. Значит, зависит от того, как встретят и как приветят. Я дней пять пробуду здесь. Могу потом обратно увезти. Забей на всякий случай мой номер. Позвонишь, если соберёшься возвращаться. — Не знаю, подвернётся ли тот случай, но я забил. — В Ветлужанке, говоришь, живёт бабуля? Доставлю к подъезду. Найдёшь, не заплутаем?

— Там я как у себя в Каменке ориентируюсь, не заблудимся.

— Вот и отлично! И как это ты решился один рвануть в такую даль? Трудновато бы тебе пришлось,

если б не подвернулся я. Плохо, очень плохо, что родители не могут найти время для поездки. На своей машине можно за один день обернуться.

С остановками под красноярскими светофорами добрались до Ветлужанки.

— Вот он, бабушкин подъезд. Её квартира на шестом этаже, слева от лифта. Не промахнусь. Спасибо, дядя Серёжа!

— Ты парень пробивной, здесь уже не потеряешься. Бывай здоров! Я поехал.

Бабушка, увидев у себя внука, заворковала:

— Боже мой, Дениска! А где мама? Как же она приотстала от тебя? Ну, проходи же, проходи, дорогой гость. Надолго ли вы?

— Мамы нет. Она дома.

— Где же тогда отец? Почему не заходит?

— И папа дома.

— Но с кем ты приехал?

— Меня дядя Серёжа привёз.

— Какой ещё дядя Серёжа? Я его знаю?

— Не знаешь, так скоро узнаешь. Он мамин друг. Мама с папой ругаются и скоро разведутся. Из-за него, наверное.

— И зачем же дядя Серёжа привёз тебя ко мне?

— Жить. Я буду жить у тебя.

— А ну позвоню-ка я твоей маме. Узнаю, что почём, от неё самой. Вы чего же это, стервецы этикие, надумали? Никаких разводов! Я тебе покажу Серёжу!

Дочь ума не может приложить, от кого мать узнала не только о разводе, но и о её романе с Сергеем.

А мать распалаясь:

— Не смейте травмировать ребёнка. При живых-то родителях жить у бабушки. Ещё чего придумали.

Дочь пытается возразить, заверить, что Дениска будет жить со своей матерью, как бы ни старался Васяка оставить ребёнка себе.

— И кто тебе наговорил таких глупостей?

— Так ты сама с трёх раз догадайся.

— И с десяти не отгадаю.

— А ты когда своего ребёнка в последний раз видела?

— Утром дома был.

Только теперь невнимательная к сыну мама поняла, что ребёнок не у друзей, а у бабушки.

— Что же ты и зятёк мой делали тогда? Грызлись, небось? Вот и ушёл малец от вас. Говорит, что дядя Серёжа его привёз, хахаль твой. И то верно. Зачем ему чужой ребёнок? Поскорее сплавил бабушке. Мужа тебе не хватает, скотина ненасытная.

Бабушка ещё долго отчитывала непутёвую дочь, а та терялась в догадках: «Откуда Дениска знает о моём романе с Сергеем? Если мама говорит, значит, сын рассказал». И поняла, вспомнив о ночлеге с незамкнутой дверью. «Ой, как стыдно перед ребёнком! А мы тогда не могли понять, почему дверь незамкнута. Хоть в это с трудом верилось, но решили, что заторопились и не замкнули. Говорил же Сергей, что вроде видел, как я замыкала.

А Васька, подлая душа, даже ни разу не упрекнул, не намекнул, что знает об отношениях с Сергеем. Или Дениска не рассказал отцу, а всё переживал в одиночку? Ой, как стыдно перед сынишкой! Бедная его психика».

А бабушка продолжала:

— Завтра я не смогу, а послезавтра сама привезу внука. Готовь свои бесстыжие глаза, проходимка! Я тебе покажу, как с мужем жить надо! Мы с Петей, отцом твоим, до конца дней его душа в душу жили. У меня никого не было, и он на других не засматривался.

— Не надо, баба, меня отвозить. Я и обратно с дядей Серёжей уеду. Сейчас я ему позвоню. У меня есть его номер. Он сам мне его продиктовал.

— Звони, да дай мне поговорить с ним, стервецом. Будет знать, как семьи разбивать да детей калечить.

Отплатить дяде Серёже бабушкиной бранью Дениска не мог.

...И от бабушки ушёл

Он рванул и выскочил в подъезд. Лифт где-то шёл, мальчику пришлось спускаться по лестнице. Он слышал, что лифт остановился на четвёртом этаже. Вместе с другими он спустился. Мальчик уже поехал, когда бабушка, очнувшись от неожиданного поступка внука, оказалась на лестничной площадке. Сбегая по лестнице, внука не догнать. Решила, что уже поздно и ребёнок никуда не денется. Остынет в нём пыл, да и вернётся. Надо ждать.

В лифте мальчуган сообразил, что хоть вроде и печётся бабушка о своём внуке, отчитывает дочь, да только не нужен ей внук рядом. Спешит избавиться, поскорее увезти обратно родителям. Обиделся так, что удалил её из телефона. То же сделал и с номерами обоих родителей.

«Куда же мне теперь? Кому я нужен? Баба Аня, мать папы, живёт в какой-то станице под Туапсе. Я даже название станицы не знаю. Есть в телефоне её номер, но не звонить же ей отсюда? Вдруг у неё нет денег, чтобы приехать сюда?»

На автобусе доехал до железнодорожного вокзала.

«Но как без взрослых и без денег доехать до Туапсе? А надо, очень-очень надо».

Минуя здание вокзала, вышел на перрон. Народ из подземного перехода устремился на посадочную площадку. Диктор объявила, что поезд на Москву прибывает на шестой путь. По пешеходному переходу мальчик устремился туда же, куда все. Стоянка непродолжительная, и пассажиры спешат попасть в свои вагоны. Последняя пожилая женщина в тёмно-синем брючном костюме зашла в вагон. Напоследок она оглянулась, будто надеясь дождаться кого-то. Ребёнок подбежал и стал упрашивать проводницу:

— Тётяшка проводница, пожалуйста, пропустите меня в вагон. Я с бабулей не успел проститься,

а она теперь нескоро приедет к нам. Она в ваш вагон зашла, в тёмно-синем брючном костюме.

— До отправления осталось три минуты,— выделая каждое слово, проговорила проводница.— Не успеешь.

— Так пропустите поскорее. Я успею. Поцелую бабулечку и назад.

И прошмыгнул в вагон. Проводница, сама, наверное, уже бабушка, с улыбкой порадовалась любви мальчугана к своей бабуле, его настойчивости и проворству. Но это только сначала, а потом...

Поезд набирает скорость, а мальчишка не вышел.

«Наверное, сердце бабушки не выдержало просьб внука, и она повезла его к себе. Надо помнить, что проезд ребёнка следует оплатить»,— размышляет хозяйка вагона.

С постельным бельём для подсевших пассажиров она дошла до предполагаемой бабушки мальчика.

— Какой внучек? Какая я вам бабушка? Нет у меня ни внуков, ни внучек. Чем я провинилась, чтобы обзывать меня бабушкой?— подняла шумиху подсевшая пассажирка.

Ни сама она, ни её соседи не заметили никакого мальчика.

— Вот ведь лгунишка. Разыграл всё как по нотам, обманул, как неопытную практикантку. Сдам транспортной полиции, только попадись мне, малолетний обманщик,— сказала так, словно малец мог слышать эти слова.

Но даже в конце вагона обманщика не оказалось.

«Если пострел перешёл в соседний вагон, то этот „заяц“ уже не моя головная боль»,— успокаивала себя опытная и доверчивая проводница.

Время идёт, а гостя всё нет. Бабушка Наталья задумалась, чем могла вызвать такую бурную реакцию внука.

«Ребёнок сбежал от меня только потому, что не хочет возвращаться домой. Ах ты, колобок наш. Где же ты теперь?»— только и могла мысленно молвить пожилая женщина в бессонную ночь. Она ждала, что Дениска вот-вот вернётся. Ранним утром принялась отчитывать непутёвую дочь:

— Это как надо было относиться к ребёнку, чтобы он так возненавидел дом?! Точнее, не сам дом, а его обитателей— маму и папу? Стоило мне сказать, что отвезу домой, а его и след простыл. Укатил наш «колобок». От мамы с папой ушёл и от бабушки ушёл. От кого ещё уйдёт и кто окажется той лисой для мальчонки— остаётся только гадать. Эх вы, родители называетесь,— с горечью в голосе закончилось повествование о побеге.

Поселковый участковый пообещал родителям организовать федеральный розыск беглеца. Но посоветовал при этом выяснить, нет ли ребёнка у кого-то из близких ему людей.

Дениска прошёл соседний плацкартный вагон, два купейных и остановился в следующем плацкартном.

— Ты чей, мальчик? Где твоё место? Здесь всё занято.

Соседи устремили свои взгляды на неизвестно откуда взявшегося мальчугана.

— Дениска Васильков я. Не сдавайте меня в полицию, люди добрые, — взмолился ребёнок. — Мне домой надо. Хочу домой, в Ростов. Я по спору с мальчишками до Красноярска прокатился, отправил конверт для доказательства, а теперь к маме и папе хочу. Пожалуйста, не сдавайте меня.

— Вот так «заяц»! Без билета от Ростова до Красноярска! И не сняли нигде?

— Я почти всю дорогу на самой верхней полке ехал.

— Хорош багаж. Попробуем утаить от проводников правду о твоём существовании. Попробуем, соседи, люди добрые? — обратился мужчина и получил согласие попутчиков.

Женщина с боковой полки сообщила о приближении проводницы. Мальчуган проворно влетел на багажную полку и затаился там. Проводница вернулась, но, взяв что-то в своём помещении, снова прошла в глубь вагона. Дениске пришлось около получаса отлёживаться, пока хождения хозяйки вагона прекратились. Мальчик спускался, когда мужчина спросил его:

— А зачем конверт отправлял? Теперь вместо писем эсэмэсками обмениваются. Проще.

— Проще, но на них нет почтового штемпеля Красноярска. СМС с соседней улицы или из-за угла можно отправить. А друзьям нужно было бесспорное доказательство.

— Как основательно всё продумано, — задумчиво произнесла женщина, укладываясь спать.

— Чует моё сердце, что снимут тебя где-нибудь, не доедешь ты, малец, до Ростова, — с сожалением произнесла пассажирка с боковой полки.

— Чему быть, того не миновать, — отозвался по-словницей мужчина.

— Полиция обход делает, — сообщила попутчица.

Мальчик стрелой влетел под потолок и затаился на своём месте. Денис спал в машине и решил отоспаться завтра днём.

«Сейчас, когда все будут спать, прекратятся и хождения полицейских, можно будет спокойно посидеть», — с надеждой думает безбилетник.

Вагон слегка покачивается из стороны в сторону, словно гусь переступает с лапы на лапу. «Тук-тук, так-так», — выстукивают на стыках рельс вагонные колёса. Проехали огни и зарево от ночного городка. А дальше только августовская ночь, звёзды на небе и неустанные «тук-тук, так-так».

— Так, не так — перетакивать не будем, — с улыбкой тихо произносит Дениска.

Это означает, что возврата к старому быть не может.

«Плохо, что даже с Сенькой не попрощался. Но и Сенька, когда по-срочному уезжал с отцом, не сообщал о своём отъезде. Позвонить бы. Нет, не буду трезвонить, сейчас он десятый сон досматривает. Нет смысла включать и разряжать телефон. Надо будет потом бабе Ане позвонить».

Шахматист

«Тук-тук, так-так», — отстукивают колёса уже за Омском. Колено спящего на багажной полке ребёнка заметил сотрудник дорожной полиции. На вопросы:

— Кто такой? Откуда и куда едешь? Какова цель поездки? — замкнувшийся мальчик не отвечает.

Сведения о несовершеннолетнем безбилетнике полицейский записал со слов соседей.

— Значит, Денис Васильков из Ростова-на-Дону? На что спорили? Велик ли выигрыш по спору?

— Если бы проспорил, пришлось бы отдавать блок «Мальборо». А за выигрыш получу подарочные шахматы за такую же сумму, как блок, — намеренно запальчиво протараторил мальчик и снова замкнулся.

— Шахматы — это хорошо! Не куришь, значит?

— Не курит, — подтвердили попутчики.

— В шахматы хорошо играешь?

— Сам себе ни разу не проиграл, — нехотя ответил опрашиваемый.

Казавшийся строгим сосед расхохотался и заризал смехом присутствующих.

— Это надо же придумать такое! Ни разу не проиграл сам себе! Я, хоть и не игрок в шахматы, тоже бы только выигрывал на его месте, — поведал он в перерывах приступа смеха.

— Какой ты шахматист, посмотрим, время ещё будет, — подытожил протокольное знакомство полицейский.

«Ищите теперь Дениса Василькова из Ростова. Сказал бы, что я Вольхин, так привезли бы в Каменку. А так ближе к бабе Ане повезут», — злорадно размышляет маленький лунишка.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло», — вспомнил беглец пословицу, когда на границе с Казахстаном начался таможенный контроль.

Даже при простой проверке документов ребёнка пришлось бы хитрить и изворачиваться. С полицейским процедура досмотра показалась формальностью. Целлофановый пакет, в который дома набросал съестного, уже пуст. Багажа при нём нет. Дядя Лёня, полицейский, сообщил таможенникам, что везёт беглеца для передачи родителям. — Запрос в Ростов по пропавшему ребёнку сделали, ждём ответ, — добавил он.

Это известие насторожило мальчишку.

«Когда получают ответ, что нет в Ростове такого беглеца, мне перестанут верить, снимут с поезда на ближайшей станции. Надо «рвать когти». Но как сбежать от полицейских? Они — не баба Ната.

Эти сами неплохо бегают, а по их свистку любой прохожий подножку подставит», — размышляет Денис, передвигая по доске фигуры.

На выезде из Казахстана прошли вторую таможню и снова покатали по необъятным просторам России.

— Я устал сидеть, — сказал юный шахматист. — На остановке надо погулять по перрону.

— Надо, — согласился сопровождающий.

В Кургане дядя Лёня не отпускал Дениса дальше вытянутой руки. На следующих остановках дистанция увеличивалась, а бдительность взрослого притуплялась. Хотя мысли ребёнка заняты избавлением от нежелательной опеки, в шахматы он играет всё лучше и лучше. Из пяти первых партий он выиграл у дяди Лёни только две. Тогда Дениске показалось, что полицейский в одной партии поддался. Перед Волгоградом шахматисту в погонах удалось выиграть одну из пяти партий.

На перроне взрослый обдумывает ходы прерванной шахматной партии, а парнишка незаметно смешался с толпой и ускользнул от сопровождающего.

«Вот так шахматист! — удивился полицейский, когда обнаружил исчезновение Дениса. — Вот это ход! За двадцать ходов вперёд рассчитал. Где теперь искать пострела? Из-за него теперь большии-и-и неприятности по службе будут».

Сообщил о побеге привокзальной полиции. Одной из примет назвал сильную игру в шахматы. Когда он общался в вокзале с коллегами, Денис в автобусной толчее ехал к центру города. Но как был поражён сопровождающий, когда через три часа получил ответ из полиции Ростова-на-Дону! Полицейский сожалел об исчезновении подопечного, но больше его удивила точность расчёта времени для исчезновения беглеца. «Сейчас он бы как на поводке ходил только со мной, если бы вовремя не исчез. Нет, этот шахматист не на двадцать, а на все сто ходов вперёд просчитал ситуацию».

На продовольственном рынке мальчишка предложил продавщице свою помощь. И вновь не обошлось безо лжи.

— У меня маму скорая в римацию увезла. Дома скучно и страшно. А вы добрая! Можно я буду помогать?

— В реанимацию, — поправила его одна из продавщиц.

Та, к которой мальчишка обратился с просьбой, недоверчиво осмотрела добровольного помощника.

— А где отец?

— В тюрьме. Ещё два года сидеть будет.

— Чего набедокурил-то?

— Какому-то «шишке» физиомордию подпортил.

— За драку, значит, сидит?

— Какая драка? Пару раз всего успел приложиться. Телохранители ему больше крови подпортили.

— Вали-ка ты отсюда. Промышляешь тем, что плохо лежит, — строго сказала «добрая» продавщица.

— Не воришка я, — обиженным тоном произнёс ребёнок.

— Иди ко мне, малец. Молодец твой папка. Жаль, что мало досталось толстосуму, — приглушённым голосом произнесла соседка недоверчивой продавщицы. — Меня...

— Слышал. Тётей Клавой буду вас звать. А я Денис. — Вставай, Дионисий, будешь мне помогать. Потом, как твой древний тёзка, опишешь всё в истории.

Хлопотная у рыночных продавщиц работа. Утром разные товары надо получить, выставить на прилавок, ценники разложить. К концу длительного рабочего дня тару и остатки продуктов сдать. При этом не равнодушно отсидеть положенное время, а, стоя на ногах, расхваливать свой товар, чтобы покупатели брали, а не проходили мимо.

Увидев на рынке патрулирующих полицейских, Денис попросил:

— Скажите, тётя Клава, что я ваш сын, если пристанут. Несдобровать мне, если дойдёт до папиной судимости.

Лишь успели стражи рыночного порядка подойти, не дожидаясь, что они скажут, мальчик предложил:

— Мама, угости чем-нибудь хороших полицейских. — Мы мзду не берём, пацан. Что-то я тебя раньше не видел здесь!

— Первый раз взяла с собой, чтобы оторвать от компьютерных стрелялок. Скоро адская машинка совсем зрение у ребятишек отнимет, — пояснила мнимая мама.

Один из полицейских на полном серьёзе произнёс:

— Однако, мне своего тоже придётся брать на работу. Скоро умом свихнётся у компьютера.

Когда рыночный патруль ушёл, строгая тётя Нина с недоверием в голосе предостерегла:

— Ой, смотри, Клавка! Парнишка-то не по годам ушлый. За ним глаз да глаз нужен, особенно с деньгами.

— Меня, тётя Нина, научили на добро добром отвечать.

— Вот оно как, значит. Тётя Клава к тебе с добром, так ей ничего не грозит. Опасаться, значит, мне самой надо. Я-то «отшила» тебя.

— Вы не сказали при полицейских, что тётя Клава не моя мама. И вам я за это благодарен.

— Слава тебе господи! Успокоил, помощничек, — уже с улыбкой произнесла недоверчивая продавщица. — Ладно, крутись-суепись тут, помогай по мере сил. А сейчас пойдём, куплю тебе поесть. Голодный, небось?

— Ой, а я про это и не подумала. Сходи, Нина, а я присмотрю за твоим товаром, — встрепенулась Клавдия. — Как твою настоящую маму зовут? — поинтересовалась она.

— Надежда, — тихо произнёс Денис.

На удивление себе, в этот раз он сказал правду.

В закускойной, что совсем близко от длинного прилавка, тётя Нина отдала Дениске два чебурека и стакан какао. Этого хватило, чтобы успокоить требующие пищи внутренности. Вечером мальчик признался тёте Клаве, что страшно ему одному дома.

— Куда же я тебя дену, помощничек ты мой? Пойдём ночевать ко мне. Дочь поймёт твою ситуацию.

Только через неделю мальчик наведёлся на железнодорожный вокзал, чтобы узнать расписание поездов. Тёте Клаве он сказал, что ездил навестить маму, но бесполезно. Она ещё в реанимации, и к ней не пустили.

— Бедный ребёнок. Живи пока у меня, а с мамой потом сочтёмся. Дай Бог ей выздороветь, — с надеждой на выздоровление Надежды произнесла Клавдия и прижала к себе голову мальчугана.

Денис решил ехать на поезде Иркутск — Адлер. Там свои люди — сибиряки. Они добрее других, как ему казалось.

Хоть хотелось поскорее оказаться у бабы Ани, поездку пришлось отложить. «Вдруг при просмотре видеорекамера кто-то узнает меня? После побега от транспортной полиции меня, наверное, ищут. И в вагон надо влезать как-то по-другому, не как в прошлый раз».

Прошла ещё одна рыночная неделя, когда Денис попросил тётю Нину дать ему рублей двести на карманные расходы. Строгая и недоверчивая, она привыкла к присутствию приبلудыша. Так тётя называла ребёнка, готового помочь любой из друживших продавщиц. Просьба прозвучала в короткое затишье и в присутствии подруг.

— Не всё же время тётю Клаву разорять.

— Тётю Клаву нельзя, а меня, значит, можно?

Заметив на себе взгляды подруг, отсчитала и дала ровно двести.

— Надо было больше просить, дала бы больше, — посмеялась над расщедлившейся подругой Клавдия.

— Наглеть надо в меру, — серьёзно отозвался Дениска.

Слова и серьёзность ребёнка рассмешили женщин.

— Возьми ещё и от меня в подарок.

— И от меня.

Не сговариваясь, подарили по сто рублей.

— Если так пойдёт, то скоро разбогатеет, — пошутила Клавдия.

— Ты варёжку-то не разевай. Мальчишке дали. Себе сама зарабатывай, — строго ответила на шутку подруги Нина.

Ростов-Дон

После работы Денис приехал на вокзал. Как попасть в вагон, решил случай. Прибывающий поезд

ждала группа детей, возвращающихся с экскурсии по Волгограду. Денис, как и предполагается, взял взрослый билет. Имеющихся у него капиталов не хватало даже до Ростова. Оплатил проезд до станции Шахты. Общительный Дениска примкнул к экскурсантам. Спросил мальчишек:

— Ну как, понравился вам наш город-герой?

— Ещё как! Здорово! Круто! Клёво! — слышались восторженные возгласы.

— А я бы лучше к бабе в станицу съездила, позагорала, в реке покупалась...

— В грядках покопалась, — перебил девочку одноклассник.

— Вечно ты, Светка, не такая, как все. Думаешь, нам не хотелось бы всего, что ты наговорила? — напустились на девочку мальчишки.

— Прекратите склоки, — незлобиво потребовала Эльвира Андреевна, сопровождавшая детей в экскурсионной поездке.

Мальчишки лучшего в школе класса, получившего право на экскурсию, оказались очень компанейскими и с попутчиком вели себя так, словно он их одноклассник с самого первого класса. Во время посадки Денис оказался среди сверстников. Проводница, как у всех, не посмотрела его билет.

Попутчики сошли с поезда в Белой Калитве, а Денис покинул их ещё раньше, перейдя в другой вагон. Контролёры, а с ними и полицейские, предупредили, что надо ехать на своём месте в своём вагоне.

— Там у нас шум и гам, а здесь музыка, удобно. Я здесь посижу, мне близко.

— Не так-то и близко, — возразила железнодорожница. — Сиди, только не мешай другим пассажирам.

Проводница помнит, что мальчик не её пассажир, но проходит без претензий. Денис перед Шахтами перешёл в другой вагон. Шахты уже позади. «Тук-тук, так-так», — выговаривают колёса. Снова транспортная полиция идёт по вагону.

— Теперь тебе здесь удобно? — спросил сотрудник. — Где твой вагон? Дай-ка сюда билет. О, да ты уже зайцем катишься. Куда путь держишь?

— В Ростов-Дон, к бабушке.

— А где в Ростове бабушка живёт?

— Мира, тридцать два, квартира шестнадцать, — выпалил Денис так, что никто не усомнился.

Улица Мира есть почти в каждом российском городе, почему же ей не быть в Ростове-на-Дону?

— Фамилия, имя?

— Сенька Соловьёв я, — отозвался потупившийся мальчик.

Назваться Денисом побоялся. Вдруг выйдут на его прежний след?

— «Соловей, соловей — пташечка, канареечка...» — нараспев произнёс полицейский над протоколом задержания. — Отлетался ты в поездах, соловушка. На вокзале в Ростове передам коллегам, а пока следуй со мной.

Дениса под роспись передали «из рук в руки». После расспросов повезли для предъявления бабушке. Выходя из машины около подъезда по улице Мира, тридцать два, мальчик почувствовал на запястье сильную руку полицейского. Попытаться сбежать бесполезно. Так, рядышком, они вошли в квартиру, которую, на удивление Денису, открыла пожилая женщина.

— Ваш мальчик?

— Бабуля, я не доехал, на всю дорогу денег не хватило.

Пожилая женщина растерялась при виде самозванца.

«Что сняли с поезда за проезд без билета, в этом нет преступления. Надо помочь мальчишке»,— приняла решение лжебабушка.

— Сашутка, зачем же ты без мамы поехал?

— Ах ты, недорослый лгунишка! Сенькой при задержании назвался. Фамилия, стало быть, тоже не Соловьёв? Как ваше имя, фамилия? Передаю по акту,— обратился полицейский к хозяйке квартиры.

Женщина готова помочь, но принять чужого ребёнка по акту сочла преступлением.

— По акту пусть мать принимает,— решительно отказала она полицейскому.

— Мать так мать. Где она, в Волгограде?

— Там и есть,— последовал её ответ.

— Туда его никто не повезёт. Пусть сама приезжает забирать своего беглеца. А ты, колобок, узнаешь, каково в детдоме живётся. Передайте матери, что он будет в третьем детдоме. Мы туда пристраиваем любителей покататься без взрослых.

— Передам обязательно,— продолжила играть роль бабушки незнакомая женщина.

— Я не колобок,— безрадостно произнёс Денис.

— Ты от мамы ушёл и от бабушки пошёл, а от меня, полицейского, никуда не уйдёшь, в детдом попадёшь,— как заученный текст, «отрапортовал» неприятный Денису тип.

В детдоме разговор был короткий.

— Вот, пожалуйста, примите ещё одного юного путешественника. Этот из Волгограда. Бабушка не взяла на себя ответственность, матери позвонит. — Пусть поживёт с нашими архаровцами. Может, и отпадёт охота кататься на поездах.

И потянулись один за другим Денисовы детдомовские дни. На вопрос мальчишек, надолго ли сюда, ответил неопределённо:

— Как мамка время выкроит да денег на поездку наскребёт.

Дня через три над новеньким стали подсмеиваться. Один из «архаровцев» спросил:

— Что-то долго мамка твоя деньги скребёт. Или не может найти нужную выкройку, чтобы время выкроить?

— Она у меня по карманам не шарит. И с неба на неё деньги не падают. Зарабатывает она их. Оттого и время не может выкроить, что много пашет.

— Хлебороб, значит, пахарь—мамка твоя?

— А в рог не хочешь? От новенького. Приборзел ты здесь, старенький архаровец!

Без драки при куче зевак не обошлось. Подробности мальчишеской заварухи стали известны директору детдома. С вопросом, когда приедет мать, взрослые к мальчугану не подходят.

Денису с первого детдомовского дня ясно, что мамка за ним не приедет. Освоившись с порядками, покинул детдом ночью.

Приключения следуют

Переждать время, как в Волгограде, нет возможности. Через пять дней начнётся школа, все засядут за учёбу. Тогда, разъезжая по «железке», он стал бы белой вороной, оказался бы ещё лучшим объектом для задержаний. Снова вокзал, где его передали с поезда. Поезд Санкт-Петербург—Адлер стоит на первом пути, а на второй прибывает встречный. Открыты несколько тамбуров для прохода к встречному.

Дениска проворно прошмыгнул под вагоном и, выбрав момент, когда проводницу закрыли пассажиры, ловко забрался в вагон с противоположной стороны. Пассажиры спят. В этот раз мальчик не стал переходить в другой вагон. Бесшумно забрался на верхнюю полку, потеснив там багаж.

«За сумками ехать будет безопаснее. Спускаться буду только в крайних случаях. С пассажирами не разговаривать невозможно, но нельзя увлекаться—всегда надо быть готовым к обходам проводницы и дорожного патруля»,—мыслит беглец.

Попутчики обнаружили соседа-безбилетника, когда подъезжали к Краснодару, а поговорив с ним, не сказали проводнице о живом багаже. На вопрос, куда едет, мальчишка ответил просто, но убедительно:

— Из ростовского детдома сбежал. Еду к мамке в станицу под Туапсе. От неё всё равно обратно заберут, но хоть пару деньков поживу дома.

— Почему забрали от мамы?—поинтересовался попутчик лет сорока.

— Длинная история. И вспоминать не хочется.

Всем стало жаль мальчишку. Его накормили и стали оберегать от полицейских.

— Пусть ребёнок хоть пару дней побудет с мамой. Хоть какая она там, а для ребёнка мать. И тянет его к родной кровинке.

— Хоть на два денька приедет, если раньше не заберут обратно в детдом.

— Несладкое, видать, житьё там, раз домой рвётся.

— Мать ни один детдом не заменит,—сочувственно рассуждают умудрённые жизненным опытом попутчики.

В Краснодаре мужчина успел приобрести для Дениса билет до Туапсе.

— Вот, можешь не прятаться, поедешь легально, — радостно сообщил запыхавшийся благодетель. — Теперь тебе полиция не страшна, — добавил он.

Патруль не заставил себя ждать. На вопросы: — Чей ребёнок? Почему едет не в своём вагоне? — мужчина ответил:

— Сестра узнала, что я еду, попросила встретить и присмотреть за племянником. Билета в один вагон не нашлось. Вот и едет племян к бабуле со мной в этом вагоне. А к школе бабушка сама отвезёт его матери.

— Не наш клиент.

— Вовсе необязательно, что детдомовский беглец едет именно в этом поезде, — услышали пассажиры разговор удаляющихся полицейских.

Все непроизвольно ощутили, что сделали для ребёнка доброе дело.

На станции Туапсе Денис распрощался с добрыми попутчиками. Особо поблагодарил незнакомого дядю Витю, купившего для него билет и придумавшего историю для полицейских. За всё время поездки к бабе Ане Денису впервые не пришлось изворачиваться и лгать. Это может показаться, что говорить неправду просто. Слгать так, чтобы это было убедительно, похоже на правду, вовсе непросто. На раздумья нет времени, мысль должна работать молниеносно.

«Как надоело лгать!» — с облегчением размышляет Денис.

Он позвонил бабе Ане, чтобы узнать название станицы и как туда приехать. Бабушка, услышав голос внука, от радости чуть не потеряла дар речи. Сын давно сообщил ей, что Дениска сбежал из дома и от красноярской бабки. «Где он теперь, никто не знает. Даже лучшему другу Сеньке не звонит. Жив ли? Ни в коем случае не обещай отвезти его домой. Одна бабуля уже поступила таким образом. Результат я уже сказал тебе», — предупреждал маму отец беглеца.

Узнав, что внук в Туапсе, бабушка предупредила: — Мы живём в станице Кривенковской. Тебе никуда ехать не надо. Жди. Мы с дедом скоро приедем за тобой. Здоров ли?

— Что со мной могло случиться? Здоров, конечно! — Я позвоню, когда приедем в город. Жди, родненький.

Бабушка Анна, из опасений, что внук сбежит и от них, запретила мужу бранить внука за побег.

Исчезновение сына и нагоняй матери как холодный душ подействовали на забывшую о совести маму Дениса. Поступок Сергея она расценила так же, как её мать. Обвинив любовника, что он очень срочно избавился от ненужного, чужого для него

ребёнка, перестала не только встречаться с ним, но и здороваться, проходя мимо. Ссор с мужем как не бывало. Родители вместе переживали побег сына, чувствуя, что виновны в этом только они.

Отвергнутый Сергей, ещё на что-то надеясь, рассказал другу об отношениях с его женой. Не умолчал и о ночном приходе Дениски, узнавшего о предательстве матери. В другое время известие могло бы иметь ожидаемый Сергеем эффект, но теперь супруги возненавидели бывшего любовника одной и друга другого.

Первую четверть сибирячок, как прозвали Дениса одноклассники и учителя, проучился в станичной школе. Его приняли без документов, ограничившись подтверждением директора каменной школы по телефону. Во время каникул приехали дружные, любящие сына родители.

— Вы меня поделили или ещё будете делить? — поинтересовался сын.

— Нам больше нет необходимости делить тебя. Мы снова одна дружная семья, — заверил Дениску папа.

Потом отец попросил сына поподробнее рассказать о прожитых днях и ночах до появления в станице. Женщины не раз и не два украдкой вытирали слёзы, сопереживая пережитому Дениской. — Надеюсь, теперь ты осознаёшь, что пустился в немыслимую авантюру, совершив побег из дома и от бабушки Наты? — спросил Василий по окончании сыновнего повествования. — Пообещай всем нам, что подобное больше не повторится.

По возвращении в Каменку жизнь покатилась размеренно, безопасно и безо лжи. Маленькие отступления у недавнего путешественника ещё случались, но из-за них никто не страдал. Мальчишки, узнав подробности путешествия, удивлялись изворотливости друга, но не завидовали. Повторять «подвиги» одноклассника никто не пожелал. Дениска же, отведав вкус путешествий, решил стать путешественником, когда станет взрослым. Папа пояснил ему, чем отличается путешествие от бродяжничества и как необходимо готовить себя к настоящей взрослой жизни. Сын узнал, что можно путешествовать, работая переводчиком, геологом или спасателем.

— А можно путешествовать не только по странам и континентам, но ещё и во времени, как это бывает у археологов. Участвуя в раскопках, они оказываются в мире таких древностей, о которых становится известно только после их археологических открытий.

— Вот это классно! — не сдерживая эмоций, произнёс ребёнок. — Я обязательно подготовлюсь и стану археологом!

Александр Габриэль

Победа гуманизма

Дальняя станция

Спокойно, парень. Выдох: «Ом-м-м-м», — полезен загнанным нейронам.
Вагончик тронулся (умом). По сути, заодно с перроном.
Делю с попутчиком еду: два помидора, хлеб и сало.
На дальней станции сойду, где ни названья, ни вокзала.

Умчится прочь локомотив. А я останусь в брызгах света,
с советской песней совместив хайнлайновские двери в лето;
найду ответ у сонных трав, о чём мне карма умолчала,
себе с три короба наврав, что можно жизнь начать сначала.

Такой покой, такой уют воспел бы Пушкин и Овидий.
Здесь птицы песенки поют, каких никто не евровидел,
здесь я однажды всё пойму под ветерка неспешный шорох,
здесь я не должен никому и сам не числюсь в кредиторах.

Какое счастье, господа, — брести от дактиля до ямба
и не совать свой нос туда, где вновь коррида да каррамба,
где давит ночь тугим плечом, где каждый встречный смотрит косо
и где дамокловым мечом висит над жизнью знак вопроса!

Увы, пора открыть глаза. Мечтанья свойственны Сизифам.
Нет в рукаве моём туза. Покуда миф остался мифом.
Но всё ж в неведомом году я, опыт накопив бесценный,
на дальней станции сойду. Достоинно. Как артист со сцены.

Победа гуманизма

Своё недокричав и недоколобродив,
в азарте не успев нажать на тормоза,
нестройная толпа голосовавших «против»
разгромлена толпой голосовавших «за».
Победен прессы тон. Гудят ватсаппы, скайпы,
а Номо, как всегда, к собратьям *lupus est*.
Вот доброволец. Он снимает с трупов скальпы
и надевает их на свой тотемный шест.
И наконец покой приходит долгой драме,
достойный золотой рифмованной строки...
Усталое Добро (как надо, с кулаками)
пытается отмыть от крови кулаки.
Вот славный журналист — задорная харизма,
знакомый по TV чарующий оскал...
О, как ты хороша, победа гуманизма
над теми, кто его иначе понимал!
Пойдет отсчёт с нуля великим этим годом,
начнётся с точки А прекрасный светлый путь...
Как воздух нынче свеж! Он полон кислородом,
поскольку меньше тех, кто б мог его вдохнуть.

Поэто-пейзаж

Замер сказочный лес, прорежённый опушками,
над которыми лунная светит медаль.
Спит земля до утра—не разбудишь из пушкина,
и молчит до утра заболоцкая даль.
Ночь на день обменять—не проси, не проси меня,
пусть чернеет загадочно пропасть во ржи...
Спит летучий жуковский на ветви осиновой,
двух крыловых на спинке устало сложив.
Тёплый воздух дрожит предрассветною моросью,
серой змейкой застыл обезлюдевший шлях...
Что-то шепчут во сне пастернаковы поросли,
сонмы диких цветаевых дремлют в полях.
Проползает река вдоль пейзажа неброского
и играет огнями—живыми, как речь.
И её пересечь невозможно без бродского,
всем не знающим бродского—не пересечь.
Всё, что мы не допели, чего не догрезили,
тает в сонном, задумчивом беге планет...
Жизнь пройдёт и останется фактом поэзии.
Смерти, стало быть, нет.
И беспамятства нет.

Парадизо

Над прошлым—бурный рост бурьяна;
и да, прекрасная маркиза,
всё хорошо. Зубовный скрежет—
союзник горя от ума.
Но еженощно, постоянно
в кинотеатре «Парадизо»
зачем-то кто-то ленту режет
с моим житейским синемá.

Бандиты, демоны, проныры—
ночная гнусная продлёнка...
На кой им эти киноленты?
Кто заплатил им медный грош?!
Но остаются дыры, дыры,
и грязь, и порванная плёнка,
разъединённые фрагменты...
Причин и следствий—не сведёшь.

Несутся по одноклейке
воспоминания-салазки.
Смешались радости и горе
в бессмысленную кутерьму...
И я, кряхтя, берусь за клейки;
дымясь, придумываю связки.
Кино, хоть я не Торнаторе,
я допишу и досниму.

На факты наползают числа
и с разумом играют в прятки.
И я блуждаю, словно странник
в туманной горечи стиха,
ища тропинки слов и смыслов
среди их трагической нехватки:
давай, давай, киномеханик,
раздуй, раздуй киномеха.

Горб

Зимой (хоть это не для всех, а лишь для мыслящих инако)
встаёт во всей своей красе горб вопросительного знака,
и тень, отброшенная им на замерзающие лужи,
одним велит напиться в дым, другим — чего-нибудь похуже.

Мы были зряшно рождены; в подборе целей — оплошали.
А в небе бледный шмат луны — как сыр, обгрызенный мышами.
Банальности взрезают тишь расстрельной россыпью курсива.
«Красиво жить не запретишь». «Быть знаменитым некрасиво».

И хоть ругайся напоказ бессильно и пустоголово
на ускользнувшую от нас мерцающую сущность слова,
мы замерли, как корабли в литографическом овале:
одни лишь гении — смогли, а остальные — спасовали.

И не для нас хмельная высь, где реют божества в хламидах.
Ведь можно проще, согласись: ненужный вдох, никчёмный выдох.
Тирадой пьяного жлоба, лишённой смысловой нагрузки,
нас ждёт стандартная судьба миллионов пишущих по-русски.

Не избежать тоски и драм. Надежда, словно шарик, сдулась.
Вопроса знак являет нам интеллигентскую сутулость.
И, как всегда, декабрь — большой любитель жертвоприношений.
А мы, уставшие душой, легко сгодимся на мишени.

У подъезда

Мне светила февральского неба холодная бездна,
под ногами сновал бесприютный отряд голубей...
А я девушку ждал, а я девушку ждал у подъезда.
Сам подъезд был закрыт, и вовнутрь не попасть, хоть убей.

Столбик Цельсия к вечеру падал всё ниже и ниже.
Как сказал бы Аверченко: «Очень хотелось манже».
Я же, кутаясь в куртку, смотрел, как пленительно брызжет
тихий свет из окна твоего на шестом этаже.

А мороз наступал — повсеместный, победный, подвздошный.
Мой был сломан компас. Я, как бриг, потерял берега...
И отнюдь не спасали ботинки на тонкой подошве
(«Пневмонию подхватишь, — язвил Ипполит, — и ага!»).

Был я вещь в себе, на обочине дел и событий,
обречённым на гибель, как в разинской лодке княжна...
Ты должна была выйти. Зачем-то должна была выйти.
Я сейчас ни за что не упомяну, какого рожна.

Мне не вспомнить уже тех сюжетных причудливых линий,
но нет-нет да припомнится в странном предутреннем сне:
свет надежды в душе оседал, как нетающий иней
на небрежно мелькнувшем поодаль трамвайном окне.

Александр Руденко

Раковина

Квартал

В квартале осени, в квартале
 жилом—кружа,
 блажа,
 мы время коротали
 с тобой, душа.
 Среди мотивов залихватских,
 забот мирских,
 кафе, конторок адвокатских
 и мастерских,
 лавчонок, бутиков,—
 в квартале,
 в его возне—
 то в праздности мы пребывали,
 то в полусне.
 И, с жёлтой листвою магнолий
 ложась на дно
 фонтанов,
 думали: дано ли
 иное?..

Но
 однажды, будто сквозь миражный—
 в листве—прогал,
 посмотрим мы, душа,
 и скажем:

—Э-эй, квартал!
 Шумишь, ворчишь
 или кемаришь,
 прильнув к груди
 официанток, парикмахерш,
 давай—гляди—
 без нас решай свой проблемы:
 кружим, блажим,—
 но не надейся, что тебе мы
 принадлежим.
 Подмигивая птичьим стаям,
 сухой листве,
 мы, словно карлсоны, летаем,
 смотря извне...
 Покуда в сумраке прогорклом
 тайком от всех,
 уже клонясь к твоим задворкам,
 крадётся снег.

Раковина

Я—раковина, ухо Океана.
 Вошли в меня
 глубин глухие шумы,
 и рокот бурь, и всплески рыб могучих...
 А тот моллюск—трусливый, студенистый,
 который обитал во мне когда-то
 и думал, что ему принадлежу я,—
 бесследно выбит из меня волнами:
 он умер, умер...

Я—пребуду вечно.

И таково моё предназначенье.
 Меня возьмите тёплыми руками—
 сегодня или через сто столетий—
 сотрите пыль и к уху поднесите.
 Прислушайтесь—и зашумит стихия...
 Прислушайтесь—и Океан задышит,
 великий мой отец
 и современник.

Из глубокого в небе провала
 сквозь осенний предутренний мрак
 отгремела гроза, отсверкала,
 осветила дремучий овраг.
 И, уже не шумя, не волнуясь,
 засыпая над ним в забытии,
 елей мокрые ветви сомкнулись,
 прикрывая провалы пути.
 Пусть надежда все боли врачует,
 трезвой ходит и—навеселе,
 только сердце художника чувствует:
 неизбежен провал на земле.
 И, с рождения призваны высью,
 в темноте—перед ним и за ним—
 да не дрогнем, да не убоимся,
 да пребудем с призываньем своим.
 Чтоб с улыбкой—и горькой, и вещей—
 утра нового солнечный мёд
 пить за то, что сверкает и блещет
 и забыться сердцам не даёт.

Рассвет с песчаных дюн крадётся тихомолком,
и взглядом древних лун, пронзительным и долгим,
глядят глаза совы сквозь ближние деревья...
И посреди судьбы—за ней и перед нею—
стоишь ещё в былом под замутнённой высью.
Но тянешься крылом невидимым за мыслью—
без суетливых смет, без масок и обличий—
на проблеск, на просвет, на тонкий просвист птичий...
Чтоб—ветром по лицу—познать земное время,
но отвечать Творцу на языке творенья.
Чтоб отвечать судьбе—в исканиях взаимных
узнав её в толпе и в сумерках совиных;
приняв на остриё лучащегося дара
короткие её и длинные удары...

Не нуждаясь ни в ласке, ни в точке опоры,
под дождём и под бурей—от Бога—тверды,
вдоль низины холмы, переросшие в горы,
с двух сторон поднимают над домом хребты.
Тяжелеет, темнеет и зимним железом
с каждым днём наливается небо тишком.
И на склон каменистый за тисовым лесом,
на порог, припорошенный первым снежком,
опускаешь ты медленно взгляд иноземца,
принимая, что здесь—ни хозяин, ни гость...
И земные пути бесприютного сердца
в дом ведут и сквозь стены проходят насквозь.
Но иные слова в приоткрытые ставни
неожиданный ветер вдувает в упор:
«Без любви не останется камня на камне
ни от стен, ни от самоуверенных гор.
Рухнут ржавые тучи в безвидных просторах,
с ног собьёт тебя длинная снежная плеть.
Пошатнутся, согнутся те люди, которых
всё ещё ты способен ободрить, согреть.
И когда холода тебе в грудь задышали,
сколько силы найдёшь, сам ты должен как дом—
быть...
И гладить дворового пса за ушами.
И поддерживать низкое небо хребтом».

Крещение

С тёмной хвоей смешанный свой густой навес
разверни, оснеженный предвечерний лес,
разомкни звериные тайные круги...
К дому—с баней, скрытою в ольхах у реки,
по старинной памяти приведи, тропа.
Накормите каменку, белые дрова.
Звёздно-синим полыхом в сердце полыхни,
ледяное полымя белой полыньи.
Над купелью стынущей вынырни и ввысь
снова, ясновидящий филин, окунись.
Долгой ночью вьюжистой стань прозрачной, тьма.
Окрести на мужество и на путь, Зима.

В безмолвье лунный свет пророс
пространству—в очи...
Умолк и желтоклювый дрозд
на ветке ночи.
И, плотно обжимая дом,
до выси горней
стоит такая тишь—комком,
как слёзы в горле.
Душою, кожей ощути
земные пути...
Текут по Млечному Пути
твои минуты,
в безмолвье, как вода, текут...
Но в нём—широком—
откуда чуешь этот гуд
и слышишь рокот?
Теряя силу, изнутри
земля рокошет.
Почувствуй крылья. Посмотри
пространству—в очи.
Безмолвно—к слову—поднимись
в свои просторы
за лунный свет, откуда мысль
сдвигает горы.

Праздную свободу птичью,
падая под вечер
из-под тучи на добычу,
промахнулся кречет.
Вскрикнул. Извернулся косо
и от зубьев острых
каменистого откоса
оттолкнулся в воздух.
И поплыл—уже неслышим—
среди дымки влажной
тяжело—всё дальше, выше...
Вот и мы однажды
к вечеру—с налёту, с ходу
с крыльями не сладим,
за весёлую свободу
промахом заплатим.
И ещё в хмельном угаре
ветрового зелья—
грудью с высоты ударим
о сырую землю.
И когда-нибудь—за болью,
за дорогой длинной—
станем ветром, духом вольным,
песнею, былиной...
Но—дай Бог, не раз—до ночи—
от камней от острых,
в кровь разбившись, вскрикнув молча,
оттолкнёмся в воздух...

Мартин Мелодьев

Ночной концерт

Воспоминания

О Rus!

Хор

Юта

Прогреть мотор и сесть за руль—
и тем начать повествование.
Свези меня за ржавый рубль
в мою страну-воспоминанье—
вернуть забытую любовь!

Шамань, шаман! да пошамановедче,
рассказывай: «Коньяк и финшампань
объединяет мягкий знак...»

Шамань!—

и пусть подольше длится этот вечер
разобранной по странам света речи.
Мы вспоминаем прошлое, оно
Молчит, как батискаф, но всё равно:

Пока сквозь панораму кирпича,
дыр, из-под них—исподних штукатурок,
белёсых фонарей, лепных фигурок,
домов, деревьев и фонтанов ча-
хлых—снег идёт, на языке горча,
летающий, как Мюнхгаузен сквозь турок.

Шамань!

Пока экскурсию ведут
на чудеса картинной галереи:

..Ладя, а в ней лихие иудеи,
Колумба обогнувшие, гребут
в Америку—а там уже поют
мормоны, хором съехавшие с крыши
на редкий праздник встречи двух колен...

Шамань!

И дольше века длится плен,
и Смерть, уже слетевшая на Темплъ,
молчит и чистит свой гранатомёт.

Жизнь суетна, искусство неприступно:
дилемма эта мучит неотступно
художника, перерастая в сплин.

Но в день, когда густой ультрамарин
и золотая россыпь птичьих трелей,
трава, крутая глина рослых елей
и яблоневого белый кринолин—
внезапно сочетаются...

Но в ночь!—

когда пахнёт черёмуховой страстью,—
художник вдруг поймёт, как это к счастью,
что у него есть маленькая дочь,—
и кружит он, как ведьма, над мольбертом,
колдуя: «Поживём...» да «Поглядим»,—
...которая увидит мир таким,
каким он должен быть,—великолепным.

Отлакирован солнцем, жёлт шиповник
на тёмно-синей зелени листвы,
над озером сгущается прохлада,
и, задевая за кадык скалы,
срываются, летя в тартарары,
голосовые связки водопада.
Вода шумит и глушит серебром
наш разговор... Темны его мотивы.
Над Солт-Лейк-Сити небо цвета сливы,
и морды гор... И радуга вдали
звенит о шлифовальный круг Земли.

Ночной концерт

Казалось бы, художнический долг—
запечатлеть страну, в которой даже
тамбовский волк без мафии—не волк,
а моська в светло-сером экипаже.
Армейские казармы, КПЗ,
канарский рай, турецкий марш гетеры.
Казалось бы, ну что они тебе,
этюды на лирические темы?

*«Когда в кругу убийственных забот
нам всё мерзит—и жизнь, как каменной груди,
лежит на нас,—вдруг, знает Бог откуда,
нам на душу отрадное дохнёт...»*

(Тютчев)

Варвара Юшманова

Рим



Если бы детство знало,
Что исчезают зря
Вязкое покрывало,
Глобусные моря.

Изредка связь наладив,
Шлёт оно свой поклон:
Бабушкины оладьи,
Папин одеколон,

Брешь в корабле бумажном
И лимонад «Байкал».
Проговорит о важном—
И поминай как звал.

Бáлуй его—не бáлуй,
Спрячется: раз, два, три.
Жду и не жду. Пожалуй,
Где-то оно внутри.



Если вдруг мы захотим,
То заведём быт,
Станем жалеть тыл
И наплодим смысл.
Будет росой сон,
Будет скалой дом,
Будут звенеть в нём
Часики: бом-бом.
И через «дцать» лет
Будем иметь вес,
Будем себя знать,
Станем ходить в лес,
Станем ругать век:
Был он—и вот весь.
Что же теперь лезть?
Что же теперь лезть?..
Не навредить бы
Времени, что вспять.
И, отложив быт,
Мы захотим спать.

Спасибо

Он перебрасывает мой портфель через забор.
«Там же что-нибудь сломается...»—думаю я.
Но всё равно теперь знаю,
за что говорить спасибо.

Он перелезает через забор и зовёт,
руку не подаёт.
«Мог бы и помочь»,—думаю.
Но всё-таки знаю,
за что говорить спасибо.

В парке он всё время говорит не о том.
«Что же ты такой несуразный?»—думаю.
Но всё-таки
теперь знаю...

В воскресенье мама ведёт меня в храм.
Я улыбаюсь, потому что наконец-то знаю,
за что говорить спасибо.



На рынке жара, мошкара, но отсюда
Виднеется море вдали.
Среди абрикосов и синей посуды
Скучает высокий Али.

Его черносливы-глаза равнодушны,
Улыбка сияет: «Купи».
И вот покупатель кивает послушно,
Коварству её уступив.

Монеты отсчитаны. Время плетётся.
Неспешно минуло полдня,
Когда под навес молодого торговца
Жара заманила меня.

Али предлагает орехи и сливы.
Неясно, кто нынче в плену...
Похоже, со мною он будет правдивым,
И я его обману.

Рим

1.

Эти парки-дворы—у них надо мною власть,
Эта площадь Венеции, слышимая извне.
Мы помиримся здесь, мы будем друг друга красть
У прохожих и солнца, смоченного в вине.

За стеною машины, карабинеры, люд,
Мировая история на чередѣ колонн.
Здесь тенисто, легко, а птицы поют и пьют:
То фонтанчик им свой поклон, то они—поклон.

Пропадѣм, наречѣмся жителями сего,
Будто это заветная точка во всѣм пути.
Только ключник-старик, не видящий ничего,
Будет связкой звенеть и нас приглашать уйти.

Мы уйдѣм, но самое главное унесѣм.
И нас примет город, знающий обо всѣм.

2.

Всѣ стелет, стелет нам земля
Свои перины.
Растут из них и тополя,
И мандарины.

Сорвѣшь, и плод в руке твоей—
Звено в цепочке.
И в ней всѣ прошлое людей—
Ещё цветочки.

Старо холмистое селенье,
Пыльновато.
Но все небесные знамения
Когда-то

Свои оставили печати.
Место это
В людское счастье и несчастье
Разодето.

Но нам судить не мир—
Тех, кто мы сами,—
Не повзрослевшими
Ещё глазами,

Стоять в ряду дерев плодами,
Вязать сетями-проводами,
Идти шажочками-годами
К Мадонне и Прекрасной Даме,

Убавить время на полтона,
Не знать далѣкого итога
И через око Пантеона
Смотреть на Бога.

3.

Выходят львы. Трибуны воют,
Несчастных хищников клянут,
А гладиатор вынул кнут.
Убьют его или закроют—
Решится в несколько минут.

Смеѣтся люд и рукоплещет,
Им чуден падающий слон.
А раб выходит на поклон,
И меч в руке его трепещет.
Раб знает: следующий—он.

Болото смерти на арене,
Костей ломающихся хруст...
Амфитеатр давно уж пуст,
Но вижу я, как на рентгене,
Кровавейшее из искусств.

Своими арками глазае,
Цирк Флавиев стоит хитро.
Но всѣ сжимается нутро,
Когда к громаде Колизея
Я поднимаюсь из метро.

Санаторий

Безликий санаторий спит.
Пусты аллеи.
Сестра-хозяйка зла на вид,
Но язва злее.
Не выйти ночью, не сбежать.
Тюрьма приличий.
Ни грабежа, ни кутежа—
Таков обычай.
Сосед (отит) молчит и спит,
Не мочит ухо.
Соседка лечит тонзиллит,
Но тоже глухо.
На процедурах медсестра
Сидит бочонком.
Ей все диагнозы с утра
Уже в печѣнках.
Она душою не кривит
(Уж кривы души),
А очень просто говорит,
Что будет хуже,
Что нет здоровья, нет пути,
Что всѣ гнилое,
Что если стар, то не спасти
Своеѣ былое.

Галина Пичура

Моя душа отбрасывает тень



Счастливые люди не пишут стихов, наверное...
У них — дефицит с болевыми точками...
Порядок с зарплатой, с любовью, с нервами...
Счастливые люди не заняты рифмой и строчками.

Стихами болеют ранимые, тонкокожие...
Они никогда не довольны судьбой предложенной.
Их могут обидеть ребёнок и взгляд прохожего...
Они не взрослеют. За что им всё это? Боже мой!



Ветер судьбы ломает мой прочный зонтик.
Счастье давно осталось за горизонтом.
Что говорить, звуковая у жизни скорость...
Хочется жить! Но, увы, остановка скоро.

Счастье весьма обидчиво: не признали.
В нём ведь таятся будничные детали.
Для дальнорюжих есть выход — мечты о дали!
Люди уходят в бессмертие, в тлен, в банальность.

Не надышаться, жадно глотая воздух!
Над головой кружит мошкара рутины.
А сокрушаться — и глупо, и, в общем, поздно.
И не мечтается больше — прошла наивность.

Исков нельзя подать ни судьбе, ни Богу.
Ну а винить себя не хотим мы строго.
И хоть порою становится жизнь противной,
Мы не найдём ей достойной альтернативы.



Моя душа отбрасывает тень
Усталости, заботы и печали.
Вот и сегодня... Прожит целый день.
Я вижу тень свою. А вы свою встречали?

Есть мир теней, там души говорят
Без слов, а лишь энергией страдания.
Нет, тени не заметны всем подряд.
Да и душа — не многих достоянье.

Осень

Приходила к Пушкину, волновала Фета
И, сменяя душное, солнечное лето,
Вальсом старым, чопорным барда закружила.
Осень — это опера, что течёт по жилам.
Яркая и страстная, дерзкая колдунья!
Жизнь была напрасною, а надежда — лгуньей!
Бабье лето — осенью...
Всплеск последней веры,
Юность (только с проседью) —
В меру ли, не в меру.
Листья перезрелые падают, сгнивая.
Прелесть умирания с болью наблюдаю.
Я войду в осенние яркие хоромы.
Позднее прозрение и тоска по дому...
Красота саднящая перезрелой дамы,
Как вино бродящее, смех на грани драмы.
Веточкой весеннею из былого дома
Машет вдохновение, погружаясь в омут...



Душа калачиком свернулась...
Не распрямиться.
Как метко светит судьба в нас дулом!
Дрожат ресницы.

Как поединок ребёнка с миром,
Неравны силы!
Жизнь — на закате. Судьба — задира.
Но кровь — по жилам.

Занят планетой, молчит Всевышний.
Я — не замечен.
Песня не спета? И я — не лишний,
Хоть и не вечен?

Где подтверждение, что наш Создатель
Знает о каждом?
Судьбы — как тени. Их бы — издать все!
Вот — моя жажда!



В санаторно-курортной программе
Предусмотрены танцы для масс,
И старушки стучат каблуками
В этот поздний торжественный час.

При вечерних нарядах по моде,
Устаревшей полвека назад,
Их военная молодость входит
В зал торжеств, от подполья устав.

Вот опять эти платья в горошек...
Вот опять крепдешины шуршат...
И накидки со старенькой брошью
С псевдоблеском на сотню карат.

Умирают от смеха девицы:
«Ну, бабули! Вот это прикид!»
Бездуховные юные лица...
Но, конечно же,—фирменный вид.

Как нам в юности верится в вечность!
В то, что молоды мы навсегда!
А что жизнь, как вода, быстротечна—
Это, в общем-то, всё ерунда.

Но промчится, как ветер коварный,
Юность модниц, и станут им вслед
Хохотать так же подло-бездарно
Не познавшие жизненных бед.

Но, украдкой слезу вытирая,
Всё ж найдётся, наверно, одна,
Кто в старухе душой угадает
Красоту, что другим не видна.



Не делись мечтой с соседом,
Да и с другом не делись!
Путь мечты пока не ведом...
Коль исполнится—велик
Ты в глазах друзей и прочих!
А не сбудется—прими
Ироничность, мрак пророчеств!
Так устроен этот мир.

Спрячь мечту от праздных взглядов,
От злорадства цепких лап!
Одному ведь проще падать,
Чем при зрителях. Но слаб
Человек! Ему охота
Хоть мечтой помочь душе
И открыть её ворота:
«Заходите! Вот—мишень!

Здесь мои на завтра планы,
И на месяц, и на жизнь...»
Но смеётся неустанно
Бог: «Мечтатель, планку снизь!»

Не сбылось—ты неудачник,
Не мечтал—провала нет.
Пусть хоть ангелы заплачут
О несбывшемся нам вслед!

Анна Харланова

Лоскутки

Хрумчажные сны

...Я тебя поцелула, когда шепчатый дождь по-
крупчал в окно...

— Ты можешь прожевать, а потом читать?! — воз-
мутилась Кира. — Бредятина какая-то получается!

А по-моему, прелестно, по-моему, самое то, что
надо. «Поцелула» вместо «поцеловала» — это же
необыкновенное слово! Хм.

...Я тебя поцелула, когда шепчатый дождь по-
крупчал в окно...

Кира тоже жевала, лопала, нямчила за обе щёки
пиццу.

— А знаешь, — сказала она, облизывая с пальцев
соус, — первую пиццу сделали в Неаполе в каком-то
махровом году, это была бедняцкая еда, хлеб и
помидорный соус, по сути. Ну а теперь эта еда в
самой старой пиццерии Неаполя знаешь сколько
стоит?!

— Кир, а там вкуснее пицца? — спрашиваю, а са-
ма смотрю, сколько уже Кирка кусков съела, вот
прожорливая.

— Хм-гм-пфш! — чавкает она. — Конечно, там вкус-
ней! Свежайший соус, понимаешь, да и сыр там
так-о-о-о-ой, м-м-м, а помидоры таки-и-и-ие!
Солнечная Италия, ясное дело.

Кира уже много где побывала; её отец часто
бывает в заграничных командировках и берёт
дочь с собой. Кира — блондинка, никакая не кра-
шенная, а самая настоящая, от рождения. Цвет
волос у неё восхитительный. И кожа такая чистая,
чуть загорелая, розовато-фруктовая. И грудь уже
вполне привлекательных размеров. Не то что я:
бледная до зелени, с блёклой косичкой и тощая.
Я много читаю и много мечтаю. Кирка говорит,
что я тургеневская девушка. И это не комплимент.

...Я тебя поцелула, когда шепчатый дождь по-
крупчал в окно...

— Погода отличная. Пойдём сейчас на речку, а
вечером — на костёр, — скомандовала Кира.

У неё красивый купальник, новые туфли на
каблуках, короткая юбка-шорты и замшевая жи-
летка с бахромой. И всё сидит на ней как влитое.

А на меня даже купить что-то подходящее сложно.
Не в детском же отделе закупаться в шестнадцать
лет?!

— Кир, дашь на вечер свою жилетку? — не люблю
просить, но прошу, так как сегодня новые парни
придут на костёр, и я хочу их сразить.

— Бери, — позволяет великодушная Кира. — Только
тебе ж велико...

— Нормально, сгодится! — радуюсь я возможности
понтануться.

«Два — пятнадцать — девяносто два, — повторяю
про себя. — Два — пятнадцать — девяносто два».
Лишь бы не забыть. Прихожу и записываю в блок-
ноте рядом с выписками из Лермонтова и Ахма-
товой: «2-15-92». В коричневом блокноте теперь
не только буквы, не только рисунки, здесь первые
цифры, и это его номер, его номер, я поцелула
тебя... И фонари маяками светили путь... А на
реке лягушки озверели от страсти и теперь орут: не
квакают — надрываются в темноте... И половинка
луны так устало смотрит в окно... А комары чёр-
ными точками на белом потолке — затаились, ждут,
сволочи, когда я выключу свет и лягу смотреть
свои хрумчажные сны, а они кинутся на меня всей
стаей и будут восторженно чавкать. А их комарий
командир скомандует: «Два — пятнадцать — марш!
И девяносто два! Чвафк!» А я уже сплю, положив
под подушку блокнот, наполненный мечтами и
мыслями — моими и великих.

«Я готов был любить весь мир, меня не поняли — и
я выучился ненавидеть»
(Лермонтов).

«Время бархатный медный шар катится скользкой
дорогой»
(Элюар).

«От любви твоей загадочной, как от боли, в крик кри-
чу, стала жёлтой и припадочной, еле ноги волочу»
(Ахматова).

«Я не хочу на шахматной доске фигуркой быть»
(я).

— Доча, побольше пофигизма! — пожелала мне
мама на день рождения. — Ты хорошая девочка,

даже слишком, у тебя комплекс отличницы. Поэтому: побольше тебе пофигизма!

А я привыкла маму слушать, поэтому летом стараюсь не только учить английский и читать книги из сельской библиотеки, но и гулять, наблюдать, нравиться. Вот сегодня поплыли на лодке на Мельников сад, это местечко такое, где до революции жил мельник, там и сейчас большой яблоневый сад, а в высоком берегу живут стрижи. Дом не уцелел, а вот в протоке между островами нужно быть осторожным: как гнилые зубы, торчат под водой сваи от старого деревянного моста. Налетишь на них — мало не покажется.

Кира сильная, без видимых усилий управляется с веслом. Сидит на хвосте лодки, и только видно: широкий взмах и спокойное «вжить», — весло погружается в упругую воду, отталкивается от неё, а потом — р-раз! — поворачивается и, словно рычаг, выравнивает движение лодки. Когда я сажусь рулевым, мы беспомощно кружимся посреди реки на потеху ребятишкам на берегу.

— Ничего, — утешает Кира. — Ты просто ещё не привыкла, научись.

Чудесная, великодушная Кира! Золотовласая Кира!

— Смотри! Там твой, вчерашний, — вдруг говорит она.

И я падаю-лечу-парю, но всё это никому не заметно, только спина напряжённая такая, ровная. А Кира меня знает.

— Ну чего ты?

А я чего?.. Титек у меня нету, в купальнике смотрю как малёк плотвы, и если он чего в темноте не заметил — сейчас разглядит, и пиши пропало мои мечты. А он вон какой! На тарзанке мотается, потом делает сальто, и — вжух! — дух захватывает от его полёта! И в воду входит, как в мои сны: смело и упруго.

— Ты, главное, виду не подавай, что рада его видеть. И страх не показывай. Держись как ни в чём не бывало. Пусть сам подойдёт. А ты спокойно так: «А, привет! И ты тут?» — советует Кира.

А лодка неумолимо приближается к пляжу, и проплывают мимо стрижиные гнёзда и заросли ежевики, и чья-то пучеглазая коза вытаращилась на меня, даже жевать перестала. Я сижу с такой спиной, что можно сразу в балет, и забываю дышать. А возле тарзанки — шум, смех и всплески воды.

Я давно уже за Киркой наблюдаю и многому у неё научилась. Самому важному научилась, о чём Тургенев и Бунин — ни гу-гу: быть женщиной. И вот тут, конечно, титки очень помогли бы, но не они главное. Важно держаться уверенно, смело, обещать взглядом, но ничего не предпринимать самой, позволять — и ускользать, не навязываться, не просить. И уходить, если что не так, гордость — тоже нужна, не меньше титек.

...Я тебя поцелула, когда шепчатый дождь покрупчал в окно...

Я расправила плечи, задрала подбородок и, улыбаясь всем и никому, вышла из лодки.

Лоскутки

Мне снится мой дом, тишина и благодать русской деревни. Седой дым из труб, похрустывание снега под ногами. Если вдруг перенестись из шума и толчеи города сюда — тишина навалится мохнатой снежной грудью, толкнёт в сугроб. Зябко! Мороз щиплет щёки, не даёт стоять на месте. Так смешно смотрятся красные варежки на руке, привыкшей к кожаной перчатке! Улыбаюсь и иду дальше по знакомым улицам. А в небе смеётся зима, кидает снежную манну на землю, надёжно спрятав замёрзшие звёзды за белой пеленой. Вот так же мело и много-много лет назад...

Ах, холодно! И шапка совсем обледенела. Быстро перебирая маленькими ножками, забегаю в студёные сенцы. Белый холодный свет с улицы, осторожно заглядывая в дверь, освещает дрова, заготовленные на зиму, и сухие травы у самого потолка.

Открываю дверь, обитую чёрной клеёнкой, и сразу вваливаюсь в тепло маленькой комнаты. Светит зелёный абажур под потолком. На стенах, оклеенных разными обоями, — старинное зеркало с кривым стеклом, в рамках — чёрно-белые фотографии, на которых бабушка — ещё молодая красивая девушка. А в углу, перед иконами, горит лампадка. Прабабушка, что-то бормоча, колдует над керосиновой плиткой. В крохотной кухоньке нет электричества, поэтому там горит керосиновая лампа. И везде пахнет керосином.

Но вот скрипнула дверь, и следом за мной вошла бабушка: «Мам, мы пришли!» Анися, моя прабабушка, уже спешит встретить желанных гостей. Она целует меня в голову и улыбается беззубым ртом, а морщинки — как добрые лучики — от глаз, по щекам. А потом, как всегда, она достаёт из-под кровати плетёную корзину, а оттуда — банку с «конфетами» и говорит: «Возьми сколько хочешь», — и я всегда беру одну. Потом они с бабушкой начинают разговаривать о всяких взрослых делах, а я смело влезаю на печку. Там пыльно и темно. На стене на гвоздиках висят мешочки с сухарями и семечками — на чёрный день. А ещё лежат старые подушки. Прячу в них нос, обхватываю руками — и так тепло и хорошо-хорошо! Пыль щекочет нос. Морщусь его, чтобы не чихнуть, а тем временем рассматриваю покосившиеся шкафчики на кухне, скамьи вдоль стен, на которых много-много чугунков и глиняных горшочков. Жарко от печки, совсем тянет в сон. Лениво и вяло прыгиваю на сундук, внутренняя крышка которого оклеена разноцветными открытками. Здесь

хранится Анисино «добро»: вышитые шёлковые кофты, длинные чёрные юбки, платки. Бабушка говорит, что раньше у всех так было: не шкафы, а сундуки. И люди другие были. Вот смотрю на фотографии, а лица у всех добрые и как будто немного строгие. И все отчего-то чёрно-белые.

Анися любит, когда её называют по отчеству, Васильной. И все её подруги, такие же седые древние старушки, называют её Васильной.

Часто бабушка уходила куда-нибудь и оставляла меня с Анисей. И тогда она рассказывала мне про Бога, и про ангелов на небе, и про то, что злые люди горят в аду. Мне было интересно и хотелось узнать побольше, но когда я спрашивала у бабушки, та говорила, чтобы я не смела ни у кого об этом спрашивать. А сама по праздникам ходила в церковь и приносила просвирки со святой водой.

А ещё мы с Анисей ходили в гости в маленькие и тёмные дома с полосатыми дорожками на полу, которые называли дерюжками. Там также топили печи и пахло керосином. В одном таком доме было светло и праздник: много-много народу, разговоров и еды. И меня подводили к кровати умирающей незнакомой бабушки, она лежала за красными занавесками. Она взяла меня за руку и улыбалась, а глаза у неё были такие большие и словно светились изнутри. Мне захотелось плакать, вдруг пошла носом кровь, и люди вокруг засуетились.

А в другом доме жила старая-престарая бабулечка—наверное, ещё старше моей Аниси, которая и без того прожила почти век. В этом доме было тихо и печально. Серая кошка спала на стуле, и в печке еле теплился огонёк. Эту бабушку совсем забыли её дети. Соседи носили ей хлеб, и старенькие подруги иногда навещали её. Эта бабушка подарила мне целый ворох цветных лоскутков: одни

были гладкие, шёлковые, одноцветные, другие—в цветочек и в разный другой рисунок. Как я была счастлива! Тогда это было целое богатство—лоскутки!

Некоторые из них затерялись, из каких-то бабушка сшила моим куклам платья, но я до сих пор помню добрую старушку. Сейчас её уже давно нет: она замёрзла в одну из зим в своём маленьком домике.

Умерла моя прабабушка и многие её подруги. Они были последним отголоском прошлого века с его звучными песнями, гармоникой, плачущей на всю деревню, косматым дымом из труб. Они тоже были молодыми, влюблялись, смеялись и плакали, играли в давно забытые нами игры. Они просто жили во время страшных драм: две мировые войны, революция, Гражданская война. Они хоронили своих мужей, братьев, сыновей, они выживали в голод, плакали, но продолжали жить.

Человек полетел в космос, спустился в глубины океана, изобрёл атомную бомбу. Что им до этого? Они так же сажали морковь и лук, как и прежде; беспокоились, если долго не было дождя; крестились перед образами при первых ударах грома. Ничего не изменилось в их жизни, даже пресные лепёшки на керосиновой плитке. Сейчас таких уже не пекут.

...В мрачном городе—зима. Снег. Скрежет тормозов, шум моторов, звук сотен голосов и чавканье растаявшего снега под ногами—вот нынешний век без прикрас праздников. Он тоже пройдёт, канет в Лету, как и все предшествующие. Но если хочешь не быть забытым, продолжить жить в сердцах других людей, не нужно изобретать эликсир молодости—просто подари ребёнку ворох цветных лоскутков.

Наталья Потапова

Феникс

*Феникс — мифическая птица, способная
возродиться из пепла; символ неистребимости*

К пятнадцати годам я так и не выбрала, кем бы мне больше всего хотелось стать. Тогда бабушка сказала: «Иди в медики, Таня. Они очень нужны, поэтому их берегут... на войне, например». Я испугалась её вмиг посерьёзневшего лица. Бабушка помолчала и добавила: «Знать, как тело функционирует, чтобы домочадцев блюсти,—это, внученька, для женщины—первостатейное дело!» Хотя бабуля имела всего три класса церковно-приходской школы и не могла выговорить слово «функционирует», я прислушивалась к ней.

Итак, после девятого класса я поступила в медицинский колледж. Пару раз хотела бросить, но бабушка уговаривала меня: «Перемелется—мука будет»,—и я осталась. Я мечтала о том, чтобы больные быстро поправлялись, чтобы можно было поменять старые суставы на новые, как меняют запчасти у грузовиков и легковушек, поездивших своё, и чтобы старики, выйдя из больницы, снова бежали, как молодые, смело и легко. И я выбрала ортопедию.

В последнее утро июля, отдохнув месяц после выпуска из училища, я окинула взглядом свою комнату, попрощалась с бабушкой, которая быстро перекрестила меня, шепнула: «Береги себя, Таня! И не забывай, почему ты выбрала такую работу!»—и через полчаса тряска на автобусе я уже входила в корпус хирургии.

Белый халат, который мне выдали, оказался большеват. Я посмотрела на себя в зеркало над раковиной в сестринской. Сегодня первый день моей работы, наконец он наступил.

Опытная медсестра Маша, видя, как я в нерешительности стою в коридоре, хмыкнула: — Молодые кадры? У нас по-прежнему санитарок не хватает. Поможешь. Вот твой пост, а это ключи. Да! Завтра операционный день. Проверь, чтобы плановые больные были готовы. Если что, зови.

Ко мне приблизился загорелый доктор с лёгкой сединой. Он покачивался при ходьбе, как бывает у моряков. Быстро оглядев меня, спросил отрывисто:

— Звать как?

— Таня... Я была у вас на практике, полгода назад. Помните, Борис Борисыч, вы рецептом рябиновой закуски интересовались? Так я у бабушки спросила!

Врач улыбнулся, кивнул, взял стопку историй, я увидела, как он оглядел меня, когда я встала из-за письменного стола. Я вся как-то подобралась и невольно поправила чёлку.

Мы с Борисычем вошли в палату на шесть мест. Мне сразу бросилась в глаза высокая каталка у стены, заменявшая одну из кроватей. На ней лежала девушка, на вид чуть старше меня. Она, закусив губу, читала книгу и, завидев нас, сразу отложила её. На корешке было написано: «Биосфера и этногенез». Что-то знакомое! За четыре года учёбы чего только не было, в голове задержалось далеко не всё. Доктор решительно направился к ней:

— Наталья Ермакова, как настроение? К операции готова?

Девушка прямо посмотрела на Борисыча: — Нормальное настроение. Допустим, готова. Вчера и позавчера бегала до озера и обратно на этих...

Она потянулась за костылями, которые тут же с громким стуком повалились на пол. Я подняла их и поставила обратно. Девушка без улыбки взглянула на меня и продолжила очень спокойно: — Если вы под готовностью имеете в виду завешание, то мне пока нечего...

— Типун тебе на язык, Ермакова! Вот анестезиолог успокоит, чтобы... чушь не болтала и выспалась хорошо. Что там с анестезиологом, Таня?

Мы вышли из палаты и остановились у поста. Доктор положил истории на стол, и я еле расслышала его бормотание:

— Цели ясны, задачи определены... Но... как?

Мгновение спустя Борисыч, задорно тряхнув головой, пропел:

— При каждой неудаче давать умеете сдачи!

Я осторожно спросила:

— Борис Борисыч, почему у вас походка такая? На флоте служили?

Он улыбнулся:

— Нет. Я родился с дисплазией тазобедренного, и нога стала короче... в детстве—операция, вытяжение, теперь лишь на сантиметр отличается.

Тогда я и захотел стать лекарем. Только с третьего раза поступил. Санитаром пахал... Ты это... осваивайся тут!

Я внесла назначения Борисыча в историю болезни Ермаковой, когда подошёл высокий молодой врач и спросил, кому завтра на операцию. Я протянула ему бумаги. Он бегло пролистал их, бормоча:

— Так-так... гм... — и зашёл в палату.

Минут пять спустя врач вернул мне историю Ермаковой и, торопливо достав сигареты, поспешил к чёрному ходу.

Ещё через два часа я поставила больным антибиотики и помогла на тяжёлых перевязках. Потом с весёлой буфетчицей мы раздали обед лежачим и тем, кто ходит с трудом.

Ко мне снова подошёл анестезиолог.

— Мне опять нужна Ермакова — оценить амплитуду движений шеи. Ещё зайду, — предупредил меня врач.

Прошло десять минут. Я понесла лекарства в палату Ермаковой. У тяжёлой больной сидела родственница, две девочки лет девяти рисовали, пожилая женщина с забинтованным локтем вязала носок, но каталка была пуста.

— Где она? — спросила я.

Пожилая больная пожала плечами и пробормотала:

— Не знаю. Откуда мне знать?..

Когда приближался конец моей смены, многие больные ещё спали.

На посту зазвенел телефон, и я поспешила снять трубку:

— Ортопедия и детская травматология!

— Это анестезиолог. Ермакова подошла?

— Нет её! Я у доктора спрошу.

Я постучала в ординаторскую, не дождалась ответа и вошла. На подсвеченном экране был закреплён снимок кости с расколотым надвое протезом тазобедренного сустава. Один пожилой доктор и трое помоложе рассматривали его и спорили, не замечая меня.

— Операцию надо делать в два этапа: удаляем оба обломка, потом вытягиваем месяца три и повторно протезируем, — произнёс Борисыч, крутя в пальцах шариковую ручку.

— Не надо нам геморроя! Пилим, убираем малый обломок, укрепляем цементом, — категорически ответил ему пожилой врач (это и был заведующий). Затушив окурков в пепельнице, он добавил: — Голосуем. Кто за вариант Бориса? Двое. А за мой? Тоже двое... Боря, ты оперируешь, и тебе решать. Но учти... Ты её уложишь на три месяца в кровать, а гарантии, что поступит нужный протез, нет! Или, допустим, получим протез, но она уже десять лет болеет, не забыли? А за три месяца лёжки сердце ещё истощится, и на операции Ермакова Богу душу отдаст!

Борисыч вздохнул, взъерошил короткие волосы и сказал, обведя всех взглядом и заметив, наконец, меня:

— Я завтра на месте решу.

И тут в ординаторской спасительно прозвенел телефон. Я схватила грязную хрустальную пепельницу, полную окурков, и выскочила за дверь.

В туалете я долго оттирала едко пахнувший табак от пепельницы, не решаясь посмотреть самой себе в глаза в зеркальце над раковиной. Я вообще зачем сюда пришла — если при первом же тяжёлом случае мне хочется убежать и спрятаться, ничего не видеть и не слышать? Только вчера я плавала в озере, с подружкой, мы смеялись, ныряли, ловили друг друга в воде за ноги, потом долго обсыхали, глядя в чистейшее лазурное небо... А здесь жизнь совсем другая. И смогу ли я всё это выдержать?

Когда я вернулась в ординаторскую, трое молодых докторов уже ушли. Борисыч сидел один, задумчиво перебирая снимки. Он тяжело вздохнул и проговорил, избегая моего взгляда:

— Анестезиологу Ермакова нужна. Посмотри внизу, под лестницей чёрного хода. Вдруг она туда... бросилась?

Что?! Сначала я подумала, будто ослышалась. Собралась переспросить, но он сам продолжил: — Я на её месте — не факт, что выдержал бы. Девчонке досталось, конечно...

Я побежала к лестнице. Когда осталось шагов пять, ноги перестали меня слушаться. Я застыла, а воображение работало на полную мощь! Вдруг вспомнила, как сама однажды хотела умереть.

Я училась в первом классе, когда папа с мамой чуть не расстались. Я представляла себя в гробу, всю в цветах, и родителей, плачущих надо мной и решивших продолжать любить друг друга... Но я хотела и в смерти быть красивой! А что останется от человека, пролетевшего три высоких этажа? Как назло — никто не идёт мимо! А вдруг она жива?

Мысль, что Наталью Ермакову ещё можно спасти, заставила меня действовать, и я посмотрела вниз. Там было пусто. Никого и ничего. Кафельный прямоугольник лестничного пролёта. Я выдохнула и пошла обратно. Снова заглянула в палату. Книга «Биосфера и этногенез» на месте, а рядом лежал пакет, в нём я увидела кучу резаной марли. Интересно, зачем ей это?

Я постучала в ординаторскую, вошла и молча развела руками. Борисыч вздохнул:

— Позвони в милицию, пусть ищут. Что делать!.. Не просто так она пропала, не покурить вышла...

Я быстро сняла трубку и набрала «02».

— Дежурный слушает!.. — резко ответили мне.

— Это из больницы, у нас больная пропала... — начала говорить я.

И замолчала. Потому что перед моими глазами пронеслась картинка. Я чётко вспомнила: из марли складывают салфетки, потом их стерилизуют

и используют в перевязках. Наверное, Ермакова взяла заготовки, чтобы нам помогать. Она готовилась к операции... Не могла она ничего с собой сделать! Ведь именно этого боится Борисыч.

Я посмотрела на врача, он энергично писал. Я тихо нажала на рычаг, проговорив в гудящую трубку:

— Спасибо. Ждём вас. Если она появится — дадим отбой.

Я бесшумно прошла мимо Борисыча и очутилась на посту. Там звонил и звонил телефон. Мужчина нервным голосом просил позвать к телефону его дочь. Я пошла в одностенную палату, где та лежала, и, уже открыв дверь, неожиданно увидела Наталью.

— Ермакова?! Ты что тут делаешь?

На подоконнике в красной блузке и светлых брюках сидела наша беглянка и складывала исписанные листы в папку.

— У меня сроки контрольной поджимали, — объяснила она как ни в чём не бывало. — Надо успеть сдать до зачёта. Лишь здесь мне удобно сидеть. Вы за Анной?

Я кивнула, позвала пациентку из одностенной к телефону, не заходя в палату. А Наталья привычно, спокойно взяла папку в зубы, подхватила костыли и пошла в сторону своей палаты.

Я поспешила вслед за ней, аккуратно взяла у неё папку, отнесла к ней в палату и быстро вернулась к Борисычу. Он уже передевался после смены. Я прикрыла дверь и сказала в щёлку:

— Ермакова в порядке и просит прощения!

Борисыч накинул халат и вышел в коридор. Догнав Ермакову, он встал перед ней и, не скрывая раздражения, спросил:

— Почему никого не предупредила, где ты?

Она подняла на него глаза, устало посмотрела, обошла нас и поковыляла дальше в свою палату, не оборачиваясь и ничего не говоря.

Борисыч, с досадой качая головой, пошёл вслед за ней. А я — за ним. Мы подождали, пока она ляжет. Ермакова взяла блокнот, задумалась на секунду, взглянула на нас и быстро вывела в блокноте, протянула ему прочитать:

«На обходе Вы, Б. Б., смотрели на меня и думали, что на моём месте повесились бы. Ведь так? Я просто хотела побыть одна».

Борисыч читал так долго, как будто там было целое письмо. Потом бережно взял руку Натальи в свои ладони. Она, неожиданно улыбнувшись, проговорила:

— Борис Борисович, если бы вы людям более точные вопросы задавали, то они открывали бы вам душу. Вот на обходе сегодня спросили бы: «О чём ты мечтаешь?»

— Давай сейчас спросу. О чём?

— Я в детстве посмотрела комедию «Мимино». И с тех пор хочу защищать людей, чтобы их...

не сажали зря... Скажите, у меня выбор идёт: смогу ли ходить потом с костылями или с тростью? Или — между ходить и лежать?

— Нет! Ты будешь ходить, — твёрдо ответил врач, немного помолчав.

Наталья прошептала:

— Слава Богу, — взяла руку Борисыча и на секунду прижала к губам.

Я смотрела на него и почему-то подумала, что мой будущий муж обязательно будет похож на Борисыча, только моложе; я посвящу ему и детям свою жизнь, и буду сама им шить, и я обязательно научу детей плавать, и у нас будет прекрасный сад с малиной, яблоками, вишнями. А когда дети подрастут, я вернусь работать сюда.

Борисыч осторожно забрал свою руку из ладони Натальи и тихо сказал:

— Ну, мне пора. Перед операцией нам всем нужен отдых.

Мы вышли из палаты, и Борисыч вдруг спросил: — О чём мечтаешь?

Знал бы он, что мой будущий муж будет похож на него! Я улыбнулась сменившей меня медсестре, попросила её:

— Позвони анестезиологу, сообщи, что больная на месте.

Как только мы с доктором миновали пост, я ответила:

— Ну... чтобы бабушка была здорова и дольше прожила. А вы?

Он будто ждал этого вопроса. Открыл ординаторскую, молча подвёл меня к шкафчику и распахнул его стеклянную дверь. Я посмотрела на металлические обломки... Да, что-то подобное я видела на снимке, из-за которого спорили сегодня доктора!

Я заглянула в помрачневшее лицо Борисыча, не понимая, к чему он клонит. А он заиграл желваками, стукнул кулаком по своему столу и, глядя то мне в глаза, то на висящий на стене портрет Илизарова, быстро проговорил:

— Я очень хочу своим трудом помогать людям! И я готов осваивать новое! Особенно от него будет польза моим пациентам! Но для этого моих мозгов, рук и скальпеля — мало! Например, нужны надёжные эндопротезы суставов. Три года назад горздрав отправил деньги в СП «Феникс». Меня командировали забирать партию из Питера. И в этом вот дипломате я привёз, получается... бомбы. — Как бомбы? — ахнула я.

Он достал из шкафа обломок и, держа его в руках, продолжил:

— Вся партия тазобедренных суставов оказалась с незаметным глазу браком в металле. А люди радовались, Наташа Ермакова тоже... Я помню, как она уверяла меня — не я её, а она меня, понимаешь! — что всё будет хорошо, что это — её надежда и спасение. А потом всё сломалось, всем — повторные операции, столько труда, сил пропало!

И сколько слёз пролито, не выскажешь. Мы же им обещали двадцать лет работы протеза. А он в шейке ломался, и это ещё хорошо! Тогда легко менять. А у двоих—в ножке поломался, прямо внутри бедренной кости.

Борисыч протянул обломок мне. Я осторожно взяла его, чуть не порезавшись, положила на стол и снова стала смотреть в его разгорячённое лицо. Он продолжал:

— Больной узнал, что надо окошко в бедренной кости пилить. Расстроился и прямо в больнице умер. Кстати, ветеран труда... А Наташа Ермакова—вторая... Я такую операцию ещё не делал и о прецедентах не читал... Как вспомню тех горбизнесменов, такая злость берёт!.. Они навар получили, и—ищи ветра в поле! Раньше развитие человека-творца было целью, а теперь—прибыль. Любой ценой. Напролом—хоть по головам, хоть по трупам—прут и всё. За свою копейку удавятся и всех удавят. А тут, знаешь, не копеечка была. «Феникс»—ты понимаешь, они назвали «Фениксом»! Слышали звон, да не знают, где он. При чём тут они—и птица Феникс?!.. Девочка эта скорее птица Феникс—воскресает и воскресает, вопреки всему.

Борис на секунду зажмурился—мне даже показалось, что он пытается удержать слёзы. И затем сказал:

— Ладно... Слушай, я с тобой откровенничаю, как с хорошим другом. Только между нами всё, ладно?

Я кивнула. Мне очень многое хотелось сказать ему в ответ, но я не нашла нужных слов.

Борис передвинул фотографию на своём столе, чтобы положить папку. Я внимательнее посмотрела на снимок, весь будто пропитанный счастьем. На крыльце садового домика—четверо: жена Бориса держит дочку на руках, по бокам сидят мальчишки со сбитыми коленками и держат ракетки для настольного тенниса.

На заднем фоне среди листвы и колючек краснели ягоды. Кусты боярышника были насажены тесно-тесно, создавая естественный забор. Они навевали мысли о Наташе Ермаковой... столько шипов на её пути... сможет ли она победить при таких-то препятствиях? Я бы очень хотела что-то сделать для неё, но чем я могу помочь? Я ведь собираюсь дальше учиться на врача лечебной физкультуры.

Мгновенно я вспомнила слова заведующего об истощении сердца за три месяца, если человек лежит, не вставая, и фармакологию, где учили: боярышник—защитник миокарда.

— Я принесу ей эспандеры после операции. Мне почему-то кажется, что всё будет хорошо. И... настой боярышника. Моя бабушка делает.

Борис улыбнулся:

— Спасибо, дружок.

— За что?

— За... моральную поддержку, за то, что видишь, и слышишь, и чувствуешь. Не привыкла бы ты скоро к чужой боли. Хотя, не привыкнув, у нас работать невозможно. Так, и что мы с тобой будем делать? — Работать...—искренне сказала я, чувствуя себя совершенно необычно.

Я за день повзрослела как будто на пять лет. Потому что почувствовала ответственность за другого человека, которому гораздо хуже, чем мне, и которому нужна моя помощь. Какая именно? Разберёмся. Поеду домой, найду эспандер на чердаке, сварю настой по бабушкиному рецепту и, главное... зайду сейчас поговорить с Наташей Ермаковой. Ведь ей, наверное, страшно перед операцией и нужно посмотреть в глаза человеку, который верит, что всё будет хорошо. Что у неё хватит сил, что сердце её выдержит, что Борисыч сделает операцию чётко и правильно, что когда-нибудь наступит день, когда она встанет и пойдёт.

И это для неё будет самым большим счастьем.

Виктория Сагдиева

«Парень, держи венок!»

«Парень, держи венок!»

От неожиданности вздрогнул, точно проснулся. У меня в руках оказался венок с колючей искусственной хвоей и такими же колючими неживыми цветами. На кроваво-алой ленте сухо значилось: «Скорбим и помним». Кольке и Вадиму тоже всучили венки: «Покойся с миром» и «На вечную память».

Ещё никогда для меня смерть не была такой зримой. Сказать по правде, к пятнадцати годам мне даже стало казаться, что её не существует.

«Парень, держи венок! Потрогай. Прикоснись к этой колкой мёртвой хвое, как будто с ёлки, украденной у мертвецов. Посмотри на гроб. Не отводи глаз! Ну же, давай. Ты думал, её нет? И она никогда не придёт к твоим знакомым, родителям, к тебе?!» Чёрт бы его побрал, этот внутренний голос. У него совсем нет жалости.

Коренастый односельчанин загоняет в землю могильную ограду, подпрыгивая на ней и ударяя в перекладину всем весом. С каждым ударом металл всё глубже уходит в сырую глину. Последние удары — последняя расправа над умершим. После того как болезненно-необходимый обряд погребения свершён, телом покойного становится земля кладбища. На неё капают слёзы, по ней шарят взоры приходящих на могилку. Озябшие кислые лица коллег покойного начинают оглядываться в нашу сторону. Значит, скоро уже понадобятся венки...

Не люблю я Кольку с его болтовнёй. Он готов говорить о чём угодно, притом дельного никогда не скажет. И сейчас говорит так, будто ничего такого не происходит, а мы собрались на обычную тусовку. Своей причёской «под ноль» Колька едва достаёт мне до подбородка и вообще напоминает суетливого крысёнка. Кивая в ответ на очередной туизм, я тем временем выискиваю взглядом моего осиротевшего друга.

Женя зажат среди безликих сердобольных тётушек, поминутно утирающихся платками. Его лицо как будто затерялось в этой суматохе. По отдельности узнаю нос, губы, даже глаза, но они не срастаются в привычный образ. Отвожу взгляд. Лучше уж послушать Кольку. Или не слушать?

— Совсем болезнь съела, ничего своего в нём не осталось, — громко прошептал кто-то из толпы об отце Жени по дороге на кладбище.

Когда обитый красным ситцем гроб выносили из подъезда, мне показалось, что произошла какая-то ошибка. В гробу лежал маленький, щуплый незнакомец с обвязанной головой. Его лицо осунулось и позеленело, а рыжая борода сделалась пепельно-серой. Парадный коричневый костюм оказался велик и сидел мешком. Ничто не связывало меня с этим сдувшимся, как износившаяся шина, человеком. И что-то вроде облегчения появилось в груди, когда крышку гроба наконец заколотили. Теперь я мог представить, что там внутри отец Жени, а не странный зеленоватый коротышка с измученным лицом.

Однажды вечером я зашёл за Женей, чтобы вместе идти на улицу. Этот ритуал повторялся ещё с младших классов. Пока Женя у себя в комнате натягивал джинсы и свитер, я снимал шапку и растопыренной пятернёй проводил по волосам ото лба к затылку. Мне нравилось собственное глупое отражение в зеркале — с растрёпанной причёской и покрасневшим на холоде лицом. Женя появлялся уже готовый и в куртке. В отличие от меня, он предпочитал выходить налегке, как осенью, хотя на дворе стояла зима.

Я открыл дверь и спустился на площадку, однако Женя почему-то замешкался. Я подумал, что подожду, и подошёл к окошку. На подоконник в подъезде не то что присесть — опереться негде, всюду грязь и окурки. Снежинки сбегает вниз по чёрному небу, будто торопясь и толкаясь. На улице ветрено. Значит, опять будем торчать по подъездам — больше у нас в посёлке нигде не потусишь.

Проходит минута, другая. Ну чего он там копается? Я вернулся и дёрнул за ручку двери.

Приятель не очень-то распространялся о своём отце, но кое-что я знал. Он поехал помочь соседу напилить в лесу дров, и так получилось, что его пришибло падающим деревом. Потом у него долго болело внутри, а через пару месяцев появилась опухоль.

Отец Жени поднялся с постели. Его грудь стягивал большой пуховый платок, а на ногах беспомощно болтались мешковатые трико.

— Здравствуйте, — сказал я.

На лице моего двойника в зеркале повисла вымученная улыбка.

— А, здравствуй,— рыжая бородка на мгновение дёрнулась в мою сторону и вновь упёрлась в Женью,— Вот смотри, как твой друг одет. Не то, что ты. Надевай шарф.

— Нет, папа, на фиг надо. Что я, замёрзну, что ли?— возмущался Женя.

— А я сказал— наденешь. Шатаешься где попало, потом хрипишь ходишь. Совсем, что ли... то есть, говорю, совсем отца ни во что ставить можно?

— Да я сроду этих шарфов не носил. Мне и так хорошо,— Женя неуверенно провёл ладонью по голой шее, точно насневаясь, продолжать ли ему настаивать на своём.

— Ты идёшь, наконец, или нет?— спросил я.

— Иду!— Женя рывками намотал шарф, и мы пошли.

Нас перекормили пельменями и подливали водки не по возрасту. Я и не думал, что сны после поминок такие ужасные.

Я бесцельно бродил кругами по болотистой местности, под ногами чавкало, кругом камыши. В животе, казалось, тоже чавкало, и кололись всё те же камыши. А может, они меня щекотали, но рвать тянуло порядочно. В шуме ветра послышалось, что меня кто-то зовёт: «Парень, парень...»

Почему люди во сне такие безвольные свиньи? Почему стоит тебя в болотах позвать какой-то незнакомке, так ты тут же несёшься на её поиски?

На следующий день в школе, приглядываясь к девчонкам, я понял, что в них и правда есть что-то жуткое— голос подземелья. Из спин их пробиваются стебли маков, хрупких и хищных. А в руках незримый венок траура и пепла, который они так и норовят тебе впихнуть.

Наверное, я больше математик и никогда не буду спать с этими существами.

К вечеру у меня поднялась температура. Смешная мама—она думает, что я был не готов к смерти Жениного отца. Теперь она жалеет, что никогда не разрешала мне заводить питомцев. Неужели она и правда считает, что смерть любимой черепашки сделала бы из меня настоящего мужчину? Я был бы точно ветеран Афганистана, взирающий на покойников с безучастным равнодушием...

Голая девчонка, перепачканная землёй, смотрела на меня полинялыми глазами. У неё ещё даже не было намёка на грудь.

«Парень, держи венок! Парень, держи венок!»— шептала она сквозь меня, сложив руки на тощем впалом животе.

Я болел уже целую неделю. Даже Женя успел меня навестить.

— Ты чего слёг?

— Простыл, наверное,— равнодушно пожимая плечами, ответил я.

Женя был хорошим другом, он принёс мне на поправку баночку пива.

Прошёл почти год со дня похорон. Мы сидели в два часа ночи на веранде у Вадима и пили. Вадима скоро забирают в армию, и каждый спешит отпустить шуточку по этому поводу. Хотя, конечно, никому особенно не смешно. Вадим летом на веранде спит, но сейчас здесь холодно, и народ сидит в куртках. Хотели поставить обогреватель, но Вадим сказал, что он вчера перегорел. У каждого по полторашке пива, стаканов нет, пьём так. Колька чокнулся бутылкой о репродукцию «Трёх богатырей», пылящуюся в углу, и неожиданно сказал:

— А у нас в Тупике один мужик помер, Онофриев. Знаете такого?

Мне эта фамилия ни о чём не говорила.

— Кто ж козла Онофриева не знает?— сказал Женя.

— Ну зачем?... Человек же умер,— я попытался пресечь друга.

— А толку-то, что умер? Можно подумать, он от этого чище стал.

— А чего с ним случилось-то? Я его видал вроде недавно,— удивился Вадим.

— Да мужики утром на работу шли, смотрят, а он на крыльце пластом валяется. У себя во дворе, главное. Пришёл, видать, домой с бодуна, а ключом в замок не попал. Окошел, короче.

— Ну ни фига се,— сказал я.

— Чё, никого не было?— спросил кто-то.

— Да вроде была у него баба где-то, да то ли ушла от него, то ли он сам её бросил. По-всякому говорили.

— Ну ладно, царствие небесное, давайте помянем, что уж там.

— Да ну, туда ему и дорога,— не унимался Женя.— Другие мужики нормальные все, а этот натурально живодёр был. Коту своему знаешь что он сделал? Голову просто так открутил и выкинул. А мне чуть ухо один раз не оторвал.

— Ну?

— Да, я с предками в Тупике тогда ещё жил. А мы— пацаны, маленькие, лет по девять примерно. Ну вот. Играли на улице, ну, знаешь, мелкота. Ну, и этому Онофриеву кто-то снежком в окошко залепил. А он с похмелья был. Выбегает, короче, в тапках, догнал меня. Как за ухо схватит! Взрослый мужик же, да ещё со всей дури. Чего вы, спрашивает, такие-сякие, ерундой маетесь, типа? Ну ладно, отпустил. А у меня ухо жжёт, не знаю, как плоскогубцами хватили. Больно, блин. Ну, я в слёзы, естественно. Пришёл домой, батя нажаловался. Ну, батя вышел, значит, в дверь ему звонит. А он заперся, не открывает. Батя разозлился, кулаком в дверь стучит. Ну, тот вышел и давай наезжать: чего ты тут долбаешь, мол? Я не я, типа. Ну, батя его за грудки— и в сугроб. Хорошо вошёл—

до пояса. Ногами снаружи дёргает. Так он потом к моему батю подойти боялся. Вот, значит, пацаны. Такой у меня батя был.

— Жень, бросал бы ты курить,— заметил я, вдыхая приторно-сладковатый дымок от Жениной самокрутки.

— Да надо бы. Всё никак не соберусь. А ты чего беспокоишься-то?— ухмыльнулся он.

— А ты разве с Нинкой детей заводить не собираешься?

Казалось, стёкла вылетят, так все заржали. Потом Жень сказал:

— Слушай, старик, так мы же ещё не женаты даже.

«Да какая разница?»— подумал я, мысленно поправляя венок, застрявший в тёмном закутке моего сознания.

Литературное Красноярье .: ДиН ДЕБЮТ

Илья Новиков

Город сибирской крови

Минус тридцать

Через тридцать сибирских зим,
Завернувшись в вишнёвый плащ,
Я вернусь к тебе чуть другим:
Смертоносен, животворящ.

Тридцать прежних моих лиц
В глубине серых глаз хранишь.
Отогнав стаю чёрных птиц,
Со слезинкою ты твердишь

Мне слова о тоске и тепле.
Горький в горло пробрался ком,
Будто утром висел в петле.
Вот что значит вернуться в дом.

Старый двор теперь не узнать—
Жертва богу метаморфоз;
Только неба родная гладь
И каскады синих стрекоз.

Хороводы жёлтых шмелей
Над сиренью, что я ломал,
И сухие кудри степей,
Поперёк которых бежал

За закатом, ласкавшим взор.
Счастье лихо вокруг цвело!
Вечерами звёздный узор.
Страшно, если гроза, зело.

Всех игрушек простыл и след,
Не укрыт коридор ковром.
По траве, за закатом вслед,
Дочь моя бежит босиком.

На неё смотрю из окна;
Тонет в мареве суходол.
Тридцать первая ждёт зима,
И трещит подо мною пол.

Мой город

В густой полыни и цветах крепчает
Сибирской крови город—Абакан.
Здесь каждого добром встречают,
Даруя освежающий айран.

Мой город мудр, неизменно предан
Своим корням, охотничьим повадкам.
И всякий миг судьбы людской поведан
Его обветренным кирпичным кладкам.

Чатханом изгоняет духов злых,
До блеска точит когти о песчаник.
И разгрызает кости дней былых,
Улёгшись брюхом на сухой торфяник.

Раскатист вой его среди курганов,
Глаза блестят в калейдоскопе лиц.
Пропах подшёрсток у костров шаманов,
Сплетён мостами барельеф ключиц.

Клыки-менгиры обнажив на солнце,
Пьёт воду рек, их брызгами играя.
Здесь, говорят, ходили македонцы
И караваны древнего Китая.

Зверь-город верен спящему Саяну,
Хранящему покой тайги дремучей,
Что знал в округе каждую поляну
И был укрыт белобородой тучей.

А летний день, изъеденный людьми,
Звенит фонтаном, блещет зеркалами.
Так скоротечно проплывают дни
Над выбитыми в камне именами.

Так злополучен уходящий час—
Не раз обманом выбил упования!
Над головами ласточки, кружась,
Затеяли за счастье состязание.

Олег Харебин

К вопросу о национальной идентичности

Не одну неделю выражение «глубинный народ» нет-нет да и всплывает в памяти и как-то неприятно царапает сознание... Не обо мне ли в том числе идёт речь? Ведь я живу в самой глубине России — в Красноярском крае...

Итак, февраль, «Независимая газета», статья Владислава Суркова «Долгое государство Путина». Это из неё — «глубинный народ». Автор пишет, что «этот народ всегда себе на уме, недостижимый для соцопросов, агитации, угроз». Просится вывод, что речь идёт о каких-то староверах, живущих «во глубине сибирских руд». К примеру, известная отшельница Агафья Лыкова, моя землячка...

А может, это о тех, кто не относится к властям предрежащим или к политическим, психологическим либералам — жителям Москвы, Питера, Екатеринбурга и прочих миллионников? То есть «глубинный народ» суть провинциалы, живущие на «земле»? Пытаясь ответить на эти вопросы, вышел, как ни покажется странным, на Византию и византизм...

Модель государства и «модельеры»

У Суркова, по-моему, не очень уверенная кисть для объективной картины «путинизма». Кроме «глубинного» («глубокого народа»), есть гумилёвские «люди длинной воли», а также «четыре основные модели государства». Вот они. Государство Ивана III (Великое княжество/царство Московское и всей Руси, XV–XVII века); государство Петра Великого (Российская империя, XVIII–XIX века); государство Ленина (Советский Союз, XX век); государство Путина (Российская Федерация, XXI век).

Но почему, собственно, только «четыре модели» в теории? И где разница в «моделях», если они разные? На практике же у нас модель одна: византизм. А сей византизм есть полная лояльность лицу, находящемуся на самой политической вершине: царю, генсеку, президенту. Лояльность в основном всё того же провинциального населения («глубинных людей») при общем, довольно негативном, отношении к прочему чиновному люду. Кроме этого, для византизма характерно управление высшим политическим лицом всеми процессами в государстве, вплоть до религиозных. Причём в ручном режиме.

Всё началось с Ивана III Великого, де-факто первого русского православного царя, когда в конце XV века он вмешался в спор иосифлян с «нестяжателями» Нила Сорского и принял сторону Иосифа Волоцкого. Затем люди «длинной воли» — Пётр I и Ленин со Сталиным — вообще «придушили» церковь, лишив её самостоятельности. Из живого религиозного организма, основная функция которого — духовно-психологическая, «не от мира сего», они сделали государственный придаток. Это привело к деградации церкви и приходу во власть безбожных радикалов-материалистов в 1917 году. В. Сурков, памятуя о значительном количестве либералов, явных и скрытых, в действующих властных структурах, постеснялся упоминать Сталина в списке людей «длинной воли».

Будем честны: радикалами двигал властный инстинкт — пресловутая «воля к власти» Ф. Ницше. «Власть слаще бабы». Так говорили то ли Никита Хрущёв, то ли Олег Ефремов. Не важно, кто говорил. Радикалы-маргиналы Ленин, Троцкий и Сталин, конечно же, при царе Николае II не имели никаких шансов прийти во власть. Зато они хорошо воспользовались моментом, когда царскую православную Россию с тысячетлетней историей повергли либералы. Для этого были хороши все средства — в том числе иностранные деньги.

Затем материалистическим «людям длинной воли» пришлось заново строить государство на теоретических принципах западного немецкого политэкономиста Маркса. То есть, отказавшись от собственно русского лица, взять практические принципы идеологов Великой французской революции 1789 года и парижских коммунаров образца 1871 года. Попутно они набросили на ещё живое русское православное тело тонкое одеяльце расхожей всемирной риторики о свободе, всеобщем равенстве и так называемом братстве всех трудящихся. Это звучало так: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Красное «интернациональное» искусственное немецко-французское одеяло расплодилось в 1991 году при человеке «короткой воли» Горбачёве.

Коммунисты сохранили государственность в материалистическом виде — социалистическом. Шпенглер ещё в 1918 году далеко глядел: «Социализм — вопреки внешним иллюзиям — отнюдь

не есть система милосердия, гуманности, мира и заботы, а система воли к власти. Всё остальное — самообман». (О. Шпенглер, «Закат Европы», т. 1).

Глобализм любого цвета — красного, чёрного, зелёного, фиолетового (флаги НАТО, Евросоюза) — не органичен, скоротечен, преходящ, особенно в мирное время. Обозначившийся развал Евросоюза после Брекзита сейчас и наблюдаем. Потому что глобализм, основанный на абстрактных (ничьих) ценностях, не имеет высшей человеческой идеи — божественной. Значит, без идеи Бога государство нежизнеспособно? Пример СССР достаточно красноречив. У Суркова ничего нет о Боге и вере. Однако читаем в «Долгом государстве Путина»: «Это только кажется, что выбор у нас есть... Но по законам психологии то, что нами забыто, влияет на нас гораздо сильнее того, что мы помним».

Византизм и византисты

Это «забытый», подсознательный византизм, который чувствует Сурков: «По существу же, общество доверяет только первому лицу». И ещё: «Современная модель начинается с доверия и на доверии держится». Думаю, тут ошибочка. *Всегдашняя* русская и российская модель начиналась и начинается с доверия «первому лицу». Ключевое слово: «*всегдашняя*». Это византизм чистейшей воды, поскольку мы, сознательно или бессознательно, суть морально-духовные наследники византизма, начиная с князя Владимира Красное Солнышко и продолжая эпохой Ивана III Великого. Именно Иван III был сознательный «византист». Возможно, единственный сознательный последователь византизма среди других руководителей «длинной воли».

В 1472 году он сознательно взял в жёны Софью Палеолог, племянницу последнего византийского императора Константина. Сразу же на Русь стали прибывать византийские, итальянские учёные, зодчие. С 1485 года Иван III стал государем всея Руси. Единодержавие. В качестве символа государства был принят византийский двуглавый орёл вкупе с гербом Московского княжества — всадником, святым Георгием Победоносцем, поражающим змия.

В 1497 году с возникновением Судебника Ивана III и системы местничества появилось юридическое тело государства и единодержавие, следствием которого стало возникновение государственной сверхидеи монаха Феофила: «Москва — Третий Рим, четвёртого не дано». Триггерным механизмом этой идеи послужил факт заключения Флорентийской унии Константинополя с Римской католической церковью в 1439 году в предчувствии византийской элитой гибели империи и в надежде на помощь Рима.

Прошло четырнадцать лет, и Византийская империя пала в 1453 году от турок-османов. Этому

событию (унии) есть и российский аналог 1905 года — указ Николая II «Об укреплении начал веротерпимости». Вероятно, предчувствуя катастрофу в глубине своей православной души, Николай II решился на полную реабилитацию православных старообрядцев, бывших ранее изгоями, ущемлёнными в правах. Их в начале XX века в России по некоторым источникам было порядка двадцати миллионов. Прошло ещё двенадцать лет, и в 1917 году Российская православная империя пала.

Именно при Иване III Русь, после стояния в 1480 году на Угре, полностью избавилась от татаро-монгольской зависимости. Государство стало единичным. Доказательством этой единичности Руси можно считать факт первого мягкого церковного раскола «стяжателей» Иосифа Волоцкого (1439–1508), иосифлян, с «нестяжателями» Нила Сорского (1433–1508). Оба религиозных лидера были в евхаристическом общении друг с другом. По существу, это был спор типологически разных подходов к объективной реальности: консервативной, интровертной («нестяжатели») и либеральной, экстравертной (иосифляне). Для разрешения спора стороны обратились к Ивану III. Государь всея Руси принял сторону иосифлян, которые впоследствии (монах Феофил) и огласили государственную сверхидею: «Москва — Третий Рим, четвёртого не дано».

Здесь опять византизм чистейшей воды, потому что первый церковный духовный раскол IV века Византийской империи сами представители (Арий и Александр Александрийский) арианской, либеральной и православной, консервативной части духовенства самостоятельно также разрешить не смогли. Потому и обратились к императору Константину Великому, принявшему консервативную сторону. Мысль Владислава Суркова, что «современная модель русского государства начинается с доверия и на доверии держится», верна. Но если убрать определение «современная», будет ещё вернее...

Коллективная душа

Есть нечто, имеющее тысячелетнюю длительность и феномен едва уловимого постоянства. «Начинать в России можно с чего угодно — с консерватизма, социализма, с либерализма, но заканчивать придётся одним и тем же. То есть тем, что, собственно, и есть». А что это «есть» и «одно и то же»? У Суркова нет ответа. Так о чём же речь? О византийской пирамиде с начальником на самом вершине? Или о чём-то другом?

Думаю, речь идёт о характере народа, формируемом коллективной русской душой. Именно народная душа остаётся неизменна при всех внешних потрясениях. А что формирует душу? У того же Шпенглера есть внятная мысль: «Душу формирует ландшафт» (О. Шпенглер, «Закат Европы»),

т. 2, гл. 2). Потому что, по его же словам, «раса и ландшафт едины». А поскольку «ландшафт» — малоизменчивый фактор, особенно когда люди не прикладывают к нему свои руки и механизмы без особой нужды, то можно считать, что «ландшафт», как и характер, обладает относительным постоянством.

Позволю себе полностью привести пару пассажей Владислава Суркова для разумения феномена коллективной русской души, к которой он приобщился и частично прочувствовал.

«Глубинный народ всегда себе на уме, недосягаемый для социологических опросов, агитации, угроз и других способов прямого изучения и воздействия». Так вот, если «глубинный народ» заменить на «коллективную русскую душу», то всё станет на свои места. «Душа» — понятие иррациональное, многослойное, многомерное, место рождения Бога, обладающая фактором постоянства — характером. Именно поэтому она «недосягаемая для... опросов, агитации, угроз...».

Далее. «Своей гигантской супермассой („ландшафтной“?) глубокий народ (коллективная русская душа?) создаёт непреодолимую силу культурной (душевной?) гравитации, которая соединяет нацию и притягивает (придавливает) к земле (родной земле) элиту, время от времени пытающуюся космополитически воспарить». Bravo Суркову за «родную землю»!

Ещё раз bravo за «непреодолимую силу гравитации, которая соединяет нацию». Это ведь почти удавшееся приближение Суркова (пусть и бессознательное) к русской коллективной душе! Потому, что «народы — это не языковые, не политические, не зоологические единства, а единства более душевные» (О. Шпенглер. «Закат Европы», т. 2, гл. 2). Именно поэтому в недалёком 2014 году, после референдума, где большинство населения полуострова высказалось за добровольное воссоединение Крыма с Россией, радостно всколыхнулась русская коллективная душа, обогащённая крымским «ландшафтом». Ведь там, в Херсонесе, крестился зачинатель русской православной государственности князь Владимир Красное Солнышко в конце X века.

А что думали наши выдающиеся предки о византизме? К примеру, Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891) — выдающийся русский, православный мыслитель, которого Бердяев считал «русским Ницше». В своей работе «Византизм и славянство» он пишет: «Церковь и царь прямо и косвенно, но во всяком случае глубоко проникают в самые недра нашего общественного организма». Плюс: «Византизм организовал нас, система византийских идей создала величие наше, сопрягаясь с нашими патриархальными, простыми началами, с нашим ещё старым и грубым в начале славянским материалом».

«Вера и царь». Какое отношение имел материалистический СССР к «вере и царю»? Политически — никакого. Однако психологическое отношение было прямым. Выходит, что образ и символ царя были бессознательно спроецированы массовым сознанием на Ленина, Сталина — «вождя мирового пролетариата» и «отца народа» («хозяина»)?

Вера и религия во времена государства Ленина — Сталина были значительно дезавуированы, подорваны массовыми репрессиями, гонениями против православного духовенства, общей государственной политикой закрытия и разрушения церквей. Однако в ходе Гражданской и Великой Отечественной войн коммунистическое государство, СССР, выстояло. Почему? Потому, что в русской коллективной душе был византизм экстремальной ситуации — готовность умирать по приказу свыше, самоотверженность плюс героизм добровольный, вызывая огонь на себя. Причём не важно, на родной земле или за границей. Этим славились наши предки. «Так не посраим земли русской... ибо мёртвые сраму не имут». Это то, чем славились и Древняя Греция — самоотверженностью, пренебрежением к смерти мифологических и реальных древнегреческих героев.

Это знал Сталин, иначе 28 июля 1942 года не было бы знаменитого приказа №227: «Ни шагу назад». Это чувствовал также турецкий офицер Мустафа Кемаль-паша (Ататюрк, 1881–1938) во время сражения при Галлиполи 25 апреля 1915 года. Это одна из немногих битв Первой мировой, где турки одержали победу. Тогда будущий отец турецкой нации заявил солдатам: «Я не приказываю вам атаковать, я приказываю вам умереть!» А турки — тоже «ландшафтные» наследники Византийской империи. Потому что «раса и ландшафт едины». Византия была сознательной хранительницей древнегреческой цивилизации. Турция современности — бессознательная наследница византизма.

Лидер Турции Эрдоган демонстрирует сейчас миру неуступчивый византизм: «многовекторность», хитрость, коварство, изворотливость в дипломатии, политике, экономике, культурной сфере. Турецко-византийская коллективная душа так оживилась после прихода к власти Эрдогана в 2003 году и стала непокорной мировому жандарму — США, как и «долгое государство Путина». Ведь Турция и Россия — наследники Византии. «Ландшафтные» и духовные.

Конечно же, русская и турецкая коллективные души разнятся. Наша душа — во многом православная, турецкая — во многом исламская. И всё же есть одна общая византийская черта в коллективной психике наших народов — общая и во многом определяющая наши успехи и провалы. Речь идёт о зависимости общего положения дел внутри и вовне государства от масштаба личности, стоящей на высшей политической вершине

России или Турции. Именно масштаб и сила такой личности определяют успех или неуспех народа, общую состоятельность государства. Как и в Византийской империи.

Константин Великий (227–337), Феодосий Великий (347–395), Юстиниан I Великий (правил в 525–565 годах)... Одни Великие. А ещё — Василий II Болгаробойца (958–1025). Он, кстати, первым из византийских императоров установил тесную военную, политическую, коммерческую, династическую связь с Киевской Русью. Сестра императора Василия II Анна стала женой нашего князя Владимира, крестителя Руси.

Все византийские императоры — «люди длинной воли» — укрепляли государственность, проводили масштабные реформы на века, отражали нападения врагов, приращивали государство новыми территориями. Однако всё делалось в режиме ручного управления, то есть частью добровольно, а частью — вынужденно. Насильно.

При сознательном византизме Ивана III мы сквозь призму веков видим органичное, сбалансированное заимствование — как византийское, так и западное. Небольшой пример. При строительстве Успенского собора Кремля великий князь отправил итальянского зодчего Фьораванти во Владимир, дабы тот внимательно рассмотрел тамошний собор Успения Пресвятой Богородицы. Строился он в XII веке, в ещё домонгольской Руси. Потом итальянский мастер должен был, воротясь в Москву, использовать пропорции владимирского собора как образчик для кремлёвского строительства. Грановитая палата Кремля тоже создана во времена Ивана III. Наряду с мотивами поздней итальянской готики итальянские мастера Марко Руфо и Петро Солари гармонично использовали здесь древнерусские элементы с характерной особенностью в пропорциях.

Дао Руси Ивана III гармонично и равновелико в контрверзе «западное — русское». А как иначе при церковной автокефалии и сверхидее «Москва — Третий Рим»?

Русское лицо и его деградация

При Иване III только-только начало оформляться типическое русское православное «лицо». Или русская православная цивилизация, которую О. Шпенглер считал «цивилизацией западного стиля». Добавлю, что восточный, не византийский, а татаро-монгольский элемент — веротерпимость — в наших душах тоже присутствует.

Иначе Петру I не удалось бы создать дворянство западного образца, руководствуясь французскими, прусскими, шведскими уставами. Он сделал это указами «О единонаследии» (1714) и «Табель о рангах» (1722). То есть произвольным росчерком пера, совершенно не органично, из разношёрстных (религиозно и душевно) землевладельческих

польско-литовских, татарских, осетинских, московских, казачьих элит. К титулу «князь» добавились западные «графы» и «бароны».

В 1711 году в Торгау по рекомендации царя Петра состоялась свадьба царевича Петра Алексеевича с герцогиней Шарлоттой Кристиной Софией Брауншвейг-Вольфенбюттельской из Гессенской династии. Эта династия впоследствии стала основным поставщиком невест для российских императоров.

Итак, росчерк пера — и вот уже явление миру новой российской элиты, искусственно и административно созданной. «Псевдоморфоз» О. Шпенглера — насильственное петровское «втискивание примитивной русской души в чуждую форму высокого барокко». Правда, в этом случае Шпенглер говорит о Санкт-Петербурге, но мысль проецируется довольно внятно.

Выигрывая тактически, руководствуясь целями престижа и постановки Российской империи в один ряд с великими мировыми державами Запада, Пётр Великий проиграл стратегически. Он де-факто заложил основы для комплексов неполноценности дворянской элиты и царствующей династии. Длительная, в двести лет, прозападная односторонность не могла не привести к деградации элиты. Был нарушен принцип единства противоположностей русского Дао (в нашем случае — баланс «русское — западное»). Пётр Великий залез в русскую коллективную психику, сменил культурную сферу, ввёл иноземные обычаи в быт и явно потерял чувство меры. Он заставлял курить табак, употреблять спиртное, насильственно брил бороды, учредил «ассамблеи» и т. д. «Противоположности всегда удерживаются в равновесии — вот признак высшей культуры... в то время как односторонность свидетельствует о варварстве» (К. Г. Юнг, «Комментарий к „Тайне золотого цветка“»).

Пушкин подражание Байрону компенсировал созданием собственных русских поэтических сказок. Достоевский тоже выдерживал культурно-духовный баланс: «У меня две родины: Россия и Европа».

После учреждения так называемого Синода в 1721 году и утраты патриаршества РПЦ лишилась самостоятельности. Произошло нарушение баланса «земное — небесное». То есть «отдайте кесарю кесарево, а Божие Богу». Это тоже способствовало общей деградации. Здесь Пётр, вероятно, вспомнил «шведский вариант» лютеранской церкви Швеции. Там тоже был синод, и король стал церковным главой после принятия «Шведского церковного устава» в 1571 году. Напомню, что Швеция деградировала — после войн с петровской Россией она утратила статус значительной европейской державы. Пётр I сознательно запустил процесс религиозной деградации, организовав «Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор»,

где петровская элита глумилась в весьма неприглядном виде над католицизмом и православием.

Далее процесс деградации объективировался после череды негативных событий: поражения в Крымской войне в середине XIX века, продажи Аляски США (1867), поражения в Русско-японской войне (1904–1905), революций 1905–1907 годов. И как итог деградации — Февральская и Октябрьская революции 1917 года.

При всех талантах организатора, реформатора, администратора и полководца, Пётр Великий де-факто («злой рок русскости», по О. Шпенглеру) есть духовно-культурный «варвар» и первый великий русский глобалист, предтеча другого человека «длинной воли» с сильнейшим властным инстинктом, создателя первого в мире глобалистского, интернационального государства — В. И. Ленина. Все политические лидеры Руси и России культивировали, внедряли в общество какую-либо идеологию: Иван Великий — русско-византийское православие; Пётр Великий довольно рьяно внедрял в уже расколотое религиозными реформами русское православное общество ценности немецко-прусского протестантизма; Ленин, проведя с десятков лет в центре западной цивилизации — в Женеве, прикрывал свой властный инстинкт марксизмом, французской революционной технологией. Лишь у «долгого государства Путина» В. Суркова внятная идеология отсутствует. Правда, Путину удалось объективировать на партийных знамёнах «Единой России» образ Медведя. Этот образ наш первый русский геополитик, поэт и дипломат Фёдор Иванович Тютчев (1803–1873) считал «византийско-татарским».

Он ещё до Освальда Шпенглера прочувствовал феномен русской коллективной души в статье «Россия и Революция»: «Русский народ — христианин не только в силу православия своих убеждений, но ещё благодаря чему-то более задушевному, чем убеждения. Он христианин в силу той способности к самоотвержению, которая составляет как бы основу его нравственной природы...» А не есть ли это — «более задушевное» — русская коллективная душа? Ведь «душа по природе христианка», по словам раннехристианского учителя церкви Тертуллиана.

Что всё же удручает в статье Владислава Суркова? «Благодетельная система сдержек и противовесов» плюс «гармония плутовства» (!). Довольно мрачноватая картина качества путинской властной элиты. «Мерзавцу нельзя дать зайти слишком далеко по той простой причине, что он мерзавец. А когда кругом (предположительно) одни мерзавцы, для сдерживания мерзавцев приходится использовать мерзавцев же. Клином клином вышибают, подлеца подлецом вышибают... Имеется широкий выбор подлецов и запутанные правила, призванные свести их борьбу

между собой к более-менее ничейному результату. Так возникает благодетельная система сдержек и противовесов — динамическое развитие низости, баланс жадности, гармония плутовства. Если же кто заигрывается и ведёт себя дисгармонично, бдительное глубинное государство спешит на помощь и невидимой рукой утаскивает отступника на дно».

После такого откровенного пассажа возникает образ мерзкого, с щупальцами, «гармонично-коррупционного» глубинного Спрута!

Воздух! Где чистый воздух? Где честная элита? Следы «честной элиты» нахожу у того же Тютчева в «России и Западе»: «Следовательно, существенная задача власти заключается в том, чтобы прояснить своё сокровенное кредо, удостовериться в своих идеях, обрести потерянную совесть: стать более разборчивой к духовно-нравственному состоянию своих служителей».

«Долгостоящего государства Путина» пока нет. Потому что нет национальной идеи, «высокого внутреннего напряжения» Владислава Суркова («возбуждения духа», по Н. Я. Данилевскому) — тоже нет. «Высокое внутреннее напряжение» возможно только при всеобщем духовном конфликте типических противоположностей: консервативной (интровертной) и либеральной (экстравертной). Есть же пока мелкие стычки различных провластных, околовластных и интеллектуальных групп. В народе напряжения и энтузиазма, как во времена хрущёвской «оттепели», также нет. Был некоторый душевный подъём после присоединения Крыма в 2014 году. Его Кремль использовать до конца не сумел.

Далее. В сочинении Владислава Суркова есть и ряд несуразиц вроде «экспорта путинизма». Скорее, это — очередная схема «сильного лидера» для республик ДНР и ЛНР. Там сработает, потому что там живут люди с русской душой. Больше нигде. Насильственный, военным путём, экспорт «ленинизма» в Польшу в 1920-х не состоялся.

Сталинизм? В подражательном качестве был в малых незначительных странах вроде Албании (режим Э. Ходжи), Монголии (Чойбалсан). И всё. Даже Че Гевара не смог экспортировать кубинский «кастризм» в близкие по языку и культуре страны Южной Америки. Более того, Че Гевара, как истый «красный» глобалист, пытался экспортировать революцию в Африку в 1960-х. Не удалось. «Кастризм» есть продукт кубинской органики, кубинского «ландшафта». В Южной Америке (а уж тем более в Африке) «ландшафт» весьма разнообразный. Там свои лидеры — «продукты» собственной истории, собственного ландшафта. Например, бывший президент Венесуэлы Уго Чавес, здравствующий президент Боливии Эво Моралес.

Проблема всех глобалистов — в их чрезмерной материалистичности, заикливости на экономическом и социальном факторах, полном

отсутствии понимания коллективных душевных укладов народов. За что «отвечают», в основном, «ландшафт» и религия. Романтический «интеллектуальный кочевник» (О. Шпенглер) с мощной личной харизмой, с огромным марксистским теоретическим багажом, Че Гевара потерпел фиаско в Боливии. Почему? Потому что не смог или не захотел любить тамошние народы, как, к примеру, полюбили русский народ потомок африканца А. С. Пушкин, немка Екатерина Великая, грузин Сталин, великий русский филолог, полудатчанин-полунемец В. И. Даль. Ключевое слово: *любовь*. Любовь и Душа — субстанции очень близкого порядка. И весьма важные для жизни — даже политической...

Завершает статью Владислав Сурков довольно оптимистично. «У нашего государства в новом веке

будет долгая и славная история. Оно не сломается». Наверное, не сломается, если на нашем политическом олимпе будут находиться не «говорящие головы» вроде Горбачёва, а реальные Личности, не сливающиеся с объективно данными событиями, а активно сопротивляющиеся негативным чужим сценариям.

И о новой столице. Это не только мысли Освальда Шпенглера о рождении новой «русско-сибирской» культуры, а вопрос военной безопасности — надо увеличить так называемое «подлётное время» до российского Центра. Если «экономика должна быть экономной», то и Центр должен быть в центре. Перенос (или основание) столицы есть классика жанра всех упомянутых Сурковым людей «длинной воли» — от Петра до Апатюрка. И не упомянутых — Н. Назарбаев — тоже...

ДиН СИММЕТРИЯ

Сергей Есенин

Хулиган

Дождик мокрыми мётлами чистит
Ивняковый помёт по лугам.
Плюйся, ветер, охапками листьев, —
Я такой же, как ты, хулиган.

Я люблю, когда синие чащи,
Как с тяжёлой походкой волны,
Животами, листвою хрипящими,
По коленкам марают стволы.

Вот оно, моё стадо рыжее!
Кто ж воспеть его лучше мог?
Вижу, вижу, как сумерки лижут
Следы человеческих ног.

Русь моя, деревянная Русь!
Я один твой певец и глашатай.
Звериных стихов моих грусть
Я кормил резедой и мятой.

Взбрезжи, полночь, луны кувшин
Зачерпнуть молока берёз!
Словно хочет кого придушить
Руками крестов погост!

Бродит чёрная жуть по холмам,
Злобу вора струит в наш сад.
Только сам я разбойник и хам
И по крови степной конокрад.

Кто видал, как в ночи кипит
Кипячёных черёмух рать?
Мне бы в ночь в голубой степи
Где-нибудь с кистенём стоять.

Ах, увял головы моей куст,
Засосал меня песенный плен.
Осуждён я на каторге чувств
Вертеть жернова поэм.

Но не бойся, безумный ветер,
Плюй спокойно листвою по лугам.
Не сотрёт меня кличка «поэт»,
Я и в песнях, как ты, хулиган.

1919

Павел Карякин

Мы считали, что счастье будет вечным

Обзор прозы. Журнал «Нева», № 6-7/2019

Любовь случается дважды в жизни.

Первый раз, когда ты не знаешь, что такое любовь. И второй раз, когда ты думаешь, что настоящая любовь у тебя уже была и никогда не повторится вновь.

Ефим Гаммер

Совершенно очевидно, что история литературы России (как и СССР) тесно связана с толстым журналом. Условно говоря, толстый литературный журнал несёт несколько функций. Это отбор произведений из общего потока (подразумевается экспертная оценка текстов), представление публике широкого жанрового диапазона, отражающего современный литературный процесс, ориентирование на так называемую «высокую литературу» в противовес «массовой» или «коммерческой», вероятная поддержка наиболее перспективных и интересных начинающих писателей и, конечно, формирование «систематического архива» живой и подвижной истории литературы — истории, которая творится прямо сейчас.

Таким образом, толстые журналы — настоящие флаги литературного процесса. Очереди на публикацию — традиционно большие и никогда не уменьшаются.

Сегодня, дорогой читатель, в поле нашего зрения — известнейший питерский журнал «Нева». Журнал издаётся с 1955 года и был основан на базе «Ленинградского альманаха». В советское время в журнале публиковались Михаил Шолохов, Вениамин Каверин, Михаил Зощенко, Лев Гумилёв, Даниил Гранин, Александр Солженицын, Василий Быков, братья Стругацкие и другие. В наше время в «Неве» печатались Сергей Переслегин, Галина Таланова, Валерий Дударев, Юрий Поляков, Александр Карасёв, Евгений Алёхин, Александр Карпенко, архимандрит Августин (Никитин), Игорь Сухих и другие известные писатели.

Журнал публикует прозу, поэзию, критику, эссеистику, публицистику. В советское время печатал переводы, а также короткие исторические очерки о Ленинграде (Петербурге, Петрограде).

Чем же дышит современная «Нева»? Посмотрим...

«Восхождение в Сибирь»

Олег Ермаков, № 6

Ермаков — прекрасный художник слова. Замечательные пейзажные зарисовки формируют пространство, в которое погружаешься глубоко. Картины выписаны страстно, байкальская красота — величественная и подавляющая одновременно — воздействует со страниц рассказа как настоящая стихия. Следует заметить, что временами (не во всём тексте) автор тяготеет к так называемой «жёсткой форме»: короткие, односложные предложения, лаконичные, даже рубленные построения: «И тут на дороге — той, по которой стада гоняют, — показался всадник. Свернул и неспешно подъехал к нам. Алтаец. Лет сорока. В лесной одежде. У седла карабин. Мы все с ним поздоровались. Он не ответил. Молча сидит и разглядывает нас внимательно. Всех». Текст, безусловно, грамотный и со вкусом собранный, но ему всё-таки не хватает размаха, к которому обязывает тема: эпическая природа, монументальная красота, колоссальный Байкал... Текст «спринтерский», а хотелось бы «стайерский».

В строгом смысле слова, по жанру это не рассказ, пожалуй: отсутствует отчётливый сюжет, нет кульминации, нет выраженного конфликта. Не похоже это и на традиционный очерк: есть диалоги, колоритно выписанные персонажи... Это, скорее, хроники, записки, жизнеописания, мастерски выполненные художником.

Проза такого рода может быть жизнеспособной только благодаря колоритному слову, позволяющему наполнять художественное полотно эпическим дыханием. Сюжет здесь вторичен; красота и некоторый бытийный контекст (люди как свидетели и участники какой-то другой, «необычной» жизни) — вот что первично.

«Тринадцать окон»

Евгений Мамонтов, № 6

Повесть, своеобразная по ироническому вкусу и особому свойству юмору:

«На двери туалета, изнутри, у нас была приклеена карта Новой Зеландии. Я был уверен, что

выучил её навсегда. Думал, вот и отлично, пригодится. Я тогда считал, что как-нибудь обязательно приеду в Новую Зеландию. Прожить жизнь и не побывать в Новой Зеландии!..»

«А за кассой небожительница—сожжённые в белую стекловату волосы, портовая красавица, бойкая на язык, дешёвая и шикарная, как японская жевательная резинка».

Однако от страницы к странице происходит заметная перемена: сухое отрывистое повествование в форме чистой регистрации каких-то малозначительных фактов.

В целом предложена довольно оригинальная художественная концепция: тринадцать крошечных этюдов, объединённых общим героем и скомпонованных по принципу «одно большое путешествие (странствие) по жизни»—герой останавливается в разных городах и странах на разные сроки жизни. С ним происходят всевозможные—значительные или не очень—события, которые мы, условно говоря, можем сложить в мозаику и охарактеризовать как «жизнь—странствие». В этой связи оригинально решены названия «окон»-главок: «7. Горького (Тверская), 9. Годзилла», «9. Окотавая, 20. Китайская серенада», «13. 405 Circle Ave, Takoma Park, Maryland—176 street, Washington Heights, New-York»,—эти названия отображают микролокации, где происходят те или иные события с главным героем.

Финал хотелось бы назвать открытым, но мне он кажется оборванным чуть ли не на полуслове.

«Голоса пустыни»

Ефим Гаммер, №6

«Голоса пустыни»—роман ассоциаций. Очень своеобразный язык, нестандартные конструкции, к которым надо привыкать: «Мара позвала его пальчиком, и он пошёл из казарменного кубаря, пошёл от стола с угощеньем, не доведя себя до кондиции при встрече с Ициком и Изей, друзьями по „тирануту“—курсу молодого бойца». Вот ещё: «К скользким, особым тель-авивским, потом проклеенным рукопожатиям подталкивала Николая Анка-пулемётчица, завершившая смену по охране жилых помещений и теперь охраняющая их обитателей».

Много внимания уделяется декорациям: скрупулёзное, детальное. Рискну утверждать, что иногда декорации несут здесь функции персонажей—безмолвных персонажей, участвующих в сюжете: «Канторка мелко светилась в поле дежурной электрической лампочки, висевшей у самого потолка под металлическим абажуром. Канцелярский стол, на нём ваза с цветами, пепельница, шариковая ручка. <...> У стены книжная полка, забитая пухлыми папками... <...> Вроде бы всё на месте. Ничего не тронут. И всё-таки...»

Роман состоит из коротких и очень коротких миниатюр. Авторская форма временами напоминает репортаж («Воровской патриотизм», «Железнодорожные надежды», «Новый теракт»).

Это сложная и «неудобная» проза, в которой переплелось множество вопросов, о которых и говорить-то как бы неловко. Временных платформ несколько: арабо-израильский конфликт, Вторая мировая война, СССР и Израиль. Лейтмотивом через всё произведение—извечный еврейский вопрос, который—долгой деликатностью—никогда не будет закрыт.

Между строк сквозит обида на советскую власть, на СССР (за притеснения, несправедливости), очень много боли: «И он стал заново учиться ходить, чтобы искать правду. А так как его нога смотрела совсем не в ту сторону, то он делал шаг вперёд, а два назад—точно как советская власть, когда она училась ходить в соответствии с бессмертной работой Ленина. (Кто её сегодня помнит?); «Гибель Помпеи—Октябрьский переворот, ввергший в клиническое сумасшествие одну шестую часть Земли,—Вторая мировая война и гибель шести миллионов евреев, убитых лишь потому, что родились евреями».

В целом текст напоминает разбитую и хаотично разбросанную мозаику из отдельных фрагментов исторической публицистики. На уровне ощущений фрагменты эти явно связаны в определённой логике и объединены в одну генеральную линию. Но не содержательного свойства (один главный герой, русско-советская действительность, израильская жизнь, еврейский вопрос), а метафизического, стоящего над самим повествованием. И именно эта метафизика, стоящая над текстом, здесь главная. Есть в этой странной метафизике лирика—некая иррациональная нота. Станные ощущения. Они не хорошие и не плохие, эти ощущения, но они странные. Это интересно испытать.

«Цветок Мандрагоры»

Игорь Зоткин, №6

Новогодняя сказка для взрослых со счастливым концом. В сказке нашему вниманию предлагается обворожительная, полумаргинальная компания нечисти.

Знакомьтесь: отбившийся от рук вурдалак-алкоголик, который не прочь перекинуться в комара; похожий на хиппи загадочный хозяин болота (по-видимому, болотник, или болотный леший, вероятно, дух из славянской мифологии, известный как царь болота); русалки лёгкого поведения; вредная стерва-кикимора; подлая гадюка, знающая человеческий язык; продвинутый заграничный гость—зомби, щеголяющий лысым до самых костей черепом. Неплохо для начала?!

Все события разворачиваются вокруг таинственной, наделённой разумом и волей Мандрагоры — излюбленной авторами фэнтези единицы флоры.

Некоторая нехватка писательской школы компенсируется бойким языком, дефицит вкуса — своеобразным стилем, яркой фантазией, богатыми декорациями и известной тягой к славянскому зубоскальству. Последнее, в общем-то, обуславливает и авторскую самобытность.

Применена контрапунктная композиция, характеризующаяся наличием двух параллельных сюжетных линий, — структура, присущая более крупным произведениям (повестям, романам). Одна линия в этом рассказе сказочно-мистическая, другая — реалистическая; в конце этим линиям, по закону жанра, суждено открыто столкнуться.

В произведении «Цветок Мандрагоры» для меня стала сюрпризом неожиданная аллюзия на «Мастера и Маргариту». Точнее, на повествовательную линию, связанную с двумя известными и столь любимыми народом булгаковскими хулиганами — Бегемотом и Коровьевым.

Финал, как и обещано автором в самом начале, и вправду счастливый и, что важно, по-настоящему интересный и нетривиальный! За полученное хорошее настроение от прочтения автору легко прощаются технические огрехи и некоторая стилистическая небрежность. В благодарность назовём последнее «авторской манерой»...

«Четвертак», «Смерть Евы Крамер», «Федерико Альварес»

Иван Константинов, №7

«Четвертак»

Первое впечатление: много слов. Очень. Тонешь в словесном потоке и при этом чувствуешь, что в сюжетном отношении продвинулся недалеко. Дальнейшее действие набирает обороты, события сменяют друг друга по определённой, выстроенной автором логике, но автор задаёт правила, которые с лёгкостью меняет в ходе повествования.

То ли намеренная (или ненамеренная) профанация, то ли неведомая игра с многочисленным нарушением всех возможных правил, то ли тривиальное (или нетривиальное) желание подать за искусство то, что на деле требует банального семинарского разбора и ученической работы над ошибками, то ли всё вместе сразу. Постмодернизм и эксперимент? Возможно. Оригинально и интересно? Быть может. Как индикатор читательского терпения. Не исключено, что основная авторская мысль связана с тем, что вся наша жизнь — некие подмостки, театр, если хотите. И мы слишком серьёзно зачастую относимся к чему-либо. А стоит ли быть настолько серьёзным, если уже всё предпринято кем-то или чем-то?...

«Смерть Евы Крамер»

Своеобразная попытка разобраться в этом сложном мире за счёт нас, дорогой читатель. Что ж... старшее поколение обязано помогать младшему, хотя бы это и касалось литературного расследования, при помощи которого автор познаёт мир. И дело не в том, что в диалогах психология престарелых людей предстаёт совершенно тинейджерской, и не в том, что Карл Миллер — известный актёр, а Ева Крамер — интернет-магазин кукол (полагаю, «все имена и события в произведении вымышлены, любые совпадения — случайность»), но важно то, что любой опыт, даже неудачный, должен привести к тем или иным выводам, ведь нравственный опыт (главная тема рассказа) — самый важный...

«Федерико Альварес»

Юношеская тяга автора к звучным иностранным именам может быть понятна, но осознание того, что есть реальный Федерико Альварес — известный режиссёр и сценарист, сбивает с толку и путает все карты. И уж совсем читательское восприятие начинает бунтовать, когда знаешь, что реальные художники Альваресы таки были (а произведение именно о художнике). Причём несколько (братья Эухенио и Сесар Альварес Дюмон, Рафаэль Альварес Ортега...!)

Сюжетный перевёртыш этого мистического произведения, конечно, выигрышный и отчасти компенсирует слабые пункты, связанные со стилем, диалогами, которым не веришь. Но хочется полагать, что такой мощный аванс Константинову, как публикация в «Неве», имеет серьёзное обоснование и послужит автору добрым подспорьем.

«Мечтая об Америке»

Андрей Игнатъев, №7

Роман, с любопытной классифицирующей пометкой «травелог», то есть построенный на путевых заметках, частично реализован в дневниковой форме. В центре внимания — молодой студент из России, приехавший в США с целью языковой практики и устроившийся на лето универсальным ремонтником-разнорабочим в детский лагерь.

Произведение не из банального разряда «как я провёл лето». Нет! Нам предлагается довольно интересная тема. Тема международных отношений на очень локальном участке, где собрались представители многих национальностей. Помимо коренных американцев, автор знакомит нас со студентами из Канады, Мексики, Шотландии, Кореи, Новой Зеландии, Франции, Чехословакии... Предложен интересный взгляд со стороны: ханжество, цинизм, шовинизм... под культурным соусом, так сказать. Улыбки, вежливость и скрытое за этим истинное отношение. Мотивы латентных конфликтов поданы автором тонко — читаешь с любопытством,

поскольку Игнатъев обладает очень развита́той психологической наблюдательностью.

Другая не менее важная и актуальная проблема, о которой говорит автор,—гражданские права. И не кого-нибудь—права детей! Тема острейшая, раскрытая Игнатъевым во всей своей максимальной непривлекательности относительно вопросов этики и морали, когда вследствие перекоса системы под удар попадают взрослые люди, вынужденные соблюдать букву закона.

Портреты персонажей чрезвычайно выразительны и по-настоящему интересны:

«Их предводитель—мистер Кэрриган, мужчина лет сорока. Ходит в строгом костюме, а на ногах кеды. Он постоянно держит во рту трубку, но я ни разу не видел, чтобы она дымилась. Волосы у него взъерошенные, обильно вымазаны гелем. Явно хочет, чтоб про него сказали—эксцентрическая личность».

«Сьюзан из Канады. <...> По американским меркам она, наверное, стройна, по нашим—полновата. На лицо она ужасна—похожа на кролика. Волосы—бесцветные, лоб усыпан веснушками так, что кажется, будто это сходит кожа, обгоревшая на солнце. <...>

Больше всего раздражают её писклявые возгласы. <...>

— Oh, really?

— Oh! I love this song!

За обедом Сьюзан ест, откусывая пищу своими кроличьими зубами, и постоянно при этом подёргивает носом, я бы даже сказал—ноздриями. Как кролик. <...> Всегда после еды... она начинает ковырять в зубах...»

«Этьен всё ещё возился с едой. <...> В лице его было что-то неуловимо поэтическое: голубые глаза, бледная кожа, светлые волнистые волосы. Весь окружён ореолом чего-то возвышенного. Он окончательно сразил меня тем, что заткнул за воротник бумажную салфетку, прежде чем приступить к обеду».

Хочется отметить и высокое качество литературного вещества, язык очень лёгкий и образный: «Ведь плотная нью-йоркская застройка караулила уже здесь: небоскрёбы жались друг к другу, а между ними, протискиваясь, пытаясь пробиться к свету, росли их новые и новые собраты. Хлопки вертолётных лопастей затерялись среди тараканий отбойных молотков, невероятные башенные краны уходили вверх, теряясь в облаках, где крановщики за день давали точный прогноз на дождь. <...> И реклама—она пылала повсюду, как корь, которую подцепил город».

Впечатления, которыми делится автор, неоднозначны. Многие из нас (включая вашего покорного слугу), с детства заочно очарованные Америкой, нью-йоркскими пейзажами по многочисленным рассказам, фото, кинофильмам, создавшим

неповторимый романтический ореол «великой страны свободы и больших возможностей», думаю, с интересом прочитают вот такой текст—взгляд и впечатления современной российской молодёжи (речь об авторе произведения): «Все небоскрёбы: и тупо-, и остроконечные, увенчанные как шпилями, так и некими подобиями куполов, и белые, и серые, и жёлтые, и кирпично-оранжевые, и угольно-чёрные... незаурядные архитектурские воплощения, укладывались во вполне определённую картину, которую являл собой Нью-Йорк,—металлическая стружка, вставшая на дыбы под действием колоссальной магнитной силы, стягивающей сюда со всего света деньги и души». Этот яркий фрагмент в данном произведении, наверное, одна из самых концентрированных точек зрения и взглядов на заокеанскую волшебную чудо-страну, которую так окутали мифом. Мы окутали мифом. Вообще же сила слова, очень яркого и колоритного, которую использовал Андрей Игнатъев при описании Нью-Йорка, практически не уступает силе воздействия видеозаписей с высоким разрешением. Создать потрясающее пространство, ощущения и мощную физику—сильная сторона автора.

«Tinder»

Александр Рыбин, №7

Несмотря на выраженную романтическую линию, рассказ «Tinder» реализован в духе жёсткого реализма. Он и она—корреспондент и фотограф. Работают в горячей точке. За деньги. За большие деньги. Несомненно, любая война всё обесценивает, привносит изрядную долю цинизма. Финал очень жёсток, прежде всего, для читателя. Построенный на жёстком контрасте, после столь тонко выстроенной лирической линии, финал сокрушает высокое своим коротким цинизмом. Но дело, разумеется, не только в войне...

«О красоте», «О лошадях»

Анатолий Бимаев, №7

Первая положительная аллюзия при чтении рассказов Бимаева—Михаил Зощенко. Разговор, конечно, не о фирменном стильном косноязычии великого классика—язык Бимаева современный, как и событийное насыщение. Но «темперамент» текста, тематика, похожая композиция—налицо! Не так много сегодня хорошей юмористической прозы, при чтении которой с удовольствием вспомнишь о Зощенко, Аверченко, Ильфе и Петрове!..

«Новая искренность», «Маленькая любовь», «Белгород—Харьков»

Алексей Колесников, №7

Главное умение автора—найти детали, которые способствуют острому читательскому восприятию.

Колесников—мастер находить такие детали. Представленные рассказы (особенно «Новая искренность» и «Белгород—Харьков»), «от и до» состоящие из таких вот деталей, дышат нервным и каким-то дёрганным конфликтом—это не отпускает внимание до тех пор, пока не дочитаешь

до конца,—проза Колесникова болезненно пульсирует.

Чуть иной градус остроты в произведении «Маленькая любовь»—этот рассказ, конечно, более романтичен, хотя и оставляет горький аспириновый осадок.

ДиН ДЕБЮТ

Зарина Бикмуллина

Арион

Напечатай в журнале привычку—крутить у виска.
Вся тоска и печаль—это только эмаль для листка.
Право первыми перья ломать топорам неподсудно.
Галерей и испорченных греческих девок искал,
Но сожрали последних два звука челюсти скал.
Постарайся не рухнуть, ступая по доскам на судно.

Где-то сутки назад на икру и на крабов везло,
А теперь замыкателем цепи «скамейка-весло»
Без молочной надбавки за наглость придётся работать.
Основания нет изнывать от избытка кислот,
Можно только трамвайный билет, неугодный числом,
Поменять на сто грамм темноты и минуту икоты.

Относительно «я-то» невыгодный курс у «ведь я».
Выбираешь свободно: баланда или кутя,
Сено или солома сегодня тебя доконает.
Космос с небом на пару оглохли, не слышат нытья.
Осмось не позволяет воды зачерпнуть для питья,
Остаётся просить Данайд и вульгарных Данайд.

Доказав и себе, и другим, что не вошь и не тля,
Выбираешь свободно: бутылка или петля,—
И ломаешь наскучивший ритм, загребая правее.
Отличаясь от массы, живущей не «ради», а «для»,
Можно мнить, что алмаз сам собой прорастёт из угля,
Только прячутся в шахтах все те, кто это проверил.

И, случайные штили вдыхая обветренным ртом,
Замечаешь, что дерево в будущем—тоже картон,
Из того же ствола одностенный получится ящик.
То ли чайки царапают время, скользя за бортом,
То ли тон, ошибаясь в секунду, даёт камертон,
Только, кажется, толку ли в том, чтобы быть настоящим?

В голове разыграв триумфальный скрипичный аккорд,
Бледный мальчик, частично пернатый, взлетает на борт,
Чтоб глядеть с высоты на густую толпу у причала.
Но все мостики заняты теми, кто любит комфорт,
И никто не принёс ни венков, ни блестящих ботфорт,
Разве только весло без заноз дадут для начала.

По страницам газеты «Детский район»

Варя Соловей

3 класс

Быть в танце!

С выбором профессии я уже определилась. Хочу быть педагогом по танцам. Именно педагогом. Хотя раньше мечтала просто танцевать на сцене. А мама улыбалась. Все девочки в детстве мечтали стать балеринами, фигуристками или танцовщицами. А ещё о пышном платье мама мечтала. Раньше ведь не было таких. А теперь — пожалуйста! И пышные, и бальные, и для маленьких подружек невесты! Ой! Отвлеклась.

Мне было полтора года, когда я попала на концерт ансамбля «Танцы Сибири». Мама рассказывает, что, когда мы пришли после концерта домой, я повторила некоторые танцы. И, кстати, помню их до сих пор. Не верите?! Могу показать. Я плохо запоминаю числа, какие-то записи, а движения запоминаю легко. Помню, как перестала даже дышать, когда увидела танец «Зимняя сказка». Это ведь именно в этом ансамбле придумали походку, которая плывёт, как лебедь. И когда смотришь, кажется, что танцовщицы не шагают, а плывут. И их на сцене много-много! Аж мурашки! Девушки в кокошниках с бусинами и длинных платьях с морозными узорами.

Вот тогда у меня и появилась мечта — стать лучшей танцовщицей. В три года мама меня привела в школу эстетики на первое занятие по танцам, а три года назад я участвовала в отборе в театре танца «Орлёнок» и теперь танцую там. И знаете, в репертуаре «Орлёнка» есть танец «Зимняя сказка»! Только нам его не разрешают танцевать пока, это для более взрослых ребят. Я занята в танцах «Котятки», «Мой город». В одном танце на сцену выходит по пятьдесят-семьдесят человек. Вы представляете, как трудно педагогу поставить такой танец?

Вообще-то я думаю, что не учат на профессию «педагог по танцам». Нужно самой хорошо уметь танцевать. И с уважением, заботой относиться к своим ученикам. Учитель должен вдохновлять, чтобы у ученика не пропала вера в себя, а выросли крылья! Именно такой мой педагог по танцам в

«Орлёнке» Алина Валерьевна! Смотрю на неё внимательно на каждом занятии и хочу быть похожей на неё и так же, как она, учить ребят танцевать и дружить.

Артисты на сцену выходят по-разному. Некоторым девочкам жарко, будто на пляже, а у меня в груди, где солнечное сплетение, появляется комочек. Он похож на льдинку. И я выхожу на сцену с твёрдой уверенностью, что это моё! Танец мой! И у меня всё получится. Видели фильм «Лёд»? У героини тоже не всё получалось, но она себя победила! Важно верить и настраиваться правильно! Вот и я сначала сама научусь танцевать, а лет через двадцать буду учить этому деток.

Хочу сказать спасибо маме за то, что она почувствовала моё желание быть в танце! Спасибо, мамочка! Всё получится!

Сергей Латка

8 класс

Родился артистом

До четырёх лет моими первыми зрителями были пассажиры троллейбуса №4. Всю дорогу от железнодорожного вокзала до детского сада я выступал в роли артиста. Весь путь туда и обратно пел, декламировал стихи. И я был счастлив. Глядя на усталые, грустные лица пассажиров, я представлял себе, что от этих выступлений люди становятся добрее и счастливее. На их лицах появлялась улыбка. От их улыбок и я был счастлив и горд за себя. Мамины уговоры помолчать на меня не действовали...

А первое выступление на сцене — это был полёт моей мечты. Я так не хотел уходить со сцены, сердце стучало, как колокол, готово было вырваться из груди, как птица из клетки. После этого каждый раз, выходя на сцену, я испытываю чувство радости, удовольствия и блаженства.

И не важно, исполняю я песню, читаю стихотворение или прозу, принимаю участие в спектакле. Я родился с мечтой о сцене. Моя мама рассказывала, что уже с девяти месяцев я ей «подпевал» песенки, ещё не умея даже говорить. Сцена — это

волшебный мир, который манит и зовёт к себе. Поэтому моя профессия обязательно будет связана со сценой. Я ещё не решил, буду работать в драматическом театре или артистом в театре музыкальных комедий, исполнять арии из опер или сниматься в кинофильмах. Да это и не важно. Моя мечта — дарить людям радость.

И я, конечно, понимаю, что этот путь очень нелёгкий. Талантливых людей много, но нет таких трудностей, которые заставят отказаться от мечты всей моей жизни. Ведь именно сцена вдохновляет меня жить, подниматься высоко в небо и парить. Я несказанно счастлив, когда моё выступление приносит людям хоть минутку радости.

Каждый прожитый мною день направлен на достижение поставленной цели. Занятия в музыкальной и общеобразовательной школах, изучение иностранных языков и внеурочная работа, выступления на конкурсах и съёмки в фильмах... Всё это медленно, но, как мне кажется, точно приближает меня к моей мечте, к моей сцене. Как Ломоносов шёл пешком в Москву, я готов идти в Санкт-Петербург, чтобы поступить в выбранный мною университет. И не важно, в каком театре и в каком городе я буду работать, мой зритель у меня будет...

Элина Евсеева

14 лет

Какое оно, будущее?

Звон будильника заставил меня открыть глаза. В сентябре по утрам обычно прохладно, но сегодня, видимо, предстоит тёплый день: в комнате не ощущается уже привычного холодка. Встав с кровати, направляюсь к окну, чтобы впустить в комнату осеннее солнце. Подняв ролл-шторы, я остолбенела: разглядеть что-нибудь можно только на расстоянии десяти метров — весь город накрыла пелена. Сквозь дым мне удалось насчитать пару больших зданий, из труб которых валил дым. Странно, что эти сооружения я раньше не замечала.

— Катя, ты проснулась? — спросила мама, войдя в комнату.

Взглянув на её лицо, я обомлела: оно было практически белое с сероватым оттенком. Ранее яркие, живые глаза стали впалыми, алые губы потускнели и почти сливались с цветом кожи.

— Умывайся и иди завтракать.

В ванной комнате возле раковины обнаружился большой белый бак, к которому вело множество пластиковых трубок. Привычно открываю кран, и — о Боже! — на мои руки хлынула ржавая вода с ужасным запахом и каплями песка.

— Ты что? — подошла мама и закрыла кран. — Я же тебя просила не тратить попусту воду! Её и так немного осталось, а новую привезут только через неделю, — мама указала на шкалу с делениями, нанесённую на бак.

Видимо, нам стали привозить воду, но очень странно, что она такая грязная, нефilterованная.

Осознав, что умыться не получится, я пошла завтракать.

На кухне стоял ещё один бак. А если и в нём вода такая же? Сев за стол, я заметила какой-то странный прибор у окна и стала внимательно его рассматривать.

— Ну что ты как маленькая? — возбуждённо заметила мама. — Как будто первый раз видишь очиститель воздуха. Сиди и ешь.

Мама поставила передо мной тарелку с яичницей и сосиской.

— А почему сосиска какая-то... не мясная?

— «Не мясная»? Катя, ты сегодня какая-то странная. Не заболела? — мама потрогала мой лоб своей ледяной рукой (куда делись всегда тёплые и нежные руки?). — Нет температуры... Странно. Где ты сейчас собираешься найти мясо? Ещё спроси: «Почему яичница такая не яичная?»

То, что мама назвала «не яичной яичницей», по вкусу, виду и запаху напоминало резину.

— Чай будешь?

— Нет, — ответила я, вспомнив, какая вода текла из крана.

Собираясь в школу и доставая верхнюю одежду из специального шкафа, я обнаружила прибор с надписью «Стерилизатор». Я уже не спрашивала, откуда он появился, так как мама точно сочтёт меня за болтуню.

— А фильтр? — мама протянула мне какое-то странное приспособление на резинках.

Я уставилась на «фильтр» и думала, как его использовать.

— Катя! Проснись уже! — начала ругаться мама и надела на меня фильтр.

Он был очень похож на респиратор и надевался точно так же.

На улице и через фильтр чувствовался запах дыма. Немного приподняв приспособление, я вдохнула воздух и сразу начала кашлять. Куда делся нормальный, чистый воздух? И что вообще происходит?

По дороге в школу отметила для себя одну странную вещь: на улице не было ни одного бездомного животного — ни птиц, ни кошек, ни собак. И даже растительности! Улицы города наполнили машины, огромное количество машин. Дороги расширились в три раза. Домов стало намного больше. Со всех сторон дым и чад.

Куда я попала? Где прежние игривые щенки, сидящие на проводах птицы, пожелтевшие деревья и трава? Куда всё это делось?

В здании школы, которую из-за дыма и новых высоток я нашла с трудом, не увидела людей. Это были мертвенно-бледные «куклы», лишь напоминавшие людей. Медленный шаг, потухший взгляд и полная незаинтересованность окружающим — так я могла охарактеризовать движущихся детей. Удивительно, что мне не встретился ни один педагог.

Я вошла в класс математики. На партах лежали планшеты, ученики сидели в наушниках, взгляды детей были прикованы к экранам.

Села за парту, надела наушники.

Вдруг в наушниках раздался голос учителя. Похоже, уроки ведут «интерактивные» учителя.

— Доброе утро, Екатерина. Десятое октября, две тысячи пятидесятый год, восемь тридцать две, ты опоздала на две минуты, урок математики.

— Две тысячи пятидесятый год! — в глазах темнеет. Падаю...

...Открыла глаза. Вся в холодном поту. Не сразу поняла, что мне приснился страшный сон.

Ощущая привычную утреннюю прохладу, направляюсь в ванную. Судорожно открываю кран. Прозрачная чистая вода льётся на мои трясущиеся руки.

Иду на кухню. В холодильнике беру сосиску и откусываю её. Настоящее, вкусное мясо! В дверце на подставке лежат ослепительно белые яйца. Обычные куриные яйца. Мне даже показалось, что они пахнут курицами, и меня это не смутило.

В коридоре нет стерилизатора и фильтров на полке.

Снова побежала в комнату, подняла ролл-шторы и увидела начинающийся рассвет. Нет ни дыма, ни заводов.

Обычные дороги, птицы на проводах, шум осенней листвы.

Звенит будильник.

Какое счастье!

Артемий Осечкин

3 класс

Петя ищет профессию

Был тёплый, солнечный день. Маленькие птички весело щебетали, сидя в своих уютных гнёздах, а мальчик Петя шёл вдоль широкой дороги по пешеходному тротуару, посасывая сладкий фруктовый лёд.

— Ну вот. Мне уже девять лет! Надо... надо выбрать профессию! — рассуждал мальчик сам с собой.

И тут прямо мимо Пети промчалась красная пожарная машина. Она тревожно мигала огоньками на крыше и кричала: «Разойдись!» — на свой манер: «Виу-виу!»

— Точно ведь! Надо идти пожарным!

— Ну нет! Не иди, одумайся! — услышал Петя.

Пётр сразу узнал лучшего друга Вову, потерявшего пару дней назад свою кепку в кустах. Он вылез из колючих зарослей крыжовника, наконец-то найдя свой головной убор.

— Это почему ещё?

— Ты можешь стореть на вызове или упасть с дерева. Пожарный — опасная профессия. Не иди пожарным.

— Ну, пожар-то — оно понятно. А что я на дереве забуду-то? — изумился мальчик, доедая остатки фруктового льда.

— А вдруг котёнок на дерево залезет? Спускать придётся. Бум — и упадёшь. Сломаешь себе что-нибудь, — Вова усмехнулся и посмотрел на друга.

— Тогда буду работать строителем. Это же не так опасно, как пожарным?

— А если постройка рухнет? Да это же раза в два опаснее! — воскликнул лучший друг Пети, поднимая указательный палец.

— А кем тогда?... Дворником? По-моему, самая безопасная профессия, — задумался мальчик.

— Но скучная такая...

— А учитель?

— Немодно. Да и сложно это... Слушай! Иди-ка ты, Пётр, писателем работать! В твоих книгах ты можешь представить себя в любой профессии. От обычного дворника до президента целой страны! Или же от шофёра до самого известного всему миру космонавта!

— А знаешь, Вова, это идея!

Мальчики как раз подходили к подъезду Петиного дома. Когда они попрощались, Пётр побежал домой писать своё первое сочинение. Сочинение про то, как он стал космонавтом.

Анастасия Дьяченко

11 класс

О путешествиях по страницам книг и не только...

С первой книгой закладка не особо повезло. Интерес а читательницы история не вызывала, значит, и дальше гостиничного номера закладка не перемещалась. Но вот удача! Кусочек рисунка часового механизма скрывается в рюкзаке, а уже через несколько часов Прага сменяется Веной. Подумать только, сколько мест посетила читательница, пока в кармане рюкзака лежала её верная помощница, готовая отыскать любую страницу, на которой остановили чтение. Музей Сисси, собор Святого Стефана, кофейня со знаменитыми венскими сладостями... День так насыщенно проходит! Как было замечательно, когда нашлось время и на

пару десятков книжных страниц. Куда же дальше? Может, ещё немного почитаем? Как — «завтра в Будапешт»?!

Утро встретило её привычной темнотой рюкзака.

Это даже радовало, ведь о ней беспокоились в первую очередь, когда бережно складывали и выдыхали, что теперь точно не забудут. Время от времени читательница доставала фотоаппарат, на мгновение широко раскрывая карман, где лежала закладка. Тогда можно было заметить архитектурные сооружения, памятники и площади, которые вот-вот должны были попасть на плёнку.

Первый снимок, второй, третий... А когда достанут книгу?

Ответ на этот вопрос не был получен вплоть до возвращения в Прагу. Что ж, усталость иногда берёт своё и одерживает победу даже над сильным желанием узнать конец истории, которой делится автор литературного произведения.

В аэропорту закладке определённо нравилось больше. Книга, между страниц которой она укладывалась, к счастью, закончилась, но на смену ей тут же пришла новая. Не просто новая! С какой скоростью закладка пересекала каждую последующую страницу! Чуть ли не с ветерком. Вот тогда началось веселье. История автора затянула в глубины сюжета, не отпуская даже в самолёте. Пересадка в Москве. Беспокойная посадка ветреной ночью в Красноярске. Новая страна, новый город, новая гумбочка, на которой читательница оставит нашу героиню до новой встречи с книгой.

А дальше путешествие по городам будет заменено иным, но не менее увлекательным. Кинг, Остин, Брэдбери, Васильев, Тургенев, Булгаков — чем вам не «города» для такой «странницы»? Везде есть с чем ознакомиться.

Вот только однажды её забывают в самом конце книги. Долго ищут, думают, что потеряли. Спустя месяц приходит озарение. Читательница вспоминает, где могла оставить любимицу. И оказывается права! Тонкое дерево с красивым рисунком пражской достопримечательности кажется таким... родным? Столько мест с ней посетили, столько книг прочитали. Интересно, как долго ещё она проживёт? Хотелось бы подольше. А пока... Закладка вновь лежит между страницами и дожидается, когда потребуются указать, где оборвалось повествование.

Кирилл Конно

5 класс

Настроения

Все свои настроения я представляю в виде котла. В него капают грусть, радость, страх, злость...

Я могу кричать, злиться и топать ногами, а потом — р-р-раз! — и смеюсь так громко, будто сумасшедший.

Красные, жёлтые, оранжевые, зелёные, синие, чёрные, белые капли падают в котёл, и эмоции мгновенно меняются. Представляете, как трудно контролировать этот поток! Но один рецепт у меня всё-таки есть. Надо сделать себе плохо. Такой уж у меня закон! После плохого всегда наступает хорошее.

Сиюю однажды в машине воскресным вечером, смотрю на этот серый город, в это серое окно, которое папа не мыл уже целую вечность... Грущу-грущу, а потом прихожу домой и вижу, что мама приготовила много-много жареной картошки!

Чем дольше ты плачешь, кричишь и топаешь ногами, тем дольше будешь смеяться, петь и танцевать.

Маша Зуболенко

8 класс

Хорошо ли нас знают мамы?

Больше всего на свете мне нравится, что я ребёнок. Серьёзно, это так замечательно — жить, зная, что ты проживаешь лучшее время в жизни — детство. Потому что сейчас, мне кажется, самый подходящий момент, чтобы научиться любить жизнь ни за что.

Я люблю после очередного самого ужасного дня в моей жизни доползти до кровати, лечь на неё и смотреть в потолок с приятной усталостью, отдавшись воспоминаниям. Вообще я очень люблю свои воспоминания. В дни, когда мне бывает грустно, они становятся моими друзьями, греющими сердце.

А ещё мне очень радостно, что в моей жизни есть друзья, которые всегда готовы поддержать. Я люблю, когда мы с Аней идём после школы по улице, уплетая мороженое. Меня согревает мысль, что я могу ей доверять. Может быть, когда-нибудь наши пути разойдутся, но я всегда буду дорожить этой дружбой.

Мне становится тепло, когда я понимаю, что есть люди, которые знают меня до мелочей, что мой любимый цвет — розовый и что пить со мной чай следует обязательно с малиной. И мне нравится, что есть человек, с которым можно на двоих поделить мечты...

А ещё я люблю петь. И всегда, оставаясь наедине с собой, я начинаю петь.

Мне нравится, когда обо мне заботятся, заставляют надеть шапку. Ещё — когда меня хвалят. Знаю, ты скажешь, что обычно это нравится детям, но ведь я и есть простой ребёнок. Становлюсь

счастливее, когда слышу от людей, что я хорошо поработала. К слову, ещё я безумно люблю находить и придумывать что-то новое, небывалое. Мне нравится сам процесс поиска: общение с людьми и расследование в Интернете или старых книгах...

И да—как любой порядочный ребёнок, я люблю мечтать. Наверное, ты думаешь, что это какое-то самовнушение или пустые надежды?

Мама, мне нравится просто, что я живу. Возможно, это странно, но я рада, что всё, что со мной произошло, было. И хорошее, и плохое. И, возможно, после всех этих слов я так и останусь для тебя бездушным и самовлюблённым ребёнком, но мне очень хочется, чтобы ты знала, что всё, чему я сейчас радуюсь, чем я живу, всё это—благодаря тебе. Спасибо за всё.

Литературное Красноярье ∴ СИНИЯ ТЕТРАДЬ

Иларион Кувшинов

Поиски себя

14 лет

Прошлогодний июнь был жарким. В то лето я долго метался в поисках работы.

Ещё за неделю до летних каникул меня стали мучить вопросы: что делать в предстоящие три месяца, как себя занять, чтобы всё было по уму?

Работать! Именно это слово звучало в голове. Но где работать? Укого? Ответов не было. А вопросы, как назло, только прибавлялись.

Закончив учебный год на четвёрки и пятёрки, я рассчитывал не на материальную помощь родителей, как всякие избалованные сынки, а на посильную работу с хорошей зарплатой. Отец был не против моих летних поисков подходящего занятия. В семье, помимо меня, ещё два брата. Поэтому деньги всем нам точно не помешали бы. Родителям и так приходилось непросто. А моё чувство самостоятельности, не говоря уже о гордости, давало дополнительную подпитку.

Надо искать работу. И точка.

Сначала я устроился разносчиком писем. Однако размер зарплаты, которую мне пообещали, и ругань с работодателем по поводу пропажи почты оптимизма не прибавляли. А неаргументированная жалоба со стороны великовозрастной клиентки добила меня. Видите ли, одет не по форме. Ну что за бред?! В общем, даже недели не проработал.

Подыскать другое место мне помог папин знакомый. Но и там я надолго не задержался. Сказались стычки с коллективом и подставы, из-за которых мог пострадать не я один. А работать мне пришлось в магазине рядом с почтой. Грузчиком. Дюжину дней. Таскал ящики, мешки, иногда и мусор. Позже, решив, что с меня хватит, демонстративно кинул заявление на директорский стол и был таков.

Через неделю я устроился дворником. Но едва вышел в смену, как меня уже уволили. Причиной стало опоздание на полчаса. Спасибо будильнику—удружил...

Совсем отчаявшись, я плюнул и на работу, и на деньги, и на все свои честолюбивые планы. Отцу это не понравилось. Но мать просила не ругать меня.

«Полтора месяца пролетели впустую,—думал я, сидя перед окном и попивая горячий шоколад, на который даже не заработал.—Впереди ещё половина лета. Может, хотя бы отдохнуть нормально смогу, раз уж работать не получилось».

Остаток июля и почти весь август я провёл у бабушки—в отдалённой деревушке. Отдыхать, правда, некогда было. Помогал в колхозе. Как разнорабочий. Поначалу по бабушкиной просьбе, а потом уже сам во вкус вошёл.

Так получилось, что я хорошо себя зарекомендовал. Иногда было тяжело, но чистый воздух, живописные виды, горы, речка, знакомые с детства места и новые друзья, в разы надёжнее и душевнее городских, превратили рутину в самый настоящий отдых.

Денег, хоть я о них и думать почти перестал, тоже дали. Не очень много. Зато на рюкзак со школьными принадлежностями и на новую одежду хватило.

Предстоящим летом меня уже ждут в колхозе. Обещают полноценный договор, хорошую зарплату. Советуют в аграрный поступать. Говорят, что после университета мне собственный дом предоставят, если окончательно в деревню переберусь.

Похоже, я наконец-то нашёл себя. И знаю теперь, кем мне быть и где жить.

стр.
101

Алейников Владимир Дмитриевич
Москва/Коктебель, 1946 г. р.

Родился в Перми, вырос в городе Кривой Рог на Украине. В 1962–1964 годах входил в группу молодых криворожских поэтов. В январе 1965 года вместе с Леонидом Губановым основал легендарное литературное содружество СМОГ и стал его лидером. При советской власти на родине не издавался. Публикации стихов и прозы на родине начались в период перестройки. Первые книги стихов вышли в 1987 году. В начале 90-х издано несколько больших книг стихов. Ныне автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого Союза. Член пен-клуба.

стр.
8

Беликов Юрий Александрович
Пермь, 1958 г. р.

Поэт, эссеист, публицист. Родился в городе Чусовом Пермской области. Окончил филологический факультет Пермского госуниверситета. Автор четырёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!», «Не такой», «Я скоро из облака выйду». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всероссийский фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и ряда литературных премий — имени Павла Бажова (2008), имени Алексея Решетова (2013), общенациональной премии имени Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству» (2014). Основатель трёх поэтических групп: «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х), «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). В начале 90-х входил в редколлегия журнала «Юность». Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина), «Иерусалимский журнал

(Израиль), в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России», «Антология русского лиризма. XX век», «Молитвы русских поэтов». Награждён орденом-знаком Велимира «Крест поэта», орденом Достоевского I степени. Член редколлегии журнала «День и ночь».

стр.
188

Бикмуллина Зарина Рашитовна
Казань/Москва

Студентка первого курса мгу им. Ломоносова. Автор трёх поэтических и прозаических сборников. Номинант литературной премии Благотворительного Фонда им. В. П. Астафьева за 2019 год (номинация «Поэзия»).

стр.
35

Бутнару Лео
Румыния, 1959 г. р.

Поэт, прозаик, эссеист, переводчик. Дебютировал книгой стихов «Крыло на свету» в 1976 году. Издал в Молдове и Румынии около 60 книг разных жанров. Составитель и издатель ряда антологий, в том числе антологии «Русский авангард», отдельными книгами в своих переводах выпустил произведения Велимира Хлебникова, Алексея Кручёных, Яна Сатуновского, Геннадия Айги, Евгения Степанова, Александра Вепрёва. Лауреат литературных премий Союзов писателей Молдовы и Румынии, Национальной премии Республики Молдова. Является членом Консилиума Союза писателей Румынии. Член Союза писателей XXI века.

стр.
119

Валеев Марат Хасанович
Красноярск, 1951 г. р.

Родился в городе Красногвардейске Свердловской области. Рос и учился в селе Пятёржск на Иртыше, в целинном Казахстане. Окончил школу, успел поработать бетонщиком на заводе жби, призвался в с.а. Служил в стройбате в 1969–1971 годах, строил военные объекты. После армии работал сварщиком в тракторной бригаде. Окончил факультет журналистики Казгу имени Аль-Фараби (Алма-Ата). Работал в газетах Павлодарской области «Ленинское знамя» (Железинка), «Вперёд» (Экибастуз), «Звезда Прииртышья» (Павлодар). В 1989 году был приглашён в газету «Советская Эвенкия» (с 1993 года — «Эвенкийская жизнь») на севере Красноярского края, в которой

прошёл путь от рядового корреспондента до главного редактора. Написал и опубликовал несколько сотен иронических, юмористических рассказов и миниатюр, фельетонов. Автор и соавтор нескольких сборников юмористических рассказов и фельетонов, прозы и публицистики, изданных в Красноярске, Павлодаре, Кишинёве, Москве. Публикации в журналах «Журналист», «Кукумбер», «Мир Севера», «Колесо смеха», «Вокруг смеха», «Сельская новь», «Семья и школа», «День и ночь», газетах «Литературная газета», «Московская среда», «Советская Россия» и др. Лауреат и дипломант ряда литературных конкурсов, в том числе «Золотое перо Руси—2008» (номинация «Юмор»), Общества любителей русского слова (номинация «Проза», 2011), «Рождественская звезда—2011» (номинация «Проза»). Член Союза российских писателей. С 2011 года живёт в Красноярске.

стр.
112

Васильев Геннадий Михайлович
Красноярск, 1959 г.р.

Журналист, поэт, исполнитель авторской песни. Родился в Томске. Отслужил в армии, потом по комсомольской путёвке оказался на КАТЭКе, в городе Шарыпово (Красноярский край). Учился заочно в Иркутском университете на факультете журналистики. В 1986 году был приглашён в газету «Серп и молот», затем работал в газетах «Красноярский комсомолец», «Свой голос», «Евразия», «Деловая Сибирь», вёл еженедельную программу на красноярской студии «Авторadio», участвовал во всевозможных медиапроектах. Участник Всероссийского совещания молодых литераторов в Ярославле в 1996 году.

обл.

Воронова Мария Викторовна
Красноярск

Художник. Педагог. Кандидат искусствоведения. Выпускница Красноярского государственного художественного института. Дипломант краевой тематической выставки «Будущее России». Лауреат премии Главы города Красноярска «Молодым талантам» в номинации «За особые успехи в научной деятельности» и премии Губернатора Красноярского края работникам культуры. Автор более 30 научных статей в различных изданиях. Как художник регулярно участвует в международных, межрегиональных и городских художественных выставках. С 2000 года в активе автора 7 персональных выставок. Участник благотворительных проектов, в т. ч. посвящённых экологии и городской среде.

стр.
157

Габриэль Александр Михайлович
Бостон (США), 1961 г.р.

Родом из Минска, с 1997 года живёт в США. По образованию — инженер-теплоэнергетик, по нынешней

специальности — тестировщик программного обеспечения. Осенью 2006 года в издательстве «Водолей» (Москва) вышла в свет первая книга «Искусство одиночества». Лауреат-финалист престижного поэтического конкурса имени Н. Гумилёва «Заблудившийся Трамвай» (2007, 2009). Обладатель премии «Золотое перо Руси» (2008). Победитель международного литературного фестиваля «Русский Стиль 2012» в номинации «Юмор». Публикации в газетах «Форвертс» и «Новое русское слово» (США), журналах «Вестник», «На любителя» и «Чайка» (США), «Гайд-Парк» (Великобритания), «Настоящее время» (Латвия), «Крещатик» (Германия) и др. Автор четырёх книг, вышедших в России. Член Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП) и Международного союза писателей «Новый Современник».

стр.
110

Гонтовский Аркадий Всеволодович
Прокопьевск, 1959 г.р.

Поэт. Публикации в журналах Санкт-Петербурга («Невский альманах», «Бег») и Новокузнецка. Сборник «Неутолённые огни» издан на средства читателей в Тверской области.

стр.
25

Данченко Елена
(Плетнёва Елена Михайловна)
Зэйсте (Нидерланды)

Поэт, переводчик, журналист. Окончила факультет журналистики КГУ (Кишинёв), училась в Высшей школе переводчиков (город Утрехт). Автор шести книг стихов. Четвёртая книга, созданная в соавторстве с китайской поэтессой Мин Минг Ли, написана параллельными текстами, на нидерландском и русском языках. Пятая издана в Германии. Лауреат нескольких конкурсов. Автор стихотворных публикаций во многих странах: Молдове, России, Беларуси, Украине, Узбекистане, Нидерландах, Бельгии, Израиле, Канаде, в том числе в газетах и журналах «Вечерний Кишинёв», «Сельская молодёжь», «Модус Вивенди», «Москва», «Дружба народов», «Новая Юность», «Смена», «День и ночь», «Иностранная литература», альманахах «День поэзии» и «Год поэзии».

стр.
140

Дрозд Борис Дмитриевич
Комсомольск-на-Амуре, 1948 г.р.

Выпускник педагогического института (Комсомольск-на-Амуре, 1971). Первая книжка прозы «Западня для дурочки» вышла в 1994 году в издательстве «Пересвет» (Тула). В дальнейшем книги прозы выходили только в издательстве «Жар-Птица» (Комсомольск-на-Амуре) небольшими тиражами — от 200 до 500 экз.: романы «Люди и бесы в ночь Сварога», «Не служить чужим богам», «Непобеждённый», «Степная повесть», а также сборник рассказов «Любовные проказы и шалости». Автор пьесы «Женитьба Дядюкина»,

которая седьмой сезон (с 2012 года) не сходит со сцены Чувашского академического драматического театра имени Иванова. Имеет несколько публикаций в журнале «Дальний Восток». Немалое место в его творчестве занимают исследования русской классики. Такие его работы, как «Жизненный крест Н. Тоголя», «Лёгкое дыхание И. Бунина», «Россия как Чевенгур», уже известны российскому читателю. Собранные в одну книгу, они выпущены в свет издательством «Феникс» (Ростов-на-Дону) в 2008 году под названием «Уроки анализа литературного произведения» в серии «Библиотека учителя. Уроки русской классики». Книга о А. П. Чехове под названием «Без любви весь мир — пустыня» выпущена в московском издательстве «Гелиос-АРВ». Член Союза писателей России с 1995 года.

стр.
3

Замышляев Владимир Иванович
Красноярск, 1938 г. р.

Родился в городе Петрозаводске (Республика Карелия). После окончания Ленинградского государственного института культуры в 1965 году приехал в Красноярск. Работал директором краевого Дома народного творчества, Красноярского книжного издательства, заведовал отделом культуры крайкома КПСС. С 1991 года работает в Сибирском государственном аэрокосмическом университете имени академика М. Ф. Решетнёва. Кандидат философских наук, заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов и Союза писателей России. Награждён медалью имени К. Э. Циолковского Федерацией космонавтики России, почётным знаком Всероссийского совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, краевыми почётными грамотами. Первый разработчик закона Красноярского края «О культуре». Лауреат премии Главы города Красноярска 2013 года за достижения в области образования и науки. Автор многих научных трудов по истории и теории культуры, коллективных краеведческих книг, член редколлегии и соавтор «Енисейского энциклопедического словаря» (1998), автор публицистических книг, поэтических сборников.

стр.
184

Карякин Павел
Челябинск, 1976 г. р.

Окончил Челябинскую государственную медицинскую академию (1999). Выпускник Высших литературных курсов (2011), член Союза писателей России. Прозаик, публицист, критик. Руководитель областных семинаров ОГБУК «ЧГЦНТ», выездных семинаров «Исток-плюс» (Златоуст, Миасс). Осуществляет руководство литературной мастерской на базе ЧОУНБ. Участник Международного совещания молодых писателей (Каменск-Уральский, 2011), Межвузовского литературного форума имени Гумилёва (Перedelкино, 2012).

Член жюри литературного конкурса «Стилисты добра», детских литературных конкурсов «Алые паруса творчества», «Как слово наше отзовётся», «Люблю Отчизну я». Является руководителем семинаров на межрегиональных литературных совещаниях, проводимых ежегодно на базе Челябинского государственного института культуры. Публиковался в литературно-художественных альманахах и сборниках Екатеринбурга, Тобольска, Оренбурга и др. Автор книги прозы «Иксион» (Челябинск, 2017).

стр.
130

Ковалёва (Ковешникова)
Наталья Алексеевна
Ачинск, 1952 г. р.

Родилась в маленькой деревне Алтайского края под названием Малахово. В 1958 году вместе с родителями переехали в Ачинск, где начиналось строительство Ачинского глинозёмного комбината. В этом городе и прожила всю свою сознательную жизнь. Ещё в школе тянулась к литературе, пыталась записывать свои мысли, события и впечатления на бумагу и складывала в стол. Но учиться в институте не получилось, так как семья была многодетной и малоимущей. Пришлось окончить Ачинский механико-технологический техникум. По специальности не работала, но на практике освоила профессию связиста телефонной станции. Здесь и проработала до пенсии. В 2017 году в издательстве «Буква Статейнова» вышла в свет автобиографическая книга-дебют «Память сердца».

стр.
106

Комаровская Юлия
Пермь, 2004 г. р.

Учится в седьмом классе МАОУ СОШ № 44 г. Перми. Участница литературного объединения «Тропа» МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества». Номинант литературной премии Благотворительного Фонда им. В. П. Астафьева за 2019 год (номинация «Ранний дебют»).

стр.
107

Круглов Роман
Санкт-Петербург

Поэт. Секретарь Союза писателей России. Кандидат искусствоведения (специальность «Теория и история искусства»). Автор книг стихотворений «История болезни» (2010), «36 кадров» (2012), «Двигатель внутреннего сгорания» (2014), «Гербарий» (2016), сборника литературоведческих и критических статей «Грани» (2013). Также стихи публиковались в «Литературной газете» (Москва), журналах «Аврора» (Санкт-Петербург), «Новый Енисейский литератор» (Красноярск), «Приокские зори» (Тула), «Русское поле» (Кишинёв), «Немига литературная» (Минск), «Каштановый дом» (Киев), «Зарубежные задворки» (Дюссельдорф), «Чайка» (Вашингтон), «Север» (Петрозаводск), «Подъём» (Воронеж) и др. Лауреат литературных

премий «Молодой Петербург» (2009), премии имени Б.П. Корнилова «На встречу дня» (2013), премии журнала «Зинзивер» (2015). Дипломант славянского форума искусств «Золотой Витязь» (2017) и др. Заведующий искусствоведческой частью альманаха «Молодой Санкт-Петербург». Преподаватель Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, Санкт-Петербургского института культурных программ.

стр. 8
Крылов Константин Анатольевич
Москва, 1967 г. р.

Русский философ, публицист, прозаик, журналист и общественный деятель. Родился в Москве. Окончил факультет кибернетики МИФИ и философский факультет МГУ, кафедру систематической философии. Автор большого числа работ, посвящённых вопросам социологии, политологии, философии и текущей политической жизни. С 2003 года — главный редактор газеты «Спецназ России». С 2005-го — президент Русского общественного движения. С осени 2006 года — член ЦК Конгресса русских общин. После 2007-го — президент «РОД-Россия». В 2010 году становится главным редактором журнала «Вопросы национализма». По взглядам — приверженец построения национально-демократического государства в России. По результатам опроса, проведённого сайтом Openspace, занял пятое место среди самых влиятельных интеллектуалов России. Литературный псевдоним — Михаил Харитонов. Под этим псевдонимом был опубликован ряд фантастических и публицистических произведений. Среди них — «Моргенштерн», «Успех» в издательстве «АСТ», рассказы в журнале «Новый мир», сборниках «Фантастика-2005», «Фэнтези-2005» и «Перпендикулярный мир». В 2019 году в издательстве «Флюид» вышел в свет первый том «нечеловеческой комедии» Михаила Харитонova «Золотой ключ, или Похождения Буратины». Живёт в Москве.

стр. 14
Лындина Елена
Москва, 1970 г. р.

Родилась в городе Николаеве (Украина). Там прошли детские и юношеские годы. В 1988 году поступила учиться в МПГУ имени Ленина (Москва). Много путешествует, занимается издательской деятельностью. В 2018 году основала некоммерческое издательство «Елень», чтобы талантливые авторы могли найти своего читателя. Писать начала недавно. Ранее публиковалась в журнале «Сахалинское образование — XXI век».

стр. 37
Малахова Софья
Москва, 1994 г. р.

Родилась в Красноярске. С 2007 года живёт в Москве. В 2010 году получила третье место в литературном конкурсе «Мы пишем первую книгу».

В 2016 году поступила в Институт журналистики и литературного творчества. Лауреат поэтического марафона «Да», организованного Союзом писателей Москвы.

стр. 162
Мелодьев Мартин
Маунтин-Вью (США), 1953 г. р.

Родился в Новосибирске. Окончил экономический факультет Новосибирского университета. С 1990 года живёт в Америке. Член калифорнийского клуба авторской песни «Полуостров», Клуба русских писателей в Нью-Йорке и Клуба поэтов нгу. Автор нескольких книг стихотворений. Публикации в газетах и ежегодниках США и России, в том числе — в журнале «День и ночь».

стр. 177
Новиков Илья Александрович
Абакан, 1988 г. р.

Родился в Междуреченске (Кемеровская область). С 1991 года живёт в Абакане. Неоднократный победитель регионального конкурса «Радуга талантов». Публикации в журналах «Абакан», «Юрта», «Доля», «День и ночь», пробует себя в любительских театрах, живописи и прозе. Лауреат Всероссийской премии имени М. Ю. Лермонтова в номинации «Молодое дарование» за подборку стихотворений «Наш симбиоз». Обладатель именной стипендии Главы Республики Хакасия.

стр. 104
Панфилова Надежда Николаевна
Архангельская область

Родилась в Архангельской области. Живёт в посёлке Оксовском Плесецкого района. Работала учителем физики в средней школе, сейчас на пенсии. Стихи публиковались в районных и областных газетах, в журнале «Двина». Два поэтических сборника — «Акварели» (2005) и «На краю небес» (2012).

стр. 166
Пичура (Диссон) Галина
Нью-Йорк (США)

Родилась и выросла в Ленинграде. С 1991 года живёт в США. По российскому образованию — библиограф и экскурсовод, в США работала программистом. Пишет прозу, стихи и песенные тексты. Её стихи были опубликованы в журнале «Листья» (США, Калифорния, 2006), в «Нашем альманахе» (Нью-Йорк, 2006), в сборниках «Общая тетрадь» (Москва, 2007), «Неразведённые мосты» (Санкт-Петербург, 2007), «Нам не дано предугадать» (Нью-Йорк, 2007, 2008) и в журнале «Юность» (Москва, октябрь 2011). В 2006 году вышел в свет её объёмный поэтический сборник «Пространство боли» (издательство «Сударыня», Санкт-Петербург). В марте 2012 года Галина Пичура стала победителем международного литературного конкурса «Первая любовь» (Самара). Член Объединения русских литераторов Америки (ОРЛИТА).

стр.
109

Пономарёв Владимир Валентинович
Красноярск, 1960 г. р.

Родился в Красноярске. Учился в средней школе, параллельно занимаясь музыкой. Готовился к поступлению на литфак, но после конфликта с учителями (срывал политизированные «классные часы»), не был принят в комсомол) вынужден был уйти из школы после восьмого класса и поступить в Красноярское училище искусств на теоретическое отделение. Окончив училище, поступил в Новосибирскую консерваторию имени Глинки на теоретико-композиторский факультет. По окончании консерватории вернулся в Красноярск и с того момента по сей день работает в Институте искусств на кафедре теории музыки и композиции. Композитор, член СК РФ, лауреат Всероссийского конкурса композиторов, кавалер ордена Св. Даниила Московского за заслуги перед Отечеством и церковью (орден получил за деятельность в качестве церковного музыканта (регента), композитора и редактора церковно-певческих сборников). Параллельно писал и публиковал стихи. Первая публикация была в газете «Красноярский комсомолец» в рубрике «МоноЛит» в начале 90-х. Впоследствии стихи автора периодически печатались в различных альманахах и сборниках стихов сибирских поэтов. В 2015–2016 годах выпустил три сборника стихов, написанных в разные годы.

стр.
171

Потапова Наталья Васильевна
Челябинск, 1972 г. р.

Родилась в Челябинске. Окончила медицинский колледж по специальности «медсестра» (1993), факультет специальной психологии Челябинского государственного университета (2005), Литкурс-2019. Внештатный корреспондент газеты «Милосердие и здоровье», волонтер Челябинского детского дома №2. Пишет публицистику, стихи и прозу. Автор сборника очерков «Ныряю в прошлые года» (2019), сборника рассказов «Лекарство от боли» (2019). Победитель нескольких литературных конкурсов. Мультфильм «О счастье усыновления» на её стихи стал лауреатом фестиваля «Словечко».

стр.
160

Руденко Александр Анатольевич
Москва/Болгария, 1953 г. р.

Российский поэт. Родился в Москве в семье военного лётчика. Окончил Литературный институт имени Горького и аспирантуру Литинститута. Публикует стихи в периодических изданиях с 17-летнего возраста. Издал несколько сборников стихотворений, был принят в Союз писателей России, но первой своей зрелой поэтической книгой считает «Избранное» (1994). Следуют книги так называемых «озорных» поэм: «Бардак» (1998),

«Старец» (2001), «Триада приключений» (2002), затем «Избранное» (2003), «С луной на крыле. Мистическая поэзия». В переводе болгарского поэта Андрея Андреева в 2004 году в Софии на болгарском языке выходит книга «Столетни вълни» («Столетние волны»). Стихи Александра Руденко переводились также на английский, испанский, французский, немецкий и другие языки. При соавторском участии А. Руденко в 1999 году издана эзотерическая книга его сына — целителя и духовного учителя Зора Алефа «Ответы непосвящённому», ставшая широко известной. Живёт в России и в Болгарии.

стр.
175

Сагдиева Виктория Сергеевна
Кемерово, 1987 г. р.

Родилась в Кемерово. Окончила Кемеровскую государственную медицинскую академию. Работала медсестрой, оператором кол-центра, копирайтером. Публиковалась в журналах «Сибирские огни», «После 12», «Огни Кузбасса». Автор книги стихов «Дышать акварелью», изданной при поддержке департамента культуры Кемеровской области в серии «Молодая поэзия Кузбасса». В 2018 году заняла II место в конкурсе эссе от Китайского культурного центра (Москва), вошла в лонг-лист литературной премии Дмитрия Горчева. В декабре 2018 года стала лауреатом литературной премии «Новое кузбасское слово» в номинации «Малая проза». В 2019 году заняла III место в литературном конкурсе «Стилисты добра» (Челябинск) в номинации «Проза».

стр.
125

Самуйлов Виктор Иванович
Норильск, 1951 г. р.

Родился в Тверской области. Бывший морской лётчик. Начал писать поздно и лишь благодаря обстоятельствам, которые оставили его на 16 лет один на один с дикой северной природой. В 1974-м он стал лейтенантом, после Сызранского высшего военного училища. Были в его лётной жизни Приморье, море и даже океан, Дальний Восток. В начале 80-х — демобилизация, а в 1987-м — дорога за полярный круг. 17 лет Самуйлов «отпахал» на отдалённой точке «Норильскгазпрома». 10 лет назад впервые опубликовался в «Заполярной правде». В начале нового века написал в предисловии к своей первой книге — двухтомнику «Обугленный мираж», что творческая часть его жизни — в начале пути, а начало науки и муки уже позади. Его первые рассказы заметил и полюбил Виктор Петрович Астафьев, считал тёзку одним из лучших северных писателей. . . В 2005 году Самуйлов издал повесть «Небесный град» — посвящение землякам, вынесшим на своих плечах военное бремя. А в 2006-м вышла его книга «И вам прощенье...». В ней повести, рассказы, очерки разных лет. Член Союза российских писателей.

стр.
24

Соловьёва Виктория
(Побежимова Виктория Гелиевна)
Красноярск

Дебютант журнала «День и ночь». Автор нескольких стихотворных подборок, опубликованных на литературных сайтах, в коллективных сборниках и альманахах. Занимается литературным творчеством с 2010 года.

стр.
133

Стригин Михаил
Челябинск

Родился в Сарапуре (Удмуртия). Окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Техника и электрофизика высоких напряжений». Кандидат физико-математических наук, автор девяти научных публикаций, в том числе в зарубежных журналах. Директор инжиниринговой компании ООО «митриал». Выпускник литературных курсов Института дополнительного образования ЧГАКИ. Учредитель детского поэтического конкурса «Как слово наше отзовется», инициатор ряда литературных проектов. Автор поэтических сборников «Цветное» (Челябинск), «Ступени» (Германия). В номинации «Карманная книга» сборник «Ступени» получил диплом областного конкурса «Южно-Уральская книга-2013». Член жюри Южно-Уральской литературной премии.

стр.
149

Тимченко Николай Николаевич
п. Имбинский, Красноярский край, 1950 г. р.

Родился в предгорье Саян в Красноярском крае. Окончил Красноярский педагогический институт. Автор трёх поэтических сборников. Проза печаталась в альманахах «Истоки» (Москва, изд. «Перо»), «Новый Енисейский литератор» (Красноярск). Лауреат премии Игнатия Рождественского в номинации «Я себя не мыслю без Сибири» за 2014 год.

стр.
178

Харебин Олег Сергеевич
Красноярск

Родился в Красноярске. Детство и юность провёл в деревне Покровке и в селе Толстихино Уярского района Красноярского края. По образованию — учитель немецкого языка. В 1985–1988 годах служил и работал в Группе советских войск в Германии переводчиком. В своей жизни перепробовал множество профессий: от дворника до директора частного предприятия. Но особенно ценит жизненный опыт, полученный во время работы переводчиком и воспитателем в Уярском приюте для детей и подростков. В 2004–2005 годах

работал воспитателем в Уярском приюте для детей и подростков Красноярского края. В 2009–2011 годах — корреспондент в уярской районной газете «Вперёд». Прозу пишет с 2008 года, пробует себя в различных направлениях и жанрах. Является автором-составителем сборника прозы и поэзии писателей Уярского района «Метаморфоза... Вдохновение...». Первая художественная публикация, «Сказ про Ивана-дурака и трёх богатырей», появилась в «Красноярской газете» в 2008 году. В 2012 году — дипломант премии международного литературного конкурса имени В. Шнитке в номинации «Художественная проза», в 2014-м — финалист конкурса «Щит и меч Отечества 2014», в 2016-м — финалист премии имени Олеса Бузины в номинации «Публицистика», в 2019-м — лауреат (3 место) на Тютчевском литературном конкурсе «Мыслящий тростник».

стр.
168

Харланова Анна
(Чернышёва Анна Павловна)
Липецк, 1981 г. р.

Окончила Литературный институт имени Горького (семинар прозы В. В. Орлова). Член Союза российских писателей.

стр.
91

Шарга Людмила
Одесса (Украина)

Поэт, прозаик, член Южнорусского союза писателей, Одесской организации Конгресса литераторов Украины, Одесской организации Межрегионального союза писателей Украины. Лауреат международных литературных конкурсов и литературных премий. Родилась в России, живёт и работает в Одессе. Автор сборников поэзии и прозы «Адамово ребро» (2006), «На проталинах памяти» (2008), «Билет в осенний день» (2010). Редактор сайта творческой гостиной «Diligans».

стр.
164

Юшманова Варвара Алексеевна
Москва, 1987 г. р.

Родилась в Братске. Поэт, журналист, редактор. Окончила Ульяновский государственный университет по специальности «Журналистика». Публиковалась в сборниках «Братск — Пушкину», «Жизнь творчества» (Братск), журналах «Волга — XXI век» (Саратов), «День и ночь» (Красноярск), «Новая реальность», «Русская жизнь». Финалист Международного литературного Волошинского конкурса (2013). Лауреат премии имени Риммы Казаковой «Начало» (2014).

главный редактор**М. О. Наумова****зам. главного редактора****В. Н. Наговицын****издательский совет****Иса Айтукаев****Андрей Бардаков****Ольга Ермакова****Валентина****Ерофеева-Тверская****Ольга Карлова****Татьяна Савельева****Михаил Тарковский****дизайнер-верстальщик****Олег Наумов****корректор****Андрей Леонтьев****ответственный секретарь****Галина Кошкина**

Учредитель: Агентство печати
и массовых коммуникаций
Красноярского края.

Адрес: 660009, г. Красноярск,
ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
п/и №ФС77-42931 от 9 декабря
2010 г. выдано Федеральной
службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при
финансовой поддержке Агентства
печати и массовых коммуникаций
Красноярского края.

редакционная коллегия**Александр Астраханцев**

Красноярск

Наталья Ахпашева

Абакан

Юрий Беликов

Пермь

Вера Зубарева

Филадельфия

Александр Кердан

Екатеринбург

Сергей Кузнечихин

Красноярск

Валентин Курбатов

Псков

Андрей Лазарчук

Санкт-Петербург

Евгений Минин

Иерусалим

Виталий Молчанов

Оренбург

Миясат Муслимова

Махачкала

Анна Сафонова

Южно-Сахалинск

Евгений Степанов

Москва

Андрей Тимофеев

Москва

Вероника Шелленберг

Омск

Владимир Шемшученко

Санкт-Петербург

Нина Ягодинцева

Челябинск

Журнал издаётся с 1993 года.

В оформлении обложки
использованы картины
Марии Вороновой.

Редакция не вступает в переписку.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Ответствен-
ность за достоверность фактов
несут авторы материалов. Мнение
редакции может не совпадать
с мнением авторов. При перепечат-
ке материалов ссылка на журнал
«День и ночь» обязательна.

Журнал выходит 1 раз в 2 месяца.

издатель

ООО «День и ночь».

ИНН 246 304 2749

Расчётный счёт

4070 2810 8006 0000 0186

в «Сибирском» филиале

банка ВТБ ПАО

в г. Новосибирске

БИК 045 004 788

Корреспондентский счёт

3010 1810 8500 4000 0788

Рукописи принимаются
по электронной почте:
dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя:

660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 3,

т. +7 950 991 4349

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 15.11.2019

Дата выхода в свет: 30.11.2019

Тираж: 1200 экз.

Цена свободная

Отпечатано ип Азарова Н. Н.

в типографии «Литера-принт»

г. Красноярск, ул. Гладкова,

д. 6, офис 0-10, т. +7 904 895 0340

эл. почта: 2007tex@mail.ru

16+



Воронова 2019

